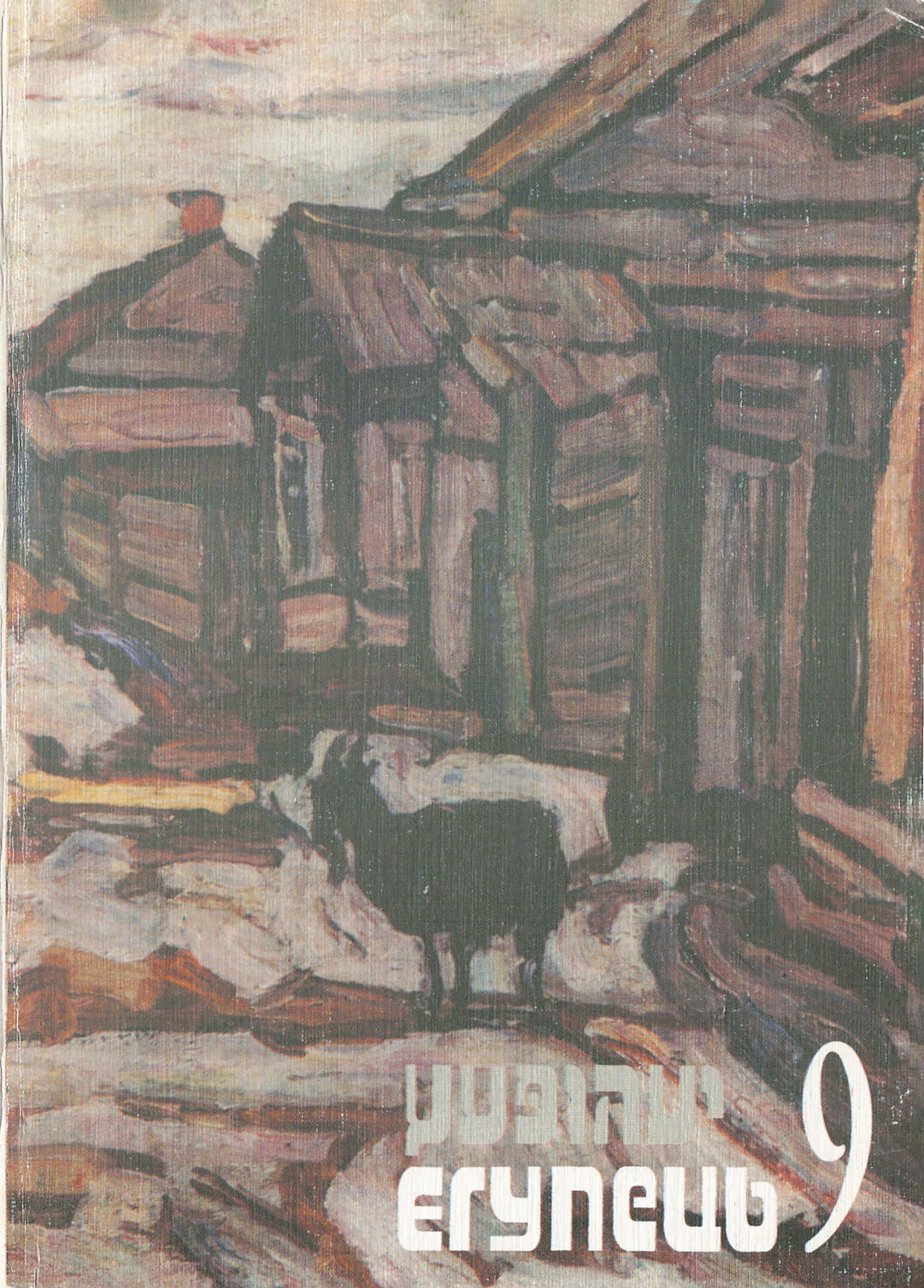


החשיפה וההתבוננות



ההתבוננות
החשיפה

*Це число альманаху
присвячується світлій пам'яті
Ольги Вадимівни Шаніної-Мудрагель,
секретаря журналу «Єгупець»
та вченого секретаря
Інституту юдаїки*

FROM THE LIBRARY OF
SHIMON MARKISH
(1931-2003)

עגונען
עגונען
יעהופעם

ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ
АЛЬМАНАХ
ІНСТИТУТУ ЮДАЇКИ

9

КИЇВ 2001

УДК 892.45(059)
ББК 84.5Є Я5
Є31

РЕДКОЛЕГІЯ:

Г. Аронов (редактор), Р. Заславський, И. Клімова,
Г. Ліхтенштейн, О. Мудрагель, С. Паніч, М. Петровський,
К. Сігов, Л. Фінберг

РЕДКОЛЕГІЯ СКЛАДАЄ ПОДЯКУ
АМЕРИКАНСЬКОМУ ЄВРЕЙСЬКОМУ ОБ'ЄДНАНОМУ
РОЗПОДІЛЬЧОМУ КОМІТЕТОВІ «ДЖОЙНТ»
ЗА ДОПОМОГУ У ВИДАННІ АЛЬМАНАХУ

Відповідальні за випуск: *К. Сігов та Л. Фінберг*

Художнє оформлення: *І. Клімова*
Комп'ютерний набір: *Г. Ліхтенштейн*
Комп'ютерна верстка: *Т. Жук та Г. Ліхтенштейн*
Корректор: *Н. Анікеєнко*

ISBN 966-7273-22-9

© Інститут Юдаїки, 2001
© Дух і Літера, 2001

Ирина Хорошунова

ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ

Киевские записки

Автор предлагаемого читателям «Дневника» — Ирина Александровна Хорошунова (1913-1993), коренная киевлянка, по специальности — художник-оформитель.

По материнской линии она происходила из славного киевского рода Маркевичей. Ее прадед — Н.А.Маркевич, известный украинский историк, фольклорист и музыкант. Его внучка Александра Александровна, мама Ирины Александровны, окончила Смольный институт, получив специальность учительницы немецкого языка. В советское время работала машинисткой и счетоводом. Отец Ирины Александровны — А.Ф.Хорошунов — юрист, выпускник Университета Св. Владимира, очень рано умер, и детей воспитывала мать, а также родственники Маркевичи-Милорадовичи, жившие с ними в одном доме на Андреевском спуске, 34. Именно в этот дом в июле 1919 года попал снаряд. Среди погибших оказался и один из родственников.

Вообще, бури эпохи отнюдь не миновали семью Маркевичей: дед И.А.Хорошуновой участвовал в Крымской войне, его сыновья Владимир, Юрий и Андрей погибли на фронтах Первой мировой. Не обошли семью и репрессии 30-х годов: была арестована и расстреляна мать Ирины Александровны.

А в годы оккупации Киева за связь с киевским подпольем уничтожена ее родная сестра Татьяна с мужем и трехлетней дочерью, а также родственница — О.А.Маркевич-Милорадович. Сама И.А.Хорошунова, тоже помогавшая подполью, спаслась только благодаря друзьям — преподавателям консерватории Анисье Яковлевне Шреер-Ткаченко и Элеоноре Павловне Скрипчинской-Веревке.

Дневник Ирины Александровны Хорошуновой, охватывающий весь период оккупации Киева, является свидетельством очевидца, а нередко — и участника описываемых событий. Это не воспоминания, а непосредственная фиксация происходящего, окрашенная всеми особенностями мышления человека того времени. И в этом уникальность документа.

К сожалению, большой объем рукописи не позволяет опубликовать ее полностью. Выразая благодарность Наталье Гозуловой и Елене Школяренко, предоставившим рукопись в наше распоряжение, редколлегия решила напечатать лишь часть дневника (1941-1942 гг.), но оставила за собою право продолжать публикацию в последующих номерах альманаха. Название дано редколлегией.

*Памяти всех советских людей,
погибших в Великой Отечественной войне,
посвящаю*

25 июня 1941 г., среда.

Итак, война. Сомневаться не приходится. Сегодня четвертый день войны. Мирной жизни словно никогда и не было. Все перемешалось, спуталось. Все важное до сих пор потеряло теперь всякий смысл. Многие начинания остались и останутся неоконченными. Стремления не осуществляются. Война — это смерть и разрушение. И кто знает, кто останется жить, а кого не будет больше.

Сейчас не время заниматься рассуждениями. Фронт от нас далеко. Но мы тоже на фронте. Если 22-го мы не сообразили сразу, что такое произошло, то сегодня все почувствовали себя на войне, и, хоть не очень приятно сознаваться в трусости, приходится сказать, что от ужаса и панического страха не так-то легко освободиться, особенно, если ждешь с минуты на минуту очередного налета.

Во дворе дети шумят, и солнце светит, словно ничего не происходит. Ребята кричат и плачут во время налета, а потом играют в классы осколками зенитных снарядов. Матери плачут. Старших детей провожают на фронт. За младших трясутся во время налета. Мужчины посерьезнели сразу. И у всех настроенье тревожное, чтобы не сказать ужасное, потому что небо хоть и голубое, да с него теперь летят бомбы, от которых нигде нет спасения.

Сегодня было самое страшное утро. Стреляли зенитки и пулеметы со всех сторон. Осколки сыпались как дождь. Стекла звенели, а дом дрожал, как во время землетрясения. Леля* схватила сонную Шуру, вынесла ее в коридор. Под лестницей сбились в груды жильцы верхних квартир. Это было утром, а страх, скорее какой-то животный ужас, не проходит и до сих пор. Этот ужас охватывает при приближении самолета. И кажется, что каждая следующая бомба именно та, которая убьет тебя. Потом все делается безразличным. И только одно желание остается — если должно убить, то скорее бы, чтобы не было больше этого ожидания.

Мы ждем бомбы в наш дом, потому что мы возле самого телеграфа. Немцы же, по всем признакам, осведомлены о том, где какие объекты военного значения. И могут бомбить телеграф тоже. Они бомбят объекты. Сегодня бомбы попали на авиазавод и на «Большевик». На первом разбиты два цеха, на втором — один. Убито больше двухсот человек. Говорят, что рабочим не разрешили во время налетов оставлять рабочие места. Теперь, когда столько народа погибло, это распоряжение должны отменить.

* Комментарий к именам, упоминаемым в «Киевских записках» помещен в конце публикации.

Над Киевом сегодня было 37 самолетов. Они пытались бомбить мосты, но им это не удалось. Мосты целы. Дисциплина сразу упала. Многие из-за тревоги опоздали на работу. Им никто ничего не сказал. Никто не работает, но в библиотеке директор распорядился продолжать делать выставку Лермонтова. А у всех нас одно и то же чувство, что все наши дела потеряли всякий смысл.

В институте все еще идут экзамены. Мобилизация же идет полным ходом. Призываются все года с 1905 по 1918. Остальные мужчины до 50 лет ждут своей очереди.

Все стремятся изобрести что-нибудь такое, чтобы оправдать свое существование во время войны. В «Комуністі» появилось Агитокно. Это художники стремятся подражать Маяковскому, и поэтому по всему городу расклеены плакаты. Наиболее распространенные изображают свастикоподобное туловище Гитлера и его голову с подбитой и подвязанной щекой. Под ним подпись: «Ой, і буде морда бита Гітлера-бандита!»

Началась мобилизация на копанье убежищ от бомб. Это примитивные канавы, глубиной в 1,5 метра, сужающиеся книзу. Называются они щели. Роят их везде — во всех садах, скверах и возле домов. Везде, где есть свободная от асфальта и камня земля.

В часы, когда нет налетов, жизнь идет даже как будто бы нормально. Ждем налетов ночью тоже, но начинаются они между шестью и семью часами утра, потом несколько раз в день и часам к 8-9 вечера. Во Всесоюзном радиокомитете организовано Советское информбюро. Теперь все сообщения будут идти от него.

Мы столько говорили о своей готовности к войне, а теперь, когда война из угрозы сделалась реальностью, выяснилось, что убежищ, например, в Киеве нет.

26 июня 1941 г., четверг.

Сегодня меньше стреляли с утра, и уже стало немного легче. Очевидно, пройдет это чувство ужаса. Я шла сегодня во время тревоги. Группы самозащиты необычайно активны. С сосредоточенными лицами, сами, не боясь осколков, женщины ловят и загоняют в парадные проходящих. Но тревоги теперь не так часты, что нужно остановить из-за них все движение и всю жизнь. Мы начинаем привыкать к стрельбе, поэтому начинаем ходить во время тревоги по улицам. Идем возле домов, а когда самолеты приближаются, становимся в парадные. На улицах стало даже как-то оживленнее. Появилось много военных, много машин, которые торопятся и снуют быстро во все стороны.

В библиотеке все также ищут возможности делать что-нибудь нужное. Сооружают библиотечки для Красной Армии и госпиталей. А госпитали уже появились в городе. Мне кажется, что нужнее всего наша работа была бы именно в госпиталях и на эвакуационных пунктах.

В том, что происходит на фронте, не так просто разобраться. Наши части, говорят, отступают. Это, конечно, тактический маневр, хотя он несколько не соответствует нашему положению о том, чтобы бить врага на его территории.

27 июня 1941 г., пятница.

Сегодня самолеты летают целый день небольшими группами — по два, по три. Наши патрулирующие истребители громко шумят. Моторы наших самолетов гудят громче немецких и менее зловеще. Во время тревоги уже не останавливается движение на улицах. Машины летят во все стороны. Пешеходы идут быстро, стараясь держаться ближе к домам. Трамваи больше стоят, потом проплетутся шага два и снова стоят.

Ходили мы с предложением использовать нас на работы, нужные для обороны, но что-то никто на наше предложение не отреагировал. Академия ничего не предпринимает. Другие едут на окопы, а нас не берут. Ходили в госпиталь предлагать наши услуги, оказалось, что опоздали. Так и ходят все из угла в угол, обвиняют друг друга в малых заслугах перед отечеством и грызутся целый день.

Наконец, наши консультанты выдумали себе работу: сделать выставку «Великая Отечественная война». Кому нужна эта выставка, если в библиотеку приходят только читатели, которые сдают еще экзамены? Их сегодня только около ста человек, и те пробегают бегом в читальный зал, не глядя по сторонам.

Пока раскачиваются консультанты, можно идти домой. Там в саду рожут шели. Эта работа кажется мне более нужной.

Мы теперь ходим с Татьяной каждый день на Печерск, за ее вещами. Степан живет на батарее за Днепром, а Татьяна с Муркой у нас. Соседи ее тоже выехали, и мы переносим вещи в чемоданах на Андреевский.

Печерск оживлен больше, чем всегда. Без конца очень быстро несутся машины. Многие из них закрыты ветками и вымазаны грязью. Это машины, идущие издалека. Непрестанно громяхают повозки и орудия. Когда появляются вражеские самолеты, красноармейцы поднимают головы, потом, словно это их не касается, едут дальше, не останавливаясь и не обращая на них никакого внимания.

Жара стоит нестерпимая. И особенно одолевают мошки. Их мириады в воздухе, и они облепляют ноги, глаза, лицо. Бойцы говорят, что в окопах мошки страшнее врага. И как-то еще томительнее делается от того, что такая жара, и воздух наполнен мошками, от которых нельзя отвязаться.

В Мариинском парке распустились огромные штамбовые розы. Пожалуй, никогда они еще не были так красивы, как теперь. Но их пышная красота звучит диким контрастом войне. И хотя мы хорошо знаем, что все проходит, что со временем пройдет чувство ужаса перед смертью, все

равно сейчас несоответствие природы и войны делает нас какими-то одеревеневшими и потерянными. Ничего мы не понимаем, ничего не знаем.

Вечера уходят на изобретение светомаскировки. У других маскировки нет. У Лели все делается впопыхах, но когда открывается дверь в коридор, где горит свет, со двора начинают кричать.

28 июня 1941 г., суббота.

Привыкаем к стрельбе. Правда, все равно с первыми выстрелами забираем портфели и сумки, где документы, деньги и отправляемся в большой дом. Смертельно хочется спать и, придя туда, заваливаемся дальше. Лелина комната в самом низу большого дома. Там сидели во время боев в гражданскую войну. Туда же идем и мы при первой тревоге. Ночью мы все лежим и слушаем, не летит ли самолет. Иногда кажется, что он летит, когда все тихо. Но, может быть, оттого, что ни одна бомба не попала еще в жилые дома, начинаем думать, что нас бомбить не будут. Если бы не телеграф под боком, нам было бы не так страшно.

Публика собирает продукты. Все считают, что продукты должны исчезнуть. А меж тем продуктов больше чем обычно. В магазинах все есть.

Пока все работаем, но долго ли еще будем работать? Меня пока еще разрываю на части. Работать не хочется. Нет желания делать выставки, если можно делать что-нибудь другое. Но выставка должна быть и даже весьма грандиозная. Работать сейчас труднее чем всегда.

Выходной день отменили. Даже учреждения, в которых совсем нечего делать, как например, в товариществе «Киевский художник», везде отменен выходной день. В университете тоже делают выставку Отечественной войны. Из-за этих выставок не знаю ничего, что делается за стенами библиотек.

Дома темно. Светомаскировка не достигает цели.

29 июня 1941 г., воскресенье.

Летают почти все время, но откуда-то появилась в народе уверенность, что жилые дома бомбить не будут. Может быть оттого, что немцы будто бы разбрасывают листовки, в которых пишут, чтобы горожане не боялись бомб. Бросают бомбы на мосты все время, но еще попаданий не было. В Киеве достаточное количество зениток, и они не дают самолетам спуститься низко, а с высоты, на которой они летают, мост может казаться только тонкой ниточкой.

Откуда-то поползли зловещие слухи, что сдан Львов.

Выставку в библиотеке закончили. Читателей нет совсем. Завтра идем работать на так называемый пересыльный пункт.

1 июля 1941 г., вторник.

Под радио на улицах толпы народа. Слушают сообщения информбюро. Сегодня передают сообщение от 29 июня. Остановлено наступ-

ление танковых частей противника на Минском и Луцком направлениях. На Луцком — ожесточенные бои с танковыми соединениями противника. На всех остальных направлениях наши войска удерживают госграницу.

Вчера образован Государственный комитет обороны. Состав: И.В.Сталин — председатель; В.М.Молотов — заместитель, К.Е.Ворошилов, Г.М.Маленков и Л.П.Берия — члены комитета. В руках Государственного комитета обороны сосредоточивается теперь вся власть.

Мы ждем начала наступления, иначе немцы будут скоро у самой нашей старой границы, а это невозможно допустить.

Нас несколько человек работало сегодня на пересыльном пункте. Это в помещении школы устроен пункт, куда прибывают красноармейцы, здоровые, а иногда и раненые, отбившиеся или потерявшие свою часть. На пункте они бывают сутки или двое, получают назначение или находят часть и отправляются дальше. Нам положено проводить там читки, делать выставки, организовывать коллективные игры. Ничего этого мы не делаем. На пункте грязь и теснота. Бойцы хотят только спать и есть. Они прибывают усталые, грязные, голодные. Питание их организовано еще плохо. Они сидят, лежат и спят прямо на полу, на скамьях и столах. Негде пройти, не только игры устраивать! Единственно, кого хорошо встретили — это двух девушек из нашего восточного отдела. Эти девушки говорят на всех тюркских языках, и все бойцы-нацмены обрадовались возможности поговорить на родном языке и объясниться с помощью переводчиц с начальниками пункта.

Привезли обожженных раненых. Один из них бился в припадке эпилепсии. На бойцов его припадок произвел удручающее впечатление.

Ничего мы не помогли. Хотим снова проситься в госпиталь. Состояние растерянности не проходит. По-прежнему везде полная бестолковщина, хотя уже прошла целая неделя с начала войны.

Вечером хорошая сводка информбюро. Почти на всех направлениях наши войска остановили напор противника.

Вечером копаем щели.

2 июля 1941 г., среда.

Оправдываются слухи. Приходится им верить. Сначала радио утром, потом «Советская Украина» сообщили о том, что под натиском венгерских войск, осуществляя планомерный отход согласно приказа, наши войска оставили Львов. Что же теперь будет с теми, кто остался во Львове? Там Шура, жена Нюсиного брата, с детьми. От нее никаких известий. Успели ли они выехать и добираться ли сюда, или остались у немцев?

Напряжение в городе растет, хотя налеты почти прекратились.

4 июля 1941 г., пятница.

Какое-то безумие охватило город. Словно враг уже возле самого Киева. Все улицы наполнены бегущими к вокзалу людьми. У всех на лицах одно единственное желание — уехать, уехать скорее, как от чумы или проказы. Люди идут, бегут, тащат мешки с вещами, и впечатление такое, что весь город сорвался с места и стремится вон из него, как можно скорее. Купить билеты на выезд нельзя. Два дня назад билет в Москву поездом стоил 500 рублей, потом тысячу, а вчера уже 5000. Сегодня предлагают невероятные деньги, чтобы выехать из города, а купить билетов нельзя. Можно выехать из Киева только эшелонами, талоны на которые выдают на эвакуационных пунктах только для беженцев. Киевлян не эвакуируют, а между тем люди бегут с вещами на вокзал и сидят там, а потом кто-то уезжает, а кто-то остается. И не кто-то уезжает, а уже очень много народа уехало. Как всегда, связи и знакомства.

Беженцы, которые занимают теперь помещения многих школ, сидят без движения. Это жены и дети наших работников, посланных раньше на работы в Западные области. Некоторые из них бежали в чем стояли, без вещей, без денег. Многие из них потеряли детей в дороге. Одна из этих женщин истерически кричала вчера на улице возле 13-й школы. Ребята старших классов школ помогают беженцам. Устраивают их, когда они прибывают. Помогают организовывать питание, получение талонов на эшелоны, таскают вещи, детей. Сегодня видела мельком Алешу Хирселова. Он мчался на велосипеде на вокзал устраивать беженцев из их школы на эшелон. Ребята — школьники и пионеры — выполняют сейчас гораздо более важную работу, нежели многие взрослые, которые хотят только уехать.

Конечно, имеет огромное значение для создания паники то, что НКВД, например, погрузило на машины свои семейства вместе с трюмо, шкафами и пианино, и еще позавчера многие из них уже уехали, как это видели киевляне, проходившие мимо Короленко 33.

По городу летает сгоревшая бумага, это жгут архивы. Существует негласный приказ о том, чтобы сжечь подворные книги.

Никакой возможности разобраться в том, что происходит. И сколько ни силишься остаться спокойным в этом хаосе паники, невольно поддаешься этому стихийному чувству, и, действительно, хочется бежать куда угодно, только бы бежать.

От Шуры есть известие. Она в Тернополе у сестры, или быть может даже выехала уже в Киев. Дети с нею. Она звонила по телефону.

С каждым часом все новые и новые сообщения об отъезде руководящих людей. Сегодня ночью уехал и Богомолец, и Медведева. Из консерватории уехали Луфер и Михайлов. Уезжают начальники самых разнообразных учреждений — от Академии до директоров магазинов и рестора-

нов. Архивы жгут везде. Это так замечательно реагируют на вчерашнее выступление Сталина по радио. Тов. Сталин призывал к созданию ополчения, партизанского движения в тылу противника, к тому, чтобы ничего не оставлять врагу. А истолковывают его призыв как призыв к уничтожению всего. В панике возникает немало нелепых эпизодов. Ловят изменников, диверсантов и шпионов. Дети и взрослые ведут каждого, кто кажется подозрительным, в милицию и НКВД. Подозрительными кажутся все плохо одетые и все хорошо одетые люди. Знаю уже несколько курьезов по этому поводу. Шпионов ловят целые дни. Сколько же из них действительно шпионов, трудно сказать.

5 июля 1941 г., суббота.

В сегодняшней газете призыв к созданию народного ополчения. Ожесточенные бои на р. Березине. Упорные бои с мотомехчастями под Тернополем. Наши войска упорно отбивают попытки противника прорваться через фронт на юго-восток.

Отъезжающих не убавляется. Уже и киевляне сидят на эвакуационных пунктах вместе с беженцами с Запада.

В библиотеке полная дезорганизованность. Сегодня многие сотрудники уехали с утра на окопы к Пуше-Водице. Но те, кто хочет уехать, и не думает об окопах. Больше всего удивляет, что многие уезжают и оставляют стариков.

Меня не отпустили на окопы, так как я, хоть и без всякой пользы, должна быть на пересыльном пункте.

Есть приказ сдать радиоприемники. Теперь уже весь город переносится. Одни с мешками и чемоданами, другие с приемниками.

У нас как будто бы появилась возможность уехать. Степану обещали дать машину и бойцов для сопровождения ее до Саратова. Татьяна уехала с Шуркой на батарею к Степану. Будет там ждать эту машину. Мы остаемся еще в городе, пока за нами приедут.

Уехали они. В комнате остались только разбросанные Шуркины вещи. Не так-то легко и просто уезжать из Киева!

Нюся, Элеонора Павловна и еще несколько человек из преподавателей консерватории сегодня работают в госпитале на Дегтяревской. Они носят раненых с поезда в госпиталь.

6 июля 1941 г., воскресенье.

В сводках столько направлений, что записать невозможно. Сообщение, еще больше усиливающее панику — то, что в результате неудачных действий противника под Тернополем он перенес усилия своих крупных танковых соединений на Новоград-Волынский направление.

Сегодня мальчишки 1924-25 годов рождения получили повестки для явки 8-го числа в военкомат. Алеша Хирсцов идет тоже. Многие матери выку-

пают своих сыновей правдами и неправдами. Надежда Васильевна собирает Алешу в путь без всяких разговоров. Ее и самого Алешу оскорбило бы даже предположение о возможности отказаться или спрятаться.

Консерваторские женщины продолжают носить раненых. Они приходят измученные не только от тяжести работы, но еще от невозможности помочь. Раненые тяжелые, преимущественно обгоревшие. Раны гноятся. На них садятся мухи, усиливая и без того нестерпимую боль.

Меня все еще не отпускают с пункта. Там все больше народа и все меньше порядка. Потерявшихся бойцов, ищущих свою часть, все больше и больше.

7 июля 1941 г., понедельник.

Никакие направления не пугают людей. Только Новоград-Волынский действует на всех ужасающе. Из Киева все уезжают и уезжают. Со всех сторон только и слышно, что уехали начальники и бухгалтеры, забрав деньги рабочих и служащих. Уничтожаются все архивы, личные дела, подворные книги. Выписываются какие-то незаконные справки, какие-то невероятные суммы. Никакого учета, никакой ответственности. Какой-то полный развал в городе и состояние полной деморализации. Если на минуту остановиться и прийти в себя в этом всеобщем паническом помешательстве, то все кажется совершенно непонятным. Откуда такая паника, если немцы еще только у нашей старой границы, то есть не менее чем в 300 километрах от Киева? И неужели кто-нибудь может подумать, что мы можем отдать Киев немцам?

Библиотека закрылась. Завтра нас всех уволят. Остается только несколько человек для охраны.

8 июля 1941 г., вторник.

Сегодня хорошая газета. На всех направлениях противник задержан или отброшен. Напечатана речь английского министра иностранных дел Идена. «Русские дерутся с блестящим мужеством...» А наши люди, словно потеряли всякую надежду на победу, продолжают уезжать.

В Ботаническом саду устроены билетные кассы. Там же толпы народа и добиться ничего нельзя. У нас самих никаких перспектив на отъезд кроме справки об эвакуации как семья военных. Но это только справка. Обещанные машины для комсостава либо уже ушли, либо неизвестно, будут ли. Степан воюет на батарее. Татьяна с ним. А мы ждем. Нюся и другие консерваторы в госпитале. Они заняты своей работой и совсем не думают об отъезде.

Только что привезли шоферы записку от Татьяны. Мы должны завтра вечером выехать к ним в Осокорки и там сидеть с вещами, пока будет машина. Едем в Саратов. Не знаю даже как сказать об этом Нюсе и Любе. Стыдно. Но все равно, я не останусь, хотя неизвестно, почему нужно

уезжать из города. Леля требует решить сразу — ехать или оставаться, а не «терзаться», как она говорит.

Нас всех уволили сегодня из библиотеки по причине сокращения работ. Мобилизовали мальчиков. Алеша ушел. Надежда Васильевна провожала его, а они шли строем из военкомата. Пошли они из города пешком, куда, еще не знают.

Даже ночные налеты, правда, они теперь значительно слабее первых, тускнеют перед чувством ужасной боли, которую вызывает это поголовное бегство. Говорят, что в Киеве уже нет никого из Правительства.

9 июля 1941 г., среда.

Сегодня мы уезжаем. Ужасное чувство. Стыдно смотреть людям в глаза. Если спросят меня, зачем я уезжаю, я не смогу ответить. Леля не складывает вещи. Она считает, что ехать нам нельзя. Денег у нас нет. Нигде во всем Союзе ни одной знакомой души. Она говорит: «Ты хочешь потерять ребенка в дороге?» Татьяна и я хотим ехать.

Леля уволена с работы. Их товарищество перестало существовать. Итак, мы прощаемся с Киевом, хотя едем совсем почти без вещей. Как-то отъезд из города нельзя себе представить. Заехали в старую квартиру Татьяны. У следующего дома молодые парни играют в карты, расплачиваясь огромными деньгами. У них вид вполне довольных, никак не затронутых войной базарных спекулянтов. Они и на войну не бегут, и из города не бегут.

Мимо без конца идут машины. Многие замаскированы ветками, вымазаны грязью. У моста пробка. Проверяют документы. Если слышно гудение самолетов сверху, все головы подымаются и ждут. Через мост вереницей машины, подводы, красноармейцы, люди с уздами. За мостом снова пробка. Там движение в обе стороны, все время тормозящееся. К Киеву идут тяжелые орудия и танки. От города все и всё, что угодно. По краям дороги — скот. Это по приказу т. Сталина ничто не оставляется врагу. Гонят свиней, коров, отары овец. Свиньи толстые, тяжелые, бредут, пока не падают в яму. Из ямы движутся дальше. Попадают туши уже издохшего скота.

Вдоль моста и дорог зенитки. Самолеты противника все время появляются над дорогой. Бьют зенитки. Самолеты летят высоко. И жуткое чувство ожидания бомбы в дороге, с которой нельзя ни свернуть, ни сдвинуться с места, написано на всех лицах. А от города вереницы уходящих с мешками на плечах людей.

Мы приехали в Осокорки к вечеру. Татьяна живет в хате недалеко от батареи. В селе тишина. Кричат лягушки, и крик их вязнет в знойном воздухе. Вокруг лоза и песок.

Шурка узнала нас. Она рассказала нам на собственном языке о своих главных интересах — «му-му» и «ко-ко». Хозяйка довольна, что Татьяна живет у нее. Степан приносит с батареи продукты.

Вечером были с Татьяной на батарее, Степану нельзя уходить. Он и бойцы только в брюках. Отбиваются от мошек и крутят патефон.

10 июля 1941 г., четверг.

Сегодня ветер, хотя небо ясное и облаков на нем нет. Ветер поднимает песок и шумит травами и лозой в знойном воздухе. Вокруг, сколько глаз хватает, ровные песчаные низины. На них лоза и осока, да изредка яркими синими лентами мелкие лужи, оставленные Днепром после разлива. Больше ничего не растет на днепровских песках. На огородах только картошка и чахлые овощи.

Тишина. Нигде ни души. Плачет ребенок в хате, и словно вовсе нет никакой войны, а все это сон, тяжелый, и нужно только проснуться, чтобы он исчез. Увы, это только мечты на лоне природы, которые сейчас дики и смешны. Летят немецкие самолеты. Стреляют зенитки. Разрывы их снарядов долго держатся в густом от жары воздухе. Бабы хватают детей. Некоторые бегут в погреба. Пронесутся наши истребители, и снова наступит полная тишина. Ветер, лоза и песок сами по себе. А война сама собою. И никогда больше не вернется жизнь, которая была до войны.

Ну вот мы приехали, чтобы уезжать. Но за пределами Киева это решение не выдерживает никакой критики. Почему уезжать? Ведь Киев бросить нельзя. Татьяна колеблется. Леля хочет вернуться. Я не хочу ни одной минуты оставаться вне Киева. Издали паника кажется еще более абсурдной. И, наконец, ведь все еще в Киеве. Одна единственная мысль: домой, в Киев!

11 июля 1941 г., пятница.

Мы снова в Киеве. Вчера вечером выяснилось, что машин, обещанных Степану для семей, не будет. Приехал его начальник и сказал, что ни о какой эвакуации жен из города не может быть и речи. Кажется, Татьяна тоже сразу решила возвращаться домой. А ночь ускорила наш отъезд.

Часов в 12 ночи начался налет на мосты. В прожекторах сверкали вражеские самолеты. Они бросали бомбы и строчили из пулеметов. Целые каскады блестящих, огненных пуль сыпались на мосты в село. Били все зенитки, и среди них батарея Степана. Хата тряслась так, что казалось вот-вот развалится. В соседнюю хату попала бомба, убило хозяина. Шурка плакала, а Татьяна кричала: «Я пойду скажу Степану, чтобы он перестал стрелять!»

Не ожидала я, что Таня такая трусиха. Ведь она уже побывала на фронте, когда во время работы в Хабаровске на Дальнем Востоке она была в 1938 году мобилизована как телеграфистка во время инцидента на озере Хасан. Там ее лично благодарил за хорошую работу Блюхер, чем она очень гордится. Правда, никакой награды она не получила, так как было известно, что в декабре 1937 года была арестована и как в воду кану-

ла наша мама. Никаких следов ее мы не можем найти до сих пор. Но ведь военный опыт уже должен быть у нашей боевой подруги!

В ту ночь батарея Степана выбросила по самолетам противника две-сти с лишним снарядов. Один немецкий самолет загорелся и упал в Днепр.

А днем мы уехали, потому что теперь уже Татьяна кричала больше всех — «Скорее в Киев!» Итак, единственная и последняя возможность эвакуации исключается. Решили оставаться в Киеве, полагаясь на то, что будет со всеми, то и с нами. Я — в полной уверенности, что Киеву опасность захвата его врагами не грозит.

В Киеве как будто тише стало. По дорогам уже словно меньше идут. Никто не уехал. Нюся и консерваторцы в госпитале. Люба в унынии все еще ищет возможности уехать.

12 июля 1941, суббота.

В библиотеке полный развал. Дирекции нет. Рассказывают сотрудники, что директор 10-го числа бегал по библиотеке с ключами в руках и ко всем обращался с одной и той же просьбой: «Будьте директором!» Но так как желающих быть директором не нашлось, он оставил ключи на столе в кабинете и уехал. Управление сейчас принял на себя завхоз Федоров.

Потом снова была на эвакуопункте. Он закрыт уже. Кассы в Ботаническом саду тоже закрыты. Звонила в ЦК Кухаренко. Мне сказали, что она уже уехала. Все возможности уехать исчерпаны. Работы нет.

Хожу по городу, стараясь найти возможность отъезда или какую-нибудь работу. Ни работы, ни денег.

На фронтах нет больше такого непрерывного движения противника. По сегодняшней газете — ничего существенного на фронтах не произошло. Налетов нет совсем. Изредка отдельные самолеты над железной дорогой и мостами.

13 июля 1941 г., воскресенье.

Ходили к Днепру Люба, Нюся и я. У Днепра на баржи и пароходы грузят и грузятся. Как и на вокзале, сидят, лежат в пыли и грязи кучи людей с мешками. Это беженцы и киевляне. На баржи грузятся музейные имущества. И здесь никакой возможности уехать. Деньги, тысячи, десятки тысяч рублей. Днепр была последняя Любина надежда. И здесь ничего. Мы сидим на балках у воды. У Любы на глазах слезы. Киев нелегко оставить. Но оставаться она все-таки боится. А нам уговаривать ее остается — страшно. А вдруг случится что-нибудь. Не забываем книги Фейхтвангера о фашизме. Хотя я непреклонно верю, что Киев не отдадут.

14 июля 1941 г., понедельник.

В «Советской Украине» за 14-е число итоги трех недель войны. Молниеносный план Гитлера не удался.

В городе тише. Уезжающих меньше. Мы все не работаем. Настроение плохое, хотя не бомбят, и на фронтах особенных событий нет. Появилась надежда на отъезд для Любы.

16 июля 1941 г., среда.

В городе тихо. Уехали все паникеры, остался притихший народ. Многие перестали уже решать вопрос о том, ехать или не ехать, а просто решили ждать, что будет. У многих нет денег, чтобы ехать куда-либо, многие считают бессмысленным бросать насиженное гнездо и пускаться в тяжелый путь на полную неизвестность.

На улицах тихо, менеелюдно, город словно замер. Роют окопы на главных улицах. Уже вырыли глубокие рвы поперек Театральной улицы, Стрелецкой, Ворошилова, Лютеранской. Командуют копанием окопов красноармейцы. Роют их мобилизованные для этого женщины, которые работают еще в учреждениях. Бывают случаи, когда проходящих по улице останавливают и предлагают рыть.

Начинает ощущаться отсутствие работы, уже многие ищут возможность получить какую угодно работу. Учреждения все закрыты. У тех, кто остался, денег не больше чем на месяц. И то при условии, что город будет снабжаться продуктами не хуже чем сейчас.

Сводки информбюро мало что говорят. Появилось новое Порховское направление. На Новоград-Волынском, Псковском, Смоленском, Бобруйском направлениях крупные бои.

Библиотеке предложили подать план эвакуации всех фондов. Кроме смеха, ничего другого не может вызвать подобное предложение. Нужно тысячу семьсот один вагон и двести тысяч ящиков. Оказывается, не так-то просто вывезти пять с половиной миллионов книг.

Оставшиеся члены охранной команды сидят у входа. Библиотека имеет весьма торжественный вид: из всех отделов снесли на лестницы вестибюля вниз все цветы, чтобы удобней было поливать. Много сотрудников библиотеки приходит проводить старое пристанище. Как раз те остались в городе, кто больше всего библиотеку любил. Настроение у публики спокойное, но пришибленное. Все радуются, когда видят кого-нибудь из сотрудников. Радует каждое знакомое лицо, каждый оставшийся в городе человек.

В консерватории упаковывают книги и ноты, частью для эвакуации, частью чтобы спрятать от пожара и от бомб. Таскают книги работники канцелярии и просто сотрудники, чтобы подработать немного денег. Всех беспокоит вопрос, что дальше делать. В госпитале в ближайшие дни работы нет. Думают о работе в лесном совхозе, но никто толком ничего не знает. Как будто нелепые разговоры об уничтожении роялей уже прекратились. Ни одного звука, кроме голосов носящих книги, не слышно в такой звонкой всегда консерватории. Играть и петь некому, да и до того ли.

Жара стоит нестерпимая. Ни одного облака в небе. Беспреданно летают самолеты. Они спускаются очень низко или едва слышно гудят, взбираясь в самую синеву. На них уже перестали обращать внимание.

17 июля 1941 г.

Как ни странно, вторая ночь почти без бомбежки. Ночью немцы освещали город ракетами, где-то далеко стреляли, но мы все спали спокойно. Конечно, спят теперь очень немногие. Большинство спит и все слышит. Это особый вид сна наяву.

У всех впечатление, что положение стабилизируется. Ректор университета распорядился никого с работы не увольнять, ибо с 1 августа в университете начинается учебный год. Поэтому и я неожиданно оказалась на работе. Библиотекарем. Завтра иду на работу и буду разбирать карточки в алфавитном каталоге. Прямо парадокс какой-то. Кому, как не мне, первой полагалось быть безработной. А выходит — я работаю, когда остальные сидят дома. Правда, сейчас я библиотекарь, а не художник.

О фронте никто ничего не знает. Бьются упорно на Смоленском, Псковском, Новоград-Волынском направлениях. В остальных местах фронта существенных изменений нет. Народ с нетерпением ждет помощи от Англии и Америки. Настроение то падает, то повышается. И все надеемся, что к первому августа должен быть перелом в войне.

18 июля 1941 г.

Трудно сказать, в чем источники настроения. Но сегодня, хотя сводки ничего нового не говорят, весь город настроен более оптимистически. Как будто крепнет надежда на то, что Киев не отдадут. Откуда идут эти вести? Никто ничего не знает, а меж тем все об этом говорят.

Тихо в городе. Пустынно. Впечатление такое, что больше народа выехало, а меньше осталось. Но это только видимость. В Киеве еще очень много народа.

Уже начинают привлекать к ответственности прокрававшихся заводов. Жаль только, что поздно. Многие, большинство успело убежать. В газете напечатали, что расстреляли двух завмагов военторга, которые украли 16 тысячч.

В магазинах много всяких вещей. Довольно много народа покупает вещи. Правда, все мнутя, не зная, что лучше: тратить деньги или держать их. Но необходимое покупают почти все. Деньги большинству народа уплатили. Многие получили ликвидационные и компенсацию за отпуск.

Я работала сегодня. После моих всегда бешеных работ моя работа в тихой фундаменталке университета кажется мне теплой успокаивающей ванной. Только нужна ли еще эта работа?

Хозяйки варят варенье. На базаре появились кое-какие овощи. Ах, если бы было не хуже! Ни о чем другом мы и не мечтаем.

21 июля 1941 г.

Ничего нового. Ночь прошла совершенно спокойно. Что обозначает это спокойствие, никто не может объяснить, может быть, это обозначает желание немцев бросить все силы на Смоленское направление, или готовят они нам какой-нибудь страшный сюрприз? Но настроение в городе хорошее, растет уверенность, что нашей армией хорошо организована защита нашего города.

Не слышно, чтобы кто-нибудь еще уезжал. Только Нюся и Люба все не могут решить, ехать им или нет.

Ходят слухи, что наши войска здорово пobiли немцев на Новоград-Волынском направлении. Окопы продолжают строить. Но жизнь пробуждается с каждым днем. Некоторые учреждения вновь начинают работать. Как-то даже разговоры поутихли в городе. Каждый занят своим делом. Многие снова поступили на работу.

Открыли библиотеку, и снова взяли на работу назад восемь человек из уволенных.

22 июля 1941 г.

Месяц войны. Мы еще живы, и даже появилась надежда, что и дальше, может быть, сможем жить. А месяц назад казалось, что все кончено, что ничего, кроме смерти, нет впереди.

По радио сообщили, что вчера и позавчера были попытки немцев бомбить Ленинград, но их отогнали. И еще, что вчера бомбили Москву. Что летало на Москву 200 самолетов. Если уж о налетах сообщают по радио, значит, были действительно серьезные налеты. Ведь о том, что нас бомбили, по радио не сообщали.

А у нас тихо. Льет проливной дождь. Все время пасмурная погода. Настроение хорошее. Где-то далеко несколько раз стреляла зенитка, но так далеко, что на нее не обращали внимания.

Принесли письмо от наших мужчин-ополченцев. Среди них и Павлуша. Они все еще идут пешком. Писали они из Переяслава. Ничего не пишет, куда идут, только то, что крестьяне по дороге очень гостеприимно их встречают, кормят, приносят продукты и не хотят брать денег.

В городе поразительно много цветов. От дождей все клумбы и скверы расцвели буйными, яркими цветами. Глядя на город, вовсе не скажешь, что сейчас война.

23 июля 1941 г.

Тревога в городе началась из-за того, что в сводках утром вместо Новоград-Волынского направления появилось Житомирское направление. Значит, фронт от нас в 120 км. Снова вчера летали на Москву. Летало 150 самолетов. Подробности не известны. Но, очевидно, Москва горит, потому что сегодня целый день передаются наставления о тушении пожа-

ров. На публику наставления подействовали. К вечеру у большинства главные вещи были сложены в мешки. Решается вопрос о наиболее быстром и удобном выбрасывании вещей из окна.

Приближение фронта знаменуется снова сожжением бумаг. На углу Крещатика и пл. III Интернационала вся мостовая была покрыта остатками обгоревшей бумаги. Пахло гарью, и в воздухе носились черные хлопья.

Нюся и Люба погрузили, вернее, отвезли на пристань ящики с консерваторским имуществом. Это ценные книги, ноты, арфа, струнные и частично духовые инструменты, диссертации и многое другое. Люба измучилась совсем ожиданием отъезда и хочет скорее окончить эту муку. Нюся никак не может решить окончательно, что ей делать. Никто из них не хочет ехать. Но кто знает, быть может, уехав, они спасут себе жизнь.

24 июля 1941 г.

С утра еще не было известно, едут ли Нюся и Люба. Потом выяснилось, что в пять часов они едут. От того, что они уезжают, делается совсем страшно. Отчего же и зачем я одна остаюсь здесь? Но в то же время — неужели же можно всем уехать из Киева и бросить город навсегда? Почему и зачем? Разве кто-нибудь знает, что действительно будет с Киевом? И, если все же вернется когда-нибудь мама, может быть война поможет ее освобождению, а она придет и не застанет нас. Что тогда?

Нюся думает отвезти имущество и вернуться назад.

Собирались с волнениями. Двинулись с вещами. Пришлось немного идти пешком. Пришли на пристань позже, чем было нужно. В результате груз ушел, а они остались. Мы почти два часа сидели среди грязи и пыли, под палящим солнцем, среди груды вещей. Вокруг все, внутри и снаружи, запружено уезжающими. Среди них беженцы из других городов. Но их меньше, чем уезжающих из Киева. Народа много меньше, чем когда числа 13-го мы ходили на пристань узнавать, какие есть возможности движения по Днепру.

Наконец, измученные Нюся и Люба получили билеты на следующий пароход. Часов в семь они уехали. Очень тяжело мне при мысли, что их нет уже в Киеве. Увидимся ли когда-нибудь? У меня остались ключи от Любиной квартиры, адреса, деньги и несколько поручений. Я остаюсь единственным связующим центром для всех уехавших и уезжающих.

Вечером мы отмечали день Лелиных именин. Она сердилась на меня, что я весь день провожала своих консерваторских «родственников». Пили водку, вино. А главный тост теперь «За жизнь!». Да, весь вопрос в том, будем ли живы. Леля выпила и во всеуслышанье жаловалась на мою черствость. Старалась не очень реагировать на ее заявление, потому что это несправедливо. Если бы я к ней и к Татьяне относилась иначе, чем отношусь, давно бы ушла санитаркой, добилась бы, чтобы меня моби-

лизовали. А так как не могу причинить им это огорчение и сама немало волновалась, если бы не знала, что с ними, так и сижу без всякой пользы дома.

25 июля 1941 г.

В городе растет тревога. Дежурные ночью говорят, что целую ночь слышали непрерывные звуки далекой канонады, быть может, это где-нибудь недалеко десант. А быть может, уже фронт так близко, но нам о нем не говорят. В сводках сегодня Порховское, Смоленское и Житомирское направления.

На улицах продолжают строить баррикады из мешков с песком. Почему-то на площади III Интернационала и на ул. Короленко сделаны круглые заграждения, как будто кольца, внутри которых может поместиться орудие и с десятков бойцов. Не знаем их назначения.

Уехавшие на окопы в прошлое воскресенье еще не вернулись. На углу возле школы на ул. Короленко поставили две гигантские бочки, значительно выше человеческого роста. Пока они пустые.

Никаких писем. От Алеши ничего. И тяжело смотреть, как волнуется Н.В. Она извелась совсем. Уехавшие не пишут. Те, кто остался, места себе не находят от беспокойства. Так распадается все и вырастает огромное горе. Оно возникает сразу, отовсюду. Таков ужасный закон войны.

26 июля 1941 г.

Тихо на улицах. Народ как будто пришибленный. В трамваях всегда можно ехать сидя. И даже пустынно как-то. Университет внезапно окончил свое существование. Если четырнадцатого числа ректор сказал никого не увольнять и что первого августа начнутся занятия, то вчера вдруг оказалось, что ценности университета едут с Академией в Уфу, а все сотрудники увольняются. Постепенно уезжают из Киева даже второстепенные заводы. Работы нет, и народ начинает волноваться из-за приближающейся безработицы.

Самые разнообразные толки ходят по городу. У всех состояние напряженного ожидания. Есть публика, которая остается в Киеве с явным расчетом на изменение общественного строя. Известно, что немецкие прокламации пользуются среди них популярностью. Есть такие и в нашем доме. Эта категория киевлян перекрасилась в свое время в красный цвет, приспособилась к Советской власти, а теперь ждут случая перекраситься наново в необходимые цвета. Они молчат и распускают слухи, которые ползут по городу, как змеи. Много разговоров о том, что немцы несут новый строй в виде Самостийной Украины. И что в связи с этим якобы арестована глубокая старуха Старицкая-Черняховская. И так об этом говорят, словно все предопределено уже. Страшно.

27 июля 1941 г.

Еще одна ночь прошла без бомбежки. А Москву бомбят. И фронт, говорят, все ближе. Десанты вражеские спущены вокруг всего Киева. Каждый день все новые люди рассказывают о немцах, которые во многих селах вокруг Киева. Сушим сухари. Работники хлебзавода говорят, что выпекается последний хлеб.

Тревога все растет. Все хотят развязки. Но никто не знает, что принесет она. Она может быть так ужасна, что мы горько пожалеем о нынешнем беспокойном времени.

29 июля 1941 г.

Никогда, кажется, Киев не был так красив, как теперь. Может быть, это только кажется, но, скорее, это от того, что зелень все еще свежая, сочная, что отмытые дождем, чистые и яркие крыши домов, что Днепр под ясным небом сверкает искристой лентой среди извилистых берегов. Воздух прозрачен и чист. Далеко отодвинулся горизонт, и отчетливо видны Межигорье и заднепровские села. Весь город в цветах. Природа сама заботится теперь о них и обильно поливает газоны и клумбы частыми дождями. Три дня уже хорошая погода, а было холодно и пасмурно. Моллой месяц появился позавчера. В первый вечер он был кроваво-красен и казался зловещим на вечернем небе.

Все силы противника брошены сейчас на Смоленское направление. Утреннее радио сообщило, что ожесточенные бои сегодня только на Смоленском направлении. Даже на Житомирском сегодня бои местного значения. Эти два дня настроение в городе повышенное. Откуда-то доносятся вести, что враг откинут на Житомирском направлении. И, несмотря на то, что сводки ничего об этом не говорят, слухи эти несутся отовсюду. Закрылся университет. Мне пришлось присутствовать при ужасной сцене, когда работники университета ждали денег. Была получена бумажка из Наркомпроса о выдаче работникам ликвидационных. Но бухгалтер заявил, что для него этого документа недостаточно. И в бухгалтерии поднялся истерический женский крик. Все обиды на администрацию, которая уехала и бросила всех, вылились в этом надрывном крике многих женщин.

Раздражение накапливается, и это вполне понятно. Каждый рассказывает о том, как поступали и поступают стоявшие сверху. Не могу всего описать. Уехали многие руководители, оставили народ. И нет у нас, у большинства работы, нет перспектив уехать, нет ничего впереди, кроме войны.

Государственный банк выехал в Дарницу. Мединститут переведен в Полтаву и там собирается 1 сентября начинать учебный год.

В нашей библиотеке бывает от 15 до 35 читателей в день. Для военного времени это даже много. Н.Вас. была у коменданта города, который ей ска-

зал, что из Киева никого, кроме детей не вывозят. Сами, если желаете, можете купить билет и уехать. Куда приедете — неизвестно. Да и приедете ли?

Так и сидим мы, ждем, что будет. Ходим в очереди за продуктами, которых все меньше и меньше в городе. Состояние растерянности и опустошенности в общем уже прошло. Каждый старается чем-то заниматься, но отсутствие работы все больше угнетает.

Ночи теперь звездные. Молодой месяц делает ночь более светлой, и все уже ждут, что снова начнутся налеты.

А Москву бомбят каждую ночь. И мы знаем, что страдает гражданское население.

30 июля 1941 г.

Сегодня приехал Нюсин отчим. Они выехали из Каменца на подводе, потому что город разрушен. Он был одним из тех городов, на которые обрушился смертельный ураган фашистских самолетов 22 июня. Немцы бомбили его до предела. И вот две семьи стариков на одной лошади идут с 24 июня фактически пешком, уходя от фронта. Они пробовали пробиться к Киеву — везде по дороге немецкие десанты. К Белой Церкви — то же самое. В результате они попали в Золотоношу. И вот дедушка пришел к нам. Узнав, что брат Нюси с воинской частью тоже в Золотоноше, старик немедленно собрался обратно. Он боится не застать там уже свою семью.

В дороге очень тяжело. Крестьяне настроены враждебно. Беженцам отказываются что-либо продавать. Администрация сел и городов отправляет беженцев дальше и дальше. Нигде не прописывают. Что будут делать старики дальше? Быть может, доберутся до Гути, адрес я им дала. Или вернутся сюда? Что знаем мы о том, как быть и что будет.

Наряду с замечательными клумбами ярких цветов яркое зрелище представляет собой бульвар Шевченко и Николаевский парк. Вокруг деревьев оставлены небольшие глыбы земли, в которых прячутся их корни, остальная земля вырыта, и, ссыпанная в мешки, является баррикадами на улицах. И деревья на своих обглоданных основаниях торчат из развороченной, разрытой почвы.

Проследить график настроения невозможно. Иногда жуткий, шемящий страх подавляет все чувства. Делается страшно от полной неизвестности того, что будет, оттого, что кончаются деньги, получать нечего и негде. Работы нет. Сколько протянется еще это состояние неизвестности? И что будет с Киевом, с Москвой, со всей страной, с нами? Но иногда мне кажется, что должно произойти нечто такое, что изменит положение и что победа перейдет к нам. И все-таки с самого начала войны, несмотря на приступы отчаяния, вызванные нашим отступлением, в глубине души живет уверенность в скором и благополучном окончании войны. В счастливом исходе для тех, кто останется в живых. А тысячи уже погибших! Сколько семей уже разбито горем, которое не залечить.

2 августа 1941 г.

Сегодня стреляют с 4 часов утра. На базаре смятение. Между выстрелами хозяйки бросаются к торговкам, ругаются, хватают продукты, вырывая их друг у друга, а потом, как испуганные птицы, разбегаются от выстрелов.

Во дворе у нас собрали несколько разрывных пуль.

Мучительные ночи теперь. Вечером город темный и тихий. На улицах не слышно ни машин, ни трамваев. Редкие прохожие торопятся домой к половине одиннадцатого. Громко в тишине слышны звуки радио из репродукторов, висящих на углах.

Сейчас уже луна половинкой освещает ночь, и светло сравнительно на улицах. И мертвые молчание дома с белыми крестами на окнах тосливо и мрачно толпятся в омертвевшем городе. В свете луны еще красивее, чем обычно, Андреевская церковь. Бесстрастно возвышается она над городом. Стройная, легкая, она тянется к звездному небу. Она пережила уже не одну войну. Только бы пережила и эту. Ее купола серые и не блестят. Это удача. А то и ее, как Софиевский и Владимирский соборы, выкрасили бы красной масляной краской. Все для того, чтобы не было ориентиров для противника.

Вечером город молчит. Иногда молчит и ночью. Но чаще, в короткие ночные часы врывается шум моторов, и шумят, и гудят самолеты. И все слушают приближающийся и удаляющийся звук. И все пытаются определить, наши ли летят или не наши. И если днем нет ни страха, ни ожидания, то ночью сквозь полусон, шемящий ужас тревожит и никогда не дает покоя.

И если даже совсем тихо, то все равно вслушиваешься в темноту и тишину. И ждешь, что скоро появится зловеющий звук мотора.

5 августа.

Да, нам не дают скучать. Весь день стреляли где-то далеко, а в семь часов вечера снова налет. Пишу во время обстрела. Уже зенитки, что возле нас, начинают утихать. А только что было не до шуток. Стрельба сливалась в один сплошной перекатывающийся звук, и осколки сыпались как дождь. Мне казалось, что мелкие камни бросают сверху. Но вот налет окончился, и один из этих «камушков» — осколок, сантиметров десяти в длину, лежит у меня на столе. Он упал возле моего окна, и, если бы на месте его падения стоял человек, острый кусок разорвавшегося снаряда пробил бы его насквозь.

Сейчас по радио говорили, что над Киевом четыре вражеских самолета. Вчера в это время было тридцать два, позавчера — тридцать семь.

Отбой, тревога длилась 35 минут.

6 августа 1941 г.

Абсолютная тишина. Ни звука не слышно в ночи, кроме частых далеких выстрелов. Это быют дальнобойные орудия.

Светло настолько, что видны стрелки часов и лица людей, следящих за самолетом. В звенящей тишине отчетливо слышен звук немецкого самолета. Его ловят прожекторы, вспыхивают огни от разрывов зенитных снарядов, потом самолет ускользает из светящихся полос, которые исчезают в лунном свете. И где-то далеко снова стреляют глухо и грозно дальнобойные орудия. Кто-то спрашивает из окна, ложиться ли сегодня спать. Потом, постояв немного, медленно расходимся по домам.

А далеко все стреляют. И круглая, холодная луна плывет медленно.

Теперь уже нет времени в сутках, когда бы не стреляли. Канонада ли, зенитки ли, пулеметы ли. Часы затишья теперь все реже и реже. Вчера вечером на Киев летело более ста самолетов. Долетело сорок. Они бомбили мосты и Бровары. Бросали бомбы в Дарнице. Мосты целы еще, но без конца из Броваров везут раненых. Бомбят Борисполь. Эвакуируют Днепропетровск. Говорят, что немцы идут на Черкассы. Из Киева все едут и едут. Далеко ли уезжают? Не знаю. Только в райсоветах дикие очереди за пропусками. И учреждения уезжают одно за другим.

У мужчин днем на улицах проверяют воинские билеты. Ищут дезертиров. Уже по городу не роют окопов. Те, которые сделаны, не закончены. Но возле них никого нет.

Целый день гремит радио. Передают разные песни, иногда классическую музыку. Передают рассказы об отдельных военных эпизодах и о зверствах фашистов. Фронтовые сводки делаются все суше и суше. Мы все также ничего не знаем.

Сегодня уехал исполком. Автобусы, приготовленные для выезда ЦК, еще стоят.

По вечерам, а теперь и днем, везде, во всех скверах и парадных военные патрули.

Изредка в магазинах появляются продукты. Киевляне бродят с утра до вечера по пустым магазинам в поисках чего-либо съестного. Город доедает запасы, которые остались. Новых продуктов не привозят.

Четыре предмета радуют взоры входящих в магазины: сигареты и крабы, китайские фисташки и советское шампанское.

7 августа 1941 г.

Мучительная была прошлая ночь. Безумная головная боль не давала уснуть. А в лунном сером свете ночи беспрестанно громыли орудия. Они бьют, не переставая, всю ночь, утро, день. Ночью они все время на разном расстоянии, одинаково глухи и раскатисты. А мы ничего не знаем. Что это — десант или фронт уже возле нас? В городе беженцы с Демиевки. Люди с Соломенки тоже перебираются в центр города. Выстрелы со всех сторон — со стороны Демиевки, Голосеева, Соломенки, Святошино. Разобрать нельзя. Днем они приближаются или удаляются, громыкают так, что звенят оконные стекла или приглушенно прекатываются, как далекий гром.

Все ближе какой-то конец. Снова ощущение смерти делается реальным и близким. Смятение растет, но смятение внутреннее. На лицах людей написано ожидание, и серьезно смотрят все глаза. Очень близко где-то только что раздался выстрел. Затрещали двери и окна. Затряслись руки. Трудно привыкнуть к опасности, когда она совсем рядом.

Сегодня наши не достали хлеба. За ним очереди с вечера. В магазинах только варенье и фисташки.

Отослала паспорт матери Любы. Ценное письмо приняли. Принимают и заказные. Только авиапочты нет.

Началась сильная буря. Она подняла тучи сухой пыли. Она срывает с петель оконные рамы. И в черных тучах, в ветре, в пыльном вихре еще отчетливее слышны раскаты орудий. Толстой пишет, что в 1812 году летом были частые бури. Дождя нет, есть только сухой пыльный ветер.

У нас теперь все очень хорошие. В учреждениях раздают сотрудникам пишущие машинки, арифмометры, всякий инвентарь. На фабриках — швейной и трикотажной — кое-что из продукции раздали рабочим.

Есть случаи, когда предписывают выехать из Киева с учреждениями. Но это очень редкие случаи. Большинство же таких, как мы, — никому не нужные. И никто нами не интересуется.

Вчера был Степан. Он сдал батарею и ждет перевода куда-то. Говорит, что все время страшные бои под Дарницей и Броварами. Позавчера возле них упал наш самолет. Летчик хотел выброситься на парашюте, но у него обгорела рука и он не смог его открыть. Разбился насмерть. В кармане его нашли партбилет и письмо жены, которая вместе с двумя детьми ждет его домой. Сколько такого неизбывного горя приносит каждый день!

Настроение у Степана подавленное. Никогда еще он не был таким грустным.

Ничего нет о моих близких: ни от Нюси и Любы, ни от Эвы. Все разбредлись, и нет ни от кого известий.

Читаю «Войну и мир». Очень захотелось ее снова перечитать. Часто мне кажется, что читаю описание наших дней.

У многих из нас и в мирной жизни было мало радости. Но она кажется прекрасной и недосыгаемой, потому что мы ее потеряли.

Сейчас десять часов вечера. Мы недавно вернулись домой. Льет проливной дождь. Небо в тучах, и нет ненавистой теперь глазастой луны. На площади ни одной души, только чернеет неясно Богдан Хмельницкий. Стоят темные и пустые трамваи. И в этой темноте и тишине, наполненных только дождем, где нет никаких признаков людей, громко кричит радио. В нем поет колоратура. И дико, и неприятно слышать этот громкий голос в замершем, молчащем темном городе. Нам немного нужно теперь, чтобы быть довольными. Льет дождь, ночь темна и ненастна. Но мы приветствуем ее в надежде, что она пройдет спокойно. И трудно пове-

ритель, что можно любить лунные ночи, что они могут быть мирными и красивыми, без угрозы смерти, бомб и безжалостного разрушения.

8 августа 1941 г.

По Крешатику идут и идут войска. Они движутся в сторону Дарницы. Льет дождь, и резкий холодный ветер пронизывает насквозь. Бойцы сидят на замаскированных повозках и машинах.

Закрыты многие магазины. В остальных ничего нет. На улицах совсем немного гражданского населения. Город полон военными. Милиция вооружена гранатами. Баррикады из мешков развалились во многих местах и потекли от дождя. К вечеру распогодилось, но холодно очень. А стрельба не прекращается. И кажется, что стреляют со всех сторон. Говорят, что немцы совсем близко от Киева.

Приехали Нюся и Галя. Не верю еще в это чудо. То, что им пришлось пережить, трудно передать. Они были не раз на краю гибели, у самой смерти. По своему паспорту Нюся получила билеты для Любиных стариков, и они уехали из Днепропетровска. Что будет с ними дальше? Только бы они добрались куда-нибудь в безопасное место.

9 августа 1941 г.

Сегодня так сильно ночью стреляли, что никто ни минуты не спал. По радио передали, что все должны приготовить необходимые вещи и быть готовыми. К чему? К пожарам или к бомбежке?

10 августа 1941 г.

Вчера был очень тяжелый день. Не переставая, били орудия в районе Сталинки, Соломенки и Святошино. Этот непрекращающийся грохот и гул, учащающийся, усиливающийся, и лишь иногда удаляющийся, очень действует на всех. Стараемся не обращать внимания. Но это невозможно. Как ноющая боль, мучает сознание опасности, и словно тошнота подступает к горлу от этих тяжелых выстрелов со всех сторон.

Вечером пронеслись разные слухи. Многие говорили, что немцев отогнали на 25 км в районе Беличей. Что горит Сталинка.

Вчера возле нашего дома через Андреевский спуск выстроили ряд железных рогаток противотанкового заграждения. Многие, конечно, испугались. Считают, что наш спуск будет скоро местом боев.

Увеличены еще военные патрули, которые размещены у нас в саду, в сквере, в парадных. Они предложили жителям нижних этажей оставить на ночь открытыми двери парадного и черного ходов.

Принесли слух, что сегодня ночью взорвут телеграф и наш дом, а жителям предложат уйти в сад. Возникли эти разговоры оттого, что ходили по квартирам и опрашивали, кто живет в квартирах с балконами.

Целый день не стреляли. Мы все решаем, что отогнали немцев. Шутники говорят, что немцы пьют кофе, и им некогда стрелять. А вот сейчас, когда пишу, снова стреляют, где-то близко и сильно. Когда перестают стрелять, лица светлеют. А во время непрерывной канонады все лица и гражданского населения, и военных темнеют от тревоги и ожидания чего-то страшного.

Снова на улицах полно подвод с людьми и вещами. Это жители окраин перебираются в центр.

Магазины закрываются один за другим. Раньше было мясо, потому что убивали скот, падающий по дороге. Теперь же его нет, и мясные магазины закрыты.

На базаре продукты появляются тогда, когда стрельба не делается отчаянной.

Мы сегодня шесть часов простояли за сахаром. Он еще иногда бывает в магазинах. Все знают, что есть публика, у которой квартиры ломаются от продуктов. Но у подавляющего большинства продуктов, как у Тамары Иосифовны: три чулка. Она остроумно сделала мешки из старых чулок. И имеет запасы: чулок соли, чулок гороха и чулок пшена.

11 августа 1941 г.

Рассказывают подробности боев последних двух дней. Немцы через Голосеево пробились до Демиевки. Часть из них добралась даже до фабрики Карла Маркса. Они укрепились в сельскохозяйственном и ветеринарном институтах. Наши самолеты сбросили зажигательные бомбы и сбили верхний этаж ветинститута. Теперь институты горят. Говорят, что вражеские части, пробившиеся на Демиевку и фабрику Карла Маркса, были на мотоциклах и с минометами. Их наши окружили и уничтожили.

В утренних сообщениях появилось сегодня новое — Уманское направление. Выходит, что немцы, отброшенные от Киева (а их, говорят, отбросили на 12 или 30 км), растянули еще свой фронт. Или же это из Бессарабии пробились еще новые части. Но на сегодняшний день картина такова: немцы у Черкасс, возле Канева, у Триполья, где они пытались форсировать Днепр; у Переяслава тоже пытались его перейти. И части вражеские теперь протянулись по линии: Житомир — Коростень — Белая Церковь — Умань, не говоря о Северо-Западном и Западном фронтах.

Пишу, и мне очень, очень страшно.

12 августа 1941 г.

Сегодня у нас совсем тихо. С утра было несколько немецких самолетов над городом. Постреляли немного зенитки и утихли. Налеты бывают регулярно от семи до восьми вечера и от семи до восьми утра. Вообще летают над нами целый день. Но основательно стреляют только во время

налетов. Настроение у всех бодрое, даже хорошее. Только вот уже нестерпимым делается отсутствие работы. Совсем кончаются деньги. Слишком много времени и сил уходит на добывание продуктов, часто бесплодное.

Продажу продуктов начинают теперь в 6 ч. утра, а к 10 часам уже все везде кончается. И продавцы просто слоняются возле пустых прилавков

Очереди за продуктами — главная жизненная магистраль большей части населения. Из-за трудностей люди сердятся, злятся, волнуются, все боятся, что им не хватит продуктов. Кого-то выталкивают, кто-то лезет без очереди, кого-то бьют, кричат.

Потом вдруг налетают самолеты, стреляют зенитки. И очередь, как стая вспугнутых воробьев, разлетается в разные стороны. А потом начинается еще большая неразбериха. И такая публика, как мы, чаще всего уходим ни с чем.

Толпа чаще всего озверевая. Она не пускает без очереди ни стариков, ни женщин с детьми.

За хлебом теперь становятся в очередь с четырех часов утра. Слухи о последнем хлебе, к счастью, не подтвердились. В городе увеличилась выпечка хлеба. Но его все рано нехватает, потому что все сушат сухари. Много хлеба покупают военные. Их теперь много в городе. Они расквартированы во всех садах. Николаевский парк превращен в большой бивуак. Трава вытоптана, сад совсем изменил свой прежний вид.

Много говорят о раненых. Их везут в город сотнями. Легких оставляют в Центральной поликлинике, оборудованной под госпиталь. Тяжелых везут на Пушкинскую.

13 августа.

Ночь прошла совершенно спокойно. И за весь день ни одного выстрела, кроме ружейных в стороне нашего сада.

По радио сообщили, что на всех направлениях никаких существенных событий не произошло. Указание направлений вообще отсутствует. От Киева немцев отогнали за Белую Церковь.

Что обозначает эта абсолютная тишина? Готовится ли для нас что-то очень страшное или же начинается улучшение наших дел на фронте, которого мы все так ждем?

Радуемся, что Киева никто не собирается сдавать. И уверенность в этом укрепляется.

Сегодня замечательная погода. Ни единого облака, ни малейшего ветра. В воздухе словно застыло ожидание осени. Пахнет прелыми листьями, хотя все еще зелено, как никогда в это время. На улицах много народа. Лица веселые. И если бы не сознание, что война продолжается, казалось бы, что ее нет.

14 августа.

Трудно сказать, стратегический маневр или необходимость то, что сдали Смоленск. Об этом уже сказали по радио. Появилось новое направление — Старо-Русское. Значит, на Ленинград идут от Кексгольма и от Старой Руссы, а на Москву прямо от Смоленска.

Сейчас половина десятого вечера. После дня тишины — налет. Забавали зенитки, но скоро умолкли. У меня большая радость: я получила работу. Пришла в библиотеку как раз, когда меня собирались разыскивать. Это Ф.М. Чекалов, который теперь исполняет обязанности директора библиотеки, порекомендовал меня в Академии на должность зав. магазином Академкниги. Я было заколебалась, боясь, что не справлюсь. А потом решилась. В портфеле у меня ключи от магазина. Я буду в нем одна. Его бросили. Он был закрыт почти полтора месяца. А вот теперь его снова решили открыть. Сегодня лицом к лицу столкнулись с тем, как трудно в Киеве получить сейчас работу. Пока я дошла со своей новостью до дома, меня человек двадцать просили помочь им устроиться куда угодно, только бы работать.

15 августа.

Ночью глухо далеко, но упорно стреляли. Днем было тихо. Только по радио передали, что немцы заняли Кировоград и Первомайск. Теперь Одесса отрезана, а фронт еще растянулся. На Москву продолжают летать бомбардировщики. На нас почти не летают.

В городе тихо. Погода хорошая. Тихо и в пригороде. На базаре много зелени и вишен.

Сегодня принимала магазин. Пришел представитель Академии. Мы с ним вошли. Все содержимое магазина почему-то грудями лежит на полу. Приемка заключалась в том, что мне сказал пришедший товарищ: «Поставьте все на место и открывайте магазин». Прошу его все же сделать переучет.

В антикварном отделе есть очень хорошие книги, они переоценены, и стоят много дешевле, чем стоили в мирное время. Никакой описи нет. Преобладают в магазине издания Украинской Академии наук. Всего не рассмотрела, но видела в большом количестве труды института Богомольца, книгу Пассек о трипольской культуре, труды института истории. Я счастлива. А люди все просят и просят работы.

16 августа.

Новостей нет. Сегодня не говорят уже, что упорные бои от Ледовитого океана до Черного моря. Говорят только, что из Василькова никак не могут выбить немцев. И еще говорят, что эвакуируются Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

Сегодня утром И.В.Сталин принимал у себя представителей Англии и Америки по поводу декларации этих двух стран о строении мира после уничтожения всех наци. Не рано ли говорить о том, что будет после их уничтожения, если сейчас они все идут вперед и еще не терпят поражения! Трудно говорить сейчас о будущем благоустройстве мира. Сколько убитых, сколько покалеченных жизней, разрушенных стран, растоптанных кованым фашистским сапогом идеалов, стремлений! А что еще ждет нас впереди?

Все сейчас построено на контрастах. Погода стоит необыкновенная. В природе такая тишина, словно не бывает ветра, и дым из труб КРЭСа стоит ровным столбом неподвижно. Жарко днем. А в чистом небе самолеты, все время самолеты. Хотя бомб сегодня не было слышно. И только рвались совсем близко снаряды зениток и строчил пулемет. Наши женщины во дворе все время убегали из сада и прятались в парадные со своим вышиванием. В магазине уже больше порядка. Нюся и Галка помогают мне. Скоро уйдут женщины, которые делают переучет. И станет тоскливо. Временами кажется, что напрасно взялась не за свое дело.

17 августа.

В городе тихо, изредка летают немецкие самолеты. На Крещатике спокойная, даже веселая летняя толпа. Народа много, не меньше на улице, чем до войны. Сегодня в магазинах есть хлеб, и ни одного человека в очереди. Уже кончилась хлебная вакханалия.

18 августа.

Ничего не понимаем. Мы сдаем и сдаем города. Сегодня утром радио сообщило о сдаче Николаева и Кривого Рога. Одесса, значит, отрезана. А у нас снова всю ночь и весь день непрерывная глухая стрельба. Снова канонада.

19 августа.

Врагами взят Кингисепп. Это в ста километрах от Ленинграда. У нас сегодня тише, стреляли с утра, а потом перестали стрелять. Погода чудесная. На базаре много фруктов и овощей. В городе много цветов. Настроение неплохое. По-прежнему нет работы. В консерватории собирают учащихся и пытаются соединить с нею учеников муздесятилетки и техникума.

20 августа.

Сегодня появилось Одесское, Гомельское и Новгородское направления. Но ничего не говорят о взятых городах. И это уже хорошо. Война идет такими темпами, что если день нет особых известий, это уже хорошо.

В городе тихо, хотя стреляли упорно и, как говорит Нюся, густо целую ночь. Потом днем перестали стрелять. А вечером медленно пролетел бомбардировщик, но бомб не было.

21 августа.

Шестьдесят дней войны. Наши дела лучше, чем дела на других фронтах. Сегодня утром читали по радио обращение ЦК Партии и Совнаркома к Ленинградскому населению. В обращении призыв к ленинградцам бороться до последней капли крови за Ленинград. Мы понимаем, что там очень трудно. И страшно за город Ленина, за колыбель революции. Вечерние известия — три направления: Новгородское, Одесское, Гомельское.

22 августа.

Вчерашнее радио: сдан Гомель.

25 августа.

Событий очень много. Они разворачиваются быстрее, чем можно их записать. Сегодня появилось Днепропетровское направление. На остальных фронтах — ожесточенные бои.

Продукты совсем исчезают из города. Но хорошо, что работают столовые. И даже неплохо кормят. В Кубуче можно пообедать за 2 рубля. За хлебом снова очереди, но никто не остается без него.

По-прежнему идет мобилизация на окопы. Многие не хотят идти работать на них.

Нюся и Галка много помогают мне в магазине. Сейчас уже в нем почти совсем порядок. И даже уже четыре дня торгуем. Покупателей довольно много. Больше всего спрашивают классиков и медицинскую литературу. Не знаю, чем объясняется то, что люди тратят довольно большие деньги на приобретение книг. Покупают полные собрания сочинений классиков, которые стоят иногда более ста рублей. Приходит много военных. Большинство из них ничего не покупает. А очень хотелось бы им книги купить. Но куда их взять с собой. Придут, попросят посмотреть книги. Поговорят немного. Некоторые охотно расскажут о себе, другие просто подержат книгу в руках. Вернут и уходят. Ребята покупают учебники.

В субботу еще было распоряжение начать 1 сентября учебный год. А сегодня вдруг приказ из Наробраза: до особого распоряжения учебу не начинать и направлений учителям на работу не выдавать. Это, как мне сказали в Академии, в связи с тем, что к Киеву подошли очень большие силы немцев, а наших войск еще больше. И снова подтверждение, что т. Сталин сказал: Киева ни под каким видом не отдавать.

Вот и живем мы все время, как на вулкане. Снова в городе ожидание скорых и страшных боев.

Уже несколько дней в Киеве существует «частная торговля» — мальчишки продают газеты и конфеты-подушечки.

Сегодня совсем тихо. Только один самолет был над городом.

Сейчас совершенно невероятная темнота, хотя небо ясное, и звезды как-то особенно ярко сверкают. Не видно собственной руки. Со стороны Телички видны вспышки и очень неясно слышны выстрелы.

Во дворе фосфорическим светом сверкают глаза кошек.

Мало кто спит. Слышны тихие голоса тех, кто сидит во дворе.

28 августа.

Я отношусь к числу счастливых, так как я работаю. И это правда. Когда работаешь, даже война словно дальше.

29 августа.

25 числа сдали Новгород. А сегодня сказали, что сдан Днепропетровск. В народе говорят, что его сдали без боя, а другие утверждают, что там были страшные, ожесточенные бои.

Война принимает неимоверные размеры. Что обозначает это движение немцев, которое не останавливается нигде? И хотя они несут огромные потери, хотя все равно у меня и у многих других крепка уверенность, что победим мы, а не они, все равно факт остается фактом — они идут вперед, они забрали уже огромную территорию, и до сих пор их наши войска не отогнали назад.

Мы ничего, ничего не понимаем. Временами охватывает такой страх, какой-то животный ужас, с которым невозможно справиться. А временами, чаще, мы все еще ждем решительного перелома, поворота в войне, который должен быть, но который так запаздывает.

Город снова полон слухами. Кто-то говорит, что есть приказ о сдаче Киева. Мы считаем, что это провокация. Все говорит об обратном. Киев будут защищать. Очень много наших войск стянуто к Киеву. И вчера был в оперном театре митинг интеллигенции Киева. На нем снова и снова говорили о том, что Киев был и будет советским. На митинге выступал Бажан. Значит, он в Киеве. Это очень хорошо.

Первого школы не начнут занятия. Но это не только у нас. В Харькове тоже есть распоряжение начать учебный год 15 сентября.

Дети без конца приходят за учебниками. И очень много народа приходит за книгами.

Мне казалось, что в наше напряженное и безденежное время книги не будут покупаться. А меж тем я ежедневно продаю книг на сто пятьдесят и больше рублей.

Приходят военные врачи. Они жадными глазами смотрят на книги, говорят о том, как хотелось бы их купить. Но покупают только самое необходимое, а чаще не покупают ничего. Куда им брать книги в их бое-

вую обстановку! Вчера пришел боец. Он просил какую-нибудь книгу для чтения, только чтобы там не было войны.

— Скучно, когда не стреляют. Тогда бы почитать чего-нибудь, — говорил он. — Не знаю только, успею ли прочесть. Может, сегодня ночью убьют, и книгу не прочту.

Он приехал с фронта и снова возвращается на фронт, который в 30 или 40 километрах от нас.

А второй боец попросил у меня сегодня какой-нибудь «роман».

— Нам, — говорит, — теперь только романы можно читать. И купил несколько книг Салтыкова, Чехова и Немировича-Данченко.

Жизнь идет каким-то своим чередом. Ездят на окопы. Стоят в очередях. Возле моего магазина и кондитерской целый день крик и шум. Очередь запрудили весь тротуар. Там продают патоку и повидло. Снова открылся военный магазин. В него прикрепили с большими строгостями комсостав со всего города. И там теперь бог знает что творится. Много раз извиваясь, очередь занимает все тротуары вокруг магазина.

На Крещатике песочные баррикады, растекшиеся от дождя, обиты досками, и возле них дежурят бойцы коммунистических бригад.

Работы по-прежнему нет в городе. Без конца приходится отказывать просящим работу. Просто сил никаких нет. Слава богу, у нас дома немного успокоились. А то приехал Степан и заявил, что Татьяна должна ехать с ним, куда он с батареей, туда и она. Шурку хотели оставить у нас. Леля в ужасе. Татьяна плакала все время. Было от чего «вспухнуть». Как оставить ребенка у нас на полную неизвестность? Как отпустить Татьяну на фронт в такие страшные условия?

Но вчера стало известно, что никуда Степан не едет. И настроение у него совершенно упадническое. Говорит, что поражение наше неизбежно, надеяться не на что. Мы немного успокоились за Татьяну и Шурку, но на душе темно. Страшно перед будущим, хоть и стараемся крепиться.

Ночь темная, хоть снова выполз тонкий и яркий месяц. Звезды особенно яркие на темном небе. Теперь ночи холодные. И днем все время было прохладно. Только сегодня немного потеплело. Пока писала, было все время тихо. А вот сейчас где-то далеко звук бомбы. Или дальнобойное орудие.

Грустно. И очень трудно бороться с подступающим отчаянием. Что-то принесет нам утреннее сообщение по радио?

31 августа.

Сегодня снова светит яркое солнце, радио играет веселые песни, а со стороны Сталинки непрерывно громяхают орудия. Стреляют часто, и временами кажется, что очень близко. Вчера откуда-то появились слухи, что возле Киева переходят на позиционную войну. Возможно, Киев хорошо укреплен, окопов вырыли достаточно. А больше всего говорят о блестящих возможностях нашей артиллерии.

Вчера и сегодня по радио сообщения об упорных боях на всех фронтах. Состояние неизвестности нынче не так угнетает. По всем признакам нет сейчас непосредственной опасности Киеву, хотя канонада слышна непрерывно.

Вообще же чего-то ждут. Снова деревья и тротуары мажут белой краской. Это значит — предполагаются очередные передвижения войск по улицам. Вероятно, этого не делали бы, если бы думали об отступлении.

И, может быть, оттого, что очень трудно примириться с мыслью, что немцы могут быть в Киеве, не исчезает, а, наоборот, укрепляется уверенность, что Киев не отдадут.

Каждое новое проявление жизни вызывает радость. Так, например, вчера появились афиши об открытии 4 сентября сезона в цирке. Разумеется, радуемся не тому, что будет цирк, а тому, что, значит, оживает загложшая жизнь, и что, значит, не безнадежно еще наше положение.

В магазине все одинаково проходят дни. Покупатели бывают беспрерывно. Покупают художественную литературу. Спрашивают преимущественно классиков. Часто приходят бойцы. Они покупают книги, не считая деньги. Иногда поговорят, пошутят. настроение у них чаще всего ровное, спокойное. Но, бывает, что придет боец, грустно, грустно посмотрит на книги, постоит тихо и уйдет. И ничего не скажет. Сегодня молодой лейтенант-артиллерист купил и повез на передовую полное собрание сочинений Толстого. Бывают мучительные минуты в магазине. И много их. Это когда приходится говорить, что нет работы, и отказывать приносящим книги на продажу. У меня есть жесткая норма на покупку старых книг, установленная бухгалтерией Академии. Иногда жалко людей, я ее нарушаю. И получаю строгие внушения.

Очень много безработных.

В новом корпусе университета появились новые жильцы. Это девушки-дружинницы, которые считаются мобилизованными. По мере надобности их посылают на работу в госпитали. Некоторые из них одеты в военную форму.

В Киеве сейчас Безыменский. Будет его авторская передача по радио. Киевские композиторы, многие оставшиеся в городе, собираются писать музыку на его стихи.

Вечером вчера было тихо часов до десяти. А потом началась канонада. Стреляли, как никогда, часто, не переставая, и выстрелы следовали один за другим, как один сплошной перекатывающийся гром. Канонада приближалась и удалялась. Говорили, что слышали свист снарядов.

Никто не спал, а несколько человек сидели во дворе.

В час стрельба прекратилась.

Ночью у нас уже с давних пор дежурят в парадных военные. Они обычно тихо спрашивают: «Кто идет?» Но сегодня ночью, часов около трех кто-то побежал, тяжело стуча сапогами. Его громко окликнули. Он

побежал назад. А военные задвинули стоящие у нашего дома рогатки, чего раньше никогда не делали. Очевидно, ждали ночью чего-то. Сейчас идет дождь, и снова близко стреляют. Странная закономерность: всегда, как только идет дождь, больше стреляют.

Вчера оказалось, что все институты Академии оканчивают свое существование в Киеве. Остается только библиотека и магазин.

7 сентября.

Мне пришлось проваляться в постели несколько дней. Заболела. Потому и перерыв в дневнике.

Все эти дни тихо. Сегодня где-то далеко стреляют, но выстрелы слышны только, если быть в саду. Тихо и по ночам. Даже странно это. Изредка летают самолеты. Совсем редко бьют зенитки, но это уже не считается стрельбой.

Когда стреляют, кажется, что наши дела хороши. Крепнет надежда, что Киев не отдадут.

Уже осень. Дали за Днестром делаются более прозрачными. Солнце менее ярким. Совсем короткими становятся дни. Киев не изменился внешне. Так же ровными столбами подымается дым из труб КРЭСа. Так же белеют дома на Подоле и в гавани. И так же бежит Днепр под мостами среди зеленых еще берегов. Лето прошло, не знаем, каким оно было. Может быть, и не было его вовсе.

За все дни никаких новых сообщений по радио. Бои на всем протяжении фронта. 3-го числа сообщили о сдаче Таллина. Мы знаем уже, что если некоторое время не говорят в сообщениях о направлениях, где идут бои, значит, что-нибудь снова сдают. Что обозначает наша передышка?

Есть много обнадеживающих начинаний. Во-первых, завтра начинается во всех школах Киева учебный год. Начинают заниматься десятилетки и другие средние специальные школы. Нюся завтра начинает регулярно работать. Она будет читать историю музыки и руководить предметной комиссией в музыкальной десятилетке. Будет работать и вечерняя консерватория. С завтрашнего или даже с сегодняшнего дня начинает работать музыкально-драматический украинский театр. Играть будут в помещении оперного театра. Организуется военный драматический театр. Но зато продовольственный вопрос в городе все усложняется. В магазинах нет ничего. Пустые прилавки, и нет даже продавцов. К концу дня в магазинах на Крещатике появляется колбаса, иногда холодное и сырые котлеты. Тогда там смертоубийство — свалка. В очередях стоят по три-четыре часа и часто уходят с пустыми руками.

Спасают очень столовые. Их еще довольно много. Варят в них преимущественно какой-нибудь суп. Но это прекрасно, потому что хлеба в столовых еще хватает.

Мы все получаем по 600 грамм хлеба в день. И после раздачи хлеба по карточкам продают еще оставшийся в магазинах. На базарах есть овощи, фрукты, молоко. Жиров нет. А имеющиеся в продаже стоят недоступно дорого. Крестьяне беззастенчиво пользуются нашими затруднениями. Они выменивают у горожан целый хлеб за одно яйцо!

Голода нет. Но приближение его страшным призраком поднимается впереди. Спасти от него нас может только, если Киев будет оставаться советским. Тогда будет и хлеб.

Сейчас к Киеву остались два незанятых пути — от Нежина и от Полтавы. Если их отрежут, мы останемся в мешке.

9 сентября.

Никаких особенных новостей нет, кроме того, что после вчерашней осени светит снова солнце и снова тепло.

Новости есть, но я их еще не знаю. По радио передали, что наши отобрали какой-то город. Какой — не разобрала из-за шума трамвая.

Вчера все школы занимались. В школах есть буфеты, и дети могут прилично поесть. В буфетах есть даже масло, о котором уже все давно забыли.

10 сентября.

Вчерашний город — Ельня, недалеко от Смоленска. После тяжелых боев наши отбили его у фашистов.

13 сентября.

Сегодня сообщили по радио о сдаче Чернигова. Вечером сказали, что вражеские войска идут в направлении Брянска. Это значит, что их клин все расширяется. Недаром говорили, что у нас будут еще большие территориальные потери.

Харьков бомбят. Об этом пишут уехавшие киевляне. Одесса держится. Держимся и мы.

Снова позавчера целый день шли войска по городу в одну и в другую сторону. Шли они под проливным дождем. Погода была ужасная. Вчера потеплело, но по-осеннему. Ночи темные и холодные.

В городе сравнительно тихо. Самолетов нет, но почти все время стреляют, правда, с перерывами и далеко. Иногда вдруг слышны быстрые и частые выстрелы. А потом снова тишина. Стреляют все время со стороны Сталинки. В темноте ночи видны вспышки, словно где-то зарницы блещут или идет трамвай. Но ни того, ни другого быть не может. Где-то бьются наши.

Город все время тихий, присмиривший. Когда несутся трамваи или машины, тогда шумно, как в довоенное время. А когда нет их на улицах, тогда так тихо, как в деревне. И только громкий голос радио отчетливо и

далеко слышен. В семь часов вечера под рупорами собирается небольшая толпа. Слушают последние известия. Но в большинстве случаев Москву забивают немцы. И тогда в булькающих, свистящих звуках ничего разобрать нельзя.

Все плохие известия передают в 6, а потом в 7 часов утра. В семь вечера повторяют утренние известия. Московские передачи повторяют в 2 ч. дня.

Радио — великая вещь. Очень много людей, не имеющих известий от своих, разбредшихся в разные концы нашей страны, находят их при помощи радио.

На базарах цены растут неимоверно.

Общественные столовые работают. Но качество обедов все снижается. О сладком нужно забыть. В очередях можно выстоять только патоку или тыквенное повидло. Те, кто работает, как и раньше, ничего не могут достать. Счастье, что хлеба вдоволь.

Оказывается, Академия не вся выехала. Остались все музеи, ботанический сад, библиотека и магазин. Работают школы. Ребят в школах хорошо кормят. Вчера пришли в магазин два командира. Выразили удивление, как спокойны киевляне. Говорят, что везде, где они проезжали, народ тревожный, взволнованный и перепуганный. А в Киеве все работают и живут, словно фронт очень далеко. Это радостно слышать. Но посмотрели бы они на Киев в первых числах июля!

Катастрофический характер принимает отсутствие работы. Даже те, кто работает, далеко не все имеют полную загрузку. Многие работают полдня. И всем не хватает на жизнь. Мало кто работает по специальности. Ежедневно приходится отказывать просящим работу. Очень это тяжело.

В магазине спокойно. И я постоянно мысленно благодарю товарищей, которые меня в него определили. Покупателей немного, но все же торговля не замирает. Кое-что покупаю у людей и продаю в день рублей на 150-200. По-прежнему больше всего спрашивают медицину, а еще больше художественную литературу.

Больше всего приходят бойцы с фронта, молодой комсостав. И чаще всего их отношение к книгам проникнуто каким-то особым чувством теплоты и благородства. Не могу припомнить ни одного случая грубости или даже просто критических замечаний в адрес нашей литературы, что так часто позволяют себе некоторые покупатели.

За день насмотришься на каких угодно людей. И в этом калейдоскопе лиц великолепно отражается настроение города — ровное, спокойное, пришибленное.

Уже мне кажется, что я давно, давно работаю в магазине. И если две недели тому назад я смущалась при необходимости завернуть книги, то сейчас я чувствую себя исконным работником прилавка. Словно я никогда ничем другим не занималась.

14 сентября.

Пишу при тусклом свете свечи. Глубокая ночь.

Сегодня все время стреляют. Стреляют далеко и глухо, но непрерывно. Днем, когда улица шумит, выстрелы не так слышны. Но ночью их непрерывный гул один висит в воздухе. И некуда от него уйти. Но не от гула канонады хочется уйти, а от жуткого сознания, что вот мы спим в своих теплых постелях. А так близко за городом, бьются непрерывно, и днем и ночью, такие же люди как мы. Бьются и умирают. И десятки тысяч детей не увидят больше своих отцов, а матери своих сыновей, молодых ребят с грустными глазами, тех, что огрубевшими руками с такой особенной теплотой трогают книги, которые им некуда взять. Вот от этого сознания некуда уйти.

А город живет своей жизнью. Стоят очереди за маслом, за патокой. Радио громко поет свои нескончаемые песни или рассказывает бесчисленные боевые эпизоды. Хозяйки стирают белье и варят обед. Учреждения работают. Работают заводы, электростанция, телеграф. Все идет своим обычным порядком, несмотря на то, что со стороны Сталинки непрерывно доносится гул канонады.

И снова, хотя, казалось бы, можно было уже привыкнуть, подступает к горлу тяжелый комок, не слез, нет, а какой-то тяжести, словно ноющей боли.

С утра собирался дождь, а сейчас выглянуло солнце. С улицы доносятся веселые детские голоса. Но сквозь все уличные шумы, не переставая ни на минуту, слышится глухой артиллерийский бой.

Новостей же нет вообще никаких. Писем нет ни от кого. И дни похожи один на другой. Только сегодня больше, чем обычно стреляют. Вокруг Киева очень тревожно.

Мои молодые покупатели-бойцы рассказывали, что хотели поехать в Харьков — их отпустили на несколько дней. И не смогли выехать. Во все стороны пытались проехать, но ничего не вышло.

Вдруг началась паника. Выстрелы послышались ближе, совсем близко несколько разрывов. Вверх по улице Ленина побежали с Крещатика. Кто-то побежал из очереди, что стоит за патокой. Говорят — это снаряды, один или несколько, разорвались возле Бессарабки.

Неважные сведения приносят проходящие. Нежин взят немцами. В Прилуках, Ромнах паника. Их окружают. И самое ужасное, что панический страх в армии. Мои фронтовые посетители, они очень грустные сегодня, говорят, что есть случаи паники в комсоставе.

Дороги запружены машинами, которые устремляются вглубь страны. Страшно, очень страшно.

15 сентября.

Сегодня весь день ушел на пилку дров и получение продуктовых карточек. Будем прикреплены к магазинам и организованно будем получать продукты. Это просто прекрасно.

16 сентября.

Теперь мы действительно живем на фронте. Вчера стреляли целый день. Стреляют все дни. А сегодня утром без четверти шесть началась канонада. Начался, как говорят, ураганный огонь. Стреляли временами настолько близко, что дрожали окна. И близко слышны разрывы. Летали тяжелые бомбардировщики. Мы уже отвыкли от них.

Нюся не знала, пускать ли Галку в школу. Но Галка все-таки пошла. Когда пришла в школу, была самая сильная канонада, и оконные стекла в классе вылетели на улицу. Ей порезало руку.

Несмотря на запрещение, ребята убежали из школы, потому что на улице Саксаганского, совсем близко от школы, разорвался большой снаряд. Сегодня снаряды рвались в Лавре, на Лукьяновке. Несколько снарядов было на мосту, что идет к Соломенке. Рвались у вокзала, на Рогнединской, на Госпитальной, на Пушкинской в 35-м номере. Это то, что ближе к нам. А уж о Сталинке и Соломенке говорить не приходится. Как-то все время тихо со стороны Пуши, на Куреневке. Наши батареи стоят в Николаевском парке, в Ботаническом саду. Стреляют оттуда. И в библиотеке все ждут попадания снарядов в нее, потому что, нащупывая огневые точки, немцы будут стрелять по домам, как бьют уже сейчас.

О жертвах говорят немного, но они есть в большом количестве. Бьют немцы из Пирогова.

В Николаевский парк все время возят снаряды и не разрешают пешеходам ходить по той стороне, где парк. Нюся забрала из дому мокрое белье. Будет стирать на Андреевском спуске, потому что у них на Саксаганского небезопасно. Вчера объявили о сдаче Кременчуга, который, говорят, был сдан еще 9-го числа.

В народе говорят, что взяты Прилуки и Лубны. И это подтверждается тем, что все учреждения, вывезенные из Киева недавно, вернулись снова в город. Вернули Облздрав, Облсобез и многие другие. Говорят, что все Правительство Украины снова в Киеве, а до этого времени мы жили, по сути, без власти. Но и сейчас мы не очень ее чувствуем. Правда, в газете напечатана статья секретаря ЦК КП(б)У Лысенко о том, что Киев был, есть и будет советским, в чем он клянется народу. Всю армию от Прилук и Лубен стянули к Киеву. У меня ежедневно самые свежие сведения от военных, которые по-прежнему приходят в магазин.

Кто не успел выехать из Киева, уже застрял. Мы окружены. Что теперь будет с Киевом? Что будет со всеми нами?

Сдавать Киев никто не собирается. А на победу сейчас мало надежды. Моя уверенность в том, что Киев не сдадут, начинает колебаться. Это ужасно. Подсознательно ждем, что извне наши бросят большие силы и прорвут кольцо. Но почему это не делается? Будет ли это когда-нибудь?

Письма писать бесполезно. Почты нет.

Продукты, которые вывезли раньше, сегодня снова привезли в Киев. Тревожный теперь город. Хоть и шумно на улицах, но шум этот взволнованный, необычный.

Спешат машины. Они сегодня мчатся быстрее и чаще, чем всегда, и, как люди, имеют встревоженный вид, закамуфлированные, грязные.

Очереди стоят. Но если близко слышны разрывы, разбегаются вспуганные в разные стороны.

И так нелепо, что частые выстрелы перемежаются с веселыми песнями, которые поет громкое радио на всех углах. Вот сейчас передают «Письмо Татьяны», а сопровождают ей разрывы снарядов и выстрелы орудий.

А люди? Настороженные одни, испуганные другие, спокойные или взволнованные, спешат, бегут или медленно, словно гуляя, бродят по городу.

С утра было серо и холодно. Но потом тучи разорвались. И сначала стояли в небе неподвижно перламутровые барашковые облака. А потом к вечеру оно совсем очистилось. Небо было светлое, и прохладой веяло от его осенней голубизны. И солнце, садясь, отблескивало ярким алым светом на стеклах домов. И почудился в этом огненном свете кровавый отблеск далеких пожаров.

Вечером принесли тяжелое известие: убита подруга Татьяны — Лида Банина. Убита в Прилуках. Снаряд попал во двор штаба, где она работала. Она перебежала через него. Нашли только ее голову.

Мне жаль нашу молодежь. Они прожили только двадцать лет. Из семи человек «хабаровцев» нет уже двоих. И Татьяне грустно, она не плачет, только глубокое отчаяние в глазах, спрашивает: кто же из нас на очереди? — Если так говорят старики, это в порядке вещей. Но когда так говорит молодежь, делается очень больно.

Когда слышишь, что убито пять, десять, двадцать тысяч человек, делается страшно и грустно, от сознания того, что погибло столько человеческих жизней. Но когда слышишь о смерти одного, но человека, которого близко знал, это сознание бывает просто нестерпимым. Ибо знал этого человека живого, и мертвым его нельзя представить. Так и Лида — молодая, веселая, никак не совмещается в сознании с известием о ее смерти. Боймся за Степана. Он прислал свои вещи и пишет, что, очевидно, с винтовкой придется защищать Киев. А меж тем он месяц сидит вместе со своими бойцами на батарее и ничего не делает. И теперь он также в кольце вместе с огромной армией возле Киева.

Что будет со всеми этими десятками тысяч людей? С ними и с нами. Спасение может быть лишь в прорыве кольца. Но для этого нужно чудо. Будет ли оно?

17 сентября.

Весьма оживленно в городе. Кольцо сомкнулось, оно все сжимается. Войска все сдвигаются к Киеву. Начальники, которые хотели выехать,

все вернулись назад. Всех раненых, направлявшихся в Полтаву, Прилуки, Лубны, всех привезли в Киев. Только в одной детской больнице возле Зоологического сада их тысяча пятьсот человек.

Все продукты свозят в Киев. Свозят и все снаряды. По городу носятся машины. Чувствуется возбуждение во всем.

Увеличились очереди за хлебом. Теперь работающие получают по 500 грамм, а остальные по 300. Вчера в районе вокзала и Красноармейской хлеб привезли лишь вечером. Сегодня по городу магазины продают сливочное масло.

Все еще строят заграждения перед витринами магазинов. Уже многие из них забиты снаружи досками доверху и засыпаны внутри песком. Свозят доски и во дворы. Говорят, что будут забивать окна нижних этажей. Киев превращается в крепость. Те, кто возвращается или приезжает в Киев, удивляются тому, что жизнь внешне идет нормально, несмотря на непрекращающуюся перестрелку. Вчера ночью снаряды попали в ТЭЦ, в мост, что идет к Соломенке, на улицу Саксаганского № 2, на Степановскую и в другие места. Всех не знаю, да их и не перечислить. Пока никто не говорит о попаданиях в большие заводы «Арсенал», «Большевик», «Ленинская кузница». Надеюсь, что они целы, наши заводы. На Сталинке и Соломенке большие разрушения. Вчера днем меньше стреляли и далеко. И сразу же откуда-то пронесся слух, что немцы объявили нам ультиматум: сдать Киев или его будут бомбить. И на размышление якобы был дан целый вчерашний день. Но размышления, по-видимому, не было. Как стреляли позавчера, так и вчера, только дальше и меньше. А ночью вчера стреляли близко через равные получасовые промежутки. В школах вчера было по четыре-пять человек в классе. О том, что наша связь с внешним миром прекращается, свидетельствует отсутствие почты и, главное, газет. Вчера в городе была только «Пролетарская правда», клише которой, очевидно, готовится в Киеве.

Пишу в магазине. Против обыкновения уже больше часа никого из покупателей нет.

Что-то произошло с радио. Вчера оно играло целый день, как обычно, а сегодня утренние передачи начались и окончились очень странно. В шесть часов утра обычная передача вдруг началась с лозунга: «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» на немецком языке. И голосом другого диктора, не того, который обычно говорит. Затем заговорила Москва, опровергая немецкие сообщения о том, что еще 3-го числа они заняли Брянск. Окончилось опровержение сообщением о больших потерях немцев под Брянском. Вдруг на полуслове радио замолчало. И молчит совсем до сих пор. Ни одного звука не доносится из репродукторов.

Сейчас 12 часов дня. Испортилось ли наше киевское радио или какие-нибудь другие причины заставили его умолкнуть?

Вчера на Сенном базаре будто бы подняли листовки, в которых немцы обращаются к красноармейцам с предложением сдать Киев, чтобы не губить жен и детей, потому что иначе они будут разбивать город. Но мы знаем, что Киев еще никто не собирается сдавать. И хотя готовятся, может быть, страшные события, сейчас радостное чувство, что мы не сдаемся. А стреляли утром страшно. В течение часа орудия громыхали ураганным огнем. Выстрелы сливались в один перекатывающийся гул. И трудно было разобрать, откуда стреляют. Казалось, отовсюду.

Ребята снова не пошли в школу, хотя эта упорная канонада окончилась к восьми часам утра, и теперь стреляют не очень часто, но близко.

Слышны разрывы в стороне Сталинки и Печерска. Но жизнь по-прежнему идет своим чередом. Мчатся машины, и громко шумит очередь, которая заняла весь тротуар.

Сейчас потеплело, а ночью было холодно, морозно. Светит солнце, и пока выстрелы далеко, на них никто не обращает внимания.

Сегодня покупателей мало, но они все же приходят. Один сказал:

— Пришел посмотреть на храбрую женщину, которая не боится сидеть в магазине в такое беспокойное время. Он же сообщил, что только что разорвался снаряд в ограде Софиевского собора.

Снова готовим мешки № 1. Очевидно, в любую минуту может наступить момент, когда надо будет засесть в подвал. И неизвестно, можно ли будет выйти из него. А что такое происходит вообще — определить невозможно. На что рассчитывают руководители армии?

Говорят, что Буденный был в Прилуках. Значит, теперь он, наверно, будет в Киеве. И что на помощь нам идет Тимошенко с полуторамиллионной армией. Вообще же мы, как и все время, ровно ничего не знаем. Не могу себе представить, чтобы допустили гибель такой большой армии, которая оказалась в кольце возле Киева. И думаю, что все-таки пробьются. И наше осадное положение не окончательно.

Ближе разрывы, и улица делается беспокойнее. Некоторые прохожие бегут. Но большинство идет медленно. А очередь за маслом стоит.

Радио молчит. Выстрелы все на одинаковом расстоянии, слышны с перерывами в полминуты или подряд.

Очень ли ощущается паника? Скорее, нет. Лица встревоженные, серьезные, и много веселых, смеющихся лиц. Где-то очень близко разорвался снаряд. Задребезжали стекла. Задрожали руки.

Тревожно в библиотеке. Там боятся снарядов оттого, что немцы будут нащупывать батареи в Николаевском парке и Ботаническом саду.

Через час пойду к ним.

25 сентября 1941 г.

Я глубоко ошиблась. Все рухнуло. Рухнуло быстрее, чем мы могли предположить. И тогда, когда я писала восемнадцатого числа, уже все

рушилось и рушится до сих пор. Сегодня седьмой день немцы в Киеве. Мы седьмой день в оккупированной немцами зоне.

Начались все события тогда, когда я еще сидела в магазине.

Я побежала в Академию. Оказалось, что Корчагина уже нет. Он ушел с коммунистическим батальоном. А его обязанности уполномоченного Президиума Академии перешли к коменданту здания Навроцкому. Он сказал, что под снарядами меня заставить торговать не могут, и я могу, если хочу, закрыть магазин. Оттуда пошла в библиотеку.

Бульвар Шевченко представлял собой страшное зрелище. Повозки, машины, орудия, походные кухни, пехота — все смешалось в одну непрерывную, бегущую толпу, стремящуюся прочь из города в сторону Днепра. Они задерживали друг друга, все наезжали один на другого. И это беспорядочное бегство производило страшное впечатление.

В библиотеке все плакали. Стучали в окно кассирше, чтобы быстрее платила деньги, потому что дети остались дома, а снаряды рвутся по всему городу.

Идти по городу было страшно. Снаряды свистели над головой и падали, и рвались везде.

Когда я пришла в магазин с намерением закрыть его, там была Леля, трясущаяся, перепуганная. Оказывается, возле нашего дома все время рвались снаряды.

Было жутко идти, свистели снаряды, сыпались стекла, растерянные люди бежали во все стороны. И нелепым, диким зрелищем была очередь за подсолнечным маслом, которая стояла у нашего гастронома. Люди жались к стенке, толпились у входа, но стояли. И хвост очереди протянулся далеко в сторону телеграфа.

Дома все испуганно и взволнованно толкались в квартирах нижних этажей большого дома. Потом без конца переносили вещи из нашего флигеля к Леле. Таскали постели, мешки с вещами, продукты. Устелили полы тюфяками. Заняли все подвалы. В сараях (они у нас под большим домом) уложили детей на ночь.

Пока носили вещи, Леля бегала за ними через двор и истерически кричала:

— Скорее, скорее!

Потому что снаряды свистели и разрывались без конца. И были такие сильные разрывы, что раскрывались двери, и руки тряслись. Засветло все перенесли, сложили. Никто ничего не делал. Говорить не хотелось. Ждали, что принесет нам вечер и ночь. Часов около шести начались взрывы. Они слышались со всех сторон. Нам были слышнее всего взрывы штаба флотилии и клуба водников на Подоле.

Начались пожары. Горели эти взорванные здания и швейная фабрика имени Свердлова. А со стороны вокзала подымались огромные столбы черного дыма — это горели и взрывались вокзал и ТЭЦ, которые начали

гореть еще днем, и дым от пожаров вместе с запахом гари переполнял библиотеку. К вечеру поднялся сильный ветер. Он словно возник от выстрелов и пожаров. И, разрастаясь, все сильнее раздувал пламя. И огненные языки все больше и больше полыхали, все дальше перебрасывался пожар. И было впечатление, что горит весь Подол.

Небо было затянуто тяжелыми, свинцовыми тучами. Клубы дыма подымались вверх и вместе с тучами неслись, подгоняемые все разраставшимся ветром, пламя пожаров освещало их зловещие разорванные клубящиеся куски. К ночи утихла канонада, но часто, почти непрерывно слышались взрывы. Все знали уже: наши войска уходят. И, как было сказано раньше, взрывают объекты, которые не должны достаться врагу.

Никто не спал. По двору бродили целую ночь. Сидели на бревнах перед домом. Все ждали взрывов или пожара. И было жутко оттого, что пламя пожаров все разрасталось, оно вставало с Подола и вокзала, подымалось со стороны Крещатика. И еще более жутко было от того, что неистовый ветер, словно специально, все сильнее и сильнее бушевал. Он выл и свистел, раздувал пламя и гнал с неимоверной быстротой космы черных в ночи зловещих туч, озаренных огненным заревом пожаров.

А взрывы раздавались один за другим. И в ночи не было никаких других звуков, кроме громкого ветра и частых, далеких и близких взрывов.

Было светло, светлее, чем в самую ясную лунную ночь. Но от этого не было менее жутко. Страшная это была ночь. Никто не знал, когда уйдут наши, когда придут немцы. Боялись грабежей и хулиганства, потому что дня за два перед тем выпустили всех уголовников.

И трудно сказать, чего больше боялись — врагов или пожара, потому что в городе не было воды, наши песочные запасы казались запасами муравьев перед пожаром леса, а Водоканал был взорван еще с утра, и рассчитывать на воду не приходилось.

С нетерпением ждали утра. Оно пришло серое, но сравнительно тихое. Канонада совсем прекратилась, только слышались отдельные выстрелы и редкие взрывы. Никто не знал, что делается в городе.

Нюся пошла к портному за Галиным пальто. Она быстро вернулась домой, потому что над головой свистели пули. Со стороны Куреневки, где еще до этого времени было тише всего, доносилась частая пулеметная стрельба, строчил пулемет с Фроловской горки.

Потом сразу стало тихо, тихо. Все настороженно ждали, что взорвут дом ЦК, и снова все жилыцы верхних квартир опустели в нижние.

Но дом ЦК не взорвали. А только задрожал дом, когда взорвали стратегический мост. Вспыхнули и побежали огни по мосту, раздался сильный взрыв. Мост покалечено свалился в воду. Осталась целой только одна средняя ферма. Пожар понемногу стихал, как стихал и ветер. Выглянуло солнце. И кто-то пришел с известием, что в городе немцы. Побежали все в сквер возле Андреевской церкви. Оттуда увидели, что это правда. По

Красной площади медленно, ровной цепью по два в ряд двигались немецкие мотоциклисты. На них смотрели наши люди, стоявшие на тротуарах. На Андреевской улице, куда повернули они с площади, лежали трупы убитых снарядами накануне. А кто-то пришедший из наших жильцов, сказал, что по городу население разбирает, растаскивает из магазинов продукты, вещи, где что было. Мы, правда, знали, что это началось еще накануне, 18 числа.

Этому не помешали ни свистевшие и рвавшиеся снаряды, ни пожары, ни приход немцев. Мы не думаем об осуждении этих людей. Пусть лучше достанется им, нежели врагам. Но отчаяние и ужас от сознания нашей общей трагедии от этого не уменьшается, а скорее усугубляется.

Немцы вступили в город, а еще много наших бойцов осталось здесь. Один из них с обезумевшим взглядом бежал вверх по Андреевскому спуску. Он бежал, как затравленный зверь, не зная, куда бежать и что делать. Его остановили женщины, стоявшие на парадном, втащили внутрь, уговаривали переодеться и спрятаться. Он ничего не слышал, дрожал и только спрашивал: «Что делать? Что же мне делать?» Молодой, веснушчатый парень, с открытым лицом, со светлыми, ясными глазами.

Принесли хлеба, принесли штатскую одежду. Когда он понял, чего от него хотят, он упал на лестницу, головою на ступени, а потом вдруг громко, голосом хриплым и жалобным запел:

— Ах, зачем ты меня породила!..

Вокруг все плакали, так невозможно было спокойно смотреть на отчаяние и страх этого хлопчика. И казалось, что весь ужас происходящего вылился в этом непрерывном крике парня в выгоревшей военной советской форме.

Его переодели, забрали винтовку, военную одежду. К вечеру он, успокоенный уже, ушел.

Итак, 19 сентября около двух часов дня немцы вошли в Киев. Никто из нас в тот день не выходил в город. Только все ходили по дому в сквер на горку смотреть на Красную площадь. А 20-го числа утром началась наша жизнь в оккупированном немцами Киеве.

Пожары прекратились. Установилась хорошая погода. И тишина. Стало тихо, совсем тихо в городе.

Днем 20-го мы вышли с Нюсей в город, чтобы добраться к ней домой. У телеграфа, возле гостиницы «Красный Киев» стояли немецкие машины. На них, не обращая внимания на наш народ, возились немцы. На тротуарах стояли любопытные. И те, и другие молчали. Немцы иногда негромко переговаривались между собой. А наши смотрели во все глаза. Мы дошли до улицы Саксаганского, не обнаружив особенного разрушения. Только вокруг Николаевского парка вся улица была усеяна осколками снарядов и целыми снарядами. В университете в окнах не осталось ни одного стекла. Они вылетели, когда взорвали склады снарядов в парке напротив.

В тот день вечером каждый что-нибудь рассказывал из виденного и слышанного. Поговорить было о чем. Мы узнали, что немцы несут нам «самостійну Україну» и что украинцы делаются привилегированной нацией. С утра, оказывается, выдавали приемники, которые мы сдали в начале войны. Сперва их выдавали в порядке очереди. Потом немцам надоело следить за порядком, и склады приемников просто растаскали. Кто половчее, принес по два приемника. Но главное, что там уже сказали, что приемники выдаются в первую очередь украинцам.

Те, кто останавливался возле немецких машин, многое могли рассказать. И было о чем.

Все у немцев было не похоже на наше. И огромные машины, все необыкновенно оборудованные. И целые дома на колесах с самым разнообразным устройством. И выловленный, чистый откормленный вид. Все резко отличает вид этой армии от наших войск, наших людей.

И вид этих откормленных, пригнанных во всем завоевателей еще увеличивал чувство глубокой горечи за наших людей, за наших бойцов, которые идут и идут сотнями километров разбитых дорог, с натертыми в кровь ногами, часто босиком, неся в руках неподходящие башмаки. И никаких у них нет машин. А есть только чувство долга, присяги перед Родиной, за которую они безропотно гибнут.

21-го числа появились на улицах первые приказы. Все они были напечатаны на двух или трех языках, украинский и немецкий обязательно. В них население призывалось к спокойствию. Предлагалось вернуть все взятое в магазинах, сдать оружие и радиоприемники (хоть их только накануне выдали), соблюдать светомаскировку, не прятать, а выдавать партизан, красноармейцев, коммунистов. И заканчивались все приказы тем, что неповиновение карается смертью.

Тогда же, 21 числа, появилась на стене возле «Красного Киева» первая украинская газета. Называлась она «Українське слово». Внизу было указано, что напечатана она 21.IX в Житомире. Ни редакции, ни хозяев.

Тяжелое впечатление производила газета. В ней не было, правда, ни ругательств, ни пасквилей. Но то, как она прославляла немцев, величая их «светловолосыми рыцарями-освободителями», и то, что в ней сразу явилась вся реакция с лозунгом «уничтожения большевизма и жидов», это производило самое удручающее впечатление. Была в этой газетке большая статья, в которой перечислялись этапы борьбы Украины за независимость. И рядом с лучшими представителями украинского народа — Шевченко, Лесей Украинкой, были в качестве мучеников и спасителей и Мазепа, и Петлюра.

Киев начал настраиваться на какой-то новый лад. 22-го числа так же приказами на стенах было предложено всем, кто работал до последнего дня, явиться по месту работы и там зарегистрироваться. Появились уже активисты нового какого-то строя. Немцы вывесили приказы и

объявления о том, что только немцы, чехословаки и украинцы пользуются всеми правами. Русских, поляков, евреев и прочих причислили к низшей расе.

Все схватились за паспорта, и многие обнаружили непонятные вещи: в одной семье братья и сестры оказывались кто русским, кто украинцем. Ведь никто у нас не придавал никакого значения национальности. И многие обрадовались, кто, в силу обстоятельств или случайности, оказался украинцем.

Понесли снова сдавать приемники. Оказалось, что украинцы могут не сдавать.

Очевидно, у немцев ранее существовал договор с зарубежными украинцами. Даже солдаты их, говорят, украинцев считают более стоящими, а русских — чем-то низким. Заговорили об украинском правительстве. Говорили, что во главе его будет писатель Винниченко и академик Студинский. Потом говорили, что Студинский вовсе остался в Москве. Потом снова говорили, что он будет министром просвещения. Много говорили, ожидая появления этого правительства. А пока так жили.

23 числа многие зарегистрировались на местах работы. Заполнили анкеты с новым вопросом — вероисповедание. Оказалось, что вокруг многие стали украинцами.

А вообще все слонялись без дела, носили грязную мутную воду, которую цедили из родников, что под Андреевской церковью. Магазины все закрыты. Купить ничего нельзя. Базаров нет. Питаемся тем, что запасли в последние дни при наших.

25 сентября на всех улицах, чуть ли не на каждом шагу расклеили портреты Гитлера. Он изображен в таких же тонах, как И.В.Сталин на портретах наших художников. Стоит с гордым видом, подбоченясь. Изображен в защитном френче, очевидно, в форме национал-социалиста, потому что на руке красная повязка с черной свастикой на белом фоне. А под портретом надпись: «Гітлер — визволитель». И возле всех портретов по два красных флажка, тоже со свастикой посередине. И еще появились в тот же день воззвания к украинскому народу некоего Степана Бандеры. В них снова оплакивалась «доля» и превозносились национальная борьба украинского народа. Потом шел призыв к объединению населения Киева в партию «ОУН» — «Объединение украинских националистов» во главе с этим самым Бандерой. Затем объявлялось, что отныне у нас будет «Самостійна, соборна, українська держава». И заканчивалось воззвание словами: «Твої вороги — Москва, Польща, Жидова. Знищуй їх!» Это было на одном или на нескольких углах по улице Короленко. А на других углах были другие воззвания, анонимные, в которых говорилось, что будет «национальная украинская республика», а не «держава». А накануне висело объявление о приеме в «українську народну міліцію». На другой день — 23-го — в «Державну міліцію».

И город не жил, а пребывал в каком-то странном состоянии растерянности, ожидания, недоумения, местами даже радости, кроме тех мест, где не проходило чувство отчаяния и ужаса. И тем не менее начиналась какая-то жизнь. Возле всех учреждений собирались сотрудники и толпились на улицах. Библиотеку заняла военная немецкая комендатура. Немцы вообще расположились везде, ходили по квартирам, брали себе у населения все, что им нравилось. Они заняли все школы и многие учреждения.

На Крещатике в 30-м номере, где прежде была какая-то второстепенная гостиница, поместилась городская комендатура. На углу Прорезной и Крещатика с другой стороны, где был «Детский мир», поместилась жандармерия. В комендатуру должны были являться все начальники учреждений для регистрации их. К коменданту же шли по всякого рода делам. Туда все время подъезжали немецкие машины, стоял немецкий караул, и стоял на тротуаре наблюдающий народ.

В жандармерию носили приемники. Напротив Прорезной на Крещатике сбрасывали прямо на улице противогазы.

Город был наполнен фантастическими слухами. Говорили, что Советский Союз погиб, что в партии раскол. Что Сталин и Каганович оказались одни, а против них выступили Молотов, Ворошилов и другие. Потом говорили, что Сталин застрелился потом — что его застрелил Ворошилов, потом — что он уехал в Вашингтон. Нельзя ни вспомнить, ни записать всего того, что говорят. Как отвратительный смрад распространяется с невероятной быстротой, так народ наполняется отравляющими слухами. А у нас у всех появилось тяжелое предчувствие какой-то провокации, потому что больше всего винят евреев в том, что мы проиграли войну, и что большевизму конец. Разумом мы понимаем, что все это полнейшая нелепость. Ведь три дня назад ничто не предвещало крушения советского строя, и что все эти слухи специально распускаются немецкой пропагандой. И тем не менее нужно иметь большую выдержку, чтобы им противостоять.

И вот теперь мы стараемся собрать все свои внутренние силы, чтобы не поддаться паническому страху перед будущим, перед полной неизвестностью.

Слухи не отражаются в единственном ныне источнике наших сведений — украинской газете, которая продолжает выходить и дальше без редакции и места издания. Из нее мы узнали, что кроме Киева взята немцами Полтава. И что четыре советских армии уничтожены под Киевом. Про Полтаву не знаю, так это или не так. Но что с нашими войсками под Киевом произошло нечто очень страшное, мы знаем уже наверное. И больно, и тяжело, и обидно это бесконечно. Восемнадцатого числа наши войска ушли из Киева. Вместе с ними ушли многие члены партии, мобилизованные в армию женщины и некоторые учреждения, такие как телеграф, телефонная станция и др. Говорили, что нашим удалось прорвать

кольцо окружения. Говорили, что немцы хитростью погубили наших людей, что они открыли проход в одном кольце для того, чтобы уничтожить наши войска в другом. Говорили, что первое кольцо наши войска прорвали сами. Несколько дней продолжалась эта нечеловеческая бойня. Вернувшиеся оттуда рассказывают, что от самого Киева до Борисполя и дальше на сто километров в глубь левого берега (еще называют какое-то место «Борщи») на полосе в несколько километров сбились в неподвижную массу машины, орудия, люди. В беспорядочном бегстве, стиснутые со всех сторон врагами, наши армии в количестве шестисот тысяч человек были лишены всякой возможности двинуться. Некуда было спрятаться, не было возможности защищаться. И немцы залили всю эту массу людей сплошным огнем снарядов, бомб, строчили с бреющего полета из пулеметов, били из минометов. Я видела людей, чудом уцелевших в этой бойне. Они из молодых стали стариками, а некоторые плачут все время, словно помешались.

Называют цифры: 220 тысяч убитых и раненых, 380 тысяч пленных.

Таковы сухие цифры этой страшной трагедии, которая разыгралась у Киева. Почему так случилось? Кто виноват в том, что допустили гибель стольких наших людей? Не мне ответить на этот вопрос. Быть может, будущее ответит тем, кто доживет до него. А сейчас только страшный призрак этого избиения стоит перед нами чудовищным фактом, который невозможно осознать.

Больницы переполнены ранеными. Сотни, тысячи женщин ищут в списках своих сыновей, мужей, отцов.

В толпах других женщин и мы 23-го ходили по больницам, искали Степана и брата Нюси.

А 24-го, вчера, узнали, что пять тысяч пленных привели на Керосинную улицу, и решили туда пойти.

28 сентября 1941 г.

Тогда, 24-го, мы шли с Нюсей по Львовской улице, когда один за другим послышалось несколько взрывов. Со стороны Крещатика поднялся темный столб дыма. Никто еще ничего о взрыве не знал.

На Керосинной, за колючей проволокой, сидели пленные. Они с восемнадцатого числа ничего не ели. И к лагерю тянулись десятки, сотни женщин с едой и продуктами. Несли, кто что мог. Варили суп и в ведрах несли в общий котел. Несли, не зная даже, есть ли в лагере кто-нибудь из тех, кого искали.

Женщин военнопленных выпустили всех. Мы встретили двух девушек, идущих из лагеря. Одна из них харьковчанка, другая из Чернигова. Они рассказали, что им давали раз в день какую-то похлебку, а мужчинам не давали ничего. Что все пленные сидят прямо на земле и ночуют под открытым небом. Мы ушли, ничего не узнав. Когда возвращались домой, на улицах говорили, что взрыв произошел в комендатуре на Крещатике.

Взрывы еще продолжались. Оказалось, что это действительно взорвалась жандармерия, а за ней комендатура. Погибло много народа, и начался пожар.

В городе поднялась тревога. К вечеру пожар усилился. Зарево снова, как в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое, поднялось над городом. Снова поползли слухи, что минирован весь город. Побежали во все стороны люди с вещами. С Крешатика, где начался пожар, выселялись. А взрывы все слышались с той стороны.

Снова тревожно провели ночь. А на утро весь город был еще больше взволнован, потому что пожар распространялся, горели соседние от улицы Свердлова дома, загорелся почтамт. Горела уже (не знаю только, как это случилось) противоположная от почтамта сторона. Горела Прорезная, угол Пушкинской. Люди с узлами сновали по всем улицам. Люди с узлами сидели в скверах и прямо на тротуарах.

Искали причины взрыва. Город был полон легендами, что какой-то еврей принес в жандармерию приемник, начиненный динамитом. И что когда этот динамит взорвался, взорвались заложенные в доме мины замедленного действия, взрывающиеся от детонации. Никто ничего толком не знал. Говорили, что немцы специально жгут город и не собираются в нем оставаться. Другие говорили, что немцы, наоборот, стараются остановить пожар, но будто бы невидимые партизаны им мешают. И что пожар нельзя остановить, потому что нет в городе воды. Один за другим называли номера домов, которые немцы собираются взорвать, чтобы остановить пожар: 12-й номер по Прорезной, 7-й номер по Пушкинской... Уже выселили людей из всех домов по всей Пушкинской, Прорезной и другим улицам вблизи Крешатика.

Немцы в зону пожара никого не пускали. И никто не знает, что они там делали, тушили или жгли. Только город горел, и вечер 25-го числа был полон огня и страха. Во всех домах, как и прежде, не спали, дежурили по очереди жильцы во дворах и парадных. Без конца вырастали слухи о том, что город подожгли евреи. Было совершенно очевидно, что это очередная провокация, но никто не мог сказать, что она готовит.

Вечером того же 25-го числа был нарушен приказ о том, что ходить можно только до 9 ч. вечера. В свете зарева, которое все росло, без конца бежали по улицам люди с узлами, бежали во все стороны от центра. А пожар все разрастался. Вместе с пожаром росла паника. Часов около двух ночи Леля постучала нам в окно. Кто-то принес известие, что выселяют всю улицу Короленко и что наш дом тоже в опасности. Стали снова лихорадочно паковать мешки с тем, чтобы уходить из дома, потому что говорили, что надо уйти не меньше чем на два километра. Потом наши жильцы пошли к немцам, что в 25-й школе. Те сказали, что нам ничто не угрожает. Им не поверили и не ложились до тех пор, пока какой-то распорядитель в жовтоблаkitной повязке не пришел и не предложил всем идти спать.

А по Андреевскому спуску все шли бесчисленные люди с узлами, а пожар все разрастался.

Снова мы перекочевали в большой дом. Снова никто всю ночь не спал. А утром, часов в девять женщина, выпущенная из плена, принесла записку от Степана. Он оказался в плену в Броварах. Он просил есть. Наскоро собрали еду, и Нюся, Татьяна и я пошли. Лагеря пленных в Дарнице и в Броварах. Туда вереницами идут женщины. Они несут еду, потому что пленных не кормят. Мало кто знает, есть ли там свой, но все несут что у кого есть. Некоторые несут последние остатки продуктов.

Сбиться с дороги нельзя. От самой пристани и до лагерей женщины идут толпой, непрерывным потоком. На расстоянии в 18 километров нигде нет перерыва в этой людской женской реке.

На переправе у бывшей пляжной пристани стоит толпа. Мосты все взорваны, и через Днепр можно переехать только гребными лодками.

Женщины дерутся и, стараясь быть половчее, прыгают одна впереди другой в лодки немногочисленных перевозчиков. И так через Днепр, через все его заливы по дороге на Бровары.

Лодки полны до краев. Непонятно, как ни одна из них не затонула. Только огромное, нечеловеческое напряжение, движущее этой женской обезумевшей толпой, удерживает сейчас людей от несчастий.

Все спешили, потому что говорили, что гонят пленных давно. А тут по дороге эти проклятые (никто не думал о том, как красиво вокруг, что когда-то сюда ездили веселые и счастливые, в летние дни отдыха) переправы, которые никак нельзя быстрее преодолеть. Наконец добрались туда, где дорога от Броваров поворачивает к Дарнице, те самые места, где были мы, когда ехали на батарею к Степану. С тех пор все кончилось. Ничего нельзя понять в том, что происходит. И все нервы напряжены в этом беге — скорее туда, где ведут наших пленных, где нужно видеть обязательно всех, кто пройдет, потому что там идут свои. На дороге, в начале ее, только женщины, идущие лавиной. И вдруг, — еще поворот, и на земле вдоль дороги сотни, нет тысячи, наших бойцов. Они сидят. А вид их так ужасен, что холодная дрожь пронизывает всех нас. Совершенно очевидно, что их не кормят. И женщины несут еду, а немцы не дают к ним подойти. Женщины плачут. На каждом шагу душераздирающие сцены. Женщины бросаются к пленным. Пленные, как звери, набрасываются на протянутую еду, хватают ее, разрывают. А немцы бьют их прикладами по голове. Бьют и женщин. И все равно женщины отдают еду. Их снова бьют. И все плачут вокруг. И кажется, что сам ад из средневековых легенд разверзся здесь под ясным осенним небом.

Пленные сидят вдоль дороги. Им разрешили сесть. Женщины стоят толпой напротив них на другой стороне дороги. И время проходит в том, чтобы уловить момент, когда немец отвернется, и передать еду, и не получить прикладом по голове.

Многие находят своих. Тогда проявляется вся женская изобретательность. И несмотря на все строгости немцев, поговорят и все передадут. И еще соберет с десятков записок в город для передачи.

Но большая часть женщин идет все вперед и вперед, потому что пленных гонят без конца, гонят давно. И многие из них уже в лагере, который расположен на территории Дарницкого шелкового комбината.

Мы вместе с потоком идем все дальше и дальше. От того, что пристально всматриваешься в лица, рябит в глазах. Противогазная сумка с провизией пустеет, но то, что для Степана, стараемся удержать.

Пленные все время кричат: «Кто из Киева? Кто с Житомирской? Кто с Куреневки, с Печерска?» У нас уже тоже больше десятка записок для передачи. И все, не мы одни, жадно набрасываются на записки, потому что каждый знает одно и то же: «Быть может, так свои, близкие, просят дать знать о них. Ведь и записку от Степана принесла какая-то женщина». Временами не доверяя своим глазам, мы кричим фамилию Степана. Но Степана нет. И никого из знакомых нет, и мы идем все дальше и дальше.

Впереди немцы подняли сидевших пленных, они идут уже. Никогда раньше не приходилось видеть, да и не представлялось как-то, до чего могут измениться люди за восемь-десять дней. Заросшие, грязные, с ввалившимися глазами. Они молили, просили дать им есть, и мы плакали все, потому что у нас не было еды для них. Потом переставали просить и снова начинали. И невозможно было выдержать это страшное зрелище.

Мы догнали колонну, идущую впереди. Мы уже не шли, а бежали вперед, обгоняя пленных, которые не шли, а брели. И мы все кричали имена и фамилии, а угрюмые люди медленно поворачивали голову, иногда говорили: «Нет такого», а чаще даже вовсе не поднимали головы.

Еще одна колонна осталась позади. Впереди тоже колонна.

Мы снова бежим за нею, снова кричим до боли в боку, до красной пелены перед глазами. А Степана все нет и нет. И никого из наших нет. А люди в серых шинелях, наша бывшая армия, бредет впереди и сзади, бредет без конца по унылой сейчас, дарницкой дороге.

Вокруг тишина, осенняя, солнечная. Тонкими прозрачными нитями летает бабье лето. Оно цепляется за шапки пленных и остается, прилипшее, на них. Канонады больше нет. Самолетов больше нет над головой. Но от этой тишины, от безмолвия тысяч этих поверженных людей еще страшнее сознание нашего поражения.

Дикое, непостижимое несоответствие. Все словно бы осталось на месте и все изменилось. Неужели навсегда?

Но нельзя распускаться, допускать в себе такие мысли. И мы снова бежим вперед. Никто не говорит друг с другом. И одна мысль о том, что можно не найти человека в этом непрерывном потоке, заставляет нас бежать, хотя кажется, что вот-вот что-то лопнет в груди, и все.

Женщин не меньше, а больше, чем ближе к лагерю. Недалеко от него лес, а вдоль дороги высокий бугор. На этом бугре женщины стоят плотной стеной. Возле лагеря пленным не дают садиться, не дают останавливаться. Женщины, если видят своих, бросаются с бугра вниз. И тогда уже кому повезет, зависит от немца. Один гонит и бьет беспощадно, другой разрешает подойти и даже поговорить.

Несколько женщин обступили немца, стоящего на бугре. Те, что немного говорят по-немецки, узнали, что комсостав идет сзади. И мы в толпе стоим и ждем. А пленные все шли и шли.

Женщины, стоявшие здесь с самого утра, говорили, что прошло уже более тридцати пяти тысяч. Они подсчитали колонны и пленных в них.

Немец не соврал. Через час или больше показалась группа комсостава. Мы увидели Степана, он увидел нас. Подойти удалось. Он набросился на сумку с едой, и умолял выручить его из плена. Они ничего, совсем ничего не ели девять дней. Вид ужасающий. Заросший, глаза совсем провалились, смотрят словно бы куда-то внутрь. Несколько раз сказал:

— Выручайте.

Потом сказал, что украинцев обещают отпустить, только надо скрыть, что он кандидат в члены партии. Требуется для этого пятнадцать подписей поручителей.

Подходили к воротам лагеря, в который немцы успели за несколько дней превратить наш шелковый комбинат. Немцы прикладами отогнали нас. Мы повернули в обратный путь.

Пленные все шли, медленно, едва передвигая ноги. Уже солнце было совсем низко над горизонтом. прозрачное, побелевшее небо казалось пришло к молчащей земле. Все молчало. Совсем притихли пленные. Они не в силах были искать своих. Их шаги заглушала глубокая дорожная пыль. Женщины стояли неподвижно и молча. И так снова без конца, без конца, пока мы не дошли до поворота на Бровары.

У поворота несколько домов. Вдруг навстречу странная группа людей. Пленные, раздетые, в одном белье. И сплошной цепью конвоем из немецких солдат. Все колонны, которые мы видели до сих пор, охранялись десятком-двумя каждая. А здесь немцы шли сплошной цепью вокруг. Поравнявшись с домами, один пленный попросил воды. Подошел к дому и побежал. Два выстрела раздались вслед. Его убили на месте.

К этой группе пленных немцы совсем не давали подойти. Они были еще страшнее тех, кого мы видели до сих пор. Шли они последними. Это были евреи.

Поток женщин повернул назад. Молча не шли, а брели мы к переправе. Нас догнали женщины, идущие из Нежина. Среди них телеграфистка Аня, подруга Тани по Дальнему Востоку. Десятого сентября их мобилизовали на окопы в Нежин. Там попали в окружение и теперь возвращались в Киев.

Один залив нам удалось переплыть. Подошли к Старику, к той самой гатке, где в мирные дни состязались спортсмены.

Теперь мы дорого дали бы за какую угодно лодку. Но их не было ни одной. Солнце село. И только страшное зарево пожара соперничало с закатом. И небо казалось совсем бледным рядом с огненным киевским куполом.

Нас было человек пятнадцать. Те, что шли сзади, отстали еще до Русановского залива. Перевозчики уже уехали домой. Они и так работали целый день по добросердечью, потому что им либо совсем не платили, либо платили советскими деньгами, о которых не знали еще, будут ли они ходить. Лоза и сырой песок. Такая предстояла ночевка. Мы ходили вдоль залива, кричали, звали перевозчиков. Никого не было нигде.

Вдруг, когда мы уже стали располагаться на ночь на песке, появился откуда-то мальчик в лодке. Все бросились к нему. Снова драка. Снова все хотят сесть раньше других. Лодка так нагружена, что вода вровень с бортом. Одно неосторожное движение, и все пойдем ко дну. Но провидение, очевидно, хранит нас. И мы медленно переплываем Старик. Темно совсем со стороны Дарницы и Броваров. А от Киева зарево все разрастается. Уже пылает все небо. Кажется, что город горит весь от Подола до Лавры. Временами через какие-то, словно мертвые, промежутки тишины раздается глухой взрыв там же, в стороне пожара. Потом столб искр вырывается к небу. И снова абсолютная тишина. И зарево. И на фоне зарева черные силуэты города, Киева, что стоит над Днепром.

Было светло как днем. Только свет этот был нереальный, зловещий. И жутко было оттого, что все эти места, которыми мы шли, эта лоза, этот песок и трава, эта вода, такие знакомые и близкие, в этой абсолютной тишине, в которой звуки наших шагов казались нестерпимо громкими, — все было чужим, не нашим, и сами мы были не мы, а какие-то чужие отупевшие существа, которые ровно ничего не понимали во всем, что навалилось на нас.

Кто знает, придется ли прожить еще немного, быть может, кто-нибудь из нас переживет это страшное время, или погибнем все. Но сколько бы ни осталось нам жить, никогда не забыть того, как горел Киев. А мы немые, совсем беспомощными свидетелями, полными отчаяния и возмущения из-за своей беспомощности, брели по песку, по лозе нашего Днепра. И каждый куст, каждая травинка была словно высечена черным зором на кровавом зареве киевского пожара.

Так запеклись траурным клеймом эти дни в наших сердцах.

Мы шли уже через Труханов остров. Та же тишина. Ни души нигде. Не лают собаки. Дома и деревья, словно во сне, неузнаваемые от пламени. И это пламя отсвечивает багровым золотом на стеклах окон. Кажется, нет людей в домах. Все замерло. Мы все идем через остров в полной

тишине. И только через какие-то промежутки взрывы со стороны города. И снова столб пламени и искр в небе. И снова зловещая тишина.

Мы пришли на пляж. Он стоит неизменившийся с тех пор, как весной его оборудовали. Те же «грибы», и соляриум, и ресторан. Нет только людей. И песок багровый от зарева, и вода Днепра гладкая, как озеро, как расплавленный металл, не течет, а лежит у подножия горящего города. Вышел пляжный сторож. Он сказал, что переправы нет давно. В город попасть нельзя, да и время уже позднее. Немцы могут убить, потому что нельзя ходить после восьми часов.

По совету сторожа устраиваемся на ночь в пляжном ресторане. Столы еще липкие от ситро, которое здесь пили когда-то, до войны. Но мы сдвигаем эти столы, потому что стекол нет ни в одном окне, на полу холодно. И мы ложимся на столы в той части ресторана, которая окнами выходит к острову, а не к Днепру. И прижимаясь друг к другу, вытягиваемся все вместе, все из чужих ставшие своими.

Теперь мы вспоминаем, что хочется есть. Все, что брали с собой, отдали пленным. Никто в этот день ничего не ел. У Ани, Таниной подруги, оказался кусок сахара. У сторожа купили оставшийся «Миррад». По очереди откусили от сахарного куска, запили холодной минеральной водой. Легли на липкие от сиропа столы. Всем вместе было менее страшно. Сторож рассказал, что все склоны над Днепром, все сады усыпаны людьми с мешками, с вещами, детьми. Это люди из горящих домов. Мы не видели их. Мы слушали взрывы и пытались определить, где они. Временами земля качалась, качался ресторан на пляжном песке, так сильны были взрывы. Никто ни на минуту не заснул и в эту ночь. К утру стало еще холоднее. Татьяна прижималась ко мне, но я не могла ее согреть.

Потом, вместе с солнцем, появились лодки. Мы первые попали в город. А на берегу, снова, как накануне, обезумевшие женщины прыгали в лодки, одна за другой. И когда мы оглянулись с горы на днепровские берега, уже снова вереницы женщин тянулись сплошным потоком в сторону Дарницы и Броваров.

Мы понесли записки. Казалось, все население города было на улицах. Люди с мешками, сидевшие в садах, безнадежно смотрели в ту сторону, где горели их дома. Куда бы ни приходили мы с записками, всюду уже были люди раньше нас, уже сообщили о пленных. Сейчас всех соединила удивительная солидарность. Все охвачены одним и тем же чувством — обязательно сообщить, обязательно помочь.

У нас было восемнадцать записок. Шестнадцать мы отнесли сразу же вчера. Две остались на сегодня. Эти две были в далекие концы. Идти надо было к Артшколе на Соломенку. Татьяна и Леля снова пошли в Дарницу, понесли еду и собранные подписи. А мы пошли на Соломенку. Именно там увидели мы синие немецкие приказы без названий и подписи, по

которым евреи города Киева и его окрестностей должны явиться 29 сентября на Лукьяновское кладбище.

А вечером нам сказали, что командарм нашей армии Кирпонос и секретарь ЦК Бурмистренко покончили с собой, видя безвыходное положение наших войск в кольце у Киева.

30 сентября 1941 г.

Мы все еще не знаем, что сделали с евреями. Страшные слухи доносятся с Лукьяновского кладбища. Но до сих пор невозможно им верить. Говорят, что евреев расстреливают. Те, кто провожал их до пункта, куда было приказано явиться, видели, что все евреи проходят сквозь строй немецких солдат, бросают все вещи, а их самих гонят немцы дальше.

Вчера умерла старуха Скринская. Бегали за гробом, за разрешением хоронить. И с большим трудом гроб достали только сегодня, потому что вчера и сегодня массовые случаи самоубийств евреев, и есть якобы приказ коменданта города их в первую очередь хоронить.

Вчера же Скринские ходили на Лукьяновское кладбище (на Байковом немцы запрещают хоронить). Дойти до кладбища обычным путем нельзя. Вся дорога запружена евреями, окруженными немецкими солдатами. А на кладбище идут мимо тюрьмы. Там пробили дыру в заборе и носят покойников с той стороны. Там, с другой стороны русского кладбища, тихо. Когда были там, они слышали непрерывную пулеметную стрельбу со стороны еврейского кладбища.

Одни говорят, что евреев расстреливают из пулеметов, расстреливают поголовно. Другие говорят, что для них приготовили шестнадцать эшелонов и будут отправлять. Куда? Никто не может ответить. Наверное известно одно: у них забирают все документы, вещи, продукты. Потом гонят к Бабьему Яру и там... Не знаю, что там. Одно знаю — происходит что-то ужасное, страшное, что-то невообразимое, чего нельзя ни понять, ни осознать, ни объяснить.

2 октября 1941 г.

Уже все говорят, что евреев убивают. Нет, не убивают, а уже убили. Всех, без разбора, стариков, женщин, детей. Те, кого в понедельник возвратили домой, расстреляны уже тоже. Так говорят, но сомнений быть не может. Никакие поезда с Лукьяновки не отходили. Люди видели, как везли машины теплых платков и других вещей с кладбища. Немецкая «аккуратность». Уже и рассортировали трофеи!

Одна русская девушка проводила на кладбище свою подругу, а сама через забор перебралась с другой стороны. Она видела, как раздетых людей вели в сторону Бабьего Яра и слышала стрельбу из автомата.

Эти слухи-сведения все растут. Чужовищность их не вмещается в наши головы. Но мы вынуждены верить, так как расстрел евреев — факт. Факт.

от которого мы все начинаем сходить с ума. И жить с сознанием этого факта невозможно.

Женщины вокруг нас плачут. А мы? Мы тоже плакали 29-го сентября, когда думали, что их везут в концлагеря. А теперь? Разве возможно плакать?

Я пишу, а волосы шевелятся на голове. Я пишу, но эти слова ничего не выражают. Я пишу потому, что необходимо, чтобы люди мира знали об этом чудовищном преступлении и отомстили за него.

Я пишу, а в Бабьем Яру все продолжается массовое убийство беззащитных, ни в чем неповинных детей, женщин, стариков, которых, говорят, многих зарывают полуживыми, потому что немцы экономны, они не любят тратить лишних пуль.

Проклятая синяя бумажка давит на мозги, как раскаленная плита. А мы абсолютно, абсолютно бессильны!..

А на Бабьем Яру, выходит, правда, продолжают расстрелы, убийство невинных людей.

Было ли когда-либо что-либо подобное в истории человечества? Никто и придумать не смог бы ничего подобного. Я не могу больше писать. Нельзя писать, нельзя пытаться понять, потому что от сознания происходящего мы сходим с ума. И никакой никому от этого пользы, никому никакой... Без конца через город гонят пленных. Евреев гонят раздетыми. Их убивают, если они просят воды или хлеба.

Вот и все. А мы живем еще. И не понимаем, откуда у нас вдруг появилось больше прав на жизнь, потому что мы не евреи.

Проклятый век, проклятое чудовищное время!

6 октября 1941 г.

Вчера утром впервые с восемнадцатого числа загудел гудок какого-то завода. Сегодня он слышен отчетливо и продолжительно. Очевидно, немцы начинают вытягивать из населения какую-то жизнь.

Вчера вечером появилась вода.

Да, так, очевидно, устроена жизнь в оккупированном городе. Война отодвинулась на несколько шагов, и жизнь уже начинается снова. И все идет каким-то своим чередом. И кто-то будет продолжать жизнь, несмотря на то, что на Лукьяновское кладбище все ведут и ведут евреев. И жизнь все равно продолжается, хотя вчера по нашей улице провели пленных и шесть трупов осталось лежать на мостовой.

Все ли убитые евреи? Лица двух из них видны. Трудно сказать, кто они. Полураздетые, босые, с прозрачными заросшими лицами, со страшными худыми руками. Никто из родных не узнаёт, как они погибли.

Вели пленных в течение часа. Та же картина, которую видели в Дарнице. Худые, черные, заросшие, грязные, с голодными, отсутствующими глазами.

Женщины выносили воду и сухари. А пленные набрасывались на них, сбивали с ног друг друга и женщин, вырывали сухари из рук, дрались за сухари.

Все плакали вокруг. А немецкие конвойные со звериными лицами били пленных палками и резиновыми дубинками. Пленные шли без конца. Их было несколько тысяч в этот день. А женщины все несли и несли воду и сухари, которыми все равно невозможно было даже немного накормить этих голодных.

Потом пленные перестали идти по нашей улице. Мы остались, и шесть трупов осталось. Это только на нашей улице. А ведь они прошли уже много верст. Удалось спросить. Это те пленные, что шли тогда в Дарницу из Броваров.

Вчера принесли страшные вести о пленных. Рассказывают, что и теперь в ледяные ночи они остаются под открытым небом. Они стоят, прижимаясь друг к другу, качаются, чтобы согреться, и воют. От этого воя люди, живущие вблизи от лагеря, сходят с ума. А утром сотни человек выносят мертвыми из лагеря.

Ну, а жизнь идет своим чередом.

Киев так же красив, как и прежде, особенно от того, что наступила золотая осень. И там, где город цел, кажется, что вовсе нет и не было войны.

Стоят ясные осенние дни, и медленно тянутся в воздухе серебристые нити бабьего лета.

Тихо в городе, совсем как в деревне. Только шумят немецкие машины на некоторых улицах. Ни радио, ни трамваев, ни поездов, ни заводов. Никаких городских шумов. Изредка пролетит немецкий самолет. Они летают теперь очень низко.

Немцы чинят Соломенский мост. Говорят, работают две бани. Купить ничего нельзя. Крестьяне втридорога берут за свои продукты, меняя их на материю или ботинки. Вчера в каких-то магазинах будто бы продавали синьку и спички.

Бывшие базары пропахли одеколоном. Это пьяницы платят по 50 рублей за флакон цветочного одеколona и пьют его вместо водки.

Хлеба нет. Сухари кончаются. Переходим на голодный паек. Нас беспокоит этот вопрос. Зато как уже безразличен он тем, кто на Лукьяновском кладбище!

6 октября, в 8 ч. вечера.

Бродя по городу, вышли на Крещатик.

Мы думали, что уже ничто не сможет потрясти нас. И стояли, не в силах уйти, не в силах оторваться от страшного зрелища.

Бедный наш город! Бедная наша земля, попранная, униженная!

8 октября 1941 г.

Вечером шестого мы ходили на развалины консерватории.

По бывшему Музыкальному переулку страшно идти. Там с двух сторон свесились остовы прежних домов, и каждую минуту могут рухнуть отвесные обгорелые стены. Они стоят, не укрепленные ничем, а в оскаленные обглоданные огнем просветы окон светится небо. За стенами нет ничего, кроме обломков кирпичей и штукатурки.

В доме, что по правую сторону переулка, был взрыв. Там рухнуло все и лежит бесформенной массой на бывшей мостовой. Остов консерватории сохранился. Сохранились и наружные стены ее нового здания. И даже вышка, которой заканчивался вход в него, сохранилась. У входа кто-то поставил ряд кресел, стоявших раньше в вестибюле. Они уцелели. В оставшейся правой части нижнего вестибюля, как ни странно, остались зеркала у вешалок. Они не лопнули от огня, но одно, по-видимому, кто-то уже утащил. Унесли и рояль, что стоял у кабинета звукозаписи.

И все как будто знакомое, а в действительности нет ничего. В окнах, что над лестницей, сохранились рамы и осколки стекол. Даже одна из штор обгорела сверху, а потом, по-видимому, погасла и осталась висеть, полусожженная.

По другой лестнице можно подняться к самой библиотеке, которая вся обрушилась вниз. Может быть, под грудой обломков и сохранилось хоть что-нибудь из книг или нот. Но нужно разрыть эти груды обломков. Кто и когда это сделает?

Сгорел и подвал, куда спрятали пластинки и оркестровки. Кто знал, что если бы все это сложили со стороны кабинета звукозаписи, все сохранилось бы? Кто мог это предвидеть? А пластинки так стоят, как стояли. Но это не они. Это только пепел сохранил их форму и разрушается при первом прикосновении. Сохранилась лишь картотека исторического кабинета. Зачем она теперь?

Жутко и грустно делается, когда стоишь среди этих развалин, которые очень знакомы и которых больше нельзя узнать. Героические усилия студентов, живших в общежитии, ничему не помогли. Они срывали деревянные части окон старого здания, когда горел почтамт, отбрасывали огромные головешки горящих балок, летевшие на консерваторию, но пожар начался и со стороны ломбарда.

Консерватории больше нет. Только ветер наполняет безжизненной жизнью развалины. Это он скрипит остатками оконных рам и шатает металлические остовы люстр.

Когда-то здесь была жизнь, музыка. Сейчас мертвая тишина гигантского кладбища, которое грудой бесформенных развалин протянулось на сотни метров вокруг. В старом здании консерватории сгорело все, все провалилось. Остались лишь обгоревшие стены и небо над ними. А памятник Глинке цел. Он стоит невредимый среди развалин, как символ непобедимости русского искусства и русской души.

Так далеко от нас фронт, так далеко Советский Союз. И в нашем бесправии мы вынуждены выдерживать все, что диким кошмаром на нас навалилось. Нет у меня слов, нет их ни у кого из нас.

11 октября 1941 г.

По-прежнему ничего не знаем о том, что делается в Союзе. Газеты очень туманно говорят о военных действиях.

Ходят слухи. Их приносят от тех, кто успел уже пристроиться при немцах. Эти слухи утверждают, что конец войны — дело нескольких дней.

Что можем мы об этом знать? Настроение вокруг ужасное. Из ста человек окружающих с трудом пятеро верят в то, что поражение наше не окончательное. Никакая сила воли, никакие убеждения не в силах повлиять на людей, и часто нас самих охватывает полное отчаяние и безнадежность.

Нет, не часто, а все время надо делать невероятное усилие, чтобы не сдаваться, потому что все рушится и рушится на глазах.

А «новая жизнь» Киева продолжает налаживаться. Позавчера жильцы заготовили примитивные хлебные карточки. Вчера их раздали и люди получили хлеб. Выдают его по двести грамм на человека, независимо от того, работающий или неработающий его получает. Прикрепили по одиннадцать улиц к каждому магазину. Поэтому очереди стоят с раннего утра. И многие уходят без хлеба. И хлеб за прошлый день пропадает.

Позавчера открылись первые столовые. Очереди в них формируются с раннего утра. Потом у входа начинается свалка. Более сильные и нахальные получают обеды. Стоят обеды дорого, но говорят, что в них плавают мясо. Платят за них советскими деньгами.

Говорят, что немцы уже отремонтировали КРЭС и ТЭЦ, что скоро пройдут трамваи. Без них совсем плохо. Мы все страшно устаем от того, что огромные расстояния в поисках работы приходится проходить пешком. А голодный паек наш так мал, что многие уже выбились из сил. А ведь сегодня только двадцать второй день оккупации. Что же будет дальше?

По Днепру пошел речной трамвай.

Улицы снова огласились звуками радио. Оно заговорило дня три тому назад, заговорило по-немецки. Потом заиграла музыка и играет вперемишку с какими-то сообщениями. Музыка вся ультранемецкая, однообразная, все больше марши. И только раз мы услышали польскую плясовую, которая была преподнесена нам как образец украинской музыки.

В домах радио не работает. Оно орет только на улицах. Живем теперь по немецкому времени, на час позже, чем в Советском Союзе.

Катастрофически обстоит дело с работой. Ее нет. Можно иногда устроиться на работу чернорабочим. Но это большая редкость. Кто имеет знакомых, устроился при Городской управе. Там кормят, платят деньги и дают хлеб. Вообще же работают единицы. Надежды на работу нет.

Никаких субсидий новые хозяева не дают, их нет и не будет. Никаких государственных ассигнований, которые мы всегда получали все 23 года Советской власти. Предложено всем существовать на средства от самооплачиваемости. Гимназии (так называются теперь школы), высшие учебные заведения, остатки консерватории (хотя в ней около трехсот студентов), поликлиники, библиотеки, музеи, театры и все остальные должны заработать сами себе на существование. Поэтому под очень большим сомнением существование Академии наук. Средств для нее нет. Пока же Академия наук официально не существует. Для того же, чтобы сберечь все-таки людей, регистрируют институты, объединяют их и ждут. Единственное, что предлагается всем, — начинать работу в «порядке энтузиазма» (это новое крылатое выражение). И работать, не ожидая, что будут платить, потому что платить нечем.

Неделю назад в конференц-зале академии были собраны все так называемые сотрудники Академии на объединенное собрание. Там-то и говорилось, что нужно всем продолжать прежние виды работ. Что ничего нового никто начинать не может. Что все нужно делать, обязательно сообщаясь и подчиняясь распоряжениям немецкого командования.

В 14-м номере по бульвару Шевченко, где помещался Наркомпрос и институты Академии, немцы, занимая помещение, выбросили из окна прямо в грязь во двор все библиотеки литературного, исторического, языковедческого институтов и замечательную библиотеку академика Крылова. Там же во дворе оказались рассыпанными все материалы институтов, картотеки, справочники, все, что собиралось десятками лет. Работники институтов прибежали в Управление делами Академии за помощью, но им сказали, что сделать ничего нельзя. Им осталось только собирать уничтоженные библиотеки и материалы с земли двора. Все эти дни их можно было видеть через решетку забора за этим занятием.

Так точно немцы поступили и в помещении президиума Академии — в пятьдесят четвертом номере по Короленко. Там через окна летели столы со всеми бумагами. И ничего уже не осталось от бывших дел Академии.

А лучше всего немцы «обработали» нашу библиотеку. В ней помещалась какая-то часть их войск. Заняты были абсолютно все комнаты: и старопечатный отдел с его чудесной мебелью, и рукописный, и музыкальный, и кабинет искусств. Везде лежали матрасы, стояли кровати. Матрасы лежали на всех столах. Они разворачивали все в поисках немецких книг. А когда освободили помещение, в него невозможно было войти. Из библиотеки сделали настоящую дворовую уборную. Сверху донизу она была загажена самым невероятным образом. Там, где обычно мы работали, делая выставки, на площадках лестниц, в коридорах, во всех углах, лежали кучи немецких экскрементов, все было заплесано, осквернено. Если бы мы не видели этого своими глазами, никогда не поверили бы.

потому что наш народ, считающийся у «европейцев» народом некультурным, никогда не позволил бы себе ничего подобного в таком месте.

Работники библиотеки убрали ее. Но работы нет. И все ходят мучительно ожидая, когда что-нибудь решится.

Консерватория получила помещение в новом здании бывшей 57-й школы. Вход в нее с улицы Фундуклеевской, как теперь именуется ул. Ленина. Помещение неплохое, но никакой консерватории нет. Есть пустое место и триста неустроенных студентов. Из чего делать консерваторию? Решают собирать инструменты и ноты уехавших музыкантов.

Судя по сообщению газеты и по тому, что у оперы всегда стоит толпа артистов, будущей музыкально-драматический театр скоро начнет свою деятельность. Так начинается какая-то жизнь, но с голодным животом, потому что продовольственный вопрос никак не разрешается для населения. Крестьяне по-прежнему ничего не продают за деньги, только меняют продукты на вещи, требуя при этом от горожан невозможного. Лишь иногда женщинам с детьми удастся упротить какого-нибудь немца купить молока, но это абсолютная случайность, очень редкая.

12 октября 1941 г.

Сегодня сообщение, что немцами еще 3-го числа взят Орел.

14 октября 1941 г.

Сегодня у нас «праздник» — Покрова. Мы начинаем праздновать все двенадцатые праздники. Вчера до позднего вечера шла служба в Андреевской церкви. Окна были освещены, и слышалось пение. Служат в церквях, главным образом, по-украински.

Покойников теперь провожают на кладбище с крестами и колывом. И так дико и странно нам, поколению, воспитанному атеистами, присутствовать при восстановлении чего-то чужого, давно отринутого, что отбрасывает нас на столетия назад. Но это нужно нашим новым хозяевам. Несоответствие между религиозной моралью и действительностью сейчас циничнее, чем когда-либо. Если во времена господства религии проповедью любви к ближнему старались хоть как-то прикрыть насилие всякого рода, то сейчас кровавый призрак Бабьего Яра поднимается над церквями, в которых украинцы в европейских костюмах под подрясниками благословляют убийц, которых они именуют «светловолосыми рыцарями».

В Бабьем Яру зарыли вместе с мертвыми сотни, тысячи, нет, десятки тысяч полуживых и живых людей. Мы знаем, уже точно знаем, что кровь из Бабьего Яра текла и вытекала на расстояние километров от кладбища. И избиение это продолжается и теперь. И каждый день ведут все новых обреченных на Лукьяновское кладбище, вели вчера, позавчера, ведут сегодня, ведут, не переставая, все дни с 29-го числа.

А меж тем со вчерашнего дня на колокольне Софиевского собора рядом с жовтоблакитным украинским флагом появилось немецкое красное знамя со свастикой посередине. Это новое подтверждение новых слухов, которые ходят все упорнее, что никакой «самостійной соборной державы» не будет.

И все яснее видно, что пока наши вместе с фронтом уходят все дальше на восток, здесь, на оккупированной земле, начинается какая-то жизнь. Мы — рабы, бесправные парии на нашей земле. Таких нас сотни тысяч. И что с нами будет? Кто скажет нам?

Все время перед глазами стояли пленные. С каждым днем все холоднее, а пленных как держали под открытым небом, почти без еды, так и держат. И так во всех лагерях: в Броварах, Гоголеве, Дарнице, на Керосинной. После мокрого снега, который лепил в субботу, земля в лагерях превратилась в липкую грязь. Лечь в эту грязь невозможно. Женщины, носившие еду, говорят, что пленные проводят ночи на корточках. И снова прижимаются друг к другу, и качаются, чтобы согреться. И все по-прежнему — после такого качания десятки трупов остаются на земле.

17 октября 1941 г.

У нас начинается настоящий голод. Хлеба нет. Его выдали дважды по 200 граммов на человека и уже больше недели ничего не выдают. Пустили слух, что хлеб отравлен, и потому его не дают населению. Но сами немцы все время едят хлеб, очевидно, не боясь отравиться. Купить до сих пор ничего нельзя. Магазины все закрыты. А на базарах крестьяне меняют продукты уже только на совершенно новые вещи.

Сухари окончились уже несколько дней назад. У Нюси и Гали уже вторую неделю нет ни капли жира и ни одного сухаря. А есть семьи, у которых уже совсем нечего есть. И, главное, никаких перспектив.

Полтора месяца как занят Киев.

Об украинском правительстве больше не говорят. Газеты и слухи утверждают, что немцы рассчитывают на окончание войны в ближайшие недели. И тогда, говорят, передовые немецкие части уйдут из Киева. И что будет Украина немецкой провинцией с немецким губернатором. Называют даже кандидатуру — некий доктор Кох, который сейчас состоит в роли чего-то вроде министра просвещения. Он вместе со своим помощником Фогтом ведает всеми делами науки, и представители Академии имеют с ним дело. Он хорошо знает русский язык, а объясняют это тем, что он, оказывается, бывший помещик, имения которого были на Украине.

Украинцами, то есть всеми нами, управляет непосредственно Гору-парва, а уже ею ведает это «высокое начальство».

Горуправа — учреждение, производящее самое удручающее впечатление. В помещении бывшего Комвуза на бульваре Шевченко № 18, с выбитыми стеклами «на ходу», без столов и стульев, новые наши «управите-

ли» решают «государственные» дела. Существуют в Управе отделы просвещения, здоровья, искусства, пропаганды, финансов, жилищный, социального обеспечения и другие.

Мне приходится там бывать из-за магазина, который закрыт, как и все прочие, но при котором я числюсь. Чтобы его открыть, надо получить разрешение. Торговый отдел Управы всячески поощряет открытие всякого рода частной торговли. Поощряет пока только абстрактно. Ни о каких «государственных» торговых предприятиях разговоров нет. Академия магазином не интересуется, но и не отказывается от него. Мне приказано получить на него разрешение, но это совсем не так просто. В магазине остались преимущественно советские книги, научные издания Академии и русская литература, которая вся вместе «новыми хозяевами» осуждена на сожжение.

Должность моя при магазине заключается в том, что раз в несколько дней я забиваю, как могу, сломанные ставни в окнах со двора, а через день или два их снова выламывают неизвестные похитители книг и до конца растаскивают классическую литературу. Уже на полках остались почти исключительно сотни томов «Патологической физиологии» Богомольца, «Історії України» и множество других трудов различных институтов Академии.

На улицах можно то там, то здесь увидеть объявление о том, что «здесь открывается парикмахерская» или «магазин случайных вещей», но нигде еще ничего не открыто и ничего не продается.

Разговоры немцев, которыми они в первые дни прикрывали свои грабительские цели, сейчас перестали быть даже басней для детей младшего возраста. Теперь они неприкрыто говорят, что нас постараются «освободить» от всякой культуры, от всего самого необходимого, от всего того, что у нас было. Уже сейчас ходят слухи, например, что надо забыть о тракторах, и что немцев больше всего устраивает соха на нашей земле.

Мы ничего не знаем толком об их так называемой «идее». Но то, что славян они считают «низшей расой», нам уже доподлинно известно. И уже, конечно, если эти славяне попали к ним в качестве рабов, церемониться с ними они не будут. Во всем вынуждено население ждать «милостивого благоволения» новых господ.

Например, наша библиотека не может начать работать, пока немцы не выберут из нее все, что им понравится. Сейчас группа их выбирает литературу для отправки в Германию.

18 октября 1941 г.

Во вчерашней газете сообщение о взятии немцами Одессы, Калуги и Калинина (Твери). Немцы в ста километрах от Москвы. Ленинград в безвыходном положении. Его и Москву бомбят не переставая.

Все время говорят о том, что взят Харьков.

Немцы ведут бешеную пропаганду против нашего Союза и Советского правительства. Столько всяких диких, нелепых слухов носится в городе, что голова идет кругом. Есть от чего полностью отчаяться. За четыре месяца войны немцы заняли такую территорию, какой до них не занимал никто. И до сих пор их не остановили. Гитлер во всеуслышанье хвастается, что 7-го ноября примет в Москве парад из пленных войск. Смешались, спутались все представления, все понятия. Множество народа дезориентировано поражением, движением немцев вперед и полным отсутствием каких-либо сведений из Союза. Немудрено, что любые слухи передаются от человека к человеку, и ничего, кроме озлобления и отчаяния, не вызывают.

Мы вынуждены привыкать к «новой» жизни. Вчера пошли первые трамваи — 1-й и 4-й номера. Уже в некоторых районах дней пять есть свет. Мы еще впотьмах. Хлеба по-прежнему нет.

Снова ходила за разрешением на существование магазина. Идти нужно в отдел пропаганды, а не торговли горуправы. Отдел пропаганды (оттого, что названия вроде «комиссариат», «отдел пропаганды», «комиссар» похожи на наши советские, а весь строй абсолютно противоположный, особенно тяжело) ведает сейчас делами «политического руководства». В их руках сейчас все дела печати, полиграфии, клубов, наглядных пособий и прочего. Необходимо сразу уточнить — это все они «собираются» делать, всем этим «собираются» заниматься и заправлять.

Пока же сидят, как и в других отделах Управы, в пустых, ободранных комнатах, без столов и стульев, с портретами Гитлера на стенах, с громкими какими-то словами. И все вместе это кажется чем-то несуществующим, а словно мы все видим долгий кошмарный сон.

Бывает же такое, что снится какой-то ползучий и тяжкий сон, когда не можешь ни шевельнуться, ни закричать, ни сбросить его с себя. Так вот для передачи нашего теперешнего состояния надо представить себе такой отвратительный, давящий сон.

Никакого разрешения на магазин нет. Надо еще приходить сюда. Со мною они, кроме всего прочего, не желают разговаривать, потому что говорю только по-русски. Нелепо, но не могу заставить себя приноравливаться к ним. И сегодня начальник орал на меня: «Не смійте розмовляти московською мовою!»

Остальной день вчера ушел на переноску во временное помещение консерватории библиотеки М.Гозенпуда. Ее нужно было унести тайком и немедленно. Тяжелое чувство не оставляло нас во время переноски. Разрушение, опустошение, осквернение, как везде, как всюду. Только мы еще и еще раз порадовались, что хозяев квартиры не оказалось здесь. Иначе погибли бы вместе с десятками тысяч в Бабьем Яру на Лукьяновском кладбище. Библиотеки уехавших собираем упорно, в упорной надежде сохранить их до возвращения наших.

Уже несколько дней ходить можно только до шести часов вечера. Это очень неудобно, потому что ничего нельзя успеть. Приходим домой усталые и совершенно разбитые нравственно. Мы не обманываем себя иллюзией, что делаем нужное для наших. Но не делать вовсе ничего невозможно, потому что тогда не будет никакой возможности бороться с отчаянием.

Сегодня появился новый зловещий приказ: все управдомы должны сообщить в течение двадцати четырех часов, имеются ли в их домах члены партии, работники НКВД и евреи. Подписан приказ новым комендантом полиции, уже с украинской фамилией Орлик.

Вчера снова выискивали по квартирам евреев. Забрали несколько украинских семейств за то, что прятали их. Ищет их теперь украинская полиция.

19 октября 1941 г.

Вчера получила разрешение на переучет магазина. Повесила объявление на двух языках — украинском и немецком, как теперь полагается. Потом выгребала там битые стекла и порванные книги. А к дверям все время подходили какие-то претенденты на магазин.

Библиотека, которая теперь уже не библиотека Академии, а национальная библиотека, получила мандат на конфискацию книг из магазина. Я упорно сопротивляюсь в одиночку всем этим посягательствам, а кончится, очевидно, тем, чем кончаются уже некоторые «украинские» дела, — немцы конфискуют, и все.

Купить по-прежнему ничего нельзя. Обмен достиг невероятных размеров. За пальто можно получить только полсотни картошек.

Сегодня очередное страшное объявление. Сформулировано оно так: «Как репрессивные меры против саботажа, сегодня расстреляно сто граждан города Киева. Это предупреждение. За каждый факт саботажа отвечает каждый гражданин». Дата под объявлением 22 октября. Подписи нет.

Что обозначает это объявление? О каком саботаже идет речь? Какие сто киевлян расстреляны? Никто ничего не знает, строим всевозможные предположения. В Киеве так мало работы и работающих, что вряд ли здесь дело в саботаже. Если это разговор о какой-то промышленности, то ее нет вообще. Она вывезена нашими или взорвана.

Вывод делаем один — возможно, начинают действовать партизаны или подпольщики. Если так, то легче делается на душе и появляется какая-то надежда. Но, может быть, мы ошибаемся? А сто расстрелянных? Кто они?

Евреев все ведут без конца. Люди прячут их, но немцы их находят и забирают. И до сих пор слышна стрельба в Бабьем Яру.

27 октября 1941 г.

25-го вечером по радио немцы объявили, что взяты Харьков. Бои идут в 60 километрах от Москвы. Ленинград упорно держится. Ужасно сознание,

что такие замечательные русские города в такой опасности. В украинской газете сообщается, что якобы устранен от командования Ворошилов, что смещен Тимошенко, а оборона Москвы поручена Жукову. И еще, что, кроме Харькова, взят еще крупный железнодорожный центр — Белгород.

По городу везде висят плакаты о том, что для «местного населения» (так мы теперь называемся) война уже окончена, а что Красная Армия уже погибла. Не рано ли хоронят ее немцы? Почему же, если они так сильны, не могут взять Ленинград и Москву? И не свидетельствует ли эта все усиливающаяся пропаганда о том, что наши собирают силы, а немцы выдыхаются? И кто знает, быть может, тот удар, который заставит немцев остановиться и покатиться назад, быть может, этот удар уже недалеко.

Но нам трудно, ох, как трудно что-либо предугадать. Вокруг внешне чересчур спокойно. Никто над нами не летает, никто не стреляет, никто не бомбит. Но лучше бы бомбили, да были мы с нашими.

Если же попробовать на какое-то мгновение абстрагироваться от чувства отчаяния, то обнаруживается, что жизнь идет, идет и укладывается в какие-то рамки, для кого приемлемые, для кого нет.

Заняты все целые дни, и все очень устают. Кто не числится работающим, занимается поисками питания. Татьяна целый день, с утра до позднего вечера, варит еду. Потому что варится только похлебка. Хлеба нет. И варится все на щепках, краденых с остатков каких-то заборов. Варится все в комнатах, и едкий запах и духота разъедают глаза и мозги. Дитя нечем кормить. Оно, бедное, тоже всегда хочет есть и плачет.

Леля все делает попытки добыть еду. Вчера несколько часов стояла в очереди за томатом. Увы, это ничему не помогает. В магазинах продаются только соль и томат.

Нюся и Галка уже по-настоящему голодают. Нюся вчера ходила в Виту за Пирогово менять. Она быстро сходилась, вернулась вчера же и принесла на себе больше пуда картошки и кусок кислого крестьянского хлеба.

Пирогово сожжено. Там восемьдесят процентов села сгорело, а в остальном нет ни одной целой хаты. Все разбито и разрушено. У них нечего менять. И только где-то в Вите Нюсе удалось выменять детскую шубку на картошку. Покалечила себе ноги. Ведь обуви ни у кого из нас нет. А у Лели после похода в Вишенки на ногах рожистое воспаление.

9 часов вечера.

Сегодня снова ходила за ордером на магазин в жилуправу. Она в четвертый раз переехала: с Андреевского спуска на Обсерваторную, оттуда на Новопавловскую, а теперь уже на Житомирскую. Уже входят в нее без пропусков, поэтому там очереди и давка, как за хлебом. Хотя было объявлено, что прекращена выдача ордеров на какие-либо квартиры, их все

равно выдают (в Киеве много пустых квартир). Председатель жилуправы снова новый. Церковные дела делаются без очереди, и священники идут беспрепятственно раньше всех.

Потом снова мне пришлось быть свидетелем страшного зрелища. Снова шли евреи. Они двигались ужасающе медленно. Так могут двигаться только тени. Посередине четыре человека несли на одеяле молодую женщину с тупым, отсутствующим выражением лица. Ее безжизненное тело обвисало в одеяле. Оно покачивалось от ходьбы, а черные волосы растрепались и высыпались над одеялом. За ними двое несли девушку без ног. Потом шли мужчины, старики, дети.

Страшная картина. Такое выражение лиц мне пришлось видеть лишь во время коллективизации в 1933 г. у распухших, умирающих от голода людей. Как тени, шли они медленно, с нездешним выражением бледных, бескровных лиц. Многие из них потупили глаза, а некоторые смотрели куда-то, поверх тех, кто стоял на тротуарах в молчании.

Что думали они, идя в это собственное погребальное шествие на Лукьяновскую голгофу? Их глаза стоят передо мною. И всегда будут стоять, как всегда останется в ушах грубый окрик полицейского: «Не останавливаться, не смотреть!»

А мы продолжаем жить.

Пришли из Вишенек Любовь Васильевна и Надежда Васильевна. Они даром ходили. Картошка вся выкопана, больше нечего копать. То, что они с Лелей накопили в прошлый раз, все украли. Картошки нет. Такое наше интеллигентское счастье. Голод.

Одна есть радость у нас. Нашлась Нюсина семья. Старики пешком прошли около шестисот километров — от Каменца до Полтавщины. Там нашли своих, но вместе с ними застряли в окружении в селе Новый Иржавец.

Вчера приехал Нечипор на двух лошадях. Привез эти известия и много продуктов. Такая радость! Пока Нечипор здесь и с лошадьми, можно будет переташиться Нюсе и Галке в новую квартиру. Они одни сейчас остались в доме, потому что он совсем развалился и ежеминутно грозит обвалом. Но переезжать некуда. В городе масса пустых квартир, а ордеров простым смертным получить невозможно.

Нечипору оставаться в Киеве нельзя. В их дворе знают, что он член партии. Пока же он здесь, они не спят ночи из-за него и из-за лошадей. Караулят, чтобы не забрали и не украли.

Не знаю, остались ли в городе еще голуби.

24-го был вывешен приказ об уничтожении всех голубей в Киеве и его окрестностях. Очевидно, боятся немцы почтовой связи с нашими.

28 октября, вторник. 5 ч. утра.

Пишу и боюсь писать. Уже неделю мы живем в ужасном напряжении. 20-го числа под вечер услышали мы под окном знакомый голос. Меня

затрясло от ужаса. Пришел, бежал из плена Миша Б. Ему тоже не удалось вырваться из Киева.

Дома у нас не знают, что он еврей, иначе Леля уже умерла бы от страха, принимая во внимание всяких подлецов в нашем дворе. Во время его приходов и во мне все холодеет от мысли, что его кто-нибудь может узнать. Сказала, что он русский, бежавший из плена.

Уже его кое-как переодели в штатское. Трудно. Он очень маленький. Я подчистила фамилию в документе Нюсиного мужа об окончании фельдшерской школы. Но Миша боится сбиться в фамилии. Сначала он просил документ на чужую фамилию, теперь просит на свою. Что делать с ним, ума не приложим.

Люди, у кого он живет, волнуются. Правда, у них такой закуток, что никто не видит входящих и выходящих. А Миша сидит в темной комнате, и хуже всего то, что все время хочет ходить по городу. Ни у нас, ни у Нюси его держать нельзя. Все слишком на виду, и, главное, много подлецов вокруг. Их мы уже определили по желанию выслужиться перед немцами. Хотят отправить его к знакомому священнику в Умань и получить выданную задним числом справку о крещении.

А пока все в страхе, чтобы его не опознали и чтобы не было облавы, в которой он может погибнуть.

2 ноября 1941 г., воскресенье.

Позавчера был слышен довольно сильный взрыв со стороны Печерска. А вчера вечером багровое зарево освещало все небо с той стороны. Было снова светло, как в те страшные ночи пожаров. И все больше людей утверждает, что пожары — это немецкая провокация, потому что слухи утверждают, что немцы оставят Киев. Что, по словам Гитлера, Киев будет объявлен мертвым городом.

Действительно, в городе сейчас много меньше немцев. Большинство их выехало в Харьков. И ведут они себя так, словно сознательно должны все в городе уничтожить.

В эти дни произошли изменения в горуправе. Уже голова ее не Оглоблин, а Багазий, его бывший заместитель.

3 ноября 1941 г.

Так, позавчера, оказывается, горел бывший горисполком, как теперь снова называют, — дума. Это пламя ее пожара ярким заревом освещало город. И снова вчера появилось извещение о том, что триста киевлян расстреляны и что дальше за поджоги будет отвечать все население города. Комендант города Эбенгардт заканчивает обращение тем, что будет поддерживать порядок любой ценой.

В газете было постановление об установлении снова круглосуточных дежурств в домах. Со вчерашнего дня и у нас, как и везде, снова дежурят.

Снова, как и раньше, мужчины — наши новые активисты — дежурят в вечерние часы, а на ночь назначают женщин. Носятся слухи, что в октябрьские праздники немцы ждут особенно сильных диверсионных актов.

Время идет, но не приносит нам ничего хорошего. Хотя я не права. Сегодня 3 ноября, а немцев не подпустили к Москве. Так что будем надеяться, что бахвальство Гитлера о параде пленных на Красной площади останется только бахвальством.

В лагерях пленных ужас. Женщины, которые ходят к лагерям, приходят домой с безумными глазами. Лагеря отводят дальше от городов, потому что вой замерзающих, умирающих людей нестерпим. А слухи говорят о том, что в России немцы не берут больше пленных, а расстреливают людей, поднявших руки. Так это чудовищное массовое уничтожение наших людей, массированное убийство, продолжается. Пишу об этом как манекен, из которого вынули душу и мозг. Они уже все равно ничего не воспринимают.

Что делается в Союзе? Ничего не знаем, ровно ничего.

Нам нельзя говорить о том, что мы чувствуем. Не место и не время. Да и не рассказать об этом никакими словами.

Деньги начинают идти в ход. За огромные, правда, деньги, но уже многое можно купить на базаре. Народ продает вещи и покупает минимум необходимых продуктов. На базарах многолюдно.

5 ноября 1941 г.

Без конца новости. И извне, и изнутри. В немецких газетах сообщение о взятии немцами Симферополя, а по радио вчера сообщили, что взяты Феодосия и Керчь. Но мы знали, что хоть страшно бомбят Ленинград и Москву, они держатся. Горит Лавра. Никто не знает точно, что там горит. И снова очередной приказ Эбенгардта: снова о расстрелах.

Началась срочная паспортизация населения. Заполняют огромные анкеты с вопросами о происхождении, вероисповедании, работа в партийных и секретных органах советских учреждений, о получении наград и о репрессиях, с перечислением всех мест работы при Советской власти. На анкете должно быть поручительство трех украинцев. По сегодняшней газете, сдан Курск. Бомбят Москву и Севастополь, Керчь и Ялту. Зачем же бомбить Керчь, если ее уже заняли немцы?

6 ноября, четверг.

Сегодня канун Октябрьских праздников. Наверно, там, где Советский Союз, завтра будут демонстрации. А мы только потихоньку соберемся вместе. Немцы ждут в эти дни усиления «диверсионных актов». В управе сегодня работали до половины четвертого. Все эти дни по улицам разрешается ходить только до четырех часов. Немцы боятся.

Взрывом в Лавре уничтожен старинный памятник архитектуры — Успенский собор. Взорвали его немцы. Объясняют тем, что якобы под ним были мины, и они не могли их разминировать. Нет больше замечательного творения старинных зодчих. Так разрушена еще одна достопримечательность Киева.

Арестован известный киевский старожил, врач-меломан Сингалевич. Он работал в Лаврский больнице. Ходят слухи о том, что расстрелян Оглоблин. По городу расклеено воззвание Богазия к украинскому народу. В нем он возвещает «конец большевизма» и предлагает не верить тем, кто против украинских националистов. Подписано воззвание не головой управы, а «головой города Киева».

7 ноября 1941 г.

Ничего не знаем о Союзе. День прошел. Было тихо, словно все замерло. А вечером было несколько взрывов, Теперь все только и думают о том, что завтра снова расстреляют сотни людей. Газеты усиленно твердят о голоде в Ленинграде. Но наши не сдают Москву и Ленинград. И как ни тяжело нам, а все-таки — ура! Ведь Гитлер заявлял на весь мир, что до 7-го ноября возьмет Москву. Хочется верить, что там сегодня парад наших войск и народа. Считается, что Киев забыл о войне. Как из старых тряпичных лохмотьев нищие латают жалкую одежду, так клеится наша нынешняя жизнь на какой-то старый, обветшалый лад, которого мы не знаем. Что лежит в основе нашего теперешнего строя? «Уничтожение славян как клопов» — лозунг кровавого фюрера.

Мыслями мы на той стороне. По случаю сегодняшнего праздника много надо бы сказать. Да не скажешь.

8 ноября 1941 г. суббота.

Всех сейчас больше всего занимают базары и цены, потому что голод уже приблизился вплотную. На углах улиц и на базарах теперь устраиваются раскладки из всякой дребедени. А на самых центральных улицах в лотках продают вульгарные раскрашенные открытки с глупыми целующимися физиономиями. Мы были многие годы свободны от безвкусицы. Теперь она вылезает из всех углов. А немцы падки на нее. Возле лотков всегда стоит толпа. Мы принесли из Пидгирцев пшеницу в зерне, выменянную там, и мелем ее на кофейной мельничке. С трудом за вечер смазываем на галушки. А Леля совсем живет впроголодь, отказывается в нашу пользу. И все мы встаем из-за стола всегда с чувством голода. А ведь нам еще совсем не плохо, потому что три раза в день варится нечто вроде похлебки. Леля продала уже большую часть своих вещей. Нам с Таней нечего продавать. Что будет дальше, ужас берет. Но нам жаловаться нельзя, потому что вокруг уже много распухших голодных. Глядя на них, не можешь есть, кусок останавливается в гортани. А помочь нечем. И мыс-

ли о голоде вытесняют все остальные. И еще страшно, что голод лишает нас человеческого облика. Кажется, что за тарелку похлебки, за кусочек хлеба готов отдать все.

На глазах бледнеют лица окружающих. В жалких столовых невозможно есть, потому что горящие глаза ожидающих очереди, кажется, сжигают тех, кто ест. И счастливых таких очень мало. И едят они не так, как обычно, а едят стыдась, склоняясь низко над тарелками. Глотают быстро, чтобы скорее уйти. Столовых мало. Они одна за другой закрываются. И есть они только при немногих так называемых учреждениях. Оказывается, сто граммов хлеба — это огромная порция. Последний хлеб дали 30-го числа по двести грамм. Обещали пятого, но не дали. А теперь после вчерашних взрывов его, наверное, не дадут совсем.

Боже мой, о чем пишу я в праздник Октября! Стыдно и страшно.

10 ноября.

Октябрьские праздники прошли. Уже сегодня будто бы можно было ходить до 5 часов.

По радио сегодня передавали, что немцами захвачена Ялта. Кто-то снова принес слухи о том, что война находится в стадии ликвидации. Наши оставили Донбас. Это значит, что вся Украина уже у немцев. Наши залили перед уходом все шахты, спустили шлюзы Днепростроя. Сколько сил теперь нужно будет снова, чтобы все это восстановить, когда наши вернутся. А что, если вдруг не вернутся?

Страшное зрелище представляет сейчас наша, еще пять месяцев назад цветущая большая страна. Разрушена вся промышленность. Разрушена вся центральная часть города. Во все стороны от Киева по дорогам — кладбища машин, кладбища скота. Он шел по дорогам и погибал без пищи, без помощи. Коровы телились на дорогах и умирали.

Население продолжает жить без хлеба. Его дали по 200 граммов на две недели еще тридцатого. И все равно горожанам еще ничего. А вот пленные, которые сотнями умирают от голода... Организован Красный Крест, который собирает продукты, деньги, одежду для пленных. Но ведь это капля в море. Сегодня в мусоре магазина, сваленного в углу, в книге с автографом Александра Блока нашла подлинное его письмо. В настоящую минуту оно не имеет такой ценности, как имело оно до войны и будет иметь после нее. Но для меня это бесценная находка. Письмо писано 19 апреля 1917 года (по нашему 1-го мая). В нем пишет Блок о надвигающейся новой эпохе пролетарской революции (хотя прямо это не сказано). Он ждет событий, которые называет «блистательными», и пишет, что ему «не страшно» и что об этом «не страшно» думает и Горький.

Как это далеко — это светлое, блистательное время! Я стояла в этом хаосе разрушения, в зловещей тишине развалин, от которых тянет смрадом гари, а в руках у меня было это письмо.

Тенденция немцев сейчас определенно направлена на уничтожение народов. И вовсе не только еврейского. Бабий Яр, в котором уже много не только евреев, но и русских, безмерная смертность в плену, уничтожение сдающихся в плен — это все ярчайшее тому свидетельство.

11 ноября 1941 г.

Газета за 11-е ноября — сдана Ялта.

15 ноября 1941 г.

Третьего дня, по газетам, немцы взяли Тихвинский железнодорожный узел. Вообще же бои идут в Крыму, главным образом. Очевидно, наши отбивали Керчь, потому что снова сообщения о боях под Севастополем и Керчью.

16 ноября 1941 г., воскресенье.

Сегодня целый день слышны отдаленные орудийные выстрелы. Может быть, это действительно наш десант, с которым вчера говорили. И еще сегодня говорят по городу о том, что наши бьют немцев: что под Москвой их отогнали на 100 километров. Москва и Ленинград героически держатся.

Неожиданно удалось послушать советское радио. Слушать Союз трудно, очень забивают. Но мы знаем теперь, что Сталин в Москве, что от Москвы немцев отогнали, что Ленинград осажден, но свободен. Нужно ли говорить, что много светлее стало на душе.

Вечерами Л.В. и Н.В. приходит к нам на посиделки. В связи с запрещением после четырех часов топить печи и зажигать примусы, все остаются без чаю вечером.

Вечера длинные, бесконечные. И все равно ничего не успеваю. Пшеница засоренная. Нужно по зернышку ее перебирать. Да было бы ее побольше. А то кончаются выменянные мною в Пидгирцах полпуда. Что будет дальше, неизвестно. Дитя совсем нечем кормить.

Нюся все еще без жилья. Получила она ордер на полуразрушенную надстройку в доме № 11 по Кузнечной ул. Радовалась, что до этого там было учреждение, и не нужно поселяться в квартиру уехавших или убитых. Окна с трудом застеклили, вытащив в магазине стекла из окон, которые еще остались. Но только стали носить в квартиру вещи, как явился какой-то украинец из нынешних с бумажкой от гестапо и заявил, что квартира эта его. Налепил бумажку на дверь, а вещи Нюсины выбросил и все.

Снова положение безвыходное. В их квартире жить опасно, дом с минуты на минуту рухнет. Лопнули трубы водопровода и канализации, и залило все этой гадостью. И холод неимоверный. Что делать, ума не приложим.

Все тяжело — и внутри, и снаружи. Все стали злые, раздражительные, никто ни с кем не говорит спокойно. А ведь в такое время нужна предельная выдержка. Самое сложное — это вопрос нашего отношения к работе. Идти работать не можем. Объяснять не нужно. А не работать, как же жить? Уже совсем нечего есть. Нечем кормить Шурку, Таню, Лелю, а Нюсе — Галю. Живем до сих пор продажей вещей. А у кого их нет, те пухнут и уже умирают от голода.

И снова, повторяю, мы не имеем права роптать. Мы числимся свободными, то есть не за колючей проволокой, имеем крышу, и впроголодь, но едим. А пленные и сейчас под открытым небом. И сейчас получают по две сырых картошки в день. Те, кто бывает возле лагерей, возвращаются полусумасшедшими.

И природа ополчилась против людей. Позавчера после теплого осеннего дня поднялся сильный северный ветер. Утром окна доверху замерзли. Двенадцатиградусный мороз и ветер без снега, под слепящим солнцем. В зимних пальто мы шли, словно раздетые, по улицам. Пленные не выходят из головы.

Вчера было немного теплее. Сегодня пять градусов мороза, а на солнце тает.

Очень тихо сегодня в городе. Вчера шумел лишь ветер. Сегодня не шумят ни ветер, ни люди. Улицы пустынные совсем, не видно народа, хотя сегодня воскресенье, и по какому-то поводу висят на домах украинские флаги.

Сегодня солнце особенно яркое. И небо чистое, и тоже яркое, и совсем зимнее, а не осеннее. Самое же странное и страшное, что меж серо-зеленых, потускневших, но осенних полей, лежит белой яркой лентой замерзший Днепр. Двадцать три года живем мы над Днепром, но никогда не видели, чтобы Днепр стал, когда нигде вокруг нет даже признаков снега. Это волны остановились внезапно, скованные морозом. Так остановилась наша жизнь, скованная поражением.

Этот холод — смерть для людей, которые в плену, страдание для тех, кто в окопах дерется на фронте. Этот холод — смерть для хлеба, если есть он где-нибудь на полях нашей не нашей земли. Одна только польза от него — немцы мерзнут, только, жаль, мало. Они тепло одеты.

19 ноября 1941 г.

Сегодня снова встретила Н. Его первое поручение не выполнила, человека в Мрыгах не нашла. Мы шли и снова проверяли друг друга. Снова сказала ему, что настойчиво ищем связи. Он сказал, что к нам придут. Подтвердил, что Сталин в Москве, что 7 ноября был парад. Он ушел быстро, но обещал помочь. Не верится, что наше сокровенное желание может осуществиться.

21 ноября 1941 г., пятница.

Мало пишется дневник. Его отодвигают повседневные дела. Приходится делать самые ненужные вещи, которые вырастают в необходимость из-за необходимости жить. Приложить наши силы некуда, а просто умирать, ничего не сделав, бессмысленно.

Очень много говорят о том, что вокруг продолжается упорная война немцев с партизанами. Каждый день из-за города слышны орудийные выстрелы. Точно же никто ничего не знает.

18-го числа пришел Павлуша. В первую минуту не узнали его, не поверили, что это он. Он шел с 29 октября из-под Москвы, где был в плену 10 дней. Он страшный, распухший, обросший густой, совершенно седой бородой. Старик, подавленный и униженный. В плен попал во время работы на окопах под Москвой. До этого с мужчинами его возраста прошел всю Украину от Мариуполя, а оттуда их повезли к Москве. Там попал в плен. Потом начали отпускать из плена тех, кому более пятидесяти. Выручила седая голова, распухшее лицо, ноги. Не пришло в голову, что этому старику нет еще сорока пяти. Шел по селам, как нищий, просил хлеба. Оборвался. Пришел в тряпье, выпрошенном в дороге. Дают неохотно, потому что без конца идут беженцы и пленные, и нечего уже давать. Когда он ест, страшно смотреть. Озирается, как затравленный зверь.

Моим магазином так никто и не интересуется. Поскольку в нем утеряны последние стекла, как могла, сама забила окна досками от стеллажей подсобки. Теперь в нем, кроме грязи и холода, еще и темнота. А холод, как в Дантовом аду. Иногда отчаяние нападает с такой силой, что решаю бросить магазин. Со стороны, наверно, мои попытки сохранить его кажутся смешными или бредовыми. Но у всех нас такое чувство, что нужно оттянуть время, мы все надеемся на поворот в войне.

Нюся так и мучается без квартиры. Молодчик из гестапо так запугал управдома, что Нюсины вещи выбросили в тот же день. Она совсем измучилась в поисках какого-либо жилья.

Настроение подавленное. То и дело слышим о гибели людей в гестапо. Радио нам недоступно. Отдельные сведения, которые до нас доходят, неутешительные.

Мне предложили писать вывески в рекламном бюро управы. Голод очень мучает. Но я пока отказалась. Никто не знает, когда наступит поворот в войне. Если же наше положение затянется, многие не выдержат. Придется выбирать — работа у немцев или голодная смерть.

25 ноября 1941 г., вторник.

В городе упорно говорят, что немцев бьют под Москвой. Значит, это многим известно, и немцы не могут остановить проникновение сведений к нам. Еще известно, что В.М.Молотов выступил по радио с нотой, обра-

щенной ко всему цивилизованному миру по поводу бесчеловечного обращения немцев с пленными. Какие бы зверства не упоминались в обращении, они меркнут перед действительностью. Ведь в эти двенадцатиградусные морозы все пленные все еще под открытым небом. Лагерь теперь немцы отводят специально на расстояние 50 км от жилых мест, чтобы не был слышен вой гибнущих людей.

Нам всем кажется, что ничто уже не может нас потрясти. Все словно окаменели. И что могут сделать все ноты мира против такого ужаса?!

Юсе все-таки дали, наконец, квартиру там же, на Кузнечной в 9-м номере на 5-м этаже. Уже перетаскивали туда вещи. Но холод там лютый и грязь тоже. Помог оправдом.

30 ноября 1941 г.

Мне помогли послушать радио. Услышала своими ушами приказ номер пять из Москвы Верховного главнокомандующего тов. Сталина с поздравлением командованию Южного и Юго-Западного фронтов по поводу взятия Ростова. Значит, наши отобрали у немцев Ростов. Сейчас внутри все прыгает от радости. И мы теперь точно знаем, что ни в коем случае нельзя поддаваться слухам. Вся немецкая пропаганда и всякие провокационные слухи создаются специально, чтобы деморализовать население. И еще мы констатируем очень важную для нас вещь: чем лучше дела наших, тем бешеней ведут пропаганду немцы против большевиков. Неудачи немцев на фронте вызывают новые приступы агитации. По всему Киеву расклеены цветные литографии с изображением, как озаглавлено, боевых эпизодов «героической немецкой армии». В этих плакатах воззвания Гитлера, а рядом голубые лозунги с таким текстом: «Мы ставим весь континент на службу нашей борьбе с большевизмом. Украине! Твое место рядом с немецкой армией в борьбе за новую Европу!» Эти лозунги вызвали во всех нас лишь мысль о том, что мы в настоящее время абсолютно ничего не знаем о европейских странах, захваченных Гитлером. Но никто из нас не допускает мысли о том, что такие страны как Франция, Чехословакия, Польша окончательно раздавлены и могут покорно служить Гитлеру в его «новом порядке». Неужели нет никакого протеста в этих странах?

Основные слухи в городе говорят о том, что Киев и Варшава объявлены мертвыми городами. Что-то готовится, потому что повсюду, в частности в Академии, предложено снова заполнить анкеты, очень краткие, с основным вопросом: «Укажите, желаете ли выехать из Киева». Куда и зачем? Никто не знает.

Про евреев в городе ничего не слышно. В газетах писали, что во Львове отведен квартал для еврейского гетто, куда до 14 декабря должны переселиться все евреи Львова. Из этого делаем вывод, что они там живы, и только мы вынуждены быть свидетелями кровавой расправы.

О пожарах не слышно. Но вчера снова появилось зловещее сообщение Эбенгардта о том, что в городе повреждена телеграфная и телефонная связь, и так как виновных установить не удалось, снова расстреляны 400 мужчин Киева. «Это снова предупреждение», — сказано в сообщении. Продолжаю переучет магазина, хотя мороз нестерпимый. Сейчас слушали украинские последние известия. В них: упорные бои возле Ростова и Таганрога; известие о захвате немцами Клина и Волоколамска. Это в ста километрах от Москвы.

Понедельник, 8 декабря 1941 г.

Требовали, чтобы явилась в управу в рекламное бюро. Приходили узнавать, почему не явилась. Сказалась больной. В действительности же не могу рисовать новым хозяевам. И занимаюсь совсем другими делами. Целые дни носим мы книги и ноты из квартир уехавших, а чаще ходим и ходим без толку. Нюся в квартирах собирает и складывает всевозможные документы. Могут пригодиться. Очень сильно мы устаем, должно быть, от общего истощения, тоски и безнадежности. И все же заставляем себя что-нибудь делать. Хоть видимость какая-то работы на пользу тем, кто вернется.

Радио нет больше, потому что нет больше контрабандно подключенного света. Ничего не знаем о Союзе. Не слышу больше Москву. Зима все усиливает бедствия народа. Пленные гибнут и гибнут. Они все еще под открытым небом.

Одинаковы, похожи один на другой, как медленно капающие капли воды, наши вечера. В шесть часов совершенно темно. У нас убогое освещение — керосиновая лампа, но мы не имеем права жаловаться, у других только коптилки. У многих же нет и таких. Темно, холодно, тоскливо. Все время хочется спать. Шурка капризничает. Любовь Васильевна крутит патефон. Нестерпимая тоска.

Воскресенье, 14 декабря 1941 г.

В сегодняшней газете приводятся статистические данные о населении Киева по проведенной переписи. Судя по ним, в городе сейчас 423 тысячи человек. Это обозначает, что 400 тысяч ушли на фронт и эвакуировались, а сто тысяч евреев расстреляно. А по сведениям, которые наполняют город, немцы желают, чтобы в городе осталось только сто тысяч, из которых они якобы собираются обеспечить работой пятьдесят тысяч. Остальные должны куда угодно уехать, потому что Киеву нечего есть. На это похоже, потому что желающим уехать куда-либо дают пропуск на выезд из города, а обратно не дают.

В Житомире населения 40 тысяч, в Бердичеве — 23 тысячи. И еще в сегодняшней газете заметка, что якобы болен тов. Сталин, но что болезнь его, угрожающую жизни, скрывают от населения Советского Со-

юзя. Так немцы постепенно идут на попятный в своей пропаганде, потому что месяцем раньше они утверждали, что И.В.Сталин оставил Советский Союз и уехал в Вашингтон.

Среди немцев, как и среди всех народов, есть настоящие симпатичные люди, но они теряются среди зверей в серо-зеленых шинелях. Многие из них гибнут в гестапо. Нам известны случаи протеста. Немцы, протестовавшие, закованы в кандалы и их, как каторжников, гонят на работы за городом раздетыми по морозу. Таких мы видели, когда возвращались в город из Пидгирцев 30 октября. Как говорит Таня, мы темные люди. Ничего мы не знаем о происходящем. Не знаем, существует ли немецкое подполье? Есть ли еще немецкие коммунисты? Что теперь с Эрнестом Тельманом? Книги Маркса и Энгельса сожжены в нынешней Германии.

18 декабря 1941 г., четверг.

Сегодня особенно вспоминается мама. Ровно четыре года назад в 6 ч. утра ее увез «черный ворон». Мы видели ее в последний раз. Ни одной передачи не разу не приняли у нас, никаких сведений о ее судьбе. Только то, что осуждена на десять лет со строгой изоляцией. Хотя бы самая маленькая весточка о ее судьбе! А как я ее искала! Как безумная! В тюрьмах. На этапах, в лагерях. Все вспоминается с новой силой. Жива ли она? Вот сейчас я достала из стола списки лагерей, которые давали друг другу женщины, такие же несчастные, как и мы. У меня 98 адресов лагерей. Говорили, что если послать по адресу лагеря деньги и они не вернутся, значит, человек там. Я послала во все девяносто восемь адресов. Деньги ниоткуда не вернулись. Сейчас я решаю уничтожить эти адреса. Кто знает, что с нами будет. Зачем же в руки врагов давать такой порочащий нашу страну документ?

Ах, мама, мама! Увидимся ли когда-нибудь?

19 декабря 1941 г.

Сегодня уже девятнадцатое декабря. Ровно три месяца, как немцы вошли в Киев. Впечатление такое, словно прошло три долгих года с тех пор. А меж тем время идет очень быстро. Бесполезно представлять себе, что происходит за чертой, которая отделяет нас от наших. Что с теми, кто уехал? Где они? Им, наверное, не легче, чем нам здесь. Морально только легче. Они со своими, они свободны.

Сейчас снова стреляют. Выстрелы похожи на выстрелы тяжелых орудий или зениток. Низко летает немецкий самолет. Значит, не так спокойно на фронте, как в том пытаются убедить нас украинские газеты.

23 декабря 1941 г.

По двору вместе с воробьями ходят чудные серые голуби. Милые птицы! Немцы приказали их всех уничтожить. А они есть, живы. Это бессоз-

нательный протест против варварства немцев. Голуби хотят жить, как хочет того все живое.

В городе есть евреи. Они скрываются, но они есть, несмотря на все стремления немцев их уничтожить. И все равно они будут жить, как того хочет все живое. И никакие законы человеческого общества не докажут, что они должны умереть только потому, что они евреи.

28 декабря 1941 г.

Завтра нашей Татьяне двадцать три года. Что хорошего видела она за свою жизнь? Только Дальний Восток, о котором она вспоминает как о светлом времени. Но слишком коротко было оно. А потом? Только ужасное разочарование в том, кого любила. И сразу война. Не могу писать. Слишком тяжело.

Прислужники успели сделать много гадости нашим. В библиотеке Академии, например, при их помощи немцы выбрали, выбирают и вывозят очень ценные книги из Украины. Удастся ли их вернуть? Все эти денщики у господ сразу перестали обижаться на обращение к ним на русском языке. Не хожу в библиотеку Академии, откуда меня почти выгнали в тот единственный раз, когда меня отчитали за обращение на русском языке. Со мной не пожелали разговаривать по этой причине. А вот сейчас русские и русский язык заняли равноправное, если не доминирующее положение. Везде говорят по-русски. Все сразу перестали притворяться. Функции управы свелись к нулю. И ходят упорные слухи о том, что ее вообще упразднят.

Больше всего говорят в городе, что немцы намеренно стараются уничтожить всякую жизнь в Киеве. Столицу, говорят, переносят в Ровно (кстати, к счастью, слухи об убиении евреев в Ровно не оправдались, там евреи живы). По-прежнему все культурные и научные учреждения Киева, также как и промышленность, законсервированы. Дотаций не получает никто. Судьба Академии должна решиться к Новому году. Но ничего хорошего не ждут. В консерватории, которая теперь на Пироговской в помещении бывшего строительного института, ледяной холод. Так что классы, начавшие занятия, все еще в рабочей консерватории. Но инструменты стараются везти уже сюда. Случайно пересмотрела свои записки и установила, что очень виновата перед своими консерваторскими друзьями. До сих пор не написала о том, какой тяжкий труд выпал на их долю. Ведь оба здания консерватории сгорели со всем, что в них было. Сгорели все инструменты. И прежде всего перед консерваторией встал вопрос, а как же существовать без инструментов? Где их достать? Очень помогла в этом бывшая преподавательница немецкого языка в консерватории Эрика Людвиговна Майер. Сразу после прибытия в Киев генералкомиссариата она стала работать в нем переводчицей. И вот по инициативе Нюси обратилась с просьбой помочь получить разрешение на конфискацию для

консерватории инструментов и библиотек педагогов, уехавших в эвакуацию. И она получила такое разрешение, и получила немецкие бланки с немецкими печатями, в которых нужно только вставлять имена хозяев инструментов, адрес и кто получает.

И вот уже второй месяц остатки консерваторского коллектива мучаются, но собирают рояли, пианино, ноты и книги.

В нынешних условиях — это немыслимая работа. Ведь нет ни грузовиков, ни транспорта, ни денег. Препятствия чинят управдомы и жильцы, занявшие квартиры уехавших. Очень много сил ушло у Нюси и сотрудника консерватории Губы на добывание каких-нибудь денег. С трудом выпросили немного у управы. И, собирая всякий раз студентов и педагогов (нужно иметь в виду, что это больше всего женщины), своими силами перетаскивают рояли и пианино, нанимают так называемые площадки частников на Евбазе или в другом месте и везут все в консерваторию. Уже собрали восемнадцать инструментов. Уже взяли инструменты профессора Михайлова, М. Гозенпуда, профессора Бертье, Круглой и других. Нюся, которая совсем выбилась из сил, потому что больше всех этим занимается, ведет строжайший учет, записывая номер каждого инструмента. И все делается для того, чтобы сохранить консерваторию с ее студентами и педагогами, и сохранить инструменты для тех, кто вернется. Могут ли они представить себе, что это значит, вынести руками измененных холодом и голодом людей тяжелые инструменты?

Что-то принесет нам новый сорок второй год?

2 января 1941 года, пятница.

Окончился страшный сорок первый год. Уже прошло два дня нового года. Принесет ли нам новый год окончание страшной войны, именуемой войной? Неизвестность, в которой мы пребываем, делается с каждым днем все нестерпимее.

28-го случайно услышали Москву. Наш приемник теперь у Фришей, т.к. только немцы могут иметь приемники. И нет у нас света.

Москву усиленно забывали. Но сквозь хрипение и крики мы все же кое-что разобрали. Узнали, что Калинин советский. Это о нем немцы сообщали, что оставили его, выравнивая фронт. Узнали, что Ростов налаживает снова советскую жизнь, а на Кавказе из лимонов и апельсинов варят консервы для армии. И больше не слыхали Москвы, сколько не пытались.

Из украинских газет (выходят теперь на серой бумаге) мы «узнали», что в Москву на свидание со Сталиным прилетал Иден. Значит, правительство СССР в Москве. Значит, украинские пропагандисты сами опровергли все антисоветские слухи о расколе в партии. И еще это значит, что немцев всерьез отогнали от Москвы. И в этих же газетах — об усилении немецкого наступления на Севастополь.

В плену по-прежнему страшно. Никого не выпускают. Только по 300-400 трупов выносят из лагерей каждую ночь. Это рассказал старик, который привез Степану записку из Ровно, от какого-то пленного. Но записка без подписи, и Степан не знает, кому же он должен помочь.

Наши власти преподнесли нам новогодний подарок — в газете появилось воззвание Бегазия такого содержания: «Героическая немецкая армия освободила вас, украинцы, от большевистского ига. И теперь немецкие рыцари бьются за вас на восточном фронте против большевиков, за ваше светлое будущее и светлое будущее всей Европы, Помогите немецким воинам теплой одеждой — кожухами, валенками, шапками!» И так как немцы за все обещают (и приводят в исполнение) расстрел, то данное воззвание было немедленно реализовано властями на местах. Вчера все по случаю нового года были дома, и во всех домоуправлениях были проведены общие собрания, на которых была предложена свирепая и неоспоримая разверстка: каждые сто жителей Киева должны сдать два кожуха, один полушубок, одну пару валенок, одну шапку, перчатки, свитеры и т.д. и т.п. И не какие-нибудь старые бумажные вытянутые вещи, а все новое, шерстяное. И не деньги, а вещи. Сдать вещи нужно за два дня — за 2-е и 3-е января. И известно, что каждый, включая и грудных детей, должен сдать по сто рублей!! И при сдаче вещей еще нужно подтверждение, что они не краденные. И все сидят в унынии, потому что денег нет, вещей нет, и что делать — не знаем.

Пятница, 9 января 1942 г.

Прошло Рождество. Мы нынче богаты праздниками. Что ни неделя, то несколько свободных дней.

Хлеба нет, его выдали по карточкам один раз с 1-го числа по 200 граммов. В Академии дали по 1,5 кг хлеба, а в Консерватории, на водном транспорте и в других местах даже этого не дали.

Наша жизнь по-прежнему тяжела и нестерпима. Евреев по-прежнему выискивают и убивают. Кто помогает немцам, выдавая евреев? Ведь сами они ни за что не нашли бы их. Все еще видят, как евреев ведут на кладбище. В городе тифы и голод во многих семьях. Куреневка, говорят, объявлена неблагонадежной и запрещен доступ продуктов в город с куреневки. Есть дома на Подоле, сплошь зараженные сыпняком и брюшным тифом. В больницы не берут, там нечем топить и нечем кормить. Они теперь платные. Сутки больничного содержания стоят 20 рублей, а дают там поесть лишь один раз в сутки тарелку баланды.

Жизнь наша, дни наши затянуты тоской, как тем едким дымом, который наполняет теперь наши темные квартиры. Целый день на щепках варится баланда, потому что из-за отсутствия дров она варится часами. Дитя плачет. Все силы уходят на добывание каких-то средств существования, и все почти даром. Денег нет. Вещи продаются с великим трудом. Меняются еще труднее.

Вторник, 13 января 1942 г.

На дворе вьюга. Ветер воет. Колючий, холодный снег не уменьшает двадцатичетырехградусного мороза. Темно и холодно. Света нет, воды нет. Три дня тому назад был объявлен распорядок подачи воды по районам. Пока же ее нет совсем.

Не могу писать.

15 января 1942 г., четверг.

В магазине со мною пишет списки Любовь Васильевна. Но сидим по очереди, потому что больше чем полтора-два часа выдержать невозможно. В магазине 6° ниже нуля. В подсобке обнаружили железную печь, но нет печника и нет денег, чтобы ему уплатить.

Свет выключили даже в тех редких квартирах, где он был по специальным протекциям и разрешениям. В связи с этим снова нельзя услышать Москву.

Холодно, темно, главное же — голодно. Голодных очень много. Нечипор все время ездит на своих лошадях в район, километров за 150—200. И в большинстве случаев привозит в обмен на вещи пшено и горох, иногда немного картошки. После того, что Нюся и Галя отравились мерзлой картошкой и ели «драпанцы» из мерзлой же картошки, жаренные на парафине, а картошка эта при прикосновении к ней «стреляла» в потолок, горох, привозимый Нечипором, кажется невероятным счастьем. Его с вечера намачивают в большой миске для умывания, потом варят и кормят тех, кто уже голодает. Всегда кто-нибудь кормится у них, но всех, кто хочет есть, невозможно накормить, даже из самых близких знакомых.

И все же среди тех, кого мы знаем, еще нет случаев самого катастрофического голода. Но ведь еще только 15 января, и продукты на базарах — все еще остатки того, что осталось от наших.

Приехала из Харькова какая-то знакомая нашей библиотечной сотрудницы. Она в восторге от киевских базаров и киевского благополучия. В Харькове настоящий и страшный голод. Ни за какие деньги на базаре ничего нельзя достать. Там близко фронт и летают советские самолеты. Они сбрасывают бомбы туда, где стоят немецкие части. Население их встречает очень радостно.

Да, нам на наше положение жаловаться по-настоящему не приходится. Есть крыша над головой, вода появляться в прачечной стала, а в других домах ее несут за несколько кварталов и часами стоят в очереди. Свет у нас был контрабандой некоторое время, а у других его нет с самого ухода наших. Хлеб получали почти все время в академии раз в неделю по полтора килограмма. Для ребенка хватало. И выручает нас горох, который выменял нам Нечипор. Главное же — мы почти все время слушали Москву, хоть и редко удавалось услышать что-либо важное.

Но есть у нас одно важное обстоятельство, которого нет у многих других. У нас есть много единомышленников, которые хотят того же, что и мы, и ждут так же, как и мы, и любой возможности найти связь с нашими. Нас поддерживает коллектив. Нет, нам жаловаться не приходится. Определенно.

Все же каждый как-то приспосабливается и устраивается. Кто продает вещи, кто уже устроился и работает и там изредка получает немного крупы и хлеба. А кто покупает на одном базаре у крестьян продукты, а на другом продает дороже. Дунечка купила муку и картошки у крестьян десятками, а продав их поштучно, заработала 50 рублей. Ну, хоть что-нибудь. Няся выторговала за вещи немного денег и дала их Нюре, чтобы она пекла пироги и продавала их на базаре. Татьяна и Степан шьют перчатки из старого кожуха и детские платьица для базара. Все работают на базар. А на нем есть все, что угодно. Огромную часть базара занимают толкучка и «обжорка». На толкучке очень много продавцов и совсем мало покупателей. Продается все — от штопальных ниток и патефонных пластинок до золота и бриллиантов. Нет вещи, которой нельзя было бы купить там. Снова появились бесчисленные посиневшие от голода, с отеками ногами, женщины, которые вытянулись в длинные ряды раскладки. Предприимчивые спекулянты открыли рундуки со всевозможными вещами. В частности, на еврейском базаре открыт рундук с книгами. В нем перемешаны издания «Academia» с книжной макулатурой, классики с бульварными затасканными романами. Вместе на голову продавцу сыпятся Дарвин и Библия, техника и поэзия, древние и советские писатели и поэты. И за все это там дерут три шкуры. И все-таки покупатели есть.

Все меряется по хлебу, а хлеб есть лишь для немногих. Три-четыре раза в месяц выдают по карточкам по 200 граммов на человека и работающим по 1,5 кило в неделю. На базаре его очень много, но стоит он 40, 50, 60 и 70 рублей килограмм. Кто же может его купить? Обжорки бойко торгуют. Весь базар наполнен криками этого сейчас наиболее доходного промысла. Горячие пироги с горохом и картошкой, вареная картошка, каша, суп, чай, хлеб, масло, котлеты из конины и даже свиные отбивные. От прилавков валит пар. Хозяйки яств прыгают и пляшут от мороза, а голодные потребители жадно насыщаются тут же на морозе, стоя, торопясь, обжигаясь и блаженствуя. Знают ли люди, которые никогда не испытывали голода, какое это унижительное чувство — голод?

На Бессарабке обжорка организована даже с комфортом. Она в Крымском рынке. И там за столами, к величайшему удивлению не только харьковчан, но и нашему, можно получить котлету с картошкой всего за десять рублей. Правда, котлета конская.

С фронта никаких известий. Сообщения газет кратки и односложны. Немцы мерзнут, но нам от этого не легче. Морозы все время сильные, а позавчера и в понедельник была совсем невозможная погода — ветер,

снег и мороз. Менее 14° мороза не было в эти дни. Намело много снега. На площади он лежит нетронутой белой целиной и ослепляюще блестит на солнце. Трамвайные пути очищены снегоочистителем, а улицы в большинстве своем не чищены совсем. На улице Ленина немцы ездят в обе стороны по одной половине мостовой. Вторая засыпана снегом. Порядка в городе нет. Никто ничего не убирает.

Машин на улицах совсем мало. Трамваи ходят редко. Нет никаких уличных звуков. И только радио орет на тихих, безмолвных улицах одни и те же фокстроты или песни из репертуара Вертинского и белых эмигрантов. Кожушная кампания окончилась совершенно неожиданно. Благодаря Воробьевой, мы так ничего и не дали.

Пятница, 23 января 1942 г.

Бывает так: живем одинаково и однообразно, какой-то более или менее однотонной жизнью. И вдруг в один день или час все перевернется и начнется наново.

Так, например, сегодня у меня уже нет больше никаких отношений с магазином. Нелепая мысль удержать его вместе с содержимым до возвращения наших кажется мне сегодня такой же нереальностью, как получение известия от уехавших. Магазин конфискован немцами. Без всяких разговоров. Просто на двери магазина появилась и висит бумажка с печатью немцев «Beschlagnahmt», что означает — конфисковано. Надо сказать, что удар неожидан и очень силен. Дело в том, что мы перевезли в эти дни большую часть советской литературы из ДКА. И вот все пропало.

В прошлый четверг к концу дня вдруг пришла Нюся, которая не балует нас приходом на Андреевский спуск. Вечером читали в полутьме нашего двурогого слепого каганца. А утром вместе отправились в Липки в немецкую комендатуру. Директору консерватории Ивановскому немцы отдали огромную часть книг библиотеки Дома Красной армии на отопление квартиры вместо дров. Немцы поставили обязательное условие — либо забрать все книги, которые они считают изъятиями, либо они все эти книги отправят в топку котла парового отопления комендатуры.

С утра было холодно, как и все эти дни. Морозы стоят ровные и сильные — 15-20 градусов. С площади III-го Интернационала ходит, как и раньше при наших, трамвай, тоже третий номер. Мы поднялись в Липки трамваем. Он останавливается на тех же углах, где останавливался и раньше, на обоих углах Садовой, хотя новый дом админчастей необитаем. Немцы почему-то не занимают это замечательное здание, чудесное произведение академика Фомина.

Мы не были в этом районе с момента прихода немцев. Он ничуть не изменился, только безлюднее и глуше стали его улицы, и снег на них лежит, как в деревне, необрушенный. И только узенькие тропинки протоптаны в нем. Возле городской и военной комендатуры, которая теперь в

бывшем доме Красной армии, много немецких машин и немцев. У входа часовые в касках и шерстяных платках под ними. Под шинелями у них кожухи, а на ногах огромные суконные валенки на толстых, десятисантиметровых подошвах. Говорят, что это валенки на соломе, обшитые сукном, одевающиеся поверх сапог.

Стоять у комендатуры воспрещается. Просители стоят на другой стороне улицы, а принимают их с 3 до 5 часов. Тем не менее они стоят с утра на морозе и ждут. Позже возле комендатуры гражданскому населению стоять запрещено.

Мы не нашли того, кто распоряжается книгами, и ушли с тем, чтобы найти его в генерал-комиссариате или вернуться к трем часам. Генерал-комиссариат помещается на Банковой, 9, в доме бывшего штаба округа. Там у входа тоже много машин, а в дверях стоят солдаты, которые, как швейцары, отворяют двери всем входящим. И все входят свободно — и немцы, и наши люди, никто никого ни о чем не спрашивает. Внутри все голо, казенно и пусто. Бегают с деловым видом немцы в желтых гражданских формах со свастикой на красной повязке на левой руке. И никто ничего не знает. Мы ходили по лестницам, по коридорам всех этажей, встречая мало людей, сами искали того, кто нам был нужен, и в результате узнали, что его нет.

Мы спускались вниз по Лютеранской улице, по-нашему улице Энгельса. В первый раз за три месяца увидели мы торчащие развалины сгоревшего Крещатика, улицы Свердлова, Пушкинской, которые сгрудились обгорелыми толпами черных столбов под белыми шапками сверкающего на солнце снега. Жуткая, зловещая, незабываемая картина.

На Лютеранской, меж обгоревших домов, катаются дети на санках по неширокой раскатанной полосе, а кругом от дома к дому лежит нетронутый снег. Его некому трогать. И остро пахнут недавней гарью кирпичные обгорелые развалины.

К трем часам снова добрались до комендатуры, и на этот раз попали по назначению. переводчик проводил нас в подвал, где огромными грудями в полном беспорядке лежали тысячи книг. Это была бывшая библиотека, которую советские библиотечники собирали годами. На стеллажах, стоящих в стороне, были еще книги. Возле них стоял немец в офицерской форме, который говорил с мужем сотрудницы консерватории на чистейшем русским языке. По разговору мы поняли, что этот немец блестяще осведомлен обо всем, что издавалось в Советском Союзе на протяжении всех двадцати трех лет. Информирован он был просто потрясающе. Сейчас на полках он выбирал себе все книги по искусству, экономике и географии СССР, складывал их в аккуратные стопки, а советскую художественную литературу бросал в груды, лежащие по всему подвалу. Ни одной политической книги или брошюры не было видно. Не было и классической литературы русской или зарубежной.

Нам указали на груды, лежащие на полу, и мы принялись увязывать книги веревками, взятыми из магазина. Мы вязали до тех пор, пока не пришлось спешно убираться, чтобы добраться домой до запрещенного времени. Наугро мы снова были у комендатуры уже вместе с Нечипором и лошадьми. Таскали и возили книги. Возили целый день, и весь следующий день. По примерным подсчетам до сегодняшнего дня мы перевезли в магазин свыше пяти тысяч книг, а ведь возили пополам — воз Ивановскому, воз нам. И вот все пропало. С утра магазин конфискован.

14 февраля 1942 г.

Сегодня сто пятьдесят дней оккупации.

Не писала несколько дней. Это было трудное время. Передавала магазин, а главное — все возили книги. Нечипор уехал в село, и мы с Нюсей все возили и возили их на маленьких детских санках. Больше трех или четырех пачек не помещается. Санки переворачиваются, ноги скользят. Мороз страшный. Словом — нет слов. Но перевезли мы в общей сложности в консерваторию свыше двадцати тысяч книг, да в магазин больше пяти. Немыслимо же было оставить книги на сожжение, если их можно было забрать. И такую литературу! Больше всего Маяковского, Островского «Как закалялась сталь» и великое множество другой советской литературы. Возили вдвоем. Никто не помогал. В эти дни, пока мы таскали книги, произошло много событий. Ушел первый поезд в Германию с добровольцами. В семье у нас ужасная новость. Степан поступил в полицию. Татьяна плачет все время. А он клянется, что это необходимо, что дела ми он будет заниматься только уголовными. И что он нам еще пригодится. В качестве первого «задания» ездил в Борисполь ловить воров. От всего этого нам не легче. Закрыты «наглухо» базары. Ничего купить нельзя. Есть нечего, горох уже кончился.

Позавчера вечером немцы вдруг включили по всему городу радио и передавали обстрел их тяжелой артиллерией Ленинграда.

Как заяц не может двинуться, скованный взглядом змеи, и несмотря на смертельную опасность не бежит, так и мы, не будучи в силах выключить радио, слушали нестерпимую чудовищную передачу. Все, что осталось в нас еще живого, потрясено до глубины души этим чудовищным расстрелом нашего великого города. Ненависть наполняет нас, но ненависть наша бессильна. Ведь по-прежнему нет никакой связи с нашими, ничего.

А потом немцы выключили передачу обстрела и сообщили о ново-назначенном комиссаре Украины — Могунии и о приезде на Украину Гитлера.

Магазин передан вместе с книгами из ДКА. В библиотеке Академии смещен Полулях, и имеется уже новый шеф — немец по фамилии Бенцинг. Помощница его — Луиза Карловна Фалькевиц, которая была сов-

сем незаметной машинисткой в библиотеке. Возвышение ее произошло стремительно. Рассказывают, что дня через три после прихода немцев возле дома, где она живет, остановилась шикарная немецкая машина, и вышел очень важный немецкий офицер. Оказалось, что это ее родной племянник, сын сестры, которая живет в Берлине. Через два дня Луиза Карловна сделалась переводчицей в генерал-комиссариате, а вот теперь — помощницей директора в библиотеке Академии.

Наши все ушли в село за продуктами, а мы, оставшиеся, волнуемся.

23 февраля 1942 г.

16 февраля снова открыли базары. В тот же день говорили о приезде Могунни и Гитлера.

Я уже окончательно безработная, нигде уже не числюсь. Магазин закрыт окончательно, и немцы его открывать не будут.

Арестована вся управа несколько дней назад. Все переходит к немцам, и тем, кто не знает языка, работы нет. Ходят тревожные слухи о том, что безработных всех будут отправлять на работы в Германию.

Нечего и говорить, что мы впали в полное уныние. Война идет, и приближение весны снова не принесло нам ничего хорошего. Никакого поворота. Наоборот, выходит, весна несет только ожесточенное наступление наших врагов.

В пятницу я была последний раз в редакции Академии, где составили акт на передачу магазина. В редакции оказались хорошие люди и выдали нам за месяц переучета деньги и хлеб.

Ушла из редакции, и на этом окончились мои отношения с магазином. Он стоит с оголенными витринами, разбитыми осколками снарядов, и с розовой немецкой наклейкой о конфискации. Он стал совсем чужим, магазин, а еще несколько месяцев назад в него приходили бойцы с фронта и просили дать им «душевную книжку» перед боем почитать, или перед смертью.

Да, лучше не думать.

Эпидемия сыпняка и брюшняка все усиливается. Воды нет, света нет, мыла нет.

Потеплело совсем. Еще в пятницу начало таять на солнце. И таяло дружно, словно уже настоящая весна. А в тени было все равно двадцать градусов мороза. По утрам в воздухе был густой морозный туман, как зимой. И пронизывает он до костей. Так и природа, словно в сговоре с нашими врагами, все время против нас.

Среда, 25 февраля 1942 г.

Газет не видела еще за вчерашний день. Все время смертельно хочется спать. Засыпаю сидя, стоя, в любых условиях. Спала днем, потом у Нюси мы проспали тяжелым сном весь вечер, а потом и всю ночь. Так

размаривает холод и голод. Только бы не озвереть от этого всего, не потерять того, что называется человеческим достоинством.

Наше настоящее полно неожиданных страшных вещей. На Бессарабке два дня уже висят повешенные. Висят такие же и на Печерске. Это «в назидание освобожденным народам» вешают немцы наших людей и пишут, что это за саботаж. Причем тут саботаж? Вешают наших людей за то, что они против немцев. Они борются против немцев. Вот и все. Но нам только страшно, и больше ничего. Что можно нам, в наших условиях сделать что-либо существенное против немцев? Только измена и предательство вокруг. Так, наверное, кто-нибудь выдал тех, кто сейчас висит второй день на Бессарабке и на Печерске.

В газете снова каждый день печатается во всю ширину последней страницы приглашение добровольно ехать в Германию. Не знаю, отошел ли второй поезд с добровольцами. Но они, очевидно, есть, потому что в еще большей прогрессии, чем безработица, возрастает число голодных и нищих. Просящих больше, чем тех, кто в состоянии им подать. На всех улицах, на всех углах стоят старые и совсем молодые женщины, дети, старики. Немцы, красные, жирные, надменные проходят, словно мимо деревянных столбов, а наши люди низко опускают голову от стыда, потому что нечего дать, и невозможно видеть голодных, которым не в силах помочь. Часто в двери стучатся голодные, изможденные мужчины, вероятно, идущие из плена. Все просят есть.

Еще принесли известие, что в Харькове немцы так же, как и в Киеве, уничтожили всех евреев.

Несколько дней назад уехал Нечипор, совсем. Ему удалось с товарищами по прежней работе устроиться на селекционную станцию Веселый Подол. Это в 40 километрах от села, где сейчас Нюсины старики и сестра с детьми. Свою одну оставшуюся лошадь Нечипор отдал брату Бенедю. Товарищи Нечипора знают, что он коммунист. Но никто не выдал. И вот теперь их несколько человек уехало из Киева.

23 февраля, 9 часов вечера.

Две новости сообщили мне сейчас. Первая — что закрывают все курсы немецкого языка, так как учащиеся на них якобы скрывались от трудовой повинности.

Вторая — невероятная. В газете на днях было извещение о том, что все калеки, безрукие, безногие, мужчины в возрасте свыше 45 лет, а калек женщины независимо от возраста, могут явиться на биржу и получить там бесплатно хлеб. И вот сегодня, сейчас сказали, что вместо хлеба их отправили на Лукьяновское кладбище, в Бабий Яр.

Поверит ли нам хоть один здравомыслящий человек, если мы об этом когда-либо расскажем? Но после 29 сентября всему можно верить.

А во вчерашней газете есть официальное сообщение по поводу трех повешенных. Это в «назидание» за подрыв немецкого строительства. Так мы живем.

Воскресенье, 8 марта 1942 г.

Международный женский день у всего передового человечества, а у нас сто семьдесят второй день оккупации. <...> А позавчера вдруг целый день бушевал северный ветер, насыпал снова массу снега, и снова температура упала до 18° ниже нуля. И все-таки уже весна, потому что вчера с утра снова пригрело солнце, и, хотя в тени было холодно, на солнце текли ручьи, а небо было синее, весеннее.

Пятница, 13 марта 1942 г.

Снова зима. Снова холодный ветер и сильный мороз. А вчера таяло, текло, снег совсем побурел, сделался грязным. И снова испортилась санная дорога. «Обоз Гитлера» двигался вчера с большим трудом. Все эти несчастные саночники-нищие бредут, падая от усталости, в далекие теперь села. В близких ничего не меняют. А весна в этом году никак не осилит суровую зиму. Это должно было бы помочь нашим, но ничего хорошего не слышно с фронта. Ничего не знаем о наших. А немцы все время сообщают о налетах на Москву и о повреждении в центре ее важнейших в военном отношении объектов, об очередном уничтожении трех советских армий и т.п. Московское радио очень забывают, и сводок Информбюро совсем не удается услышать. Попадаем только на боевые эпизоды.

Люди живут надеждой. Какова же она у нас? Многие надеются на окончание войны в скором времени, но если объективно смотреть на вещи, то близкий ее конец может принести победу только немцам. Очень большой кусок нашей страны они захватили. И сколько нужно сил теперь нашим, чтобы отбросить их назад. Выходит, что нужно надеяться, набраться терпения и ждать улучшения наших дел. Парадокс, но, очевидно, в затяжке войны сейчас залог нашей победы.

Попытки сделать что-либо для наших жалки и смешны. Никто не знает, где же те подпольные группы, которые оставлены здесь для работы. Их ищут, но не находят. Все боятся друг друга и стен вокруг.

Недавно приходил Н. Он пришел в немецкой форме. Говорит, что это необходимо для работы. Сейчас он интересуется некоторыми сведениями, которые я должна ему раздобыть.

Когда он пришел в такой одежде, сердце у меня оборвалось. А вдруг я ошиблась в нем? Но он говорит, что нужно терпеливо ждать, выполнять то, о чем он просит. Когда будет нужно, к нам придут.

Я пишу, так как приняла на себя обязанность все рассказать нашим, когда вернутся. Но понимаю, что если записки попадутся в предательские

руки, скольких я могу погубить. Поэтому все записи держу в специальной коробке под дровами в сарае. И знают о них только самые близкие люди.

Немцы ведут здесь самую немилосердную политику уничтожения нашего народа. Удушается всякая жизнь. Каждый день приносит тому новые свидетельства.

Закрывают все магазины. Уже не торгует ни один комиссионный магазин. На всех них висит такая же бумажка, как на магазине бывшем «моем»: «Beschlagnahmt».

Теперь вся жизнь города только на базарах. Продают последние юбки, снятые с себя, пальто и кофты, то, что было спрятано на черный день, потому что чернее дня не придумать. Посиневшие, полураздетые женщины стоят часами в грязи под мокрым снегом и часто не выторговывают даже десяти рублей, чтобы купить стакан пшена. Вчера у бывшего гастронома стояла интеллигентного вида женщина. Она стояла уткнувшись лицом в перчатку, красная от стыда. Просить милостыню нелегко. Вторая лежала на базаре в грязи, вверх лицом. Вокруг стояли любопытные, безразличные к ней зрители. Они смотрели, как шевелились посиневшие губы, видные из-под майки, которой ей закрыли лицо. Она продавала эту майку и не продала. Никто не подымал ее.

А тут же рядом жирные спекулянты тысячами считают деньги. Их кожаные мешки, висящие на животе, не в состоянии спрятать все кучи денег, которые загибают они, пользуясь голодом. Среди наживающихся еще мальчишки, которые торгуют сигаретами и сахарином. Они стаями стоят под дверьми домов, где расквартированы мадьяры. И последние охотно торгуют спичками, сахарином, содой. Отвратительные белые таблетки, которые никак не заменяют сахар, стоят у мальчишек пять рублей десятков. И не только на базарах, но и в тишине пустых улиц можно услышать звонкие мальчишеские голоса: «Кому сахарина? Кому сигареты «Гуния»? Кому сигареты «Леванте»?» А киевляне умирают.

Работа не обеспечивает тех, кто работает. Жалованья не хватает даже на несколько дней. Рабочие получают очень мало, меньше всех. Служащие — немного больше, но все цепляются за работу, потому что с каждым днем все больше и больше закрывается учреждений, и число безработных катастрофически увеличивается.

Академия закрыта. Уже всякие дела в ней прекращены. Сокращают работу в управе и в других начальственных учреждениях. Немцы упорно ведут политику удушения всякой жизни в городе.

Николай Иосифович работает теперь в ЗАГСе Подольской управы. Недавно ему принесли триста паспортов умерших в Кирилловской больнице. Среди этих паспортов был и паспорт моего дяди Родиона Ивановича. Мы скрыли это от Лели. Потому что уже известно, что немцы убили душевно больных на электрическом стуле. Евреев, помешанных, тоже убили, только их немцы не регистрируют. Да, немцы делают все для унич-

тожения нашего народа. Закрывается все, что могло бы хоть в малой мере способствовать улучшению или хотя бы сохранению жизни наших людей. Красный Крест упразднен. Есть теперь только какой-то малозначущий комитет взаимопомощи. Но и о нем ничего не слышно. Обширная работа, которую на первых порах плодотворно вел Красный Крест, теперь прекращена. Никто не ищет больше пленных и пропавших без вести. Безработных слишком много, чтобы им можно было помочь. «Слишком много!» — это стало теперь символом наших дней. Хлеба всем не дают, потому что нас слишком много. Работы всем нет, потому что нас слишком много. Немцы отказали работникам библиотеки в пайке на том основании, что их слишком много.

Сто семьдесят семь дней оккупации — вот это действительно слишком много! Но сколько еще это может продолжаться, никто не скажет. Никто не скажет.

Во вторник была я в библиотеке. Там я узнала, что вместо снятого с работы Полуляха директором назначен Николай Владимирович Геппнер, а библиотека перешла в ведение генерал-комиссариата. Восстановили на работе пятнадцать человек, уволенных Полуляхом в последнее время, и заплатили всем сотрудникам хорошую зарплату за февраль. Луиза Карловна и Геппнер, хотя я их об этом не просила, стали говорить Бенцингу, чтобы он принял меня на работу в библиотеку. Но Бенцинг сказал, что места для меня он найти не может. Так что сами собой решаются мои мучительные вопросы: идти или не идти на работу к немцам.

А в среду ходила тоже по поводу работы в редакцию Академии, но никого там не застала. Оказывается, в тот день везде работали с 7 часов утра до часу дня в связи с юбилеем Шевченко.

С Академией, кажется, закончила свои отношения. Ревизия, которая сидела там, уже закончила работу, и никакие сведения о магазине ей больше не нужны. Работники разбрелись по институтам, хотя на каждом из них появились немецкие надписи о конфискации. Академии больше нет.

17 марта, вторник.

Зима упорно не желает оставить нас в этом году. 18° мороза и северный ветер. Солнце не в силах побороть холод. На нашем Андреевском спуске так дует, что кажется идешь совершенно раздетым. И так мучительно холодно везде. До утра не удастся согреться. Света нет, и упорно говорят, что с 20-го его выключат даже у немцев. Нет топлива.

Вторник, 24 марта.

Появились в последние дни необычайные новости, и город полон слухов. Уже многие говорят о том, что две школы заняты беженцами из-под Орла и Вязьмы. Там идут ожесточенные бои, и немцы эвакуируют население — женщин с детьми.

Света нет, некоторое время не слушаем радио, и, кроме слухов, ничего не знаем, что на той стороне. В Броварах, оказывается, еще две недели назад появились партизаны, но точно никто ничего не знает. Несколько дней назад снова вели пленных по городу. Говорят, их было тысяч пять. Настолько страшно они выглядели, что плакали все прохожие — и мужчины и женщины. Антонина Федоровна плакала потом весь вечер. Она рассказывает о том, что пленные собирали последние силы, чтобы дойти до места. Один другому говорил:

— Собери последние силы, надо дойти, а то тебя добьют, если упадешь. Я тебе не могу помочь, у меня самого нет больше сил.

А если они не выдерживают и падают, их тут же добивают немцы. Тех, которые протягивали руки за хлебом, кому давали что-нибудь женщины, немцы кололи штыками в спину. Ничто не изменилось в обращении с пленными.

И еще видели наши соседи, как несколько дней назад по Львовской вели скованного советского матроса, а он пел советские революционные песни. И снова все плакали и плачут вокруг. Плачут даже те, кто охотно встречал немцев. Только не помогают никому эти слезы.

Мы теперь совсем хлебные буржуи. Получаем хлеб аккуратно два раза в неделю по 250 граммов на человека. Выходит 500 граммов на семь дней. Разве мало?

На работу устроиться все так же трудно. Немцы все продолжают закрывать учреждения. Драматический театр закрыт совсем. Опера работает редко, раз или два в неделю.

Пятница, 27 марта.

Вчера по радио передали немецкое распоряжение о том, что все домоуправы должны до пасхи проверить наличие вшей у населения. Бедная Воробьева! Она вчера была уже в 13-й квартире и спрашивала, нет ли «отыскиваемых» у Езерских. Конечно, никто не мог ответить на этот вопрос. Всех, у кого будут обнаружены насекомые, предложено оправдоман немедленно отправить в баню. Интересно только — в какую, если все бани закрыты из-за отсутствия воды. Город получает воду в очень небольшом количестве. Не работает электростанция. Нет топлива. Сегодня утром в прачечной вода текла едва-едва, и стояла у крана большая очередь. У нас берут воду жители всех соседних домов. В этом году нет ни одного дома в Киеве, где не замерзла бы вода и канализация.

Если весна и дальше пойдет такими же темпами, то скоро все растает. Всего третий день весны, а уже на горах снег остался только в ложбинах. Днепр побурел, и возле гавани большие голубые заливы образовала вода, которая неисчислимыми потоками выливается сейчас из города в реку. На нашем Андреевском перейти через мостовую нельзя. Бурный огромный поток несется все время вниз.

Долгожданная весна пришла, наконец, тепло совсем. И только все еще не верится, что будет тепло. Началась весенняя распутица, и несчастливые саночники совсем выбиваются из сил. С трудом тянут они свои санки по грязи и воде.

Упорно говорят о том, что немцы со дня на день собираются начать мобилизацию населения для посылки в Германию.

Сегодня видела Н. Он был в Харькове. Имеет сведения о своей семье. Значит, у него есть связь с нашими. Говорит, что Харьков разрушен меньше нашего, но много повешенных видел на улицах города. Евреев там тоже уже нет. Волнуюсь, что его поручения мне совсем незначительны. Говорят, что в Союзе все по-старому. Ничего не случилось с правительством. Но и бабские слухи тоже отчасти подтверждаются: митрополит Сергей действительно назначен в Москве.

Я просила Н. побыть у нас. Он живет полулегально. Работает где-то у немцев, и все время боится, чтобы его не узнали. Страшно за него.

Воскресенье, 29 марта.

Вчера снова повесили трех человек.

На бульваре Шевченко двое детей спросили меня, где повешенные. Решила, что они спрашивают о тех, которые были повешены раньше, и сказала, что их уже нет. Но когда подошла к концу бульвара, увидела страшное новое зрелище. На столбах фонарей висели тонкие оборванные веревки, а в грязи и в снегу — три трупа на земле. Кровь из их разбитых голов стекала вместе с водой на мостовую Крещатика. Они снова, как те повешенные в прошлый раз, сорвались, и их добили. Немцы стреляют разрывными пулями. Их головы изуродованы и окровавлены. Двое из них, по-видимому, евреи. На одном из них немецкая шинель. Безмолвные люди стоят вокруг. Ходит полицейский. Он не дает подходить близко. Не знаю, можно ли узнать убитых. Кто они? Что сделали? Успели ли сделать что-либо для наших или погибли ни за что? Их кровь еще свежая, красная. И лежат все три трупа одинаково, все повернуты лицом в одну сторону.

Вокруг жизнь идет своим чередом. Базар торгует. Трещат на нем спекулянты, мальчишки и патефоны. И радио кричит на улицах ненавистные немецкие танго. В зале управы концерт, посвященный Лысенко. И хотя лежат в крови и грязи трое повешенных, и хотя где-то недалеко по-прежнему не на жизнь, а на смерть бьются, убивают, — скрипачи играют, певицы поют. И если когда-либо казалось, что искусство нужно, то как дико звучит оно сейчас!

Четверг, 2 апреля 1942 г.

Сегодня льются бесконечные потоки воды, дует южный ветер, но небо серое, пасмурное.

Сегодня страстной четверг. На новом моем месте работы даже раньше окончили работу, чтобы все могли пойти в церковь. Через два дня всеобщая пасха. В этом году все пасхи в одно время. По этому поводу многие язвят, что немцы даже пасху и ту заставили явиться тогда, когда им захотелось. В связи с праздниками цены на базарах снова возросли в несколько раз. А работающие получили к празднику очередной хлеб и по килограмму муки! Масса возможностей для празднования пасхи.

Но пусть работающие будут довольны, потому что Киев должен уже дать тридцать тысяч безработных, от 14 до 50 лет, в Германию, и я сразу же попала в эту первую очередь.

Мне крупно повезло, и я счастлива, потому что уже работаю, благодаря протекции одной бывшей сотрудницы. Хотя попала словно на крепостную монастырскую фабрику. Это художественно-промысловый союз. Из его организаторов знаю одну руководительницу мастерской Марфу Тимофеевну Шередину, талантливую художницу-вышивальщицу из мастеров народного творчества. Работает мастерская на немецкий магазин. Производятся куклы и художественные вышивки. Помещается союз в усадьбе бывшего Михайловского монастыря.

Работницы получают почасовую оплату по немецким тарифам — восемьдесят процентов платы, т.к. они женщины. А нормы должны выполнять огромные. Дисциплина почище, чем у крепостников. Тесно, одна подле другой, тоже словно крепостные, сидят ряды девочек-подростков, учатся вышивать. Им ничего не платят, но после трех месяцев учебы они будут работать здесь в мастерской. И все довольны, потому что получают 6 килограммов хлеба в месяц, 200 рублей денег и, главное, не поедут в Германию.

В комнате, где я работаю в должности художницы, 22° жары. Здесь красятся и сушатся головы, руки и ноги кукол. Их рядом лепит из папье-маше бригада лепщиц. Там еще душнее и жарче. Запахи левкаса, массы и скипидара делают жаркий воздух совсем нестерпимым. А разогнуться нельзя. Норма подгоняет. И чувство крепостной зависимости сглаживается лишь сознанием, что многим значительно хуже.

Сегодня второй день моей работы. Начинаю с того, с чего когда-то начинала свою трудовую жизнь: рисую брови и ресницы картонным куклам с глупыми физиономиями.

С фронта ничего нового. Советского радио нет. Только немецкое. В нем сообщения, что немцы отражают атаки большевиков и тяжелыми орудиями обстреливают Ленинград.

6 апреля 1942 г.

Адольф Гитлер доставил верующим величайшее удовольствие. В ночь под пасху было дозволено ходить беспрепятственно всю ночь (удивительно, даже не побоялись диверсий!). И зутреня служилась в часы, ког-

да ей положено. Ну что ж, понимай так: Гитлер — политик, который использует все средства для расположения к себе населения.

Понедельник, 13 апреля.

Кампания мобилизации в Германию начинает приобретать угрожающий характер. Берут всех безработных и даже иждивенцев — жен в возрасте от 15 до 60 лет. Все бросились искать работу.

Сегодня была на бирже. Слышать о ней приходилось много. Пришлось и пойти туда.

Занимает биржа здание Художественного института на Вознесенском спуске. На парадном сохранились его стеклянные вывески. Но над воротами немецко-украинская надпись. И все время идут без конца люди. Когда я подходила к бирже, оттуда вели группу отправляемых в Германию. Все они шли угрюмые, мрачные. Сбоку шел полицейский, прохожие глядели с сожалением на эту медленно шествующую колонну. И каждый думал, должно быть, о том, что каждую минуту и его ждет такая же судьба. Шла молодежь и старики. В большинстве женщины. Все тащили мешки и корзины. Горожан среди них почти не было видно. Говорят, что дальше им одевают на спину номера, и люди перестают быть людьми, а становятся номерами. На бирже масса народа. У комнат, где регистрируют женщин со специальностями, стоит огромная толпа. Это безработные женщины всех возрастов ждут какого-нибудь подработка. У дверей девочки, впускают и выпускают из комнаты. Внутри за биржевыми столами биржевые служащие, тоже женщины, регистрируют безработных. У стола весьма энергичной заведующей все время толпа народа, толпа молящих, просящих, протягивающих свои синие карточки женщин. Тут же краснолицые, лоснящиеся немки с распущенными волосами, в военных костюмах. Они фамильярно разговаривают с заведующей и с иронией смотрят на нашу жалкую, голодную толпу. Они откормленные, самодовольные. Не трогает их трагедия, разыгрывающаяся вокруг. Одна из них пришла, чтобы взять с биржи пятнадцать женщин для работы в комиссариате по переноске книг. И вот жаждущая толпа вся бросается с криками к двери. Женщины дают друг друга, умоляют заведующую, немок, протягивают свои синие карточки.

Когда безработный получает работу, ему обменивают синюю карточку на розовую.

С 8-го числа отменено снятие с учета биржи по личным требованиям. Никто не может поступить на работу и тем спастись от отправки в Германию. Если кто-либо, как я, приносит требование с отметкой о том, что он поступил на работу до постановления, он должен получить резолюцию директора биржи с разрешением снять его с учета.

У дверей директора огромная очередь. Люди стоят с пяти часов утра в холодном коридоре, где не на чем сесть. Над очередью возвышается

гипсовый бюст Чайковского. У него отбит нос, и потому, наверное, так грустно глядят на очередь его пустые глаза. Люди мучительно ждут. От решения директора зависит сейчас их судьба. А он не торопится их принимать. И часто за целый час с трудом проходит один человек. Я вернулась в мастерскую, не оформившись, и буду пока без трудовой карточки.

15 апреля 1942 г.

Голод приобретает ужасные размеры. На базарах ничего, а то, что появляется, абсолютно недоступно. стакан пшена стоит от 17 до 20 рублей. Из города на обмен выйти нельзя из-за распутицы. Крестьяне не едут в город по той же причине, и еще боясь отправки в Германию. Весны нет и нет. Погода ужасная. Позавчера валил мокрый снег, и снова все было засыпано снегом. А вчера и сегодня едкий молочный туман. Он сейчас съедает снег и людей вместе с ним. Люди умирают без конца. Никто не может сосчитать количества умерших людей. Пришла вчера взволнованная Воробьева. В связи с тем, что в Киеве действует подпольная коммунистическая организация, третьего дня вызвали всех управдомов в полицию и предложили дать сведения обо всех членах партии, комсомольцах, кандидатах партии. Было сказано при этом: «Мы всех их выселим и уничтожим». Начинается, или вернее продолжается, очередная страшная кампания. Люди падают от голода, и не видно просвета. Озимых хлебов нет в этом году, а яровых в снегу не посеешь. Да и заберут его немцы, если он и будет где-нибудь. И нет сил бороться с этим мучительным бессилием и постоянным, почти звериным желанием есть.

С фронта никаких новостей. По поводу готовящегося военного наступления немцы заявляют, что в будущей кампании их интересует не захват территории, а уничтожение живой силы. Здесь у них в этом несомненные большие успехи.

17 апреля 1942 г.

Упорно говорят о существовании в Киеве большой коммунистической организации, но никто точно ничего не знает, связи по-прежнему никакой нет, и все остается лишь в области разговоров и предположений.

Рассказывают, что в селе возле Макарова в одну из ночей появились сброшенные с самолетов листовки с воззванием к молодежи не ехать в Германию. Но на следующий день туда выехал большой отряд немецкой жандармерии. Никто не знает, что произошло дальше.

Уменьшили количество хлеба для работающих, а в магазинах в апреле месяце его никто не получил ни разу.

Вторник, 21 апреля 1942 г.

Вчера «отпраздновали» именины Гитлера. Так, по крайней мере, все «поздравляли» друг друга. Ему в действительности исполнилось 53 года, о

чем и возвестили вчера радио и газеты. По этому случаю понедельник был объявлен нерабочим днем, и все население Киева получило по 500 грамм муки на физиономию в качестве «подарка» Об этом также было объявлено в газете, и не преминули заметить, что выдана мука именно по этому поводу. Кроме того, разрешили со вчерашнего дня ходить до восьми часов вечера. И пора.

Утром был парад немецких войск. Народ боялся идти смотреть на парад, ожидая от немцев чего угодно. Но кое-кто был. Парад проходил у здания университета. Там за день до торжества выстроили трибуну. Она сделана очень просто. Обтянута серой парусиной с красным и белым кантом. На парусине два красных знамени с черной свастикой в белом круге. На колоннах университета немецкий орел со свастикой в клюве. У входа в Николаевский парк на высоких мачтах ряд красных знамен со свастиками. На трибуне и под ней стоял генерал-комиссариат. Парад принимали начальники, очевидно, Могуня, Рогауш, Эбенгардт. Простые смертные не могли пройти на такое расстояние, чтобы различить лица. А по улице проходили войска. Говорят, что это было необычайное зрелище. Муштра немецких войск общеизвестна, а на параде они выглядели, как части одной, безошибочно движущейся машины. И словно специально для них была чудесная погода. Но что делать, если от вида сытых, довольных немцев под синим небом, на улицах нашего города, еще нестерпимее делается сознание нашего поражения.

А люди радуются, что «дали» по 500 граммов муки. И все пекут коржики и варят галушки. И радуются теплу, потому что солнце не только светит, но греет даже.

28 апреля, понедельник.

У нас у всех ужасное настроение из-за доноса на Р. Не знаем, что делать — предупреждать или не предупреждать его. О доносе может быть выдумали, а человек с ума сойдет. А не предупредить — вдруг возьмут. Надежда Васильевна после общего совета решила предупредить его и Н.И.

А вчера вдруг оказалось, что приехал Миша. Его выдали в Умани. Что теперь снова придумать, ума не приложу.

А весны все равно нет в этом году. Ополчилась на нас природа. Сегодня холодно, словно вот-вот выпадет снег, и черно-серые тучи почти цепляют крыши домов. Днепр все разливается. Уже почти не видны его дальние берега. За пятницу вода прибыла на полметра, а за субботу — на метр. И Днепр от серого неба совсем свинцовый, серый и словно грязный. И от ветра шершавый и грозный. В городе, правда, сухо, и снова все в зимних пальто.

30 апреля.

Новости, новости. Каждый день новости. Горе побежденным! Никогда, кажется, не ждали мы столько бед, как сейчас. Уже новое вышло

распоряжение: всю молодежь от 14 до 18 лет — в Германию. И вот забирают детей от матерей. Пока еще не берут учащихся. Галку освобождает пока учеба в консерватории, но повестку она позавчера все-таки получила. И волнений было вполне достаточно, пока Лысенко вчера добился освобождения для своих студентов. Сейчас Галина в срочном порядке устраивается чернорабочей на работу где-то возле аэродрома. Если там не выйдет, пойдет на завод носить тырсу. Работа не легкая для четырнадцати лет. Но как угодно и что угодно нужно сделать, а ехать в Германию нельзя. Мы знаем, что в Германии наши люди на положении бесправных рабов, за колючей проволокой.

Снова говорят, что закроют базары. Но все равно они недоступны большинству населения. Дороговизна на них ужасающая.

Днепр все еще разливается. Уровень воды поднялся в нем на семь метров. Почти совсем не видны далекие берега. Он черный все эти дни от свинцового неба. Весны все нет. Сегодня снова льет осенний дождь. Он льет, не переставая ни на минуту. И небо безнадежно затянуто, как глупой осенью.

Меряют землю для огородов киевлянам. Наши огороды будут возле Святошинского моста. Трамваев теперь нет. Ходить далеко и не в чем. Летом будем ходить босиком. Это, примерно, 12—14 километров.

Тяжело и трудно. Ребра у всех обнажились. По словам Сани, они стали, как тара. Но все-таки нам грешно жаловаться.

Только никакой связи с нашими. Словно нет в Киеве никаких советских людей. Или же нам не верят, никто не приходит к нам.

4 мая 1942 г.

Итак, мы отпраздновали Первое мая. Немцы тоже отмечают этот праздник. У них он называется днем освобожденного или свободного труда. Но наш праздник вышел такой же грустный, как и наше настроение. Лил беспресветный дождь. Он не прекращался ни на минуту. Демонстрацию перенесли с первого числа на второе. Первого числа все работали, как обычно. И только некоторым учреждениям повезло — их освободили с часу дня. Первое число не состоялось, а второе — суббота, было испорчено. Всем было предложено идти демонстрировать «свою признательность Германии за освобождение». Было указано место каждой организации на площадке возле университета. Больше места не понадобилось. В Киеве осталось так мало народа, что даже эта небольшая площадь, где прежде тесно было студентам университета, была не до конца заполнена «демонстрантами». Собраться нужно было к двум часам. Это предполагалось на первое число. А поскольку перенесли на второе, то пошли не все. Нашу мастерскую, например, отпустили домой. Мы с Зиной пошли посмотреть на Днепр. Разлив в этом году всего на семьдесят сантиметров меньше, чем в 1931 году. Вода залила уже ЦЭС и Набережно-Крещатиц-

кую улицу. Гранитная набережная лишь на метр возвышается над водой. По улицам ездят на лодках. Залиты дома всех улиц, выходящих к Днепру. Труханов остров весь под водой.

5 мая 1942 г.

Сегодня снова совсем холодно. Утром летел холодный снег, а сейчас дует северный ветер, хотя небо ясное и светит солнце.

Кампания отправки в Германию продолжается, но сейчас меньше за счет взрослых, а больше за счет молодежи от 14 до 18 лет. Город плачет. Плачут дети, плачут матери при расставании. Матерей не берут, а детей увозят неизвестно куда. Одно мы знаем: сведения от отправленных в Германию поступают лишь в том случае, если они восторженно описывают «солнечную Германию». Все остальное — молчит. Ни от кого из тех, кто уехал в январе, не говоря о тех, кто уехал позже, нет ни одного слова. Упорно говорят, что по дороге отбирают все вещи, оставляя каждому едущему лишь две смены белья.

Еврейский вопрос по-прежнему всех очень волнует. Известные врачи Рабинович и Дукельский обнаружены на Печерске среди тех голодных, которые в мусорных ящиках ищут пропитание. Они за проволокой, и передать им ничего не дают.

Среда, 6 мая 1942 г.

Ужасная погода, ужасное настроение. Словно зимой бушует буря. Она воеет и стонет, и гнет к земле обнаженные, безлистые деревья. Днепр черный совсем от свинцового неба. И только ветер вздымает на нем гребни пены. Временами ветер приносит капли холодного дождя, которые, как осенью, стучат в оконные стекла и медленными струями сползают вниз. И снова кажется, что не будет тепла в этом году.

Сегодня день маминых именин. И кажется, что сама природа печалится вместе с нами. Ветер сейчас стонет, как живое существо, как мятущаяся душа, как наши души. Но отчего тосковать и метаться ветру? Он ведь счастливее нас. Он может помчаться на ту сторону. И ничего не в силах его остановить.

Через город изо дня в день идут немецкие войска. Говорят, что армия в пять миллионов движется к фронту. Откуда-то принесли известие, что Советский Союз увеличил армию до 26 миллионов человек. И снова, как все время, разные слухи ходят по городу. Говорят, что Ленинград в окружении, что в Союзе нет голода, что там уже много английского и американского вооружения. И много говорят о том, что немцы проигрывают войну. Только это никак не отражается на положении оккупированного населения. Над Киевом каждый день советские самолеты. И люди очень хотят верить в то, что авария на железнодорожном мосту вызвана бомбами с советских ястребков. Но мы ничего не знаем, как и все время.

Вчера прошла комиссию Нюра. Ее нашли годной для Германии. И сегодня в восемь часов она должна была уехать. Хорошо, что Галка работает. Не знаю, ушел ли Миша. Туда нужно зайти. Нюся себя плохо чувствует, хуже других. Из нас хуже всех выглядят Леля и Нюся. И одна, и другая голодают совсем, все стараются отдать Гале, Шурке и даже мне. Хоть бы у Нюси ничего не было с легкими! А вокруг столько страшных от голода людей. Кажется, что на многих из них лежит уже печать смерти.

Жутко и тоскливо. Все вспоминается мама. И, словно нарочно, ветер воет и воет.

Уже совсем официально говорят в городе о том, что в Германию будут забирать детей от матерей с восьми и даже с пятилетнего возраста. Слухи, гнусные слухи, как отвратительные гады, ползут по городу и разносят бредовые идеи. Детей якобы заберут от матерей, чтобы навсегда искоренить в народе всякое воспоминание о большевизме. Выходит, что моя шутка о том, что поедут в Германию Оксанка и Шурка, принимает вид чудовищной действительности.

Но есть и хорошие вести. Много слухов о том, что Ленинград еще в январе освободился от окружения и что Крым освобожден.

9 мая, суббота.

Н-да!.. Что еще предстоит испытать нам, «освобожденным» народам? Села и города стоном стонут. Немцы вывозят население. И если несколько дней назад казалось, что кампания отправки в Германию поутихла, то за эти два дня началась новая волна.

Пока вывозят детей. Вчера отправили Витю Кабанца, и все, кто слышал об его отправке, все плачут. Комиссия не посмотрела, что у него были сломаны обе ноги и ребра. Заперли ребят на пункте на ночь. Посадили в пустую комнату, сказали ложиться на пол. Дети возражали. Их били полицейские. Вите удалось убежать домой, а мать его Тасю за это арестовали. Он плакал всю ночь, а утром его отвели прямо на вокзал. Там весь перрон запружен голодными, босыми крестьянами. Эшелоны уходят битком набитые детьми. В таких эшелонах впереди два вагона с гестаповцами, а сзади два вагона с полицейскими. Стон и плач наполняют вокзал. И не только вокзал, весь город, всю Украину.

Понедельник, 11 мая 1942 г.

Новости без конца. Ни одного дня без новостей. Вчера нам разрешили ходить уже с 4-х часов утра до 9 часов вечера и приветствовали новым приказом головы города о невыезде и невыходе за город без специального пропуска, который выдается районными управами. В этом же приказе предупреждается все трудоспособное население в возрасте от 14 до 55 лет о том, что все должны по повесткам биржи являться в семидневный срок

на работы, предписанные биржей. В противном случае виновные будут наказаны как саботажники, а имущество их конфискуется. Это все сжигается кольцо вокруг киевлян. Выхода нет. Германия висит над головой, как Дамоклов меч.

Среда, 13 мая.

В сегодняшней газете немцы пишут, что на Керченском полуострове немецкие и румынские войска начали наступление. А в газете за понедельник, в русских «Последних новостях» есть статья по Геббельсу, которая называется «Нечто вроде второго фронта».

И сразу уже в Киеве появились слухи о перемирии между нашими и немцами. Но так трудно что-либо понять, предвидеть, а, главное, узнать истинное положение вещей. Ведь ничего мы не знаем о действительном соотношении сил на мировой арене. И разные, разные выдвигаем предположения, стараясь уверить себя в том, что будет же конец этой страшной войны. И кто знает, не будет ли когда-нибудь в условиях мира сотрудничать СССР с Германией. Ведь невозможно представить себе, что все без исключения немцы охвачены фашистским психозом. И не можем мы себе представить, что народ Маркса и Энгельса может без конца находиться в дурмане бредовой теории. Что же до Англии и Америки, то само существование СССР грозит им гибелью. А вряд ли можно рассчитывать на честное сотрудничество с ними.

Пока же партизаны вчерашней ночью пустили за Броварами под откос немецкий поезд. Говорят, что партизаны все больше и активнее действуют вокруг Киева. А немецкие войска все идут и идут в сторону фронта. Через мост перейти нельзя. Строжайшее запрещение. Мрачен теперь наш Днепр. Все время неспокойны его волны. Медленно уходит вода в этом году. Не потому ли, что дно Днепра устелено погибшими пароходами. Не спешит река освобождать поля под посевы, словно чувствует, что чужою стала земля, а ведь раскованы теперь воды Днепра. Они снова бьются о пороги, беспрепятственно скользя мимо мертвой плотины.

В воскресенье вдруг вернулся Витя Кабанец. Его вернули из Фастова за вещами. Тринадцатого, сегодня, он должен был вернуться. Но наш домовый коллектив решил ни в коем случае его не отпускать. Прятать любыми способами. Степа Литовская в отчаянии и все просит спасти Люсю от отправки. Думаю, тоже будем прятать. А они, Литовские, все трое страшные от голода. И люди уже слабо помогают. Сейчас очень трудно помочь, нет средств купить продукты на базаре. А иначе где взять.

Под вечер принесли сведения, что сегодня начали забирать в Германию тех, кто поступил на работу после 4 апреля. А я сегодня, наконец, получила трудовую карточку.

14 мая, 9 часов вечера.

Сегодня первый действительно теплый день и вечер. Летают мошки и летучие мыши. Днепр сегодня спокойный, серо-голубой. Все сразу зазеленело. Но не веселее от того. Не помогает улучшению настроения и вид Киева.

Ах, если бы уехавшие киевляне могли взглянуть сейчас на мертвый город, который сменил теперь наш замечательный когда-то Киев! Они не узнали бы его и ужаснулись.

Трамваев нет. Во многих местах рельсы покрылись ржавчиной. Машины в городе только немецкие и те очень изредка проезжают по улицам. Ни гудков заводов, ни пароходов, ни поездов. Никаких городских шумов. Только в полной тишине кричит радио гавкающие фокстроты и немецкие песни или уныло «укает», как заморенный попугай.

Особенно ощутимо отсутствие людей и детей. Еще в часы, когда идут на работу или с работы, на улицах болеелюдно. А в остальное время только старики, старухи да калеки медленно движутся по улицам. Или прозрачные, распухшие женщины плетутся на базар.

Сотни нищих на все лады просят милостыню на улицах, прилегающих к базарам, или в самых центральных местах. Большинство из них кликуши или попрошайки. Но иногда стоят посиневшие от голода, с безжизненными глазами пленные или женщины, которые не просят, а безмолвно глядят на прохожих. Тогда, глядя на них, можно зареветь, хотя мы совсем потеряли способность плакать. И тогда готов отдать все что угодно, а у самого ничего нет. Готов сделать все, что угодно, а сделать что-либо не можешь, потому что беспомощен до отчаяния.

Объявлено, что дети должны явиться 18-го мая в школы, потому что начинаются занятия в первых четырех классах. Количество школ уменьшено до минимума, а детей матери должны привести туда в обязательном порядке. Там им «обещают» давать обед и завтрак и воспитывать в духе полного забвения и искоренения из памяти следов большевистского воспитания. А кто же учителя в этих школах? Пока ничего об этом не знаем. Только матери в ужасе: боятся, что детей соберут в школы и организованно вывезут в Германию. Приказ об обучении, как и все теперь, строго обязателен и строго принудителен.

Сейчас принесли газету. Она ударила, как обухом по голове. Мы ведь все надеемся, что весной наши начнут наступление и будет перелом в войне, а в газете только сообщение о новом наступлении немцев, и снова сообщают об их успехах.

Трудно, очень трудно в такие моменты сохранить надежду на нашу победу.

Сегодня Зина плакала от обиды, когда рассказывала о том, что немцы били ее отца-старика. Мы не люди для них. Они злы на Украину. Рассчитывали найти здесь несметные богатства и покорность, а нашли разрушение и неповиновение.

19 мая, вторник.

Весна. Или вернее лето. Сразу стало жарко. В воскресенье была первая гроза. И сразу все зазеленело вокруг. Киев красив, как всегда весной, если только не идти туда, где руины. И шумы теперь доносятся через открытые окна. Только шумы эти необычные для Киева. Кричат дети, хоть их и много меньше теперь. Поют птицы. И бесконечно поет свои фокстроты радио.

В ресторанах, которые теперь на каждом шагу, играют джазы. И рестораны, и джазы самого низкого разряда. На углах продаются нарциссы и черемуха. Еще больше появилось немцев на улицах и девчонок в светлых платьях. Они все смеются, бегают, а не ходят. И все это на фоне целых армий нищих и голодных, которые сидят на всех улицах, в Николаевском парке, на базарах, у церквей. И еще более диким контрастом выглядит наш народ на фоне расцветшей природы. Ведь голод не уменьшается, а усиливается.

26 мая, вторник.

Снова не пишется дневник, теперь перерыв из-за работы на огородах. Мы в пятницу, воскресенье и понедельник копали огород. Это та новая кампания, которой занят сейчас весь город.

27 мая, среда.

В Броварах снова сделали что-то партизаны. В воскресенье все мужчины Броваров были арестованы с 7 часов утра до 3-х часов дня. Потом у них на глазах повесили пять человек и предупредили, что в случае повторения каких-нибудь эксцессов, будет повешен каждый десятый из них. В чем дело, никто из них не знает. Из пяти повешенных у трех при обыске было обнаружено оружие.

Страшен сам факт, но страшно и то, почему проваливаются наши люди. Неужели немцы сами могут найти всех, кто против них? Думаю, что не могут. Значит, самое ужасное, что свои выдают своих.

И все, что вокруг нас, начинает походить на вакханалию. Выселили все Слободки и Труханов остров. Люди на вещах сидят у Днепра и у дверей управ. Ими собираются заселить пустой Подол. И умирают. Каждый день регистрируют более пяти-шести случаев смерти среди выселенцев.

Огороды копают, пашут, сеют. А сегодня Муся рассказала с отчаянием, что немцам понравились засеянные и уже частью взошедшие огороды, и они перепахали их и засеяли для себя все участки, розданные населению подле Караваевых дач.

Урожая нечего ждать в этом году. Земля не засеяна. Крестьяне копают лопатами и совершенно законно не хотят сеять. И снова их вешают. Налог на кур — тридцать пять яиц в месяц с каждой курицы (!). Так мы живем.

29 мая, пятница.

Сегодня первая летняя ночь. Светит огромная, яркая луна. Небо чистое, синее, теплое. В городе тихо до жути. И тоска, гнетущая тоска от цветущих каштанов, от теплой ночи и от этого ясного безразличного неба. Это безразличие природы особенно ощущается оттого, что уже восемнадцать дней длится бой под Харьковом, что снова тысячи убитых, раненых, взятых в плен.

А в Киеве уже совсем невероятными темпами идет германская кампания. Вчера прислали списки в нашу мастерскую. Из ста человек забирают тридцать четыре. Плач и стон стоит в мастерской. И я в числе других получила повестку. Это заставило меня прекратить разговоры с советской и идти просить, чтобы меня приняли на работу в нашу библиотеку. С 1-го числа буду работать там.

1 июня 1942 г., понедельник.

Эти три дня мы в ужасном состоянии. В субботу по радио передали специальное сообщение об очередной победе немцев под Харьковом. Бой, который длился с 11 мая, по сообщениям немцев, окончился полным разгромом и уничтожением трех советских армий. При этом немцы взяли 240 тысяч пленных, 1290 танков, 500 с лишним самолетов и какие-то огромные количества другого вооружения. Считаю, что эти сообщения очень преувеличенные, и все равно у всех у нас в эти дни болит голова. И все плачут все время.

И ужасное впечатление производит германская кампания. Теперь ее проводят немцы. Уже освободить могут только немцы — начальник биржи и его заместитель. Если еще две недели назад достаточно было прийти с выводами комиссии из поликлиники к инспектору районной управы, то теперь он не имеет права освобождать даже с немецкими удостоверениями. Инспектор посылает на биржу к господину Крюгеру.

Консерватория упорно борется за свое существование. Все чаще она дает концерты и этим завоевывает себе право на жизнь. Борьба за существование теперь очень трудная, и каждый изощряется в ней, кто как может.

Один из способов борьбы — огороды. В воскресенье во все пригородные места тянутся люди с лопатами, граблями и самодельными тележками. Кто копает, кому пашут, но все поля вокруг Киева покрыты горожанами, которые роются в земле. Кто получил посевную картошку, кто купил, у кого еще нет ее совсем. Но огороды упорно обрабатываются, и только никто не знает, удастся ли их сохранить.

Мы с Нюсей получили участок на консерваторской земле между Сырцом и Дехтярями. Там огромный кусок земли поделен между организациями. Пока наши музыканты собрались поделить участки, кто-то запахал почти сорок соток из ста сорока. Пока вскопали всю остальную землю.

обнаружили, что еще кто-то отхватил семь соток. И спрашивать не с кого, сами виноваты, что поздно собрались.

Мы вскопали свои семь с половиной сотых на Троицу. Нам очень помогла Поля, живущая у Люси. Без нее мы копали бы еще два дня. Вчера посадили два с половиной пуда картошки. А бураки и фасоль, посеянные на Троицу, уже начали всходить.

Идти нам на огород два часа. Пути туда, наверное, километров девять-десять. Прямая дорога до первого Святошинского моста, взорванного перед уходом нашими.

Мы идем среди массы людей. Во все стороны мчатся немецкие огромные машины, мотоциклы, велосипеды. На всех столбах сплошь немецкие надписи. Немцев много идет во все стороны по шоссе. А еще больше киевлян плетется по обочинам дороги из города и в город. Они навьючены мешками или запряжены в тележки. Каких только изобретений нет в «обозе Гитлера»!

Когда свернешь от моста в сторону Сырца, сразу словно приглушается тоска. Пахнет земля. Поют соловьи. Кричат лягушки, тихо кругом. Только изредка где-то далеко стреляют.

Все зеленое, яркое вокруг. Еще на прошлой неделе цвели сады. Деревья были белые, словно облитые цветом. Только ветер обил этот цвет, и неизвестно, успела ли появиться завязь. И хотя очень тяжело добираться пешком с ношей или тележкой до огорода, для нас сейчас это отдых. И если бы только не было так тяжело снова окунаться в нашу ужасную действительность, когда возвращаешься домой.

4 июня 1942 г., четверг.

Итак, я снова в библиотеке Академии наук, которая называется теперь Wissenschaftliche Academische Bibliothek des General-Komissar. Уже четыре дня я здесь. И привыкла уже, хотя все время такое чувство, словно хожу по склепу, где лежат умершие. Запустение, грязь, тишина. Ничто не напоминает кипучей жизни, которая некогда наполняла библиотеку до краев. Читальные залы покрыты годичной пылью, и запах в них затхлый от согретого солнцем воздуха. Черными пятнами в окнах закрывают свет куски дикта или картона, вставленные вместо вылетевших от взрыва стекол. Ни одного цветка не сохранилось в библиотеке. Они погибли от холода. От морального холода погибла библиотечная жизнь. В вестибюле стены и потолок залиты ржавыми пятнами. Это через дырявую крышу вода лилась беспрепятственно вниз. Везде склады мертво лежащих книг и разной мебели. И только между лестницами стоят, словно вчера поставленные, панно с орнаментами центрального оформления выставки Франко. Краски не выцвели за год. Но как больно смотреть на свою работу, сделанную в советское время и опозоренную тем, что на холсте под имитацией автографа Франко висит лозунг Гитлера «Наша борьба — борьба

правды с ложью. А так как правда всегда побеждает, значит победим мы». И страшно, очень страшно, что такой лозунг так цинично могут поднимать на щит фашисты!

Теперь много места в библиотеке. Все комнаты пустые. А как трудно было раньше получить место для работы. Углы коридоров казались прекрасными кабинетами, столько было работников и читателей в библиотеке. А теперь! Только серые ночные бабочки, в пыли лежащих без движения книг, занимают библиотечные залы. В красном уголке стосы книг. Это сотни тысяч книг, которые перетаскивали в зимние холода на своих спинах старухи, оставшиеся в библиотеке. Молодых нет совсем. Я здесь называюсь «юной», потому что самой молодой после меня не менее сорока лет. Все старые сотрудники, но трудно их узнать. Голод и холод слишком изменили их, и если бы не тишина библиотеки, которая подчеркивает звуки их шагов, медленных и тоже очень тихих, казалось бы, что движутся тени бывших библиотекарей.

Библиотека получила в подарок новое университетское здание, подобное ей, находящееся по другую сторону университета. Там тоже в пыли и холоде, среди груд книг в кабинетах, сразу утром после прихода выстраиваются в ряд все сотрудники библиотеки и конвейером подают книги снизу вверх. Жуткий конвейер.

Все библиотекари получают 827 рублей или 806 (вторые — те, кто позже поступил). И уборщицы получают по 300 рублей. В число средних попали канцелярия и я. Мы получаем по 640 рублей. Для переплетчика, которым я теперь работаю, большей ставки не нашлось. Конвейер работает несколько быстрее после первого и пятнадцатого числа, когда участники его поедят хлеба. А все остальные дни все двигаются, как примерзшие мухи. Дисциплины в библиотеке никакой. Дирекция вся мягкосердечная. Только уволили уборщиц Кузнецову и Кириллову за ругательства. В остальном же из библиотеки можно уйти, можно спать, можно вообще целые дни ничего не делать, и никто даже не заметит, не заинтересуется. Комнаты, где теперь жизнь, бывший спецотдел. Там зимою топились печи и там сидели все. Сидят там и теперь. Сидит в библиотеке и Бенцинг целый день. Все дела делаются с его ведома. Он благоволит к сотрудникам, покровительствует им, заботится об их благополучии. Он сам выхлопотал ставки для сотрудников. Ему я обязана тем, что сижу пока здесь, а не еду в «солнечную» Германию. Мое поступление в библиотеку было довольно своеобразно и может поставить в тупик. Когда никакого спасения от Германии не оставалось, я зашла в библиотеку спросить, не возьмут ли меня на работу. В маленькой комнате спецотдела сидели Бенцинг и Фалькевиц. Мой вопрос перевели Бенцингу. Он смерил меня довольно пренебрежительным взглядом, как мне показалось, и спросил, что я умею делать. Я назвалась переплетчиком. Он вдруг довольно приветливо улыбнулся и спросил, устроит ли меня работа с первого июня (было это числа

пятнадцатого мая). Я сказала, что да, устроит, если до тех пор меня не заберут в Германию. Он спросил, почему я не хочу туда ехать. И совершенно не считаясь с моментом, у меня вдруг сорвалось: «Туда могут отвезти только мой труп». Ему точно перевели. Лицо его сделалось злым, он отвернулся, а я, правду сказать, струсилась. И вдруг он повернулся, снова приветливо улыбаясь, и сказал:

— Пока вы у меня не работаете, я ничего вам не могу обещать. Но когда будете работать, я постараюсь защитить вас от необходимости ехать туда.

Этот оборот дела меня очень озадачил, и Бенцинг показался мне симпатичным человеком, что никак не вязалось в нашем представлении с гороховой формой со свастикой на руке, которую он носит. От меня ничего не потребовали, никаких документов или заявлений. А первого числа оказалось, что я — переплетчик — есть уже в составе библиотеки. Так я поступила на работу к немцам. Сама должна была прийти. Раз в месяц первого числа Бенцинг приносит деньги и Луиза Карловна платит их сотрудникам. Бенцинг же дал 100 рублей на ремонт рояля в музыкальном отделе библиотеки, и уже было два концерта. Второй был уже при мне, вчера. Из-за него я вчера едва дотащилась домой, потому что перенесла перед тем из читальных залов сорок стульев.

Мне отпустили комнату Бухиной. В ней светло, чисто, и в открытое окно доносятся шумы, словно живого, города. Во всем этом крыле только Семашкевич еще раскладывает книги в бывшей бухгалтерии.

Никак не уйти от воспоминаний. И тут, в комнате, тоже. Я только думаю, что Бухина была бы не очень огорчена, если бы узнала, что в ее комнате теперь мое переплетное ателье. Жива ли она, Роза Анатолиевна? Мне часто на улице кажется, что она идет, и тогда, как во всех случаях подобных галлюцинаций, дрожь пробегает с головы до ног. Где-то все они? Не знают, что мы не перестаем думать о них, и только ничего не знаем о них, ничем не можем помочь.

16 июня 1942 г., воскресенье.

Таня волнуется, потому что у ее самого близкого друга Шуры большие неприятности. У Шуры есть еще две сестры, и их управдом женщина-дрянь усиленно отправляет в Германию. Они прячутся, а управдомша грозит на них донести.

23 июня 1942 г., понедельник.

Год войны. Двести восемьдесят девятый день оккупации. С сегодняшнего дня пошел второй год войны. Думали ли мы 22 июня 1941 года, что переживем этот год? Но вот он уже позади и сколько человеческих жизней унес с собой! Кому нужна она, кроме нескольких сотен врагов человечества? С того дня, как началась война, весь мир втянут в нее. И не видно ей конца.

В статье о войне, которая была несколько дней назад в газете, немцы пишут: «Никто не знает, стоим мы у начала или у конца войны». А победа? Несмотря на тяжкие бесчисленные поражения, мы надеемся и верим в нашу победу.

По случаю «торжественной» годовщины войны было предложено всем «ответственным» работникам управ явиться в воскресенье 21 числа на «благодарственный» молебен в Андреевскую церковь. Немцы, кажется, никак не отметили 22-е число. А партизаны отметили очередным взрывом железнодорожных путей в районе Броваров. Ответственность за взрывы несут броварские жители. Их ставят на ночь на охрану путей, по одному человеку через каждые сто метров. Стоят они, вооруженные палками. И если на их участке что-либо происходит, забирают всех. Кто возвращается и возвращается ли, неизвестно

С прошлого вторника, уже неделю, сижу дома на соцстрахе. Так решили спасти меня от Германии. В библиотеке ждали комиссию по отбору в Германию. Поэтому меня уложили в постель. Знай я, где можно найти своих, ушла бы из города. Но есть только слухи, а где они, наши, никто не знает. Греюсь под одеялом и слушаю радио. Лета все нет в этом году. Все время холодно, хотя уже должно было бы быть жарко. Цветет рожь и акация. Все зеленое в этом году. Город зарос травой и производит впечатление запустелых развалин. Нет клумб, нет цветов. Случайные прошлогодние маргаритки, случайно затерявшиеся в густой сорной траве — таковы остатки наших прежних цветников. Никто не косит траву, никто не мнет ее. Немногочисленные дети ныряют в ее густые заросли в скверах. У домов вместо цветов — картофель, фасоль и свекла. Меж камней на улицах повыврастали зеленые пучки травы. На больших лестницах университета к колоннам подымается метровый бурьян. Университет действительно зарос травой. Откроются ли его двери в ближайшие годы? На краях щелей в нашем саду, засыпанных теперь мусором, выросли тоже буйные заросли сорняков и лопухов. И тысячи белых бабочек наполняют сад. Никогда сад не представлял собой такого зрелища. Мириады крыльев белых бабочек однодневок покрыли его, словно огромными хлопьями летящего и медленно падающего снега. Эти бабочки вывелись из тысячи гусениц, которые обглодали листья фруктовых деревьев. И теперь стоят эти деревья, покрытые тонкими, словно тюлевыми, остовами листьев, вместо которых остались лишь тонкие торчащие жилки. Никто не ловит бабочек. Разве что немного птиц лакомится ими. Кошек нет теперь, собаки — редкое явление.

Тихо, безлюдно, безжизненно теперь вокруг нас. И Киев больше похож на огромную деревню, особенно вечером. Только в деревнях лают собаки, а в Киеве даже и их нет.

<...>

Основные имена, упоминаемые в «Киевских записках»

Нюся — Анисия Яковлевна Шреер-Ткаченко, 1905 г.р.; до войны — педагог, аспирант, зав. кабинетом истории музыки Киевской консерватории. После войны — кандидат искусствоведения, член Союза композиторов СССР, и.о. профессора. Умерла в 1985 г.

Галя — дочь Анисии Яковлевны, 1926 г.р. — Галина Иосифовна Ткаченко; после войны — педагог, доцент Киевской консерватории, кандидат искусствоведения. Была рядовым в гвардейской дивизии в Красной армии на фронте с апреля 1944 по февраль 1945 г. Умерла в 1991 г.

Элеонора Павловна Скрипчинская-Верева — 1899 г.р.; до войны — педагог, декан дирижерско-хорового факультета Киевской консерватории. Не могла эвакуироваться с мужем, композитором Веревкой, из-за тяжелой болезни матери, которая умерла в апреле 1942 г. Профессор, Заслуженный деятель искусств УССР.

Мама — наша мать — Александра Александровна Хорошунова, 1886 г.р. Погибла в застенках НКВД в 1937 г. Была осуждена на 10 лет со строгой изоляцией (теперь известно, что это означало расстрел), реабилитирована посмертно в 1957 г.

Леля — наша тетя, сестра матери — Ольга Александровна Милорадович, 1890 г.р. Погибла в марте 1943 г. в Бабьем Яру.

Таня — моя сестра — Татьяна Александровна Хорошунова, 1918 г.р. Погибла в марте 1943 г. в Бабьем Яру.

Степан — муж сестры — Степан Иванович Катериненко, лейтенант-зенитчик, 1916 г.р., кандидат в члены партии. Погиб в гестапо в марте 1943 г.

Шурочка — ребенок сестры, 1940 г.р. Погибла в Бабьем Яру в марте 1943 г.

К.М. — Николай Антонович Матюк, начальник разведывательной группы Ген.штаба Красной армии. По его заданиям я сообщала ему сведения, которые были ему нужны во время его работы в тылу врага. О том, кто он, я узнала уже после окончания войны.

Ф.М. — Федор Максимович Чекалов, научный сотрудник отдела старопечатных книг Библиотеки АН УССР. Беспартийный. Уходил из Киева в составе коммунистического батальона 18 сентября 1941 г. Был тяжело ранен. Погиб в гестапо в октябре 1942 г.

Дуничка — моя кормилица-няня, прожившая всю жизнь в одном доме с нашей семьей. **Павлуша** — ее муж, потомственный маляр, проработавший всю жизнь в I затоне Днепровского пароходства.

Надежда Васильевна, Любовь Васильевна, Николай Иосифович и др. — соседи, друзья по дому № 34 по Андреевскому спуску, где наша семья прожила с 1918 по 1943 г.

Ханна Краль

Ханна Краль — современная польская писательница. Живет в Варшаве. В начале 70-х годов в качестве журналиста работала в Москве; «российские очерки» составили ее первую книгу — «На восток от Арбата» (1972). Автор более 10 сборников повестей и рассказов. Ее сюжеты легли в основу нескольких художественных фильмов, в том числе одной из частей «Декалога» Кшиштофа Кишлёвского («Декалог VIII»)

После выхода книги «Танец на чужой свадьбе» Кишлевский писал Ханне Краль: «Ты лучше меня знаешь, что мир не делится ни на красавцев и уродов, ни даже на худых и толстых. В «Танце» — само страдание, а красавцы страдают не меньше, чем уроды, а может быть даже больше, потому что думают, что это несправедливо... Что действительно важно, так это быть на стороне тех, кому грустно...». Эти слова — очень точная характеристика писательского взгляда Ханны Краль — внимательного, вдумчивого, иногда ироничного, иногда чуть отстраненного, но неизменно сочувственного.

На вопрос, каким видится ей предисловие к первой публикации ее рассказов в «Егупце», Ханна Краль ответила: «Достаточно короткой справки». Впрочем, странное предисловие действительно было бы излишним — ее рассказы говорят сами за себя. Скажем лишь: читать их трудно. Точнее, больно. Но это не изысканная, самоупоительная боль, а порой невыносимая, потому что живая. Так болит память. Так болит совесть. А значит, боль эта «правильная» и нужная.

Ханна Краль пишет о еврейских судьбах. В этом она сродни одному из своих героев, буддистскому монаху из рассказа «Дибук» — тоже извлекает из забвения имена, лица и судьбы. Реконструирует мир, который объявили несуществующим. Однако когда в беседе зашла речь о «еврейской теме», Ханна Краль возразила: «У меня не еврейская тема, а универсальная. Это истории о людях, а все люди страдают, плачут, радуются, хотят счастья...».

В предлагаемую вниманию читателей подборку вошли рассказы из сборников «Доказательства бытия» (Краков, 1997) и «Там уже нет никакой реки» (Краков, 1998). Все тексты на русском языке публикуются впервые.

ДИБУК

I

Адам С., высокий, статный, голубоглазый, преподает историю архитектуры в американском техническом колледже. Бывал в Польше. Интересовали его деревянные синагоги, которые сгорели во время войны.

Я спросила Адама, почему родившийся после войны, преуспевающий американец метр восемьдесят росту интересуется тем, чего не существует.

Он ответил письмом. Писал на компьютере. Наверное, у него было мало времени, поэтому он не обрезал, а оборвал зубчики по краям листа.

Его отец, писал Адам, был польским евреем, потерявшим в гетто жену и сына. После войны выехал во Францию, там женился. Новая жена была французенкой. Адам родился в Париже, в доме говорили по-французски. «Так при чем тут Польша? — писал он на бумажной компьютерной ленте. — А все из-за дибука. Единокровный брат, сын моего отца от первого брака. Мой тезка. Говорят, он пропал в гетто. Сидит во мне уже давно, все детство, все школьные годы...»

Слово «дибук» — на иврите «dibbuk» — означает «связь». В еврейской традиции так называется душа умершего, которая переселилась в живого человека.

Адам С. довольно рано понял, что он не один. Иногда на него накатывали приступы необъяснимой злости, чужой злости, в другой раз он заходил внезапно и тоже чужим смехом. Он научился узнавать эти состояния, довольно неплохо владел собой и не срывался в присутствии посторонних.

Время от времени сожитель сей что-то говорил. Что — Адам не знал, поскольку дибук говорил по-польски. Он начал учить язык: хотел понять, что говорит ему младший брат. Выучил — и приехал в Польшу. Тогда-то и заинтересовала его архитектура деревянных синагог, которые на протяжении трех веков нигде, кроме Польши, не существовали. Они были расписаны райскими садами и диковинными животными, высились стены Иерусалима, текли вавилонские реки... Их купола, снаружи незаметные, потому что прикрывались обычной крышей, внутри создавали ощущение бесконечного, уходящего ввысь пространства.

Тех стен и райских кушей давно уже нет. Адам С. видел их на старых, несовершенных фотографиях — и писал о них блестящие статьи. Со временем он защитил докторскую и перебрался в другой, более престижный колледж. Женился. Купил дом. Жил, как и все нормальные, образованные американцы, вот только была это двойная жизнь. Его собственная и его младшего брата, который звался Абрамом и шести лет от роду «как-то потерялся» в гетто.

2

В апреле 1993 года Адам С. приехал в Польшу. Он не был здесь несколько лет. Сразу же по приезде поехал в Полянец, оттуда — в Пиньчув, в Заблудов, в Груец и в Нове Място. Зачем — неизвестно. Может, надеялся, что в этот раз увидит в груецкой синагоге те самые вавилонские реки и вербы, на которых «повесили мы арфы наши...». А может, надеялся в Заблудове найти грифонов, медведей, павлинов, китов и крылатых драконов...

Как и предполагалось, нашел только траву и несколько понурых деревьев.

Он вернулся в Варшаву. Как раз начинались торжества по случаю пятидесятилетия восстания в гетто. В перерыве между заседаниями мы пошли на обед.

Я поздравила Адама с рождением сына, посмотрела фотографии и спросила.

— А... он?

Не знала, как назвать — брат? Абрам? Дибук?

Но Адам понял сразу.

— Никуда он не денся. Сидит во мне крепко, хоть я и рад был бы с ним распрощаться. Всюду суется, сам не знает, чего хочет. Ему со мной плохо, да и мне — я чувствую — все хуже и хуже.

— Узнал я, — продолжал Адам С., — что в Бостоне живет буддийский монах. Американский еврей, который принял буддизм и стал монахом. Знакомый сказал: «Этот человек мог бы тебе помочь...».

Поехал к монаху. Он уложил меня на кушетку и стал массировать плечи. Сначала я ничего не чувствовал, лежу себе и лежу, а через полчаса вдруг разрыдался. Никогда еще не плакал во взрослой жизни. Я слушал этот плач — и знал, что это не мой голос. Это был голос ребенка. Ребенок во мне плакал. Он плакал все сильнее — и я зашелся криком. Это кричал ребенок. Он кричал. Я знаю, он чего-то боялся, потому что это был крик ужаса. Он был сильно испуган, чем-то разозлен, метался, размахивал моими кулаками. На минуту стихал — и заходился снова. Он был вне себя от усталости и страха... Сэмюэль, монах то есть, пытался ему что-то сказать, но он не переставал плакать. Так продолжалось несколько часов, я думал, что умру, у меня совсем не осталось сил. Как вдруг почувствовал: что-то во мне происходит. Крик утих, у меня на животе замаячила какая-то тень. Я знал: все это мне только кажется, но монах тоже что-то такое заметил, потому что обратился к ней: «Уходи, — попросил. — Иди к свету». Не знаю, что это могло значить, потому что все происходило в обычный, ясный день. — «Ну иди».

Тень начала медленно передвигаться. А Сэмюэль все повторял и повторял несколько слов, одни и те же:

— К свету иди... Иди, иди... Не бойся, там тебе будет лучше...

А он уходил... Вернее, не уходил, уплывал, все дальше и дальше, и я понял: еще чуть-чуть, и он уйдет навсегда. Мне стало грустно. «Хочешь от меня уйти? — спросил я. — Оставайся. Ты ведь брат мне. Не уходи». Он как будто только того и ждал. Обернулся, одним быстрым движением вскочил на меня — и больше я его не видел.

Адам С. замолчал.

Мы сидели в азиатском ресторане на Театральной площади. За окном стоял холодный ранний вечер. Все дни торжеств было на редкость промозгло и зябко. Мшистая серость окутывала машины; не оглядываясь по сторонам, куда-то спешили люди. Мы смотрели на них и думали об од-

ном и том же: кого теперь волнуют годовщины гетто, деревянные синагоги и плачущие дибуки?

— В Америке тоже никого не волнуют, — вставила я, хотя сам Адам знал об этом намного лучше.

На столе лежали фотографии жены и сына Адама С. Веселый, подвижный мальчик в объятиях серьезной женщины с карими глазами, едва заметными за толстыми стеклами очков. «Мойша... — сказал Адам. — Как мой отец. Но отец был самым обычным, настоящим Мойшей, а мальчика все зовут Майклом».

— Ты рассказал отцу о Бостоне и монахе?

— По телефону. Он живет в Айове. Я позвонил ему, когда вернулся, думал, он не поверит или хотя бы удивится, но он ничуть не удивился. Спокойно выслушал, а потом сказал: «Я знаю, что это за плач. Когда его выбросили из укрытия, он стоял на улице и громко плакал. Это был его плач, выброшенного на улицу моего ребенка».

Впервые в жизни мы говорили с отцом о брате. У отца большое сердце, и я не хотел его беспокоить. Знал, что брат погиб, как и все. О чем еще говорить? Теперь же узнал, что он где-то прятался вместе со своей матерью — первой женой моего отца. С ними было еще несколько евреев. Где прятались — в гетто или на арийской стороне — не знаю. Иногда представлял себе какую-то кухню и кучу людей на полу... Старались не дышать... А он расплакался... Пробовали его успокоить... Чем можно успокоить плачущего ребенка? Конфеткой? Игрушкой?.. Ни игрушек, ни конфет у них не было. А он плакал все громче... Сбившиеся на полу люди думали об одном и том же... Кто-то шепнул: «Из-за одного мальчишки все тут погибнем...» А может это была не кухня... Может, подвал или бункер... Отца там не было, только она, мать Авраама. Осталась со всеми... Выжила. Уехала в Израиль. Может живет еще, не спрашивал, не знаю...

Отец умер.

Жена пошла в больницу рожать. Я пошел вместе с ней и лег на соседнюю кровать. Когда акушерка сказала жене: «Тужься, сейчас родишь», мне показалось, во мне тоже что-то происходит. Что-то задвигалось, как будто закачалось... Догадался: он. Вознамерился поселиться в моем ребенке. Я сорвался с кровати.

— Ну, нет, — сказал я громко. — Ни за что. Никакого гетто. Никакого Холокоста. В моем ребенке ты жить не будешь.

Я не кричал, но говорил решительно. Говорил по-польски, так что ни акушерка, ни жена не понимали. Зато он понял. Я успокоился, снова лег. Почувствовал страшную усталость — и задремал. Разбудил меня плач, громкий, но в нем не было страха. Кричал здоровый, нормальный родившийся на свет ребенок. Мой ребенок. Мой.

Буддийский монах сидел на кровати, вытянув перед собой ноги. Обе ноги — в гипсовых белых колодах, из которых торчали только длинные, нервные пальцы. В руках он держал флейту в метр длиной. Время от времени подносил ее к губам, торчащие из гипсовых колод пальцы начинали подрагивать и покачиваться в такт, и комнату наполняли высокие, сумрачные звуки.

У монаха были две кедровые флейты. Ту, что покороче, из белого кедра, подарили ему индейцы из Северной Дакоты. Та, что подлиннее, из красного кедра, была родом с гор Аризоны. У каждого сорта дерева — свой запах. «Сама попробуй» — он протягивает мне флейту. Она пропитана пьянящим ароматом, полным тайн, которые никого не пугают.

Вся обстановка монаха состояла из кровати, инвалидной коляски, пары костылей, электроплитки, чашки на столике и нескольких книг. Подумалось: когда-то я уже была в такой комнате, в Германии, в средневековом замке. У барона и офицера вермахта Акселя фон де Буше. Он увидел, как в Польше убивают евреев, — и решил убить Гитлера. Тот же знакомый запах постели, кофе и лекарств.

— Когда-то я уже была в такой комнате, но на кровати сидел немецкий барон без ноги...

Монах оживился. И он дружил с немцем. Но не с бароном — с коммунистом, бежавшим от Гитлера в Штаты. Немец преподавал в Вашингтоне буддийскую философию. Выступал против войны во Вьетнаме, в 68-м возглавил взбунтовавшуюся молодежь. В конце концов, его выдворили из Америки за радикальные взгляды.

Именно ему, немецкому коммунисту Эдварду Конзе, еврейский мальчик с Бронкса обязан своим увлечением буддизмом.

Это было в 60-е годы. Сэм и его университетские приятели носили волосы до плеч и сандалии на босу ногу, с отвращением смотрели на американское благополучие, особенно в собственных домах, глотали ЛСД — и ждали революции. Революция должна была стать всемирной — во имя справедливости и против богатых. Позднее их назвали поколением New Age — Новой Эры или Aquarian Age — Эры Водолея, которая наступит в новом тысячелетии.

Люди начитанные, они понимали: революция довольно скоро перестает быть «чистой». Пыл сменяется политикой, и революция пожирает собственных детей.

У них было три возможности.

Поехать в бедную страну, например, куда-нибудь в Южную Америку, и поднять народ на борьбу.

Грабить американские банки, а деньги раздавать нищим.

Самоустраниться, чтобы в тишине и покое совершенствовать ум и характер.

Выбрали путь совершенства.

А когда революция вконец испаскудится, когда начнется драка за власть и деньги, они, честные, облагороженные, стойкие к соблазнам, выйдут из уединения — и спасут идеалы.

Но они понятия не имели, где искать совершенство, и Сэмюэль попросил совета у Эдварда Конзы.

— Ты еврей, — ответил Конза. — Ищи в вашей традиции.

Сэм пошел к раввину.

— С чего начать? — спросил он.

— С Талмуда, — ответил раввин.

— А сколько надо учиться?

Раввин задумался.

— Лет пять, не больше.

— А что потом?

— Каббала.

— Долго?

— Еще пять лет.

— А потом?

— Придешь ко мне. Тогда и поговорим.

Такое предложение никак не устраивало человека, который собирался спасти революцию. Тем более американца, привыкшего все получать концентрированным и быстрорастворимым, как кофе *instant*.

Тогда Сэмюэль Кернер с друзьями отправился в Сан-Франциско. Сняли развалюху в Китайском квартале. Спали в спальниках, мылись холодной водой, ели раз в день, после полудня, всегда одно и то же — рис и капусту. Под руководством китайца из Манчжурии Ду Луня медитировали и говорили о буддизме.

Ду Лунь не требовал от них десяти лет занятий. Без долгих приготовлений они садились и погружались в медитацию.

В группе Сэмюэля было тридцать евреев. Их отцы и матери родились в Америке, но братья и сестры их дедов, и дети тех братьев и сестер погибли в газовых камерах Европы.

«Зачем Бог попустил Треблинку?» — спрашивали они Ду Луня.

Ду Лунь не знал — и просил медитировать еще сосредоточенней, еще глубже.

Медитировали по десять, двенадцать часов. И все чаще их занимала не мировая революция, а Бог, попустивший уничтожить евреев.

Год спустя Сэмюэль поехал на Тайвань, потом — в Южную Корею, оттуда — на остров Макао. Стал буддистским монахом. Переоделся в плотняное облачение и поселился в маленьком домике в горах Монтаны. Читал, думал, слушал, как падает снег. Когда сердце и мысли спокойны,

человек слышит хлопя снега. Слышит ли он ответ, которого не знал Ду Лунь, маньчжурский китаец? Или когда сердце и мысли спокойны, человек не задает вопросов?

Сэмюэль Кернер закончил рассказ. Задумался. Вдруг наклонился и потянулся под кровать. Вытащил оттуда компьютер, поставил его на гипсовые колени и стал что-то искать. Всмотривался в экран. Думала, он ищет ответы, те самые важные ответы, но это был всего лишь еврейский календарь на 5754 год.

И вдруг он воскликнул:

— Ханука! Я чувствовал, что сегодня первый день.

Он попросил меня снять с полки ханукальный светильник, зажечь первую справа свечу и произнес благословение.

4

Американские раввины забеспокоились, когда образованные, хорошие еврейские дети стали покидать родительские дома ради китайских халуп и буддийских гуру. «Если мы оттолкнем эту молодежь, значит, потеряем самых ранимых, самых глубоких и одухотворенных людей нашего времени», — писал в те годы Залман Шахтер, американский богослов родом из Жовкевки. Он решил обратиться к молодым бунтарям. Ему не терпелось сообщить им, что все, чего они ищут в буддизме, можно найти в еврейской традиции. Свою первую лекцию он начал так: «Более 200 лет тому назад на Подолье Баал Шем Тов, Господин Доброго Имени, создал движение, которое называли хасидизмом. К Богу ведет много путей, — учил Баал Шем Тов, — ибо Богу угодно, чтобы Ему служили по-разному. Так не надо мешать людям по-своему служить Богу».

На следующих встречах раввин Шахтер рассказывал о хасидских учителях — о ребе Нахмане из Брацлава, ребе Зусе из Аннополя, ребе Менделе из Коцка... Он издал несколько книг. Обрел тысячи последователей. Для поколения Эры Водолея он стал современным еврейским гуру.

Путь к Богу, которым он вел взбунтовавшихся евреев из Филадельфии и Сан-Франциско, шел через Лежайск, Коцк и Избицу Любельску.

5

Сэмюэль Кернер расстался с уединенной жизнью в горах и вернулся в мир, чтобы помогать тем, кто страдает.

Он поселился в Бостоне, в Bay Village — квартале наркоманов, гомосексуалистов, студентов и непризнанных художников.

Страждущих он лечил китайскими методами — прикосновением, травами и акупунктурой.

Лечение прикосновением состоит в том, чтобы извлечь память. Она сокрыта в человеческом теле, в мышечных тканях. Ее находят, прикаса-

ясь к голове, позвоночнику и ступням. Если событие, некогда приговоренное к забвению, вытащить наружу, оно перестает мучить.

Невротичных американцев Сэмюэль избавлял от кошмаров детства. Терзаемый головными болями немец во время Второй мировой был капитаном подводной лодки. Лодка со всем экипажем затонула, капитану удалось спастись. Сэмюэль колебался, должен ли он лечить этого немца. В конце концов, решил, что должен, потому что немец потерял свою команду, а значит, тоже был человеком, который страдает.

В один из дней к Сэмюэлю К. пришел Адам С. и рассказал, что в нем живет брат, погибший в гетто. Спросил можно ли тут чем-то помочь.

Монах оторопел. Адам С. родился уже после смерти брата, память о войне жить в нем не могла. Искать в мышечных тканях было бессмысленно, и все же он уложил пациента на кушетку. Начал массировать позвоночник. Ничего не происходило. Повторил, что способен пробудить только некогда запятанную память — но не договорил. Адам С. вдруг расплакался и раскричался. Только что они говорили по-английски, а сейчас Адам выкрикивал что-то на незнакомом языке, полным шипящих звуков.

Сэмюэль слушал, потрясенный. Все громче и отчетливей Адам С. звал кого-то детским, жалобным голосом. Потом злился. Потом испугался. Сомнений не было: в комнате появился кто-то третий. Он то утихал, то заходился криком, словно бьющийся, одичалый зверек.

Сэмюэль припомнил: на Тайване что-то говорили о людях, умерших внезапной или насильственной смертью. Они не знают, что умерли. Их душам не удалось оторваться от «земного мира». Китайский буддизм — религия простолюдинов, чьи верования полны духов. Тем, кто не может уйти, китайцы пытаются помочь. Указывают им дорогу.

Сэмюэль Кернер указал дорогу брату Адама С.

Сказал ему: «Иди к свету».

Он не понимал, почему так говорит, но чувствовал: сказать надо именно так.

Тот, кто был с ними, кто был только воздухом и страхом, вдруг пошел за словами.

И тогда Адам С. что-то сказал ему на своем шелестящем языке.

Тот остановился. Повернулся и поспешил в сторону Адама.

В комнате стало тихо.

— Что ты ему сказал? — спросил Сэмюэль.

— Я сказал ему: не уходи, — уже по-английски и своим голосом ответил Адам С.

— Значит, ты хочешь, чтобы он остался?

— Но ведь это мой брат... — прошептал Адам.

6

Восемь месяцев спустя машина разможила Сэмюэлю обе ноги. Врачи сказали, что ходить он будет, но только через два года. Каждый день он ездил на интенсивные занятия и процедуры, а когда возвращался, я садилась на край кровати и мучила расспросами.

— Ты что-нибудь во всем этом понимаешь?

— Нет. И не пытаюсь. Китайцы говорят: уважай духов, но держись от них подальше. Я не вызывал брата Адама С. Я только вернул ему голос, сделал так, чтобы его услышали.

— Это как-то связано с Богом?

— Не знаю. С Богом иудаизма все запутанно и трудно. Буддистский Бог как-то попроще, не такой серьезный, и я о нем не беспокоюсь. Пусть он обо мне беспокоится. Мое дело — заботиться о страдающих людях, а не о страждущем Боге.

Сэмюэль начинал хрипеть, и разговор прерывался. В первый раз я подумала, это от простуды, но он объяснил, что у него опухоль. Половину ему уже вырезали, оказалась доброкачественной. Осталось вырезать вторую половину, в которой врачи не так уверены.

В изнеможении он тянулся к флейте. Я что-то говорила, он на флейте отвечал. Кедровый инструмент индейцев не знал жизнерадостных звуков, поэтому в комнатке становилось все грустней и все первозданней. В конце Сэмюэль заказывал для меня такси — одиноким женщинам не пристало ходить темными улицами Bay Village — и я возвращалась домой.

Поздно вечером звонил с Западного Побережья Адам С.

Рассказывал, как прошел день. Закончил реферат, принимал экзамены, сын в порядке, все в порядке, вот только опять проснулся в три часа ночи и до утра не спал.

Мужчины в его семье умирали молодыми, и все — от сердца. Это плохо. Это значит, что осталось ему от силы лет десять. А что потом?

— Ты не должен был его возвращать, — сказала я. Понимала, о ком он спрашивал: «Что потом?» — Шел бы себе к свету, где бы он ни был. А ты забыл бы...

— Я знаю, — согласился Адам С. — Но когда он вот так пошел...

Когда он уходил, я почувствовал...

Не знаю, как это по-польски...

Такую *rachmones* почувствовал...

Такую жалость...

Ой-ёй-ёй, какая *rachmones*, какая огромная, когда он уходил из этого мира...

7

Он просыпается в три — и не спит до утра.

— Не спишь? — спрашивает жена и садится на кровати.

— Знаю, знаю, — перебивает ее Адам С. — Я должен пойти...

— Он хочет тебе помочь, — начинает плакать жена.

— Во время последнего визита он попросил меня нарисовать стену гетто и арийскую сторону. Дал лист бумаги, ручку и говорит: «Нарисуй, я не понимаю, о чем ты».

— Ну а как он может понять? — удивляется жена Адама С., которая, как и их психиатр, родилась в Бруклине. — Объясни ему. В этом нет ничего плохого. Когда поймет, попробует тебе помочь.

— Постарайся уснуть, — отвечает Адам С., надевает спортивный костюм и выходит из дому.

Он бежит между темными, сонными садами своих коллег.

В шесть утра открывают университетский спортивный клуб. Он идет в зал и упражняется на тренажерах.

Тренирует сердце.

Поседевший, он все больше похож на отца. И все меньше на того, заточенного в нем, не тронутого смертью, шестилетнего — навеки.

КРЕСЛО

1

О плачущем дибуке я рассказала знакомому — солдату и поэту, живущему в Иерусалиме.

Каждый уцелевший еврей чуть нетерпеливо слушает чужие рассказы.

Каждый уцелевший еврей сам знает историю в сто раз интересней.

— Ну, все? — спрашивает он. — Так я расскажу тебе кое-что получше...

— Ну, все? — спросил меня воин-поэт, когда я рассказала ему о дибуке. — Так я расскажу тебе...

«Кое-что получше» оказалось историей о дедушке Мейере и бабушке Мине. Жили они в Седжишове. Это было богатое, почтенное семейство, дед Мейер занимал даже какое-то время пост бургомистра. Позднее занялся торговлей, построил лесопилку, скупал лес и производил шпалы. Затем перебрался на Подолье и представлял там пивоварни «Окосім». Незадолго до войны вернулся в родные места.

У бабушки Мины болели ноги. Почему — толком никто не знал, хотя дед показывал ее всем лучшим львовским врачам. Бабушка сначала прихрамывала, потом — все медленней и медленней — ходила с палкой, и наконец вообще перестала ходить. Тогда дед поехал во Львов и купил кресло. С высокой спинкой, с удобной подставкой для ног, обитое зеленым бархатом в полоску чуть посветлее. Бабушка Мина уселась в кресло, поставила на подставку ноги и глубоко вздохнула: «Теперь уж до самой смерти не встану».

С этой минуты бабушка управляла домом с кресла.

Она восседала на нем в своей комнате, но прекрасно знала, что рыбе не помешал бы перец, а красному борщу — сахар, что внуки должны сесть за уроки, а служанка — принести из аптеки лекарство от кашля.

Лекарство пил дедушка Мейер. Его тщательно обследовали, сказали, что легкие, щитовидка и гортань здесь ни при чем, но он не переставал кашлять.

Жизнь шла своим чередом: дела — дети — служанка — дом, вот только дедушка все кашлял и кашлял, а бабушка сидела в кресле.

Когда началась война, дед сразу понял, что нас ожидает. Пригласил к себе соседа-поляка (он пригласивший с нашей семьей) и закрылся с ним в кабинете. Вскоре приятель-поляк начал строить бункер. Работы — с соблюдением всех предосторожностей — шли целый год. Укрытие оказалось просторным, так что в нем вполне поместилась вся необходимая домашняя утварь, запас еды, даже бабушкин ковер — и, конечно, зеленое кресло.

Как раз вышло распоряжение о гетто, дед и бабушка перебрались в укрытие. Позвали и другие еврейские семьи, так что в бункере поселилось несколько десятков человек.

И жизнь потекла почти своим чередом.

Приятель-поляк приносил продукты, бабушка сидела в кресле, а дед кашлял.

Однако обитателей бункера дедов кашель начал беспокоить.

— Мейер, — говорили они, — услышат люди. Или ты не можешь сдержаться? Разве сейчас время для твоего кашля?

Дед знал, что не время, приятель-поляк приносил все новые и новые лекарства, бабушка крутила гогель-могель, но кашель не прекращался.

И в какой-то день обитатели бункера разозлились.

И задушили деда.

И случилось тогда небывалое.

Бабушка совладала с ногами.

Она встала с кресла.

Закрыла деду глаза.

Вышла из бункера.

Постучала к приятелю-поляку: «Беги, пан, — сказала ему, — сейчас тут будут немцы».

Она остановила на дороге подводу и велела ехать в жандармерию.

Немцы расстреляли всех евреев. Бабушку тоже расстреляли, но последней. Объяснили, что в награду. Благодаря чему она и увидела, как умирают убийцы деда.

Мой знакомый поэт и воин пережил войну в Кракове. Историю дедушки Мейера и бабушки Мины уже после войны рассказал ему знакомый поляк, тот самый, который пригласивший со стариками.

2

— Сенджишов, — вздохнул раввин из Нью-Йорка, Хаскель Бессер. — Совсем недавно я вспоминал о Сенджишове. Мы ехали в санях через Шамони, возница укутал нам ноги бараньим кожухом. Я вдохнул запах шкуры и сказал: «Этот запах я откуда-то помню». В гостинице мы сели у открытого окна и смотрели на Альпы. Пошел снег. «Теперь знаю, откуда...» — сказал я жене.

Мы ехали в санях в Криницу, падал снег, возница бросил нам в ноги бараний кожух. Возле меня сидела внушительных размеров дама и без умолку говорила. Рассказывала о семье, о соседях, о похоронах, о чьей-то свадьбе, и все были из Сенджишова. Фамилия ее была Зильберман. Имени не помню... Хлопья снега оседали на ресницах, дул ветер, я подтягивал к себе бараний кожух и чувствовал резкий запах ключев шерсти, обтянутых колючим протертым сукном. Зильберман удивилась, что мне холодно, и спросила, как меня зовут. «Хаскель? Совсем как моего брата». И начала рассказывать о его школьных успехах. Зиму я обычно проводил в Пивничной, но в тот год моя сестра вышла в Кринице замуж, а я хотел быть с ней. В Шамони я не переставал думать о Пивничной, о Кринице и о Сенджишове, в котором никогда в жизни не был.

3

Будь все это в рассказе Зингера, внушительных размеров дама в санях знала бы немало захватывающих историй о людях из Сенджишова. И уж наверняка знала бы о деде Мейере и бабушке Мине — их судьбы стали местной легендой, которую со страхом передавали из уст в уста. Но и снег падал, и сани ехали, и Зильберман рассказывала намного раньше, *еще до того как*. Еще стояло в гостиной зеленое кресло, еще спокойно кашлял дед — и не было никакой истории.

Будь все это у Зингера, о деде Мейере и бабушке Мине могла бы поведать тетя Энтл, та самая в чепчике, украшенном бусинками и ленточками — желтой, красной, зеленой и белой. Она обожала чудесные и холодящие кровь истории — о принце, который жег черные свечи и жил с женщиной-дьяволицей, о рыжей Даше, влюбленной в хама, который выхлестал ее плеткой... Это были самые ужасные переживания, которые довелось испытать тете Энтл. О бабушке Мине, которая — в награду — умерла последней, Зингер не писал. Он боялся Катастрофы. Боялись ее даже его нечистые духи, демоны, дибуки, ведьмы и черти. Они не осмелились бы сойти в застланный ковром ад, где на почетном месте стоит зеленое, обитое бархатом кресло.

ПРАВНУК

1

Она живет на Фарной, на первом этаже, вместе с отцом. Дом у них основательный, из нештукатуренного красного кирпича. Через сто лет домом завладеет внука Хая. Хая выйдет замуж за купца Мотла; он будет поставлять из России собольи шкурки, разбогатеет и купит еще несколько таких же солидных домов на Фарной. Шкурки будут пересыпать нафталином. Сто пятьдесят лет спустя ее внук, профессор медицины Натан Б., будет вспоминать, как от деда Мотла пахло смесью одеколона, нафталина и собольих шкурок.

А пока на дворе первая половина XIX века. Есть еще и улица Фарная, и двухэтажный особняк на углу. Она живет с отцом. Мать умерла пару лет назад. Мать родила ее поздно. Отец совсем уж потерял терпение и стал помышлять о разводе, но мать вымолила у него последний шанс. Поехала в Чернобыль. Получила благословение чернобыльского цадика Мордехая — и через год на свет появилась Хана Рахиль.

После смерти матери она подолгу сидела на кладбище. Как-то возвращалась в потемках, споткнулась о чье-то надгробье — и упала. Нашли ее только на следующее утро. Несколько недель она пролежала без сознания («И, наверное, с воспалением мозга», — скажет сто пятьдесят лет спустя профессор медицины, ее правнук).

На сей раз в Чернобыль поехал отец.

— Возвращайся домой, — сказал цадик. — Твоя Хана Рахиль здорова. Много радости и много горя она тебе принесет.

Отец нашел девочку в полном сознании, добром настроении и без температуры.

С каждым днем у нее прибавлялось сил.

А когда, наконец, она встала с кровати, оказалось, что знает наизусть все Пятикнижие.

2

Живет она уединенно. От сверстниц — одни насмешки. Избегает разговоров, изучает книги. Молится. На молитву, как мужчина, покрывается талесом. Начинает комментировать Писание — и все вокруг дивятся оригинальности ее суждений. Вокруг нее собираются люди. Она отвечает на вопросы, советует, изгоняет демонов. Кто-то из посетителей просит вернуть ему слух. Она сначала колеблется, потом робко прикасается к ушам больного — ручки у нее нежные, маленькие, с пухлыми, как у ребенка, пальцами, — и глухой вскрикивает: «Я слышу!» К ней начинают привозить больных. Привозят заблудших. Едут с Воыни, из Люблина, даже из Львова. Ее величают «Ludmere Moid», — «Людомирской девой». «Людмиром» евреи называли Владимир-Волынский.

В доме на Фарной становится тесно, и отец неподалеку от дома, на Скальской, строит для нее молельню. Там у нее своя комната, где она принимает последователей и размышляет. Она устает. Становится все бледнее и бледнее. Страдает от головных болей и все больше похожа на тех пылких существ, тех, охваченных жадой разговоров с Богом и мольбами о знаках евреек, о которых через сто лет после Людомирской Девы узнает весь мир.

«Когда мы всем нутром чувствуем потребность в вести, которая что-то значит, когда вызываем об ответе, но он нам не дается, в эти минуты мы прикасаемся к молчанию Бога», — напишет одна из них*, а другая будет просить принять ее жизнь в жертву умилоствления — чтобы Бог сокрушил сатану и не допустил новой войны. «Я хотела бы, — добавляет она нетерпеливо, — отдать себя еще сегодня, потому что часы уже бьют двенадцать...» Наивная... Она будет верить, что только ее жертвы не хватает Богу. Тому, Которому ничего не стоит заполучить в жертву шесть миллионов. В том числе внучку Владимирской Девы Хаю и сыновей Хаи, их жен, детей и всех прочих жителей улицы Фарной.

3

Но, к счастью, на дворе все еще XIX век.

В молитвенном доме Людомирской Девы появляется цадик Мордехай из Чернобыля. Тот самый, который благословил ее мать и некогда вернул к жизни саму деву. Он — самый почитаемый из ныне живущих цадиков, покровитель тех самых тридцати шести разбросанных по всему миру праведников, на которых и держится мир. Это он в лесу, на глухой поляне, встречается с Мессией. Сыном Давидовым. Он должен будет сообщить Мессии о том, что настало время придти к людям.

Цадик из Чернобыля убеждает Людомирскую деву вернуться к нормальной жизни.

Он говорит о святости. Человек, который ищет святости, должен познать грех и соблазн.

— Не души в себе человеческих страстей, — говорит на прощание цадик. — Живи как женщина. Падай, смиренно поднимайся и помогай подняться другим.

Хана Рахиль выходит из уединения.

Благосклонно принимает первого из представленных ей ученых и набожных мужей.

Становится с ним под свадебный балдахин.

* Речь идет о Симоне Вейль (1909-1943).

** Речь идет о кармелитской монахини, еврейке по происхождению, Эдит Штайн, умершей в газовых камерах Освенцима в 1943 году.

Ей обрезают русую косу и надевают парик. Маленькими, нежными ручками она прикасается к искусственным волосам. Не взглянув в зеркало, идет в супружескую спальню.

Она просыпается перед рассветом.

С недоумением и тревогой вдруг осознает, что не знает ничего. Ни иврита. Ни Торы.

И, забыв об обязанности смиренно подниматься после падений, со злостью кричит:

— Так вот что Ты выдумал? Так вот он, Твой знак?!

4

Сто лет спустя дом на улице Фарной станет собственностью Хаи, которая выйдет замуж за купца Мотла. О Людомирской Деве — со страхом, смешанным с обожанием, — она будет рассказывать своим детям и внукам.

В прежнем жилище Ханы Рахиль поселится нотариус. Первый этаж займет аптека. Смуглая, черноволосая жена аптекаря будет слыть самой красивой дамой во Владимире-Волынском. Второй красавицей прослышает жена директора гимназии.

Жена аптекаря будет моложе мужа на двадцать лет и влюбится в местного доктора, ничем не примечательного блондина. Доктор же бросит ее ради Циля, студентки юридического факультета, внучки Хаи и правнучки Ханы Рахиль.

Правнучка Циля не захочет возрастать в святости. Свободно, даже вызываясь свободно, с точки зрения владими́ро-во́лыньских блюстителей нравов, будет разъезжать она по всему городу с новым женихом, да еще в открытых дрожках. Летом, в субботу после обеда, они уезжают подальше, по дороге, что ведет к Устилугу. Доктор, невзирая на жару, поднимет верх дрожек. И она увидит будущего профессора медицины Натана Б. Он будет стоять сзади, на поперечине между колесами. Во-первых, потому что будущий профессор просто обожает так ездить. А во-вторых, ему хотелось бы знать, чем это занимается его племянница Циля на долгих прогулках.

К сожалению, племянница быстро прогонит его с любимого места.

Так будущий профессор и не узнает, чем занимаются эти двое в закрытых дрожках на проезжем тракте среди запахов сена, конского помета и прогретых солнцем сосен.

5

Последнее лето будет совсем обычным летом для жителей Фарной.

Отец Циля, Моисей Б., станет вице-бургомистром, и каждое утро будет добросовестно отправляться в свою контору. А заезжать за ним будет двуконный магистратский фаэтон с извозчиком-украинцем.

Циля бросит доктора, выйдет замуж за университетского приятеля и привезет его в родной город. С гордостью покажет молитвенный дом на Сокальской. «Слышал о Ludmere Moid? Так это моя прабабка, Хана Рахиль. Здесь она молилась...». А над Лугой скажет: «Смотри, как медленно течет... Тут даже против течения легко плыть». Покажет ему и леса в Пятиднях, по дороге на Устилугу, покажет сосны и лещину: «Тут каждое лето мы собирали лесные орехи. Целые корзины приносили домой. На Новый год бабушка Хая клала их в пироги, а на Пурим толкла с маком и медом...»

Марек Б., зубной врач, брат бургомистра и отец будущего профессора медицины, будет принимать пациентов, а вечером засядет за преферанс в мужской компании. С комиссаром полиции, который погибнет в Катыни. С графом, которому чудом удастся избежать лагеря. С хозяином книжной лавки, украинцем, который при советской власти станет *председателем горсовета*.

Отыля, жена зубного врача, будет просматривать дамский журнал «Ева». По «семейным причинам» ее заинтересует беседа с современным цадиком — женщиной, живущей в Иерусалиме. Цадик Сура Шлоймца горит желанием просвещать еврейских женщин. Чтобы не оправдывались перед Богом, как праматерь Ева. «Не знала, дескать, что нельзя срывать яблоко», — пыталась она уверить Творца. Ей, видите ли, лично об этом не сообщили. «Так станем же учиться, — призывала в конце женщина-цадик, — чтобы нам не выдумывать наивных отговорок, когда мы предстанем пред Богом...» На рассвете Сура Шлоймца молится о приходе Мессии. Потом принимает страждущих. Дает им травы, которые в Святую Землю — прямо из Перемышля — присылает дедушка цадика Суры.

После чтения «Евы» Отыля Б. посвятит время занятиям с точильщиком Хаимом. Хаим будет наводить страх на все местечко. Но сын Отыли, будущий профессор медицины Натан Б. вытащит из реки тонущую сестру Хаима Двойру — и точильщик ножей станет его лучшим другом. Мадам Отыля его полюбит, начнет учить польскому и иностранным языкам. Станет говорить, что он способный мальчик и должен сдать выпускные экзамены. Но поскольку все это будет в последнее лето, до экзаменов дело так и не дойдет. А Отыля Б. так и не выпишет на будущий год дамский журнал «Ева».

Молодежь будет проводить лето над Лугой, на пляже. У Шлёмы, крепкого мужчины с седой бородой по грудь и голосом пророка, они возьмут лодки, переправятся на другой берег и пойдут лугами вверх по течению.

Бейби, правый нападающий «Аматоров», будет прыжками спускаться к воде («Аматоры» в то лето выиграют у команды «Вперед» из Яновой Долины и даже у «Стрельца» из Луцка).

Рая, дочь фармацевта и невеста Бейби, будет позировать перед «лейкой». «Готовы? — спросит уличный фотограф. — Два снимочка за пятьдесят грошей». — «Ах, будьте любезны», — улыбнется Рая, поправит костюм с вырезом и кокетливо прищурит зеленые глаза.

Брошенный Цилей одинокий доктор погрузится в чтение медицинского журнала.

Будущий профессор Натан Б. уляжется на одеяле со своей любимой Тавочкой, дочкой продавца цветов Айзика.

А помощник аптекаря Ёня запоет самый модный в то лето шлягер:

*Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось,
В этот час ты призналась,
Что нет любви...*

Вечером все они усядутся на скамейке перед будкой с мороженым. Купят по стакану воды с малиновым сиропом, которая дешевле мороженого, и будут беседовать о серьезных вещах.

О евреях: опять их где-то резали лезвиями.

О войне: все о ней говорят, а они считают, что войны не будет.

О мире: какой он — злой или добрый?

О коммунизме: это он защитит евреев от лезвий, войн и недоброго мира.

Путь молодых владими́ро-во́лынских евреев к коммунизму начнется на улице Фарной. По соседству с домом Ханы Рахиль, перед деревянной будкой с мороженым и газировкой.

А на дворе будет стоять последнее лето перед войной, которую Бог не пожелает отвратить — несмотря на все пылкие просьбы о жертве умиловления.

6

В сентябре Владимир-Волынский займет Красная Армия. И сразу на станции появятся товарные вагоны. С каждым днем их будет становиться все больше и больше. В конце концов, ими будут заставлены все подъездные пути.

Морозной декабрьской ночью уйдет на восток первый транспорт. Начнется депортация «врагов народа». Тогда закончится вера Натана Б. в коммунистические идеалы. Начнется страх перед ними.

7

Будущий профессор Натан Б. вернется во Владимир-Волынский после непродолжительной службы в Красной Армии. После смертного приговора за саботаж, замененного потом десятью годами. После лагеря на Колыме.

Прочитает на вокзале написанное кириллицей — «ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКИЙ». Пойдет на Фарную и остановится перед домом бабушки Хаи и деда Мотла.

Увидит на улице, перед домом, гору коробок с надписью «Наробраз». Теперь путь к дому шел через народное образование.

Он поднимется на этаж. Увидит, что комната бабушки и деда открыта и совершенно пуста. Ни мебели, ни домашней утвари, даже запахов никаких — ни одеколона, ни нафталина, ни собольих шкурок.

Комната, что справа, дяди Мотла, тоже пустая.

В гостиной и спальне родителей, Отыли и Марка, он увидит чужих людей за чужими конторками. Из кабинета отца будет доноситься громкий стук. Он приоткроет дверь. Увидит стоящего на стремянке молодого человека с молотком и картиной в руках. На картине — золотое пшеничное поле, а по полю идет Сталин и ведет двоих детей — девочку и мальчика. За Сталиным — тракторы, дальше — подъемные краны и новые дома. За домами светит солнце, и от него в разные стороны расходятся длинные, золотые лучи...

Молодой человек поправит на стене картину и обернется к Натану Б.:

— *Вы кто?*

— *Я?* — задумается Натан — *Я никто... Я так просто...*

Повернется, выйдет на улицу Фарную и пойдет куда глаза глядят.

8

Он будет идти в сторону Луги.

Не останавливаясь, пройдет мимо места, где причаливал свои лодки бородатый Шлёма.

Пойдет вверх по течению и присядет на пень напротив пляжа.

Пляжа не будет. Берег зарастет тростником и густым кустарником.

Он станет вглядываться в заросший берег и склоны, но так никого и не увидит. Ни Бейби, ни Раи. Ни Двойры, ни точильщика Хаима. Ни Ёни, ни фотографа с «лейкой», ни лекаря, ни аптекаря с женой-красавицей. Ни родителей, ни дядьки, вице-бургомистра. Ни племянницы Цици, ни своей семнадцатилетней сестры Рахильки, ни Тавочки, ни ребят, что сидели тогда перед будкой.

Он знает, где они. В Пятиднях, по дороге, что ведет к Устилугу.

Все там.

В одном, общем рву, в сосновом лесу, недалеко от лещины. Откуда каждую осень привозили они бабушке Хае полные корзины орехов.

Все.

И все же он будет сидеть и всматриваться в противоположный берег. В сумерках вернется на вокзал. В поезде он задремлет, и услышит голос, который с тех пор будет появляться в его снах до конца жизни:

— Не нужно туда ходить. Там больше нет никакой реки.

9

Он перестанет быть Натаном. Оставит Натана над Лугой, речкой, которой больше нет. С тех пор будет Янушем Б. Закончит медицинский. Станет исправлять промахи Господа Бога.

Создавая очередного человека, Бог время от времени задумывается, устает, начинает скучать или просто решает пойти пройтись. И тогда человек рождается недоделанным — без носа, уха, щеки или губ. Януш Б. должен будет это исправить. Хрящик он возьмет из ребер, между шестым и седьмым, там, где их больше всего, кожу — со лба и с живота. Смастерит из кожи и хрящиков недостающую часть — и пришьет ее пациенту. Он лечил младенцев, который рождались без нёба. Их нежные ткани были для него строительным материалом, из которого он сооружал что-то совсем новое. Созданные им носы, уши и нёба будут утверждать, что они — настоящие. Будут по-настоящему расти и радовать хозяев. Фотографии пациентов Януша Б. появятся в учебниках хирургии. Американская клиника предложит господину профессору возглавить кафедру. Американские студенты будут сосредоточенно следить за его руками — маленькими, нежными, с пухлыми, как у ребенка, пальцами.

10

Он поселится в маленьком, спокойном городке, где-то в центральных штатах. Состарится и начнет описывать свою жизнь: Колыма, медицина и Владимир-Волынский. Под крылышком оптимистичной и энергичной американской жены. В часе езды от реки Миссисипи.

— *Apples are so sweet*, — жена внесет фрукты в гостиную и радостной, белозубой улыбкой постарается выразить всю сладость яблок. — *So sweet...* А он почувствует сладость осенних яблок из их сада. Осенние яблоки съедали, антоновку и ранет укладывали в сундуки и пересыпали соломой. Через некоторое время сундук открывали и выбрасывали испорченные плоды. Всю зиму в доме стоял запах яблок.

(Эти запахи — дома бабушки и родительского дома — слились в неповторимую смесь из собольих шкурок, одеколona и подгнивших яблок. В гостиной профессорской виллы. В часе езды от реки Миссисипи).

Всю важность того, что не важно — запахов, лиц соседей с Фарной, праздничного платья бабушки Хаи, темно-синего, бархатного с гипюровым воротничком... — он оценит, слушая стихи своего приятеля и пациента, профессора английской литературы.

Приятель, сын евреев из Варшавы и Сосновца, никогда не спрашивал родителей о мире, из которого они пришли. О той старой, погибшей цивилизации. Жил совсем несчастливой любовью и писал о ней длинные, никому не нужные стихи.

Когда родители умерли, он начал писать стихи о незаданных вопросах. Спрашивал об улице, о доме напротив, о лицах соседей и бабушкином платье. «Мама... Не говори мне о важном, расскажи мне о малом...».*

Не успевший спросить приятель будет лежать в клинике профессора Б. с раком щеки. По вечерам они будут слушать еврейские песенки. Приятель расскажет об отце из Сосновца, который не пропустил ни одного дня на своей трикотажной фабрике в лондонском East End'e. Даже на смерть не взял отгула — умер во время отпуска. Прочитает стихи о его последних словах. Звучали они так: «Ой-вэй!», что в английском написании выглядит как *ou ya*. Профессор Б. задумается: «Вздыхают ли еще *ou ya* евреи в Сосновце?»

— Американские евреи стали американцами, — заключает излеченный от рака щеки приятель. — Я американцем не стал. Не стал и англичанином, хотя закончил Кембридж. Надеялся, что приеду в Сосновец — и почувствую себя польским евреем. Не почувствовал. Похоже, моей родиной стали стихи о незаданных вопросах.

Беседу о вещах маловажных прервет глухой удар о внешнюю стеклянную стену, отделяющую комнату от сада. О стену разобьется птица, большая, вызывающе красивая, с голубыми крыльями. Примет прозрачное стекло за воздух, резко ударится о него — и упадет с закрытыми глазами на землю.

— Потеряла сознание, — поставит диагноз профессор Б. — Нужно оставить ее в покое.

Посмеется над предположением о том, что птицу за ним прислали.

Он не будет верить ни во что — ни в знаки, ни в птичьих посланцев, ни в души.

«Душа — это наши мысли, наши дела, наша совесть и любовь, и она умирает вместе с нами», — напишет он в своей книжке.

Людомирская дева не обрадовалась бы, узнав, что ее правнук не верит в души.

Зато верит в Колыму и в Пятидни.

А также в гены, благодаря которым руки передаются по наследству и через сто пятьдесят лет.

Он первым заметит, как зашевелится голубое крыло, и птица за стеклянной стеной откроет глаза.

Без сожаления посмотрит, как она улетает.

— Это хищник, *blue jay***. Небось высмотрел белочку и нацелился. Ну ничего, еще где-нибудь поймает, на поздний ужин.

* Daniel Weissbort, *Inscription*, New York, 1993.

** Blue jay — голубая сойка.

СПАСЕНИЕ

1

Давид, цадик из Лелёва, учил: «Пока человек или целый народ не дойдет до познания собственных ошибок, ему не достичь спасения. Мы можем быть спасены лишь настолько, насколько познали самих себя».

У него был сын, который тоже стал раввином в Лелёве. У лелёвского раввина были сын и внук — раввины в Щекочинах. У щекочинского ребе была дочка Ривка, внучка Хана, которую звали Андзей, и правнучка Лина.

Жарким июльским днем тысяча девятьсот сорок второго года внучка цадика в шестом поколении Хана, которую звали Андзей, и ее дочь, семилетняя Лина, ехали улицами варшавского гетто на Умшлагплац. Несколько минутами раньше их вывели из дома на Твардой и погрузили на подводу, запряженную одной лошастью. На подводе сидели два еврейских полица; один погонял коня, другой стерег людей — стариков, которые ни о чем не просили, не молились и не пытались бежать.

Подвода свернула на Теплую. Полицаи вполголоса разговаривали между собой. Советовались. Они могли сделать одно из двух — или окружить очередной дом и выгнать оттуда всех, или же перекрыть улицу и устроить мгновенную облаву. Облава быстрее, но в доме можно найти больше людей. Тот, кто погонял коня, был за дом, тот, кто стерег, — за облаву.

Совещание прервал сидевший на телеге мужчина.

— Отпустите их, — сказал он, имея в виду Лину и ее мать Андзю.

Полицейским не хотелось отвечать на бессмысленные просьбы, но к старику присоединилось еще несколько женщин.

— Отпустите, они молодые, пусть поживут.

— Вы что, не знаете, что у меня норма? — отозвался полицейский, который правил лошастью. — Я должен доставить на плац десять евреев. Вдвоем мы должны доставить двадцать евреев. Дадите нам кого-то вместо них? Тогда отпустим.

Старики больше не просили. Предложение полицейского было таким же нелепым, как и их просьба.

Подвода ехала очень медленно. О лошади, которая едва тащится, говорят, что она словно покойника везет, но в гетто не употребляли таких слов. Так что лошадь едва тащилась, хотя могла бы идти быстрее — пешеходов на улице было немного. Всё — так запомнили это Андзя и Лина — происходило в тишине и без спешки.

— Ну? — повернулся к ним полицейский. — Кто за вас пойдет на Умшлагплац? Есть такие?

Они приближались к месту, где Теплая кривым перекрестком соединяется с Гжибовской.

Проехали еще несколько метров, и вдруг увидели женщину. Она шла по Гжибовской. Никуда убежать не собиралась. Напротив, спокойно, уверенно шла навстречу подводе. Поравнялась с ней у дома под номером 36. Лина запомнила номер, потому что в тридцать шестом доме жила воспитательница из детсада, пани Эда.

Женщина положила руку на деревянную перекладину дышла и — не то спрашивая, не то утверждая, — сказала:

— Вы ведь не хотите ехать на Умшлагплац, правда?

Она обращалась к Андзе.

Андзя, потрясенная, молчала.

— Не хочет она, не хочет, — закричал кто-то, и тогда женщина снова обратилась к Андзе:

— Спускайтесь, я поеду вместо вас.

Андзя и Лина продолжали сидеть, хотя люди вокруг шумели:

— Ну чего вы ждете, спускайтесь!

— Спускайтесь, — повторил сидевший на козлах полицейский, и только тогда Андзя опустила на землю дочку и прыгнула сама.

Женщина взобралась на подводу.

Полицейские молчали.

— Дайте ей что-нибудь, — крикнул кто-то, кажется, мужчина, который первым стал просить полицаяв, чтобы их освободили.

Андзя одним движением сняла обручальное кольцо и протянула его женщине.

Женщина надела кольцо на палец. На Андзю она даже не взглянула. Смотрела перед собой.

Андзя и Лина вернулись домой. Бабушка Ривка сидела прямо, неподвижно, держа на коленях сжатые в кулаки ладони. Рассказали ей о женщине. Бабушка Ривка разжала ладонь. Увидели ампулу с серым порошком. Бабушка Ривка прошептала: «Если бы вы не вернулись...»

Они удивились. Внучка лелёвского цадика в пятом поколении, бабушка Ривка, была женщиной благочестивой. Ходила в парике. Когда в пятницу утром парик относили к парикмахеру причесать на шабес, она надевала косынку, чтобы никто не видел ее простоволосой, — а сейчас сжимала в кулаке ампулку с ядом, готовясь ко греховной, самочинной смерти. Ее вместе с внуками и невесткой забрали на Умшлагплац несколько дней спустя. Андзя с дочкой выбрались на арийскую сторону и пережили войну.

2

— Как выглядела эта женщина? — спрашивали мать Лины, когда она рассказывала о подводе, а рассказывала она об этом всю свою жизнь.

— Высокая. В костюме. Красивый, хорошо сшитый костюм из темно-серой фланели. Обута была в сапожки с отворотами, так называемые

«офицерки», на них была мода в Варшаве во время войны. Прически не помню, кажется, валик. Волосы тогда накручивали на длинную спицу и с обеих сторон загибали вверх или вниз. Словом, это была элегантная дама, — неизменно подчеркивала мать Лины. — Даже те сапожки выглядели так, будто надела только чтобы пофорсить.

— Может, знала, что умрет, вот и нарядилась на смерть? — подсказала одна из слушательниц. — Люди очень заботятся о своем последнем наряде.

— Она не вела себя как сумасшедшая?

— Нет, держалась спокойно.

— Может, она кого-то потеряла, и ей уже было все равно?

— Нет, она не выглядела отчаявшейся.

— Судочки... — подсказывала Лина.

— Да, еще в руках она держала пустые судочки.

— А с чего вы взяли, что пустые?

— Она ими помахивала.

— Это могла быть Мириам, — сказала я, когда Лина и ее муж Владек рассказали мне об этой даме. Они не поняли.

— Мириам. Та, которую христиане называли потом Марией.

Такая возможность им в голову не приходила. Скорей уж они могли допустить вмешательство цадииков.

Владек припомнил шутку военных времен, анекдот, который рассказывали в гетто. Немцы забрали всех евреев-христиан, и в костеле остался один единственный, последний еврей, Тот Самый, на кресте. Тогда Он сошел с креста и сказал Матери: «*Mame, kim...*», что в переводе с идиш означает: «Мама, пошли...». И она пошла. На Умшлагплац. А что в костюме? Так не могла же она появиться в своем покрывале, как на костельных иконках, и с нимбом над головой. С пустыми судочками? В них была еда, но она спросила кого-то: «Вы ведь ничего не ели, правда?» Накормила — и пошла на Теплую, к подводе.

Репортерская работа приучила меня к тому, что истории логичные, без пропусков и загадок, до конца понятные, чаще всего неправдоподобны. А вещи, которые не объяснишь никак, случаются на самом деле. В конце концов, сама жизнь на земле — это чистая правда, хотя объяснить ее логически так и не удастся.

3

Останки Давида из Лелёва 180 лет тому назад похоронили на местном кладбище. Кладбища давно уже нет, надгробье цадика недавно восстановили. Место указал Хаим Шрода, сын стекольщика Иосифа. Давид почивал в принадлежавшем общине кооперативном магазине, в «изделиях из металла». (После войны на еврейском кладбище устроили склад и два

магазина — продуктовый и сельскохозяйственной техники). Раввин из Иерусалима попросил директора магазина перенести куда-нибудь «изделия из металла», — и хасиды начали копать. Через несколько часов показался фундамент. Нашли череп, берцовые кости и отдельные кости рук цадика. Отложили лопаты, зажгли свечи и прочитали кадиш. Раввин уложил останки и прикрыл их землей. Через несколько лет установили надгробье и отгородили его стеной от магазина. В годовщину смерти цадика со всего мира съехались к его могиле ученики и, как в давние времена, оставили записки с просьбами.

Хаим Шрода родился в Лелёве, что над рекой Бялкой. Он ходил на работу вместе с отцом. На плечах нес застекленные рамы, перевязав их веревками из плетеного льна, в одной руке — банку с замазкой, в другой — мешочек с инструментом. Стеклили окна в Сокольниках, в Боджейовицах, Ижендах, Накле, Шлензаках, Шекочинах и Тужине. Проходили каждый день по пятнадцать километров и брали один злотый за одну раму.

Евреи из Лелёва продавали свой товар на ярмарках. Во вторник — в Пилице, в среду — в Шекочинах, в четверг — в Жарках, а по пятницам отправлялись в окрестные деревни, чтобы успеть вернуться домой на шабес. В пятницу утром несли они в корзинах самый популярный товар — ленты для волос, сахар в бумажных пакетиках по сто граммов, потому что на целый килограмм у мужика все равно не хватит, крахмал и синьку, тоже в пакетиках, но поменьше. Возвращались засветло. Теперь в корзинах лежали яйца, творог и бутылки молока. Мылись, чистились — и шли в синагогу. После молитвы ели халу и рыбу. Из восьмисот лелёвских евреев войну пережили восемь, в Польше остался один — Хаим Шрода. Его отца, стекольщика Иосифа, расстреляли в Ченстохове. Его мать, Малку, урожденную Поташ, трех его братьев — Гирша, Давида, Аарона, и трех сестер — Алту, Сарру и Йохвед — вывезли в Треблинку. Хаим бежал из лагеря. Скрывался в шестнадцати домах — тех самых, в которых перед войной стеклил окна.

Над могилой прадеда Анди и Лины — Давида из Лелёва — каждый год можно слышать все ту же беседу:

— Наш цадик учил: пока не познаешь себя и свои ошибки, не спасешься, — говорит нынешний глава лелёвских хасидов, раввин из Иерусалима. — Но помни, никогда не поздно вернуться к Богу, да будет благословенно Его Имя.

— Здесь не было спасения, ребе. Здесь не было места ни для какого Бога, — неизменно отвечает ему стекольщик из Лелева, сын Иосифа, Хаим Шрода.

ПРИСУТСТВИЕ

1

Прежние жильцы оставили старую сливу «мирабель», стеклянные бусинки и духов.

Мой рассказ — об обитателях домов и подворотен, что между Валовой, Францисканской и Налевками, ныне улица Андерса.

2

Мирабель пыталась уйти. Наклонилась и вытянула перед собой ветви. Когда совсем уже была готова в путь, вытащила из земли корень. Новые жильцы укрепили ее стальным обручем и обвязали веревками. Мирабель застыла на полпути. Из ее желтых, терпковатых ягод жильцы стали варить варенье.

3

Неподалеку от дерева, втоптаннные в землю, лежали бусины. Они были небольшие, круглые, ярких, веселых цветов. Дети новых жильцов промывали их в решете и нанизывали на нитку — капроновой лески в ту пору еще не знали. Все девчонки в округе носили тогда стеклянные разноцветные бусы.

4

Бусинки могли остаться от хозяина мастерской, где делали абажуры. Он украшал ими бахрому, или к примеру, расширял....

В довоенном списке варшавских заведений мастерской по изготовлению абажуров в этих местах не значилось.

Мог оставить «производитель стеклярусных изделий».

Был один, но далековато, на Новолипках.

Может вышивальщики?

Таких двое, и почти рядом, на Валовой. Но зачем вышивальщикам столько бусин?

Карнавальные костюмы?

Ручки и искусственные цветы?

Стеклянная бижутерия?

Бижутерия в списке была. Налевки, 24, И. Альфус.

Если верить старому плану города, где указаны номера домов, этот дом находился на углу Францисканской, и войти в него можно было с обеих улиц.

Это здесь. Точно.

Радостное, даже умилительное открытие.

А почему, собственно?

Что умильного в том, что некий И.Альфус оставил в подворотне на Францисканской запас бусин?

Готовился к началу сезона. К карнавалу тысяча девятьсот сорокового года...

Мне это представляется так.

Я всегда была убеждена: товар должен быть практичным, — твердила госпожа Альфус. — Зимние ботинки... Квашеная капуста... Кому во время войны нужны твои стеклянные бусы?

— Но война не будет длиться вечно,— утешал жену и самого себя господин Альфус.

(А может, я ошибаюсь. Может, это он хотел чего попрacticalней, а ее тянуло к украшениям, к веселью. И это госпожа Альфус убеждала мужа в том, что карнавал когда-нибудь все-таки будет).

Имен четы Альфус я не знаю, зато сохранился их номер телефона.
11 17 79.

Голос в современном автомате просит добавить в начале цифру восемь.

Попадаю в фирму «Алю». Звучит, как сокращенная фамилия прежних хозяев. Фирма «Алю» ничего общего со стеклянными бусами не имеет. Да, со стеклом работают, но только для дверей и окон. С противотударным.

Умиление тут же проходит.

5

Духи предпочли новых жильцов по улице Андерса — пожилых супругов, продавца и портниху. Их многоэтажка была построена после войны на развалинах стоявшего на углу каменного дома.

Несколько лет тому назад они почувствовали, что в квартире кто-то есть.

Нельзя сказать, чтобы этот «кто-то» вел себя враждебно. Он мог постучать в дверь. Сбросить крышку в пустой кухне. Иногда топал по полу. Гладил кота. Кот его обнюхивал, урчал, подставлял мордочку, чтобы почесали. Думали, что видит ребенка, но кот вспрыгивал на стол, задира голову и всматривался. Перед ним стоял кто-то высокий. Нет, это не может быть ребенок. Намного выше... Иногда их навещала целая толпа. Начинаясь суতোлка, возня. Жильцам казалось, будто они окружены беззвучным, немим шумом.

Решили, что их посещают духи родственников. Например, невротичного шурина-украинца.

Поставили его фотографию и зажгли перед ней свечу-громницу. Умные люди подсказали, что если пламя начнет подрагивать, заколешется или вообще погаснет, значит шурина чем-то недоволен или чего-то на этом свете не доделал.

Но свеча горела ровно, и они решили: шурин-украинец здесь ни при чем. А может мама? Или брат?

Снова поставили фотографии и зажгли громницу. Не сводили с нее глаз целую ночь. Но пламя было еще ровней, чем у шурина.

Пошли к священнику. Он не знал, чьи души могут блуждать по их дому, но помолился, произнес что-то на латыни и окропил освященной водой каждый угол.

Однако кастрюли греметь не перестали, а кот по-прежнему здоровался с невидимым гостем.

Молились святому апостолу Иуде Фаддею, помощнику в делах безнадежных.

В конце концов, обратились к экзорцистке.

«В вашем доме, — ответила она, — живет пятеро Домовых и восемнадцать Сопровождающих Душ. В ближайшее время обещаю вывести их на другой уровень бытия».

Однако вывести души на другой уровень бытия у экзорцистки не вышло. Они предпочитали прежний, на Андерса.

6

О том, что духи — еврейские, первой догадалась жена. Еще бы, евреи жили когда-то во всей округе, а во время войны здесь было гетто.

— Может, ты и права, — согласился муж.

— Отец торговал на Керцеляке одеждой, — добавила жена, — и сам знал многих евреев.

— Известное дело, — кивнул муж. — Жидовья там было, как грязи.

— Как ты выражаешься! — набросилась на него жена.

— Я не со зла, — стал оправдываться муж, — просто так оно и было.

7

На них стали сыпаться неудачи.

Сперва возили на пригородные рынки одежду с оптовых складов, но люди вдруг перестали ее покупать.

Потом возили капуччино... И его покупать перестали.

Шили теплые шапки-капоры, но не было морозов.

Стали шить женские юбки. Хозяйка модного магазинчика заказала у них партию юбок из ткани с большими, золотисто-желтыми подсолнухами. Юбку с подсолнухами на темно-синем фоне носила во время визита в Польшу английская королева, так что в тот год на всех базарах это был самый модный рисунок.

— Вы так хорошо шьете, — похвалила их хозяйка модного магазина, — вот только не пойму, почему никто не покупает ваши вещи?

Они дали объявление к газету. Откликнулся предприниматель, которому срочно требовались надомники. Обещал приехать. Но так и не появился. «По дороге к вам попал в аварию», — позвонила спустя месяц его жена.

Тогда они заподозрили, что невезенье как-то связано с еврейскими духами и пригласили домой раввина.

8

Раввин начал так:

— Моя бабушка родилась в Балигроде. Но она знала Варшаву, и из ее рассказов я запомнил это слово — Налевки. Это было единственное польское слово, с которым я приехал в Варшаву. На-лев-ки...

— Здесь, здесь, — оживились хозяева и показали ему улицу за окном. — В бабушкино время это были Налевки, при коммунистах — улица Новотки, при демократах стала улицей Андерса... Но скажите, ребе, чего хотят от нас еврейские души? Мы ведь им ничего плохого не делаем.

— Не удивляюсь, что вы чувствуете тут присутствие евреев, — задумался раввин. — Скорее удивляюсь тем, кто его не чувствует.

— Я всегда за них так переживаю, — вздохнула жена. — Вот только вчера, в сериале, еврей пришел из гетто с внучкой и просил людей, чтобы ее спрятали. Я даже расплакалась. А потом он заказал в пивной свиную голяшку, проглотил мышьяк и запил пивом. Ну разве я не рыдала? — повернулась она к мужу.

— И что? — заинтересовался раввин, — Внучка выживет?

— Выживет. Этот сериал уже когда-то был, она выжила, так что сейчас все будет хорошо. И чего, скажите, ребе, могут хотеть от нас еврейские души?

— Не знаю, — признался раввин. — В нормальное время душа уходит на небо, но война — это было ненормальное время.

— Здесь шли битвы. Тут не хоронили останков. А души тех, кого не похоронили, тоже идут на небо?

— Не знаю, — сказал раввин.

— Может, непогребенные души так и блуждают по свету?

— Не знаю.

— Но что ребе может для нас сделать?

— Молиться. Я могу только это...

Он достал молитвенник и прочитал на иврите псалом.

Тот самый, о Пастыре, рядом с которым ни в чем мы не будем нуждаться. Который покоит нас на зланных пастбищах и водит к водам тихим. С которым не убоимся даже в долине смертной тени, чей посох успокаивает нас и в чьем доме мы пребудем многие, многие дни...

Ёся Браун?

Как и отец хозяйки, он торговал на Керцеляке. Отец хозяйки — одеждой, а Ёся Браун — мелкой галантереей.

Он был коренастый и низкорослый, рассказывала Ёсина дочь, Яся-Йохвед.

А вот Митек, брат отца, тот был высокий. Перед войной тоже держал лавочку на Керцеляке, а в гетто состоял в погребальном братстве.

Если кот новых жильцов прыгает на стол, как будто видит кого-то высокого, это может быть сосед с Керцеляка, Митек Браун.

Может, родственники Дорки?

Да, у нее были родители, дед и бабушка, многочисленные дядьки, шурины, племянники и братья — и все высокие, и все оттуда, с Валовой.

— Ну как, пани Дорка, такое возможно?

— А почему бы нет? Все были хорошего роста.

Отец Дорки, Якуб, был довольно высоким.

И брат Ицек был довольно высоким.

И дядья ее, мамины братья Шлойме и Хаим, тоже были хорошего роста.

И мужья теток, маминых сестер, тети Хинды, тети Рейзл, тети Розы и тети Песи тоже на рост не жаловались.

Но самым высоким был Лейбл, муж Фели. А до чего красивый и благородный... А до чего богатый...

— Ну как такое, пани Дорка, возможно?

— А почему бы и нет? И благородный, и красивый, и высокий, и из хорошей семьи, а к тому же еще и очень богатый.

Феля, одна из сестер Дорки, вышла за него во время войны. Они тоже поселились на Валовой. Феля была в бункере, но сказала, что больше не может. «Не хочу бункера, темноты, страха», — сказала она, и пошла.

Куда пошла?

А куда они все пошли?

На фотографии в паспорту (еще одна последняя фотография) — семья в праздник Пурим. Дамы в субботних платьях. Дорка запомнила не только какого цвета, но из какой ткани и какого фасона они были. Мама в черном бархатном платье, с застежкой, как на пальто, и с золотой каймой. Тетя Роза — тоже в черном, но с вышивкой. Тетя Песя — шелковое платье коричневого цвета. Тетя Маня — темно-синее с белой «молнией»... Запомнила и прически, те самые искусно уложенные «валики», волосы подвернуты книзу или кверху. У всех, кроме тети Брони — она не

носила валик, а укладывала волосы «коком». Возле нее серьезная девушка — это ее дочь, студентка юридического. Рядом со всеми — какие-то дети, возле тети Песи — ее старший сын, которому вскоре предстояла бар-мицва, а младшего на фотографии не было. — Остался, наверное, дома и спит, — додумала Дорка.

И вся эта компания — в скромной современной квартирке на улице Андерса! Так что нечего удивляться суматохе, возне и шуму.

Все те же субботние платья, которые не успели уничтожить. Все те же ничуть не поседевшие волосы — в «кок» и в «валик». Вот только дети изменились. Подросли сыновья тети Песи — и старший, над которым в гетто совершили бар-мицву, и младший, которого на фотографии не было, потому что остался дома и спал. Они успели подрасти, ибо от праздника Пурим до Треблинки прошло три года.

От праздника Пурим до переселения на улицу Андерса прошло три года.

А еще Митек Браун мог прийти, сосед с Керцеляка, вместе с отцом и братом...

Да и супруги Альфус, которым никуда не надо было переселяться, потому что они здесь у себя, дома. Пани Альфус надела бы ожерелье из никому не нужных в гетто бусин. Из круглых, стелянных бусин, красных, как кровь, как вино, как рябина...

11

Только в памяти им спокойно. Ни бункеров, ни темноты, ни страха. Беззаботные. Разговорчивые. Высокие и благородные. Их смерть оказалась привилегией. После какой еще смерти можно остаться таким же благородным, высоким, красивым и богатым?

12

Раввин запел *El male rachmanim*.

— Боже многомилостивый, упокой под крылами Твоими души...

Тут он возвысил голос: после этих слов полагалось назвать имена усопших.

— Пусть будут названия улиц, — предложил он. — Подсказывайте мне. ...Упокой под крылами Твоими души жителей...

— Францисканской, Валовой, Налевок... — подсказывали хозяева, как будто были сослужителями раввина.

По всей квартире разносилось звучное, берущее за душу еврейское пение. Его слышали соседи. Наверное, думали, по телевизору опять говорят о евреях. А это всего лишь нью-йоркский внук Таубы Рот из Ба-лиграда молился о прежних жителях Францисканской, Валовой и Налевок.

ДРУГИЕ ИСТОРИИ

Миллиметры

Я вписал себе в календарь: «Поблагодарить пани Краль за книжку» — и тут же забыл об этом. Прошло несколько месяцев. Как-то утром проснулся и подумал: сейчас позвоню.

Не понравился мне ее голос.

— Пани Краль, что-то мне ваш голос не нравится. Что с вами?

А она мне отвечает:

— Так, ничего особенного, завтра обследуюсь в онкологии.

— А какая часть тела? — спрашиваю. — Конечно, должен знать. Раввин все должен знать.

— Ах, вот оно что, грудь... А какая грудь — правая или левая?

— А разве ребе не все равно? — спрашивает она.

— Нет, не все равно, и сейчас объясню, почему.

Был я как-то у любавичского цадика, просил, чтобы он помолился о моей племяннице Суламифь. На следующий день ей должны были оперировать грудь. Так вот цадик спрашивает: «Правую или левую?» С тех пор я знаю, что молиться надо о конкретной груди, а не вообще.

Когда же узнал и какая грудь, и сколько миллиметров подозревают, положил трубку и взял Книгу Псалмов.

Открыл наугад.

Я часто так делаю. Не выбираю слов. Пусть Книга сама решает, какими словами мне молиться.

Открыл — и начал читать. Прочитал пару строк, и слышу, как Книга говорит: «Не волнуйся, ничего с ней не будет».

Книга всегда говорит, только ее нужно слушать.

Подумал: но ведь у нее там порядочно, восемь миллиметров.

Открыл Псалмы в другом месте и снова слышу: «Хаскель^{*}, успокойся, ничего с этой женщиной не будет...»

Вы удивляетесь, что Книга с нами говорит?

Уверяю вас, говорит. А может, вы не слишком внимательно в нее вслушиваетесь?

Вы удивляетесь, что на следующий день не нашли ни одного нехорошего миллиметра?

Так я же вам сразу позвонил:

— Пани Краль, я уже знаю, что с вами все в порядке.

^{*} Хаскель Бессер, раввин. Родился в 1923 году в Катовицах. Живет в Нью-Йорке. Один из духовных лидеров американских евреев. — *Прим. автора.*

Эдна

Так вот, я говорил о любавичском цадике...

Это напомнило мне еще другую историю, о моей племяннице Эдне.

Она была очень красивой. Дружила с моей сестрой Розой, они вместе ходили в немецкую гимназию в Катовицах. Учились в одном классе. Любили одни и те же платья, одних и тех же поэтов, и обе были по уши влюблены в одного и того же красавца-учителя.

Я выехал из Польши за день до начала войны. («Дезертируешь?» — спросил на границе польский солдат и пошел к офицеру. Не успел вернуться, как поезд тронулся — и я был уже в Румынии.)

Эдна осталась со всеми.

Думал, что со всеми погибла.

Через два года после войны у меня в Нью-Йорке раздается звонок:

— Хаскель, ты? Это Эдна.

Звонила из Гамбурга, нашла меня через Красный Крест.

— Приезжай, — кричу в трубку. — Высылаю документы!

— Нет, Хаскель, — ответила Эдна. — Я медсестра, и не могу бросить больных.

В конце концов, приехала. Встречаю ее в аэропорту, она обняла меня — и тут же стала озираться по сторонам.

Искала Ральфа. Я не знал, о ком она говорит, думал, может вместе прилетели. Ждали битый час, но ни один Ральф так и не появился.

— Ну ничего, — сказала она, — найдет, у него есть твой адрес.

Пошли домой, и вечером она рассказала свою историю.

Была в Освенциме. С обритой головой, раздетая донага, вместе с другими женщинами шла в газовую камеру. Когда входили в дверь, какой-то эсэсовец бросился на нее с криком: «Ты здесь? А ну, убирайся! Быстро на работу!» Стал бить и силой вытащил из толпы. Очнулась в темноте. Кто-то впихнул ее за барак и прикрыл арестантской курткой.

Жена и я молчали. Что можно сказать человеку, которого вернули из газовой камеры?...

— И знаешь, кто это был? — улыбнулась Эдна. — Ну угадай, Хаскель...

Я должен угадать, кто был эсэсовец, который спас ее от смерти...

— Это был учитель... Из немецкой гимназии в Катовицах. Наш, самый красивый, самый любимый...

Жена нашла ей место медсестры. Эдна работала в доме любавичского цадика, ухаживала за его матерью. Она не переставала восхищаться семьей цадика, а старушка полюбила ее как дочь. Можете мне поверить: ни одна медсестра в Нью-Йорке не имела лучшего места, чем наша Эдна. Дом любавичского цадика? Так это не только должность, это честь, это такая награда!

Радовались мы два или три месяца.

В один из дней звонит телефон.

— Хаскель? Это Эдна. Я в аэропорту, возвращаюсь в Германию. Ральф меня ждет.

С тех пор больше не отзывалась.

Я и не искал ее, понимал, что ей это не нужно.

Примерно год, нет, больше, чем год тому назад я позвонил в Германию, в общину, и попросил номер телефона еврейского дома престарелых. Спросил:

— У вас не живет случайно Эдна...?

— Живет, — ответили мне. — И уже довольно давно.

Попросил, чтобы сообщили ей о моем звонке.

— Если она захочет со мной поговорить... Если ей нужна какая-то помощь, звоните.

Эдна молчала. Но вскоре позвонила директор дома:

— Прочитайте по вашей племяннице кадиш...

Вчера была годовщина ее смерти.

Больше ничего не знаю.

Так и не пытался узнать, как звали эсэсовца — красавца-учителя из гимназии

Понятия не имею, кто такой Ральф.

Да и был ли он вообще? Не знаю.

Не пытаюсь проникнуть в тайны тех, кто выжил.

Дым

Так вот, я говорил об Освенциме...

Это напомнило мне другую историю, о цадике с горы Кальвария.

Я знал его. До войны он проводил лето в Мариенбаде и останавливался в пансионате Готлиба Ляйтнера. Мы тоже там бывали. Мой отец владел банками в Силезии, и мы могли себе позволить Мариенбад. Я ездил с родителями и сестрой, а цадик — с женой и сыновьями. Ну и, конечно, с приближенными. Он всегда путешествовал со свитой хасидов. Был погружен в свои мысли, ходил быстро, мы едва успевали за ним на прогулках.

(Вспомнил, *Zu Goldenem Schloss*... Так назывался наш пансионат — «Под золотым замком»).

Во время войны я оказался в Иерусалиме.

Собирался жениться и хотел, чтобы цадик благословил меня перед свадьбой. Он выбрался из Польши, осел в Иерусалиме, но по-прежнему оставался кальварийским цадиком. Аудиенцию устроила его жена, мадам Фейга Альтер. Помнила, как в пансионате я расставлял ей шезлонг. Она

не любила солнца, предпочитала тень, и каждое утро я ставил ей шезлонг под деревьями. Даже летом ходила она в большом парике и тщательно застегнутом платье. Читала французские газеты и время от времени удостаивала меня каким-то вопросом, я отвечал коротко. Понимал: негоже молодому человеку разговаривать с супругой цадика!

Перед свадьбой по ее просьбе меня принял старший из сыновей цадика, Израиль, который позднее занял место отца. Мы сидели за столом. Он поздоровался, спросил о невесте — и замолчал. Был поздний вечер. Погасла лампа, в комнате сделалось темно и тихо. Я встал, чтобы выйти, и вдруг услышал:

— Хаскель, ты что боишься остаться со мной в темноте?

Я снова сел — и услышал удар.

Он ударил ладонью о стол. Потом еще раз. Потом — в третий. Я его не видел, только слышал, как падают мерные, сильные удары — один за другим, один за другим.

— Хаскель, — снова заговорил он. — За все когда-нибудь ответим.

В его голосе звучало горе.

Стоял июль сорок второго года. Цадик с сыновьями и женой успел выехать, а его хасиды остались в Польше. Осталась и жена Израйла с единственным его сыном. Погибли в Освенциме. После войны Израиль приглашал к себе людей, которые пережили лагерь. Всем задавал одни и те же два вопроса:

— Ты видел дым?

— А может, видел моего сына?

Когда я сидел у него в темноте, он не мог еще знать ни об Освенциме, ни о дыме, но в его голосе, в ударах о стол ладонью, была такая страшная боль, как будто он знал наперед все, что будет.

Радомско

Преклоняюсь перед кальварийским цадиком, но сам я — ученик ребе из Радомско.

О, огромная разница.

Гора Кальвария — это традиция грозных цадиков; Избица, Радзинь, Коцк, Радомско — это цадики милостивые.

Ребе Шломо из Радомско напоминал: когда скорбишь о грехах не из страха перед наказанием, а из любви к обиженному, все тебе прощено будет. Больше того, каждый такой грех вменится на Суде в добрый поступок.

А глядя на грешника, однажды пошутил: «Воистину, завидую я тебе. Сколько добрых поступков зачтет тебе Судия в этом году...» На что грешник ответил: «Хочу тебя обрадовать, через год ты мне еще больше позавидуешь». Вызывавшие восхищение и страх грозные цадики так не разговаривали. А наш ребе всех людей считал своими друзьями.

Наш ребе, Шломо из Радомско, не хотел идти на Умшлагплац. Его убили дома, на Новолипках, 31 июля 1942 года.

31 июля была наша свадьба.

Ну откуда мог я знать, что в тот самый день, когда в Иерусалиме праздновали нашу свадьбу, в Варшаве умирал ребе из Радомско?

Ромелий

Мой будущий тесть готовился к свадьбе. Заказал зал, пригласил гостей. Стоял июнь 1942 года.

Роммель с триумфом шел по пустыне. Приближался к Александрии, был готов вступить в Палестину.

Иерусалим охватил страх.

Ахува, моя невеста, повела меня к фотографу. Сказала: «Если один из нас погибнет, пусть другому останется хотя бы фотография».

(Ахува родом из Владимира-Волынского. Слышал ли я о Людомирской Деве, Ludmire Moid? Что за вопрос. Прадед Ахувы был тогда раввином во Владимире. Оттуда и фамилия — Людмир, как евреи называли город. Это напомнило мне интересную историю. Сей прадед покинул Владимир-Волынский, добрался до Святой Земли, поселился в горах и стал водоносом. Когда заболел и перестал носить воду, люди пришли узнать, что с ним случилось. Кто-то заметил, что на полу валяется листок бумаги. Книга для еврея — вещь святая, и ни одна ее часть не имеет права валяться на полу. Листок подняли и прочитали. Был это отрывок из Каббалы. «И ты это читаешь? Ты, водонос и невежда?» Так и узнали, кем он был на самом деле. Стал позднее раввином в городе Цфат. А его внук... Ну ладно, потом расскажу историю внука).

Итак, был июнь и Роммель приближался к Александрии.

Знакомые говорили тестю:

— Какая свадьба? Какие гости? Роммель вот-вот нас уничтожит, кому сейчас до приемов?

В конце июня в синагоге читают четвертую из книг Моисеевых, а точнее, историю о Валаке. Валак, царь Моавитский, хотел победить народ Израилев и попросил пророка Валаама, чтобы тот проклял евреев. Трижды просил, и каждый раз Бог говорил Валааму: не проклинай этот народ, ибо он — народ благословенный.

Также на июнь приходится годовщина со дня смерти жившего триста лет назад раввина Хаима бен Атара. Он прибыл в Палестину из Марокко и писал комментарии к Библии. Труд его назывался «Свет жизни».

В июне 1942 года в Иерусалиме вспомнили толкование Хаима Бен Атара на историю Валака.

Была это притча. Говорилось в ней о враге Израиля, который будет угрожать всему народу и уничтожит еврейского Мессию. Он принесет войну, после которой евреи не оправятся еще много тысяч лет.

И звать его будут Ромелий.

Именно так. Таким будет имя врага Израиля, и в притче это имя повторяется дважды.

Однако возможность спасения все же остается. Своей горячей молитвой и мольбами о милости народ сможет победить врага и спасти Мессию.

30 июня 1942 года у могилы Хаима бен Атар на Елеонской горе собрались тысячи людей. Был среди них и я вместе со своей невестой и ее отцом, Берлом Людмиром.

Молились мы долго, очень долго. Читали псалмы. Молили Бога, чтобы не исполнилось это страшное предсказание.

После молитвы мой будущий тесть наклонился ко мне:

— Хаскель, я уже знаю. Свадьба будет.

Это происходило во вторник.

Ближайшие выходные Роммель собирался провести в захваченной им Александрии. А подобные обещания он выполнял всегда. Его африканская кампания была бесконечной цепью побед. От города его отделяло всего шестьдесят миль. Позднее немецкий маршал Кейтель писал, что никогда их армия не была так близка к победе.

В ночь со вторника на среду Роммель начал наступление.

А несколько часов спустя случилось нечто довольно странное...

После войны я много читал об этом, хотел понять, как это объясняют историки.

Писали о неожиданно разыгравшейся песчаной буре.

Писали о промахах Роммеля, которые до тех пор с ним не случались.

Писали об охватившей немцев панике и об их беспорядочном бегстве. Роммель самолично приехал на танке на передовую, попробовал поднять солдат в атаку, но в первый раз в жизни ничего у него не вышло...

1 июля 1942 года в сообщениях о немецком Африканском Корпусе появилось новое слово — паника.

Этот день, писали историки, был полнейшей неожиданностью для всех. Но не для нас.

Это не британские капитаны победили Роммеля.

Это мы, на Елеонской горе, вымолили спасение Иерусалиму.

Так почему, спросите вы, не вымолили мы спасение для ребе Шломо из Радомско? Или для сына цадика с горы Кальвария? Или для еще шести миллионов евреев?

Не знаю.

Не пытаюсь проникнуть в Божии тайны.

Нью-Йорк—Люблин

Перевод с польского Светланы Панич

Селим Ялкупт

МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Мы теперь часто вспоминаем то недавнее время. Первая быстрая реакция, которая требовала действий и торопила перемены, миновала. А у памяти хороший вкус. Остаются подробности, детали, как жили люди в Баку какие-нибудь пятнадцать лет назад и как жили до них, само это место для их жизни, где-то в середине восьмидесятых. Как уже далеко и как все-таки близко.

Замечательное чувство, когда выходишь беззаботный на улицу незнакомомого города. Близкие открытия кружат голову, все умиляет, удивляет, ты готов без конца останавливаться, заходить в ненужные магазины, интересоваться газетами, ценами, названиями улиц, выглядывать, где именно море, где центр, где старый и новый город. До всего хочется дойти самому, без подсказки, как в детстве, которое только одно и знает цену новым впечатлениям. Хочется сидеть в чайхане, бежать на базар, идти на пляж, ехать к шахскому дворцу, кататься на фуникулере, поглощать шашлык и виноград, заниматься этим всем сразу и одновременно, подтверждая собственным опытом известный факт, что бездельники и есть самые занятые люди на свете.

Оказавшись в чужих краях, тем более на юге, душа немедленно жаждет экзотики. Не увязывая ни с чем конкретно, она ждет ее, как откровения, как чуда. Она ищет оживления образов и картинок, забытых в глубинах сознания, а теперь извлеченных по случаю личного прибытия на место осмотра. Заранее известно все или почти все, что мы потрудились когда-то услышать, узнать и запомнить. Детские сказки, кино, анекдоты о евнухах, былинный интерес к женщинам, особенно блондинкам (из-за чего женщина, обойденная на улице таким вниманием, чувствует себя несколько задетой), ковры, пряности, верблюды, одуряющая жара, иглы минаретов, похожие на боеголовки ракет. Все эти элементы сказочной реальности, обрывки фантастических повестей и достоверных кинопутешествий к берегам далеких каналов и арыков, превращающих пустыни в цветущий сад (и как мы неожиданно узнали: море в пустыню), требуют нашего присутствия. Немедленно. Пока еще не все сфотографировано, раскуплено и съедено. Чтобы можно было потом небрежно бросить новым паломникам, изнемогающим под грузом фруктов и впечатлений: — Сейчас, конечно, не то. Видели бы десять лет назад.

Туристу нужно именно то, что открыл и застал он сам. И вот оно — лучшее подтверждение причастности: фотография или слайд на экране или (попроще) белой простыне. Зима за окном, а здесь.... Вот море, вот

чайхана, это ишак, опять море. А вот я. Неужели не видно? Вон в шляпе, женщина — экскурсовод, о которой я рассказывал, а сверху голова. Это я. Нет ничего нового под восточной луной: ни в чайхане, ни в ишаке, только собственное *личное* пребывание здесь и в это время.

Разбуженное воображение трудно остановить, оно ведет за собой, как фортуна — каждый порыв, каждое движение сулят выигрыш. Реальность выпадает из фокуса и оборачивается фантастикой. Досужий ум не терпит простоты, он ищет тайну. Мир незнакомой улицы открывается волшебным и причудливым образом. Нет знакомых ориентиров, когда само движение не сулит ничего нового и лучше подъехать одну-две остановки. Нет ощущения узнавания лиц (не по одному, а всех сразу), нет вялой реакции на знакомые вывески (зайти — не зайти), нет скуки. Каждая витрина, каждый метр уличного пространства сулят нечто неожиданное, выхватывают отдельные объекты, детали, заставляют искать их назначение, нити взаимодействия с этими чужими озабоченными людьми, никак не переживающими сейчас ощущение праздной восторженности.

Мир восточного города — в значительной степени мир торговли. Продажа готового продукта — завершение и венец достойных трудов. Высшим доказательством смысла существования объекта является возможность его реализации. Торговля — убедительнейшее оправдание бытия в масштабах отдельно взятой личности, она даже эквивалент самой личности, не предполагая за ней ничего, кроме суммы денежных накоплений. Но разве этого мало? Символы власти растворяются во власти денег, богатство придает власти не только респектабельность, но и законность. Бедный начальник — дитя революции, не способен пережить свое время иначе, чем сделавшись богатым. Бедный не имеет права претендовать на власть над более богатым большинством. Разорение этого большинства лишь только первый, хотя и самый решительный шаг такого рода власти. А потом неизбежно приходит время поисков нового устойчивого состояния. Призывы учиться торговать — появление аппетита после затяжной болезни, первый признак, что именно с этих пор все станет хорошо и здоровье пойдет на поправку. Торговать — значит быть при деле. Народ, поглощенный торговлей, трудно раскачать на что-либо другое, даже более значительное с точки зрения того, кто раскачивает или собирается это сделать. Сначала нужно отобрать товар. Восток, знающий вкус торговли, всегда останется более консервативным по сравнению с бойким и живым Западом, переживающим ощущение сделки — либо обыденно ввиду доступности товара, либо слишком напряженно в результате долгого стояния в очереди. Материализм востока лежит не в области философии, а в сфере торговли и не нуждается в доказательствах из истории обезьяны, освоения космоса и сравнения с черепом первобытного человека на лекции в планетарии (опять же бывшем соборе или костеле). Восток самодостаточен в отличие от суетливого рвущегося из собственной кожи запада.

Молодой усатый красавец, возвращающийся домой после дневного сидения за прилавком галантерейного лотка (разноцветные пояса для брюк, свешенные пряжками вниз, полиэтиленовые кульки с чудо-блондинкой у дверцы лимузина) не испытывает прустовской меланхолии. Фауст невозможен. Сияющая, будто начищенная средствами бытовой химии, луна — не сладкий ввергающий в безумие яд, а средство укрепления психического здоровья, наглядная агитация в царстве грез, практическое пособие по достижению гармонии и счастья. Мир разумен и власть Всевышнего очевидна. Ввиду этой очевидности, сам вопрос: есть Аллах или нет Аллаха, — не принимает яростную традиционно европейскую форму мировоззренческих баталий. Даже приводя себя в порядок после туалета, мусульманин следует указаниям Корана. Гигиеническая процедура соответствует высшему повелению и служит постоянным напоминанием о мудрости Того, кто устроил этот мир единственно правильным образом. Система обыденных ритуалов удачно дополняет намаз, расписана до мелочей, прилагается само собой без дополнительных затрат и усилий, как хлеб в ресторанном меню. Гармония подразумевается, не требует стояния на носочках и напряжения позвоночника, чтобы дотянуться и заглянуть. Искусство каллиграфии ценится на Востоке превыше других искусств. Все, что нужно мусульманину, уже расписано и оформлено до мелочей, но нет предела в совершенстве повторения. Если бы родоначальники христианской теологии догадались приложить (пока было еще можно) правила хорошего тона и советы по личной гигиене в качестве практического комментария к катехизису, насколько бы это упростило последующую борьбу умов, сняло ожесточение дискуссии, где каждый сидит у своего выключателя и спорит о преимущественном праве зажигать свет одной-единственной лампочки. Достаточно определить нормы поведения, согласиться с тем, что в земную жизнь верят все (по факту личного присутствия), а уже потом подбирать критерии для различения плохих и хороших, не забыв при этом определить себя самого. Предопределенность — удел Востока. Она создает мистиков для индивидуального постижения смысла бытия, как христианство рождает спиритов в качестве побочных детей религии. Чтобы по-новому взглянуть на природу вещей, здесь не нужно собираться по ночам вокруг деревянного столика, обретая символы веры в собственном простодушии и отсутствии заметных признаков шарлатанства.

Говорят, что Восток мудр, как ребенок. Он признает мир таким, каков он есть, будто видит его впервые с богатством, бедностью, сладострастием и жестокостью. На все воля Аллаха. Обретая истину в последней инстанции, человек Востока доподлинно знает Того, чей лик ему так и не удалось узреть. Религиозный агностицизм — огромное пространство идеологии. Всеобъемлющий ритуал и грандиозность зрелища делают просто невыносимым желание заглянуть за кулисы. Театр здесь заменяет базар, а

реальное действо и актерство представляют нечто совсем схожее и вовсе неразличимы.

...В Баку, как нигде, хорошо вписалась архитектура пятидесятых годов. Здесь нет московских небоскребов со шпилем, словно штырем в месте сбитой головы на цоколе могильного памятника (сравнение пришло мне в голову во время прогулки по некрополю Донского монастыря), с тяжелыми ватными плечами в развороте боковых корпусов. Такой же киевский и такой же нелепый рижский, отставленный, на счастье, подальше от вертикалей старого города. В них тщеславие и поза, и некоторая отстраненность от места собственного пребывания, как будто у франта, угодившего в недостаточно возвышенное, по его понятиям, общество, к которому нужно притерпеться, пообвыкнуться, пережить проявленное к себе равнодушие. В Баку не так. Городу повезло. Здесь уклонились от водружения шпилей, видно, по причине их полной чуждости местной архитектуре. Зато всего остального с избытком: колонн, арок, фонтанов, глубоких ажурных галерей, пышного декора, нарядных променадов в акварельных смешениях света и тени, — всего, что можно только пожелать из славного архитектурного прошлого, достойно пережившего наветы, пренебрежение и застой. И вот выплывает жилой дом — розовый массивный столб, помесь слона и птицы фламинго, обвитый галерейками, плетением винограда, гирляндами сохнувшего белья, — зрелый символ достижения и будничности земного счастья. Вот оно, прямо перед нами. Разве древние зиккураты, висячие сады не были такими же символами? И разве трудно вообразить уже не Семирамиду (царица не станет сушить белье на глазах любопытных подданных), но вполне демократичную девушку (обязательно красавицу!), поплеывающую арбузные косточки из пышных зарослей последнего этажа, верхней каюты каменно-зримого корабля счастья.

Неподалеку от этого дома — центральный кондитерский магазин. Выбор здесь самый разнообразный, дополнительно подтверждает приверженность востока к сладкому. Возле выхода меня поджидали. Некто, не очень заметный, задал традиционный вопрос:

— Откуда приехали? Из Москвы?

— Из Киева.

— Нравится у нас?

— Нравится.

Следующий вопрос оказался неожиданным: — Синагогу посетить хотите?

— Хочу, — я не раздумывал.

Двинулись вверх по улице, предупредительно уступая друг другу дорогу на узком тротуаре. Спутник был моложе меня и выглядел буднично: заношенные брюки многолетнего пользования, пиджак, растоптанные белые кроссовки. Нос мясистый, глаза близко посажены, прикрытые толстыми веками, из-за чего вид полусонный, как у ночной птицы. В придачу

с густой, торчащей во все стороны угольной шевелюрой. Тип был семитский, даже демонстративно семитский. В руках у нового знакомого была коробка конфет и плитка шоколада.

— Иду вот к одному, — поясняет мне. — Вместе работаем, а дедушка у него — девяносто лет. Позвал о жизни поговорить. Конфет купил.

— Тоже еврей? — я проникся уважением к теме беседы и мудрости старца.

— Нет. Почему еврей? Азербайджанец.

Я так и ахнул: Вот он — Восток. Сидят себе юноша и старик и беседуют о жизни за чаем с конфетами. Такие вот беседы в этих улочках, неприглядных и однообразных с виду. С глубокими подворотнями, с заборами, опутанными трубами хозяйственного назначения. А там внутри другая, настоящая, не парадная жизнь. Трудовая и праздная. Вон, айва, отягощенная плодами, выглядывает, запах жареного мяса плывет, дразнит, вон еще ковер расцветает в окне второго этажа. Голоса слышны. Хорошо. Сидят себе и рассуждают. Чай пьют.

— Вечером гости?

— Почему вечером? Сейчас пойду. Только вас провожу.

— Действительно, почему вечером? — веду я внутренний монолог. — Он сейчас и пойдет. В том и дело, чтобы собраться днем, на свежую незамутненную голову. Важнее нет, чем осмысление жизни, а мы его на вечер оставляем. Еще под водку, — развитие идеи привело меня в восторг.

— Мы все — немного животные, — продолжает рассуждать мой спутник. — Чувствуем это и людьми больше хотим стать.

Тем временем мы почти поднялись по затененной улице, где была прохлада и распахнутые двери мелких магазинчиков, мастерских, вход в подвальчик, почти неприметный, как нора суслика. Везде шла жизнь, деятельное копошение, а в дверях подвальчика стоял восточный мужичок в белом халате и поглядывал снизу вверх дерзким взглядом соблазнителя и зазывалы. Все это мелькнуло и проехало.

— У нас в семье раввины. Четырнадцать человек. Говорят, с шестнадцатого века, а с восемнадцатого я их на память знаю. Сам я рабочий, отец тоже, уже не раввин. Инженер. Хотя он теперь обрезанием занимается. А я просто в конторе работаю по наладке. Пришли. Заходите. Я вас проводил, вы мне позвоните. Вот телефон.

Попрощались у распахнутых ворот. За забором было невысокое здание с полукруглой крышей, смахивающее на ангар или оранжерею. Синяя звезда на белом фронтоне удивляла количеством ножек, некоторой избыточной мохнатостью звездного облика. Я натянул на голову ярко-красную жокейскую шапочку и прошел во двор. С близкого расстояния здание еще более напоминало ангар, но явно не военный, а скорее овощной, нечто вроде хранилища для картошки. Скамейки стояли вдоль стен пустые. Я миновал тамбур, спустился по ступенькам и оказался в прихо-

жей, смахивающей на вестибюль сельской амбулатории. Когда-то я работал в такой и сохранил впечатления. Коричневая краска на полу сплошь облезла. Но чисто. Очень неказистые откровенно кухонного вида табуретки, стол под старой-престарой затертой до белизны клеенкой плотно задвинут в угол, видно, для устойчивости. По ощущениям что-то напоминало детство, может быть, крайней упрощенностью предметов и библейской точностью их назначения. Можно вообразить, как ангелы слетаются сюда передохнуть после душеспасительных трудов, рассаживают за этим столом, вздыхают среди несколько демонстративной бедности, поводят натруженными плечами, пока сброшенные крылышки дожидаются в углу, готовые к продолжению полета. Лопатки — рудименты крылышек — присутствуют и у нас, казалось бы, заслуживают прозревающего взгляда. Но нет, внимания на них почему-то не обращают, не то, что на копчик. О нем только и разговоры — убедительное доказательство отпавшего хвоста. Можно пальцем потрогать. Вот он где был. Чувство греха неожиданно переросло в чувство вины, излечивается сеансом психоанализа и доступно для обозрения субъекта, как только что удаленный зуб в блестящих щипцах зубодера. Именно эта очевидность лишает зрение перспективы. Пора возвращаться к истокам. Бессознательное не заменяет душу и, если договариваться, то с ангелами. Только с ними. В это время их здесь вряд ли застанешь, как-нибудь попозже, ближе к вечеру, в сумерках. Место просто обязывает. Я прошел в узкий коридор и вступил в молитвенное помещение, приобщаясь к той половине моих предков, в чьих жилах текла еврейская кровь.

Пафоса смирения, который часто настигает атеистов при осмотре культовых сооружений, я не испытал. Некоторое смущение было сродни ощущению бестактности интеллигента, мешающего занятым людям делать важнейшее дело. Но и смущение оказалось лишним. Я попал в клуб, где еще и молились. Или предбанник (совсем богохульственное сравнение), где благодушные клиенты время от времени вспоминают, что неплохо попариться и окунуться, а между омовениями продолжают вести один нескончаемый разговор. Впрочем, если *тело* заменить *душой*, то сравнение может пригодиться. Тем более, что белизна талесов напоминает о простынях, а синий цвет — о воде. Молящиеся сидели вдоль стены, а некто на кафедре, явно облеченный ответственным саном и полномочиями, сейчас сибаритствовал, развернувшись лицом к публике и боком к бархатной шторке алтаря. Если бы я был директором, нагрянувшим на школьный урок, все присутствующие должны были бы получить двойки по поведению, а сам педагог, столь откровенно пренебрегающий обязанностями, отстранен и сурово наказан. Как так можно. Я скромно уселся возле входа, и стал не столько смотреть, сколько внимать, упиваясь фантастической обыденностью разговора. Беседа велась громко, и визуальный контакт делал меня, пусть не участником, но полноправным слушателем.

— Я сидел, как на иголке, все эти дни, — рассказывал крупный мужчина с повышенным выражением значительности в лице, которая нередко выдает тщеславие и является, как я убедился, частым выражением лиц такого типа. — Да, как на иголке, — он поерзал на стуле. — Так вот. Вы знаете ГлавАПУ? Это у них Аптечное управление. Я скажу, это — *то* учреждение. — он поправил талес каким-то зябким движением. Жест этот мне запомнился. Так в кино учительница трогает пуховой платок, проверяя, на ночь глядя, контрольные работы. — Так вот, я был в этом АПУ, — тут рассказчик вдруг вскочил и заходил вокруг кафедры, держа молитвенник в вытянутой руке, а другой придерживая накидку. При этом он громко бормотал нараспев в жанре мелодекламации. Подключился и человек на кафедре. Он уселся, как положено, и тоже возвысил голос. Судя по предыдущему разговору, молитва была во здравие. Так я предположил. Остальной народ не вмешивался. Закончив молитву (теперь я решил, что это могла быть и жалоба), рассказчик уселся на место, как возвращается, покружившись, на свою ветку вспугнутая птица, и горько продолжал без всякого перерыва в теме. — Я не могу видеть, как она мучится. Масло облепихи я не могу достать. Вся нога, вся...

Я стал размышлять о чем идет речь. Ожог, трофическая язва... — Откуда, молодой человек? — услышал я в свой адрес. Как бы отозвавшись, рассказчик глядел на меня с безразличием, которое как раз и выдает любопытство.

— Киев.

— Киев? — тут он спросил еще нечто. Я не понял.

— Еврей?

— Еврей.

— Какой?

— Что какой?

— Какой еврей? — мое незнание языка вызвало общее удивление.

— Киев, — я развел руками, показывая, что более определенно сообщить не могу. Хоть и хочу.

— Европейский, — пояснил откуда-то сверху женский голос. — Европейский еврей.

Сверху над входом оказалась еще галерейка. Недалеко от меня, прямо над прихожей, через которую я попал в зал. Только теперь я ее заметил. Там были места для женщин. Их молитвы должны были возноситься отдельно, не смешиваясь с мужскими. Галерейка была задернута занавеской, только угол приоткрыт. Оттуда выглядывали два немолодых женских лица.

— Европейский еврей, — повторили женщины хором с гордостью классификаторов, подтвердивших существование редкого вида. Несмотря на территориальное разделение, никакой почтительности к мужскому полу в голосах не наблюдалось. Скорее наоборот. Женщины использовали диск-

риминацию для создания заднескамеечной оппозиции, поглядывали буквально свысока на творящееся внизу действо, оставляя за собой право на комментарии. Ситуация выглядела вполне демократично, даже по-семейному.

— Европейский еврей, — важно повторил мужчина. Он как будто не расслышал подсказки, только повел носом, как голубь, у которого склевал зерно дерзкий воробей. Все помолчали, пока мой собеседник обдумывал следующий вопрос.

— Как там *наши*? — Он выделил слово многозначительной интонацией. — Держатся?

— Держатся, — уверенно сказал я.

— В синагогу ходите? — он заподозрил что-то неладное.

— Не всегда, — правым боком я ощущал ерзанье на галерке, именно оттуда можно было ждать неприятностей. Сверху как раз затараторили. Видно, мнение обо мне сложилось.

Тем временем, лидер, сидящий за пюпитром, закачался и громко запричитал, перемежая плачущие и требовательные интонации. Все вскочили и пошли хороводом вокруг кафедры, держа молитвенники в вытянутых руках, и тоже запричитали, напоминая стаю растревоженных гусей.

— Молитвенник дать? — через стул от меня, возле выхода разместился человек совсем пролетарского вида, неотличимый от азербайджанца. Талеса не было, а большая плоская кепка путала картину. Только улыбка была еврейская — смесь предупредительного внимания и доброжелательности.

— Не нужно. Я читать не умею.

— Совсем не умеете?

— По-еврейски не умею, — уточнил я.

Он со вздохом покачал головой, как будто мои признания сошлись с описанием грозной болезни, при которой сам факт жизни мог считаться чудом. Лицо выразило крайнее сочувствие. Я видел, он колеблется. Потом положил на стул между нами потрепанный молитвенник. Он предлагал мне все, что имел, редкое средство, которое одно и могло помочь самым невероятным образом. Я взял молитвенник, положил на него руку и держал на коленях нераскрытым. Я был тронут и проявлял уважение. А сам с изощренностью скептика процеживал впечатления: — Значит, так. Вид европейский. Ареал распространения от Атлантики до Урала. Неприхотлив, но капризен... Ничего интереснее я придумать не мог.

В зале между тем пошли перемены. Возник маленький, но чрезвычайно важный человечек с брезгливым выражением лица, которое можно было определить как высокомерие выскочки. Что-то было неприятное в сочетании свежес-розовой кожи и достаточно прохладного взгляда, пожалуй, даже рыбьего. Эдакий мандаринчик с перекинутым через плечо покрывалом поверх солидного синего костюма, белой рубашки и галстука. Экипированный даже с некоторой ритуальной лихостью, он будто выехал на джигитовку перед лицом Б-га, гордый собственной неуязвимо-

стью и, пожалуй, действительно защищенный от всего, кроме претензий собственного я, обязывающего к подвигам. Публика оказывала новопривышему знаки внимания. И по мне скользнул его взгляд, объяснения, по-видимому, были даны, взгляд сместился дальше, острый, как луч пограничного прожектора.

Тут я должен с прискорбием уточнить, что ирония моя — не более, чем оружие скептика, неспособного пробиться к вере доводами рассудка или (хочется, чтобы это случилось) метафизическим озарением. Насмешка, прячущая отсутствие любви, смахивает на отчаянную попытку изнасилования, как на последнее средство лечения от импотенции. Слабые религиозным духом имеют право на героизм, и они не отдадут это право сильным, тем более, что те в нем попросту не нуждаются. Цена сомнения и неверия, в принципе, одинаковы, но все течет, и ирония оборачивается верой, пока вера оборачивается тщеславием. Вольтер боролся с богом, как собака борется с пустой консервной банкой, привязанной к собственному хвосту. Стоит только начать двигаться.

... Когда наблюдаешь эдакого дядю, расхаживающего с видом апостола, брошенного на укрепление низовой религиозной организации, то ручейки веры и неверия, мирно текущие рядом в душе скептика, бурно вздуваются и разом выходят из берегов.

Клубная атмосфера — источник моего удовольствия существенно изменилась вместе с прибытием надутой личности. Будто металлические пылинки, разбросанные до того сами по себе, попали внезапно в магнитное поле и организовались в упорядоченную, но банальную структуру. Стало скучно, захотелось уйти. Другое, как бы встречное ощущение протеста, тем не менее заставило меня побыть еще немного под господним кровом, который не делил своих чад по территориальному признаку и пекся обо всех (и обо мне упрямом) одинаково. С видом безразличия я оглядел стены, утверждая законность пребывания в них, так сказать, явочным порядком. И только потом поднялся. В предбаннике было некоторое столпотворение. Центром композиции служил старик, одетый весьма солидно и озиравшийся несколько беспомощно, как глухонемой. Руку можно было дать на отсечение — иностранец. Такие хорошо сохранные старики встречаются только *там*. Можно вообразить, окончив земные дела, передав детям магазин или банк, они уже отчитались где-то там наверху и отправлены пока погулять под расписку, неподвластные действию земного времени. Вплоть до полного прижизненного мумифицирования, такого, что и хоронить жалко. Сильная личность уже стоял перед иностранцем и вкладывал пухлую пятерню в иностранную ладонь, знакомую с волшебным ощущением доллара. Стоило за такую поддержаться. Голова надменного соотечественника, склоненная чуть набок, упиралась иностранцу в живот с видом самого примитивного подобострастия.

— Откуда гость? — я как раз попал на начало знакомства, и вопрос был почему-то по русски понятен.

— Лос-Анджелес, — гордо объявил некто третий, невидимый, приклеенный к дальнему от меня боку пилигрима.

— Еще один подвид, — думал я, выходя. — Самый перспективный. Еврей американский. За воротами шапочка была не нужна. Шофер интуриста-автомобильного равнодушно дремал у стен чужих святынь.

...Прошло три недели прежде, чем я решил позвонить старому знакомому. За это время я съездил в Ленкорань, исходил Баку, уже собрался домой, а пока томился от безделья. Созванивался долго. Но время есть и трудности не останавливают. Наоборот, только укрепляют желание встретиться. Раз за разом отвечает тоненький женский голос, и всегда ему вторит детский плач. Сколько там детей, не может один младенец все время вопить? Но самого абонента нет. Звоню совсем поздно, и вновь неудача. Человек вернулся в состоянии крайней усталости, теперь спит.

Но наконец застал. Напоминаю о себе, и абонент тут же нараспев, с некоторой торжественностью называет мое имя, отчество и фамилию. А в конце совсем уважительно добавляет профессию. Как будто зачитывает с бумажки. Или память хорошая. Отсюда и торжественность, есть чем гордиться.

Встречаемся днем. Солнца нет, атмосфера унылая. Ни жарко, ни холодно, ветер метет вдоль улицы пыль, завивая столбом, как нерадивый дворник. Мой спутник озабочен. Ему хочется пройтись со мной по городу, но работа ждет.

— Вчера не был, — говорит он. — Йом-кипур — судный день. Не мог пойти, совесть бы заела. Как можно в такой день работать? Да. Сегодня думаю: идти или нет.

— Идти, — благоразумно решаю я. — Но не надолго. Покажись, дело сделай. Я пока погуляю, тебя подожду.

— К клиентам нужно. Просто должны в бумаге расписаться, что я был. И все. Профилактика.

— Знакомого зовут Рамиш, он работает наладчиком бытовой аппаратуры. Работа много времени не отнимает, но нужно приплачивать мастеру; который закрывает наряды.

— Так положено. Везде в Баку, не только у нас. Я пока платить отказался. Дома трое детей маленьких (отсюда и плач), самому деньги нужны. Сейчас у меня с ним конфликт. Так что нужно на работу выходить. К концу дня появляться обязательно.

Мы идем сквозь Баку к его конторе. К осени здесь привыкают постепенно, как привыкают к пожилому возрасту. Нет знакомой осенней тоски, ощущения утраты. С осенью легко смиряются. У бакинцев свой биологический ритм — южный, не похожий на наш. Отсюда и воспитание. Купаться в конце сентября? Здесь это почти такой же подвиг, как

купание в проруби. Можно, конечно, почему нет. Но зачем? Все, что нужно, отпускается природой щедро, в изобилии, зачем ещё что-то придумывать. Зачем ненужные усилия и тревоги? Когда и так хорошо. Мухаммед прошел сквозь небесные сферы, спустился на землю, расписал правила и порядки четко и нерушимо. Путаница и ссоры начались позже, на стадии интерпретации и внедрения небесных инструкций. Но это уже человеческая проблема. Аллах не станет повторять каждому. Мудрость тоже нужно уметь принять и переварить, не всякая еда хороша для голодного. Вот сейчас в Баку проходит Всемирный конгресс деятелей ислама. Белые бороды многочисленных старцев являют оплот консерватизма. Для реформы нужен интуристовский парикмахер с острыми ножницами, но все парикмахеры попрытались, боясь заклятий Аллаха. Каждый старец вещает непосредственно от Высочайшего имени. Сунниты, шииты, суфиты, исмаилиты и все прочие — представлены здесь, за исключением, пожалуй, старика Хоттабыча. Теоретики и практики, они призывают Восток к миру и отправляются в черных лимузинах к могилам мучеников. Там они возвещают о грядущем торжестве мрачной справедливости.

— Мусульмане — очень терпимые люди. — Рассказываю я содержание прочитанной перед поездкой книги. — Христиане и иудеи жили здесь в средние века более-менее спокойно. Даже рабов могли иметь. Правда, мусульманский закон запрещал им ездить на лошадях. На ишаках, пожалуй. Но в суровые времена иноверцев заставляли носить на шее камень, для христиан — крест, а для иудеев — нечто похожее на тельца. Причем во время религиозных раздоров и потасовок вес камня увеличивали. Но следили за этим не сильно, можно было не носить. Простая формальность. В средневековой Европе в эти годы с евреев три шкуры драли, резали направо и налево.

— Мусульмане — хорошие люди, — соглашается мой собеседник. — Хотя религия ничего не решает, человек решает. Я еврей, так. И я тебе скажу, еврей может обмануть хуже любого мусульманина.

— А какой вывод? — я задал не самый умный вопрос.

— У каждого свой принцип. Я, например, для себя решаю. Главное, не делать никому плохо, потом можно думать о собственной выгоде. Смотри. Мне на днях один дал стекло для духовки за пять рублей. Я ему раньше одолжение делал. Стекол нет нигде. Дает, говорит: продай клиенту, разница будет твоя. Я прихожу, знаю, у кого стекло разбилось. Вот, говорю, тебе стекло достал. Десять рублей. Сам думаю, пять рублей на этой операции получу. А тот руками себя за голову взял, так. Ты что, говорит. Какие десять рублей? Оно в магазине четыре стоит.

— Почему в магазине не купишь? — спрашиваю.

— Нет там.

— Ага. А мне, думаешь, оно с неба за красивые глаза свалилось. Если в магазине его три года нет.

— Нет, не за красивые, — говорит он. — Шесть рублей, прошу, возьми. Больше у меня нет.

Я вижу, живет он небогато. Почти бедно живет. Что, я думаю, так и буду это стекло тащить за собой. Лучше доброе дело сделаю.

— Сделал?

— Сделал, конечно. Взял шесть рублей, стекло ему хорошо вставил. Я так делаю, как никто не делает. Сто лет простоит. А, между прочим, вставить — рубль пятьдесят. Так что я еще потерял. Но теперь ему легко, и мне легко. Потому что доброе дело сделал. Разве плохо?

— Хорошо, — подтвердил я.

— Мусульмане — народ хороший, — развивает мысль мой собеседник. — Но они совсем не такие, как мы — евреи. Я хочу свой язык иметь, свою религию. Вот тогда я с ним равный буду.

— Я читал, — продолжал я делиться информацией, — что в старые времена многие христиане и иудеи обращались в ислам, чтобы иметь побольше жен. Или чтобы занять более высокую должность. Но особенно из-за жен. Тут они мусульманам завидовали. Одного такого визиря вызывает к себе шах. Идут к нему, узнают, молятся. Докладывают шаху. Тот говорит: ждите. Они ждут. Потом опять идут. Опять молятся. — Что с ним делать? — спрашивают у шаха. — Не отвлекай его, — говорит шах. — Пусть молится, пока совсем не устанет. Все новое имеет свою прелесть.

— Конечно, — вздохнул мой спутник, — я очень, например, красивых женщин люблю. Просто даже смотреть. Она по улице идет, я стою, незаметно смотрю. Для красивых женщин нужно много денег, у меня таких нет. Видишь, как стекло продал. Такая коммерция. Домой прихожу поздно, жена спит. Даже хочешь разбудить, как мужчина, а потом жалко становится. Глупо, да? Я думаю: дом, дети — все на ней. Устает вечером, очень спит крепко, ночью еще к детям вставать.

— Трудновато, — посочувствовал я.

— Ничего, — произнес Рамиш уверенно. — Я терплю. Потому что знаю, я буду очень богатым человеком. И, наверно, скоро.

— Как так?

— Один человек мне предсказал. Я ему очень верю. Слушай, мы пришли как раз. Погуляй пока, прошу. Я свои дела быстро сделаю. И еще походим. Так?

— Так, — охотно соглашаюсь я.

Время прошло незаметно. Я прошелся по набережной, глядя на потемневшее неприветливое море. Точно в срок мы встретились. Рамиш был доволен собой. Он переборол душевную слабость, быстро обошел клиентов и теперь был свободен. Только в конце рабочего дня нужно еще подойти, отметитья.

— Поехали ко мне, — пригласил он.

— Поехали. Только давай сначала перекусим чего-нибудь.

Мы проходили мимо большого элеватора, здание как-то неуклюже затесалось в самый центр современного города. Возле элеватора деятельно сновал маневровый паровоз. В воздухе висело облако белой мелкой пыли, и ветер загонял ее в улицы.

— Что это элеватор здесь? — спросил я.

— Строил один человек. Я от родителей своих слышал. Пока идем, расскажу.

Когда-то в Баку жил один человек. Еще до революции. Умный человек, но бедный. И от этого неуверенный в себе. Как это? Невроз имел? Да, невроз. Честным трудом, конечно, зарабатывал, но много у него не было. Хотя он и каменщик был, и плотник, и писать-считать умел. В школе почти совсем не учился, все сам. Родителей своих не помнил, только бабу, потому что вырос у нее. И она ему говорила, что он когда-нибудь должен очень богатый стать. Он смеялся: как так, а она говорила, что ей на него нагадали. Здесь тогда много всякого народа было: цыгане, персы. Такие люди, что гадали, лечили, сглазить могли. Все будущее наперед могли сказать. И про него сказали, что он будет богатым. Очень богатым. Он еще бабу спросил, а счастливым? Она говорит, счастливым — это не знаю, ты сам должен чувствовать, никто за тебя не решит. А богатым будешь. Но пока он хороших штанов и рубашки не имел. И с женщинами не гулял. Была у них в квартале одна девушка. Отец ее был грек, она, значит, гречанка. Они большую лавку держали, дружили с начальством. Она в русскую гимназию ходила, музыке училась, петь училась. С нотами ходила. И этот человек ее полюбил. Со всей силы, он молодой был. Ну, конечно, к ней даже близко подойти не мог. Что он ей скажет? Бедный я? Плотник я? Она, как козочка, на него издаലെка смотрела. Что она? Не понимает ничего, играет на пианино. У греков тогда родители все решали. Думали ее за русского выдать, конечно, чтобы богатый был. Она заслуживала, честно. А для этого человека она была, как жар-птица в небе.

Как-то поехал этот человек недалеко за город. Там была городская свалка. Он думал себе всякий материал для дела присмотреть. Ерунду, знаешь. Собрал свои палки-шмалки, кирпичи, а потом дальше к деревьям отошел, чтобы в тени лечь и отдохнуть. Прилег и чувствует, что земля под ним очень горячая. Солнце, конечно, но все равно слишком. А тогда как раз про нефть стали говорить. Он газеты как-никак читал как грамотный человек, новостями интересовался. Что-то у него в голове стукнуло. Принес он лопату, яму небольшую выкопал и видит, наружу нефть выступает. Просто чудеса, потому что там никто не придумал искать. Он яму назад забросал, сам пошел домой и думает изо всех сил, как быть. Нашел он эту нефть, допустим. Пойдет, скажет. Над ним посмеются, и потом себе заберут. Даже если земля никому не принадлежит, нужны деньги, чтобы этот участок купить. А потом еще на оборудование, работу. В об-

шем, нужен капитал. А где его взять? Значит, все равно нужно искать богатого человека, делать с ним предприятие. А у него даже знакомых таких нет. Ходит он, ходит, уже голова болит от мыслей, но ничего придумать не может. Почти решил махнуть на это рукой, тем более, что он неуверенный в себе был. Не имел нахальства, чтобы такое дело сдвинуть. Но тут с ним случилась еще одна история. Известно было среди людей, что он каменщик хороший. И вот за несколько лет, как он нашел эту нефть, приезжает к нему домой человек. — Вы, я знаю, каменщик? — Да, каменщик. — Тогда я вам хочу предложить поехать со мной и сделать работу. Но с одним условием. — С каким? — С тем условием, что вас туда и обратно привезут и отвезут с закрытыми глазами. Чтобы вы дорогу не видели. — Это еще почему? — он спрашивает. — Потому что такое условие. Не хотите, как хотите. Могу только клятву дать, что ничего за этим плохого нет. — Хорошо, — говорит он. — Я согласен. Мне работа нужна.

Приезжают за ним ночью, сажают на извозчика, глаза завязывают и везут. Долго везут, но он не знает, может, его кругами возят, чтобы след запутать. Хотя, конечно, он об этом не думает, как человек честный. Наконец приезжают. Приводят его в какую-то комнату, развязывают глаза. Обычная комната, сидит старик, приглашает пить чай. Остались они вдвоем. Окна на улицу закрыты, лампа горит. А на стене висит большой старый ковер с рисунком. — Если вы согласны на мои условия, — говорит старик, — я скажу, что вы должны сделать. Вы меня не знаете и никогда знать не будете, а я о вас знаю, что вы — честный человек.

— Что я должен сделать?

— Мы сейчас с вами этот ковер снимем, и вы сделаете дырку в стене. Достанете оттуда камни. Потом я кое-что туда положу, вы камни на место поставите, дыру закроете. А потом побелите всю комнату, чтобы нигде следов не осталось. Пока не сделаете, будете жить здесь, не выходя. Потом вам глаза завяжут и домой отвезут. Здесь работы на два дня, а я вам заплачу за двадцать. Но тут вам нужно порядочность проявить. Вы, когда домой приедете, про это дело забудете. И никому не будете говорить. Согласны?

— Согласен, — говорит этот человек.

Сняли они ковер, вынули камни и под фундамент опустили какой-то ящик. Комнату побелили, ковер опять повесили на место. Что в таких случаях прячут? Деньги, конечно. Но этот человек, как обещал, про все забыл и никому не рассказывал. Свое он честно получил, и все. Прошло с тех пор несколько лет, ходит он по городу и думает про свою нефть. Что с ней делать? К кому идти? Ничего не может придумать. Идет по какой-то улице, глаза случайно поднял и видит, собираются какой-то дом уничтожать. Уже начали, одной стены нет. Тогда такое разрушение, не торопясь делали, бульдозеров не было. Смотрит он на разрушенную комнату

и на единственной стене видит ковер, который они когда-то снимали со стариком, а потом опять на место повесили... Он его хорошо тогда запомнил. Ковер, хоть большой, но старый, никому не был нужен. И сейчас он висит. Остановился этот человек, чувствует, как сердце в нем стучит. Тут как раз один стоит у дома напротив. Этот человек к нему подходит и спрашивает: — Чего это дом уничтожают? Я недавно здесь ходил, вроде, не собирались. И дом еще хороший был.

— Э-э, — ему говорят, — здесь большое горе недавно случилось. Жил здесь один старик с девочкой. Не поймешь, то ли внучка, то ли дочь. Точных сведений соседи не имели. Они приехали откуда-то, дом этот купили. И страшное горе случилось, вдвоем заболели и умерли. Очень быстро, как будто от тифа или какой-то лихорадки. Шум вокруг был. Родственники приехали, старик с ними когда-то поссорился, отдельно жил. В такой дом, где несчастье такое случилось, никто уже въехать не захочет. Даже соседи жить рядом боятся. Родственникам, чтобы землю продать, нужно дом этот снести. Это они сейчас делают.

Выслушал этот человек и спрашивает: — Так что этот дом продается? На камень, например. Или другой строительный материал.

— Продается. Если, конечно, охотники найдутся. Даже мусор вывезти никто не хочет. Боятся.

Отправился этот человек к себе домой, а сам думает, как сумасшедший. Как быть? Что делать? Хозяина теперь нет, а сундук еще там. Это судьба ему через ковер знак посылает. Знает, что ему деньги нужны. Так он думает и одновременно сомневается. Живет он себе спокойно, и ладно. Зачем ему хлопоты. Заходит в свою улицу, где у него мастерская. Идет к своему подвалу. И видит вдруг, как молодой богатый человек подсаживает в экипаж эту молодую гречанку. Он и раньше видел такие сцены, потому что этой девушке искали жениха, и она часто в гости ездила. Он себя, конечно, никак не выдавал. Кто он ей? А тут вдруг она лицо подняла и посмотрела на него. Он рядом был, так что почти в упор. И свет у нее в глазах, такой сильный ему ее взгляд показался. Тут, правда, ее кавалер прыгнул, и они поехали. А этот встал на месте и застыл. Вот он, мой главный знак. Нужно идти и действовать. Повернулся он и пошел назад к дому старика. Нашел родственников. Так, говорит. Немедленно покупаю у вас весь этот камень и доски. Сам все уберу со двора. Приходите через два дня. Все будет готово.

Они обрадовались, назначили ему цену. Он не торговался, заплатил. Они смеются: — За ваши деньги вы еще ковер не забудьте. Даром.

— Обязательно, — говорит. — Все сам заберу. И ковер в первую очередь.

Разобрал он дом. Нашел место, где был тайник. Заглядывает в него — есть ящик. Он его на телегу поглубже спрятал и вместе с со всем камнем вывез. Дома ящик открыл, видит — действительно, золотые монеты, как он думал. Миллионов больших, конечно, нет, но достаточно много, чтобы свое дело организовать.

Купил на эти деньги участок, купил оборудование и стал добывать нефть. И очень быстро разбогател. Переехал в хорошую квартиру, оделся, как человек. Год всего, два года прошло, а он уже уверенность приобрел. Тем более, что когда оделся, выяснилось, что он — вполне красивый молодой человек. Что теперь нужно? Нужно жениться. Все есть — деньги есть, свой дом есть, жилет носит с галстуком. Для дела так нужно, в банк заходить, не потому, что он такой модник. Идет он в магазин, где грек был хозяин. Как будто между прочим. Сам этот коммерсант его встречает. Пусть наш человек уже здесь не живет, но все вокруг знают, какой у него успех. Значит, хозяину важно богатого клиента не упустить. Встречает его грек, все показывает, а потом ведет к себе в кабинет. Кофе угощает, греки только кофе пьют, чай — нет. И говорит этому человеку: — Почему вы нас дома не посещаете? Как самый приятный гость. У нас общество хорошее, милости просим. Дочь у меня культурная, недавно замуж вышла. Сейчас они в Грецию поехали, свадебный круиз. А вернувшись, обязательно приходите. У нас на свадьбе сам губернатор был, всего Баку, мой зять у него важным чиновником служит. Так что встретите много полезных и культурных людей.

Наш человек почти ничего этого не слышит. Пока он на своей нефтяной дырке сидел, его любовь замуж вышла. Богатство не помогло. Ничего не помогло. Кофе выпил, попрощался с греком и пошел куда глаза смотрят. Больно ему, конечно, очень, но он взял себя в руки. Пересилил себя. И стал очень быстро расширять свое предприятие. Сам, между прочим, много учился. Нашел почти на улице нескольких ребят, которые хорошие способности имели, направил за свой счет за границу в самые хорошие университеты. По химии, по нефти. Через несколько лет приезжают к нему специалисты, которых нигде больше нет. Только в Америке. Он им очень хорошую зарплату назначил, они дело из всех сил двигали. Он стал миллионером. Уже не только нефть искал, но вообще деньги вкладывал. Фабрики строил, вот этот элеватор. И сам по своим заводам ходил, спрашивал рабочих, кто как живет. И помогал, если что. Сейчас не поверят, что такой капиталист может быть.

Но не женился, жил один, личная жизнь в тайне оставалась. Вообще, он скучный был, с женщинами не гулял, в карты не играл, вина много не пил. Съездил несколько раз за границу. Скульптуры привез, картины привез, некоторые сейчас в нашем музее можно видеть. И много читал. Потом уже выяснилось, что не так просто было. Оказалось, он встречался несколько раз с той женщиной, которую любил. В обществе встречался, на всяких балах. И сделал ей признание в своем чувстве. Никто не знает, какой разговор между ними был, но для этого человека неудачный. После него он сразу за границу уехал. Значит, отказала ему, сказала, что не любит.

А дела его идут на полный ход. Он еще богаче стал. И женился. Приехал сюда французский театр, он нашел одну французенку. Красивая, но

нервная. Он ее на курорты возил, на воды разные. Автомобиль у него, конечно, был. И у француженки этой был. Жили они очень хорошо. Жена ему верность хранила, ребенок у них родился. Девочка. И у той гречанки девочка родилась. Она тоже хорошо жила со своим мужем. Тоже машина была. И вот началась война четырнадцатого года.

Этот человек целый санитарный поезд купил, все, что нужно, поставил на свои деньги, и на фронт отправил. Госпиталь в Баку открыл. Помогал изо всех сил. А муж гречанки пошел в армию. Он стал полковник. И вот гуляет эта гречанка по набережной вместе со своей девочкой. А там фотография большая была. И в витрине вместе с другими стоял ее семейный портрет. Это для фотографии, как реклама, потому что они — очень красивая семья. Она подходит и видит, что стекло на ее портрете треснуло. Все другие целые, а ее треснуло. Хозяин удивляется, как это может быть, я вчера сам смотрел, было в порядке. Тут ей стало плохо, и она поехала домой. А на следующий день приходит известие, что муж ее погиб на фронте. Осталась одна со своей дочкой. Деньги, конечно, есть, но все равно мучилась, мужа забыть не могла. Да и вообще, как женщина одна. Плохо. Ходила в трауре и стала работать в госпитале, пользу приносить. Курсы медицинских сестер закончила.

Начинается буржуазная революция. Приезжают комиссары на завод к этому человеку, спрашивают рабочих: — Какие у вас жалобы. Нужно организовать профсоюз и требования выставлять. Теперь справедливая власть, раньше хозяин вас брал за горло, теперь вы его. А рабочие говорят: — Никто нас за горло не брал. Мы очень довольны. Производство хорошее, зарплата хорошая. Ясли открыл, школу открыл. Если заболел, помощь дают. В других местах так сделайте, как пример, за нас не волнуйтесь. И главное, не трогайте ничего. — Очень хорошо, — говорит комиссия, она еще буржуазная была. Идет к этому человеку и предлагает ему выборы в городской совет. Но тот отказывается. Я все, что могу, делаю. Больше ничего не могу предложить. Это уже лишнее будет.

А жена его собралась поехать к себе на родину во Францию. Во время войны она все время в Баку сидела. Как туда проедешь? В Париж. А теперь захотела навестить родственников, узнать, как у кого. Погостить, в общем. Взяла с собой дочку и отправилась. Значит, он один остался. И стал постепенно встречаться со своей гречанкой, и они полюбили друг друга.

А революция идет дальше. Здесь в Баку власть меняется. Белые, англичане. Но ему все время почет и уважение. Жена ему письма пишет. Он отвечает, но, видно, не совсем как надо. Женщина может почувствовать. Но шлет все время деньги, драгоценности, ее родственники во Франции небогатые были. И вот она ему сообщает, узнала от знакомых, что он живет с другой женщиной. Капнул какой-то завистник. И она пишет, пусть скажет честно, возвращаться ей или нет. Она тоже не хочет лишним колесом быть. Он твердо не отвечает, но пишет, что пока ехать

не надо. Опасно, гражданская война. Хотя он по ним очень скучает, особенно по ребенку. Честно написал, что чувствовал, хотя, конечно, подробности не объяснял. Но тут, пока они так переписывались, сама жизнь за них решила. Пришла советская власть. Дом у него забрали, имущество забрали, а на заводе просили управляющим побыть, потому что инженеры разбежались. И тут выясняется, что при англичанах он спас двух комиссаров. Если бы этих комиссаров нашли, расстреляли бы вместе с теми двадцатью шестью. Помните, двадцать шесть комиссаров было? Памятник стоит. А так было бы двадцать восемь. И твердо известно, что он двоих спас. Сами комиссары говорят. Спас нас от верной смерти. Вызывают и спрашивают его: — Слушай. Почему не уехал? Ты — богатый человек, тебе с нами не по пути. По другой дороге должен идти. Тем более, знаем, у тебя семья там.

— У моей одной знакомой, — он честно отвечает, — дочка болеет. А без нее я уезжать не могу. Я здесь родился, здесь вырос. Фабрику вам отдал в сохранности. Оборудование целое. Если бы злость имел, мог тихо поломать.

— Это, конечно, хорошо, — ему говорят, — но мы знаем, вы крупные ценности за границу перевели.

— Это мои ценности, — он говорит. — Или, вернее, жены. Я ей раньше купил, а потом отправил. Что тут такого?

— Это не ваши ценности, а народные. Вы их заработали эксплуатацией.

Он себя по голове взял и постучал: — Вот чем заработал. Никто из моих рабочих и служащих никогда не обижался. Их про эксплуатацию спросите, меня не нужно.

— Ладно, — говорят. — Мы разберемся. Идите пока к себе на фабрику, то есть на вашу бывшую фабрику, и работайте.

Девочка у той гречанки тогда болела. Врачи ее бесплатно лечили, помнили, какой это человек раньше был и людям помогал. Все они бедные стали, а отец гречанки вообще умер. Прошло несколько лет, и вызывает его к себе один большой начальник. Один из тех комиссаров, которых он спас.

— Вот, — говорит ему начальник официально. — Посмотрите. Пришел из Франции документ, запрос на вас. Просят разрешить вам выехать из нашей эсэсэсэр, потому что ваша семья там. Жена ваша — французская подданная. Она, наверно, постаралась. Что вы на это думаете?

Он говорит: — Знаете, сам не поеду. Если всех моих выпустите, тогда поеду.

— Но в документе о вас одном говорится.

— Я вижу. Но у меня здесь близкие есть. Можете считать, одна семья. Ее не брошу.

Начальник дверь проверил и говорит тихо: — Слушай, старый друг. Думаешь, я забыл, как ты мне жизнь спас? Не забыл. Очень хорошо

помню. Я тебя изо всех сил прошу. Уезжай. Пойми, ты здесь чужой элемент. Как только видят, как только фамилию слышат, вспоминают, какие ты богатства имел. А потом сигналы дают. Хорошо, что меня знают, и что я — твой должник.

— Я все отдал добровольно, — он говорит. — Не жалею. Если честно, это вы меня сильно обидели, а не я вас.

— Почему это?

— Потому что не спросили, как назвать мою бывшую фабрику. А называли именем Ленина.

— Ты что, против? — грозно нахмурился начальник.

— Я не против Ленина. Я его уважаю. Но я хотел, чтобы именем моего отца называли. Почти его не помню, но он был бедный трудящийся человек. Чем для вас плохо? Я эту фабрику построил, имею право имя дать. А вы себе еще постройте. И тогда называйте, как захотите.

— Вот видишь, — дальше сердится начальник. — Видишь, какие ты разговоры ведешь. Нигде этого не объявляй, кроме меня. Даже я слышать этого не хочу. Вредные твои аргументы. Если так думаешь, тем более прошу, уезжай. Меня скоро переведут в Москву. Подумай, кто тебя тогда закроет.

— Если разрешишь всей семьей ехать, буду думать и, возможно, соглашусь.

— Не от меня это зависит, пойми. Как я могу разрешить, если бумага эта на тебя одного. Это же документ. И так, знаешь, какая редкость. Чтобы так, взять и отпустить.

— Значит, не еду, — твердо говорит этот человек. — Передай, что отказываюсь.

Он остался. Никто его не трогал. Работал бухгалтером у себя на фабрике и умер от сердца. Быстро, за двадцать минут. Люди на похороны пришли, кое-кто, помнили его. Дочь гречанки выросла, здоровье лучше стало, вышла замуж за летчика и уехала отсюда. А сама гречанка после его смерти пить начала. Много пила, из больницы ее уволили. Бедная стала, прямо как нищая, и ходила к нему часто. Сидела с ним на кладбище. Такие люди в Баку раньше были...

...К концу этой грустной истории мы сидели на площади за столиком и ели кебаб. Летом здесь многолюдно, сейчас пусто. Кебаб готовят на мангале. Продавец вилкой стаскивает поджаренную колбаску с шампура прямо в лепешку, посыпает сверху сумахом, щедрым жестом бросает поверх немного зелени и лука, сворачивает лепешку трубкой и протягивает покупателю. В движениях чувствуется высокомерие торговца.

— Что ему стоит больше зелени положить, — рассуждает Рамиш. — Все равно зелень пропадет, никого нет. Но у него привычка такая. Какая разница, какой он религии, если он жадный.

Рядом два азербайджанца торгуют конфетами. Коробки выложены стопкой, сами продавцы — молодые, подтянутые, в аккуратных костюмах. Проникнута важностью момента. В руках у одного толстая пачка денег, другой отпускает товар. Если сидеть, отвернувшись, кажется идет сумасшедший картеж.

— Сколько? — Две. — Бери две. — Ваши десять? — Мои шесть. — Ваши четыре. — Тебе сколько. — Одну. — Бери одну.

Мы доели кебаб и отправились в гости к новому приятелю. В метро пахло дезинфекцией, каким-то нафталиновым запахом, и при известной игре воображения можно было представить себя ребенком, спрятавшимся в одежном шкафу.

На почетном месте в комнате Рамиша — большая фотография из трех портретов в овальных рамках. Это его предки — раввины, увековеченные за столетний период существования фотографии. Об этом извещают даты. Самый первый появился на свет во время Наполеона, а последний умер совсем недавно, лет десять тому назад. При таком временном размахе лишние год-два не имеют никакого значения. Портреты провинциально подкрашены. Лица розовым, фон голубой, только сами бороды оставались морозно-белыми. В глубинах времени толпились еще как минимум девять тщательно сосчитанных предков раввинского звания, не дотянувших до времени дагерротипа. Я испытал зависть. На тахте, уложенные головами в разные стороны и замотанные по самые носы в платки, спали дети, мал-мала меньше. Могучая цепь родословной тянулась от радиолы, на которой стояла фотография, к тахте с младенцами. Рамиш бережно взял одного на руки.

— Очень детей люблю. Никуда бы не ходил, только дома сидел. С детьми играл.

Жена у него — маленькая хрупкая с черными потревоженными глазами, похожая на выпавшего из гнезда птенца. Клетчатая юбка болтается на талии толщиной в мизинец. Она все время при деле. Мы с Рамишем уселись пить чай. Виноград, гранаты, конфеты на столе, угощение для гостя.

Рамиш разглядывал меня из-под прикрытых век. Его лицо не меняло выражения несколько унылой задумчивости.

Заговорили о моем отце. — Хороший человек был, — сказал Рамиш. — Я на тебя внимательно смотрю и вижу, что он был хороший.

— А как можно определить? — удивился я.

— Можно. О людях можно много узнать, если смотреть, как в глубину.

— Как это?

— Не думать о своем интересе. Смотришь и видишь.

— И что ты видишь?

— Ничего особенного, если ты так думаешь. Просто, в общем. Видишь и все. Главное, свой взгляд иметь.

— То есть?

— Вот так. Свой взгляд. Чтобы никто не влиял. Это, вообще, главное. Сам, как думаешь, так и поступай. Если честно думаешь, не ошибешься.

— А на тебя кто-то влиял?

— Влияли, — Рамиш вздохнул. — Плохо влияли. Я потом только узнал, вред причинить хотели. Как игрушкой крутили.

— Как так?

— Не могу рассказать, пойми. Человек этот умер. Сам себе смерть причинил. А перед смертью жене сообщил, пусть передаст, он ко мне претензий не имеет. Как будто я виноват. Как раз все наоборот было.

Я молчал, сгорая от любопытства. Рамиш и сам колебался. Видно тянуло его рассказать. — Не могу, — наконец, вздохнул он. — Не могу пока. Не нужно тебе знать.

Мы опять отправились в город. Жена устало улыбнулась на прощание. Рамиш оставил дома чемоданчик с инструментами. Без него он чувствовал себя свободнее.

— Да, — напомнил я. — Почему ты думаешь, что богатым будешь? Или это тоже тайна.

— Нет, как раз не тайна. Мне один перс нагадал.

— Как это было?

— Я его нашел. У нас его в Баку знают.

— Что, прямо с улицы явился?

— Да. Прямо с улицы. Решил свою судьбу угадать. Я тогда очень сильно зависел от одного человека.

— От того, который с собой покончил?— догадался я.

— Да. Верил ему очень. Чувствовал, что-то не так. Думаю, поеду, судьбу спрошу. Встал очень рано, часа в три, помылся, одел все чистое.

— А что, нужно так?

— Конечно, очень важно, если хочешь, чтобы гадание хорошее было. Специально во Вторник поехал.

— Почему во вторник?

— Слушай, ты каббалу не знаешь. Там сказано, что во Вторник все важные дела нужно начинать.

— Именно во Вторник?

— Именно. Талмуд прочитай, библию прочитай. Когда Бог начал мир творить, он говорил, хорошо, как это он делает.

— И сказал Господь, *это хорошо*.

— Вот именно. Так он каждый день говорил, но кроме Понедельника. А в Понедельник он ничего не сказал. Потому Понедельник — тяжелый день, а совсем не потому, что он после Воскресенья. Говорят, а сами не знают.

— Ну, хорошо. А почему, во Вторник?

— Потому что во Вторник он сказал не *хорошо*, а *очень хорошо*. Только во Вторник, не так как во все другие дни. Прочитай Библию, сам уви-

дишь. Там все написано. Потому все важные дела нужно начинать во Вторник.

— Значит, во Вторник. Ты встал в три часа, оделся во все чистое...

— ...Взял такси. Это очень далеко. В старом городе. Там сплошные дувалы. Собаки ночью стаями бегают. На такси я проехал. В шесть утра, самый первый был.

— А еще были?

— Да. Многие очень. Он известный. В восемь часов начал прием, в десять закончил. Половину даже не принял.

— Почему?

— У него такая природа. Он чувствует, когда может увидеть, а когда нет. Думаешь, так просто, что он делает.

— Совсем не просто. Ну, зашел ты...

— Да, зашел. Он к себе проводил. У него во дворе, кроме дома, еще маленький домик есть. Летний. Там стол стоит и диван.

— Молодой?

— Молодой. Моложе тебя. Бородатый.

— И что дальше?

— Скажи, говорит, имя твоей матери и твое имя. Я сказал. Он лег на диван, на глаза кожаную повязку натянул и лежит лицом вверх.

— И что?

— Вижу, — говорит. — Жена у тебя ходит в клетчатой юбке. Правильно? Детей у тебя трое, по-моему. Жена как раз третьего рожать собиралась. Значит, будет трое. За это можешь не волноваться. Живете вы пока бедно, но будешь потом жить богато. Не будешь ни в чем нуждаться. Вижу тебя за рулем большой голубой машины. Жена твоя рядом. Это будет через несколько лет. Еще, что хочешь, спроси.

— У жены левая рука отниматься стала, двигается плохо. В больнице не хотят лечить из-за беременности. Говорят, может само пройти.

Он лежит, повязку не снимает, вопрос слушает, а потом думает. — У вас в доме умер кто-то. Чужой человек. Но когда его из подъезда выносили, жена сверху на покойника посмотрела и испугалась. Она сама про это забыла, но в голове осталось. Хорошо, что ты сказал. Один раз ее ко мне приведи. В больнице ничего делать не нужно. Это они правильно сказали.

— Приводил?

— Да. Я с ним подружился. Он жене руку массировал, и все прошло. Я еще привозил друга, который меня предал. Ничего тогда плохого не думал.

— Ну и что?

— Не знаю, что они говорили. Но он вышел совсем белый, я никогда таким не видел. Это было за несколько месяцев до его смерти.

— Так что, ты в его гадание поверил?

— Очень поверил.

— А как ты представляешь себя за рулем голубой машины?

— Не знаю. Но думаю, уеду отсюда.

— Ты хочешь?

— Я хочу на своем языке говорить. Я тут даже кружок организовал, чтобы учить.

— Это со своим другом?

— Не хочу больше говорить.

— А как перс объяснял свои видения? Ты его спрашивал?

— Спрашивал. Я к нему четыре или пять раз приезжал. Ты не думай, что он важный. Совсем нормальный человек. Сам не знаю. Ты свое прошлое видишь? Видишь. А я твое будущее вижу. Когда настроюсь, могу видеть. Потом нет, ничего не вижу, а потом опять...

Мы выпили в чайхане чая, прошлись и оказались на набережной у старого элеватора. Паровоз трудился, расталкивал вагоны, из окна сыпалась мучная пыль, дул ветер и начало шуметь море.

— Я очень путешествовать люблю, — сказал Рамиш. — Никуда пока уехать не могу, но мечтаю. Прямо во сне вижу. А ты, будешь в Баку, звони обязательно.

Мы крепко пожали друг другу руки, и он пошел показываться мастеру перед концом рабочего дня.

Анатоль Німченко



Де не копни — кістки, країна-цвинтар,
порубаних, постріляних дітей
по ямах, по ярах порозкидала,
а де й ховала — там хрестів нема,
лиш чорне зілля буйно розрослося,
а то й смітник чи звалище гниє,
неначе каже: “От вам ваша слава,
коріння ваше й ваше майбуття”.



Знов марення свобод,
осібності надія,
несмілива зоря відродження землі...
Та глухо спить народ,
політик, як повія,
його ошукує у ранішній імлі.

Так волею небес
життя проходить нице,
а де його межа, не зна ніхто й ніде...
Та зна бездомний пес,
що невмолимий гіцель
з залізним зашморгом по його душу йде.

*Юрію Щербаку*

Померла річка.
Лежить під образами в бетонній труні —
висохла, сіра, припала пилом.
Ніхто за нею не плаче,
бо й плакати нема кому:
водяників винищили,
птахи улетіли,
і навіть жаби замовкли.
Тільки місяць заглядає у мертве обличчя
і висвічує дві медалі “За доблесну працю”
на очах померлої,

та вітрець-приблуда
шурудить сухим очеретом
між чорними порепаними руками.
Колись небіжчицю опікував дядько Ілля —
гримає, було, наче гнівається,
а то й стьобне струменем дошовим:
«Не кокетуй з вітром!
Не загравай з сонцем!»
Але десь завіввся і він,
Може, наштовхнувся де на гасло
«Летайте самолетами Аерофлота!»
і з переляку погнав свою бричку світ за очі.
Нікого, нікого нема...
Вона і вмерла від самотності,
від туги за тими часами,
коли на її берегах ще співали.

1986 р.



Минає золота і наступає сива,
примарами стоять у луках сокори,
упав важкий туман, і захлинулась нива,
на ній, як острови, чорніють трактори.

Їх, наче, хто забув чи кинув як непотріб.
Кому вони тепер? Навіщо взагалі?
Хто знає, чи зійдуть зелено зерна, котрі
лежать на самім дні похмурої ріллі.

Десь вирушає в путь від крижаних відкосів
чи то в фаті, чи в савані зима,
стає непевним світ, коли сивіє осінь,
і сонця ще нема, а може, вже нема.



У колгоспі «Здобуток Жовтня»
весну 33-го
пережив лише дід Павло,
який призвичаївся їсти черву.
Відтоді він так і називав її —
«здобуток жовтня».



Прочани ідуть у Київ,
пилюка висить над шляхом,
а сонце пече нещадно,
і вітер гарячий б'є,
на чорні, засмаглі шиї,
неначе єдиним махом,
хрести хтось розвісив владно,
і в цьому покора є.

Ми звикли дивитись згорда
на тих прочан некультурних,
на їхню вбогую прощу,
на репане їх життя,
без віри у бога і чорта
ставали ми на котурни,
виводило нас на площу
у ненависті злиття.

В тумані оман блукаєм,
вимошуєм шлях у пекло,
зректися хвали і шани
від нас вимагає час...
Але ще чогось чекаєм,
ще мрієм про щось запекло,
живем ще, бо ті прочани
молились тоді й за нас.

1988 р.



У День Незалежності,
на Хрещатику,
дві жінки побилися за порожні пляшки.
Одна з жінок — пропита й неохайна,
а друга виглядала непогано,
тримаючи під лівою рукою
немолодого білого собачку.
До речі, він поводився спокійно,
бо, мабуть, звик.

І взагалі вся бійка
була якась буденна, механічна,
хоч і лунали вигуки: “Лахудра!”,
“Сама така!” і на прощання “Сука!”
А день серпневий мружився на сонці,
Хрещатик вирував і колихався.
А пункт склопосуду в цей день не працював:
було ж бо свято — час пляшки кидати,
а час здавати ще не наступив.

25 серпня 1995 р.



Мені перекладу не треба:
я сам собі перекладач.
Слов'янське наді мною небо,
вітрів слов'янських чую плач.

А мови дві — обидві рідні,
бо одночасний їх засів...
Аби слова знайшлися гідні —
з усіх усяд, з усіх часів.

Київський поет Григорій Фалькович запропонував «Єгупцю» добірку віршів для дітей, публікація яких відкриває нашим читачам нову грань творчості автора.

Григорій Фалькович

ВІРШИКИ З ДИТЯЧИХ БЛОКНОТІВ

ЛИСИЙ ЛИС

(Скоромовка)

Лисий лис блукав по лісу,
Вийшов лось назустріч лису.

Лис у листі заховався,
Цілий день не озивався —

Не хотів блукати лісом,
Щоби не дражнили лисим.

ВРАНІШНЯ МОЛИТВА

Зранку, шойно розвидняє,
Тато з Богом розмовляє:
Розпрямляє він таліт —
Наче крила у політ.

Потім надіває він
Таємничі тефілін.

Я йому не заважаю,
Наче тут мене й нема.
Ось він очі затуляє
І говорить вголос “Шма...”

Потім пошепки, між себе —
Тільки він і тільки Бог —
Розмовляють, як два ребе,
Про важливе для обох.
Перш за все, про мир у світі —

Так, як Біблія велить,
І щоб мамі не хворіти,
І усім на світі дітям
Щоб комп'ютери купить...
Я давно уже не сплю —
Скільки можна вранці спати.
Я давно уже люблю
Тата зранку споглядати.

Він на мене подивився
Підморгнув мені ще раз:
Тато зранку помолився —
Значить, буде все гаразд!

ХТО ВИГАДУЄ СВЯТА

Хто вигадує свята?
Може, тітонька ота?
Чи кумедний той дивак
Їх пече на власний смак?

Ні, я знаю, що вони
Завітали в наші дні
З давнини і сивини,
Хоч веселі, хоч сумні.

Я ж люблю свята веселі,
Щоб на дворі і в оселі,
В дитсадку, і в синагозі,
На роботі, по дорозі —
Всі раділи й жартували,
Танцювали і співали.

Вам шалом, свята шабатні,
Шавуотні, тубішватні,
І пуримні, і пасхальні,
І зимові, ханукальні.

Хай ростуть мої літа!
Хай живуть мої свята!

ВМІЄ ЛАСТІВКА ЛІТАТИ

Вміє ластівка літати,
Вміють коники стрибати.
Щука плавати уміє,
Кріт завзято землю риє.
Дош іде, ручай біжить,
Кіт наївся і лежить,
Джміль гуде, мороз тріщить,
Мишеня в норі пищить.
Гриб росте, повзе змія...
Ну, а що умію я?

Я умію розмовляти,
Танцювати і співати,
Вмію плавати, стрибати,
Їсти, бігати, лежати,
І свистіти, і тріщати,
Жартувати, і пищати,
І повзти, подібно змію.
А літати я не вмію.
Може, хто мене навчить?
Озивайтесь! Не мовчіть!..

СУМНА ІСТОРІЯ

В мене іграшок багато,
І найкращий в світі тато,
І найкраща в світі мама,
Та не знаю я чому
Не приходять він до мами,
І не хоче жити з нами,
Хоч поганого нічого
Не зробила я йому.

А колись було чудово:
І пісенно, і казково —
Завжди посмішка і квіти,
І закохані слова.
Мамі серце розриває,

Що цього уже немає,
І моє маленьке серце
Помаленьку розрива.

Схожа я на маму й тата —
Щастя з того небагато.
Що мені ті ваші “Барбі”,
І цукерки, і м’ячі...
Я не знаю, що робити,
Так не можу далі жити,
Я не хочу так, як мама,
Тихо плакати вночі.

ЧИМ СЬОГОДНІ ПАХНЕ РАНОК

Чим сьогодні пахне ранок?
Тим, що буде на сніданок,
На обід і взагалі —
Тим, що буде на столі.

У сусідів, що під нами,
Смачно пахне дерунами,
А в сусідів справа
Чи в сусідів зліва:
М’ятний чай і кава,
І грибна підлива.

А у нас в сім’ї шабат —
В нас шабатній аромат:
Запахуща, здобна
Хала непідробна,
І риба фарширована,
І курка тушкована,
Тертий хрін, вино і юх —
Он, який у мене нюх!
Ще й кориця, й шоколад —
Он який в нас аромат!

Ех, якби оцей шабат
Сім на тиждень днів підряд!..

Инна Захарова

ЕВРАЗИЯ

I

*Запад — есть Запад, Восток — есть Восток,
И с места они не сойдут...
Редьярд Киплинг*

А «Запад — есть Запад, Восток — есть Восток»,
но страшно, когда они вместе.
Ты сам не распутаешь этот клубок,
ты здесь не запомнишь свой дом и порог,
и не разберешься, где шут, где пророк —
благой не доищешься вести.

Восточная, полная в небе луна,
но к западу солнце склонилось.
И эта страна нам — давно не страна,
и эта вина нам — давно не вина,
но жутко нам всем от холодного сна,
в котором пространство забылось,

в котором пространство, себя потеряв,
давно не считает живущих.
И вечная слава тому, кто не прав,
и время навстречу несется стремглав,
и наше наследство — лишь несколько глав,
и горечь, и райские кущи!

2

Торричеллиева пустота.
По периметру — лай собаки,
пламя огненного куста,
бледных звезд водяные знаки...

Дом у края поник давно,
и его оплетают травы.
Мир, как путник, узнавший, но
не увидевший переправу...

Пустоты неподвижна гладь,
поглотившая свет и слово.
Ничего уже не понять
и не вспомнить... Родиться снова.

3

В той земле, где роса выпадала градом,
а все птицы стали воронами и орлами,
в той земле, от которой уже ничего не надо —
только синим огнем любое искрится пламя.

Только синим огнем загораются злые зори,
и кузнечик в траве — как морской конек в океане.
Синим пламенем то ли поле горит, то ли море,
синим пламенем — все, что было и все, что станет.

4

*Дом, улица, фонарь, аптека...
Александр Блок*

И язык бы забыла родной, но слагаются горькие строфы.
Я не жду ничего от восточного ветра хорошего..
Кто-то помнит еще: остановка трамвая — «Голгофа».
Кто-то месит свое безнадежное снежное крошево.

На границе тоски обозначились желтые полосы —
то ли солнца лучи, то ли игры восточного ветра..
И не взвоешь уже — не осталось ни слуха, ни голоса —
на родном языке, на родном — беспощадное «вето».

Но не слушая совесть, стучится строфа окаянная..
Позабыть бы язык, на котором Малюта говаривал.
На чужом берегу — та далекая, страшная, пьяная..
На родном языке — тот же тусклый лепечет фонарик.

5

Неужели еще кто-нибудь верит
в тайну, которой никогда не бывало.
Тихо скрипнули ведущие в сени двери..
В комнате тюлевые гардины, на кровати белое покрывало...

А возле печки вытянулся самодовольный кот —
ему даже мыши не снятся — не только дальние страны.
Я из того пространства, где каждый просто живет,
не подозревая ни прошлого, ни будущего обмана...

Чем больше обещанного простора, тем маленький дом родней —
единственная из тайн, от которой некуда деться.
И все великие сложности просто укладываются в ней,
оставляя мне яблоню за окном, и кота, и детство.

6

Византии медовый торт:
я сыта не по горло — выше.
Лодку памяти тянет в порт
и знакомые манят крыши:

синагога, костел, мечеть,
православного храма чаша.
И лучей золотая сеть
над забытою славой нашей.

О, раскосая рысья рать —
я твоей не верна дороге!
Не найти тебя, не понять,
не узнать о далеком Боге.

Этот флаг не пускают в порт.
Византийское время тает.
И волной ударяет в борт
тяжесть черная — соль морская.

Жанна Ковба

ВИПРОБУВАНІ ЖИТТЯМ І СМЕРТЮ

РАБИНИ ТА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІ СВЯЩЕНИКИ

В ЧАСИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

*Крім того, що Проповідник був мудрий,
він навчав ще народ знання.
Він важив та досліджував, склав багато приповістей.
Проповідник пильнував знаходити потрібні
слова і вірно писав правдиві слова.
(Екклезіяст 12, 9-10)*

Українці, євреї, поляки здавна жили поряд у Східній Галичині. Для українців і євреїв спільною була упослідженість, залежність від австрійської, а у міжвоєнні роки — польської влади, особливості збереження національної самобутності.

У житті обох народів величезну роль відігравала релігія, священики, рабини.

З року в рік євреї оберігали свою сутність через заповіді (міцвот): міцвот між Богом і людьми, міцвот між людьми, вивчення, глумачення Тори, закони кашруту.

Рабини вчили народ, що у єврейському житті всюди знаходиться місце для цдаки — доброчинності, добровільної пожертви. Величезний вплив на хасидів мали праведники — цадики, релігійні вчені і вчителі.

Вивчення Тори як джерела праведних знань прирівнювалось до виконання найвищої Заповіді. Батьків навчали, зобов'язували: «*Й повторюй їх (заповіді) сином своїм, й вимовляй їх, сидячи в домі своїм та йдучи дорогою, кладучись і вставаючи*».

Центром життя були єврейські громади, синагоги, в містах і містечках діяли ритуальні лазні, різниці. Вивчали Тору дорослі і діти під керівництвом вчителів-меламедів. Хоч шанувалася, була популярною і світська освіта.

Українці шанобливо подивлялися етичні засади євреїв, зв'язки батьків і дітей, родинну гармонію, культ освіти й освіченості. Численне, переважно, містечкове й міське єврейське населення не було єдиним ще з часів Австро-Угорщини. Свої позиції мали ортодоксальні та хасидські угруповання, послідовники просвітництва (Гаскалі), асимільовані євреї — «німці, поляки Мойсеевої віри».

Особливу атмосферу «доброго» галицького єврейського життя початку ХХ сторіччя описує історик Мейер Балабан у книзі про єврейську дільницю міста: «*Вулиці цього кварталу, як «наочна історія», як зріз давнини, частина*

середньовіччя, перенесена у коловорот життя XX ст. І коли літнім вечором заходить сонце, з'являється відчуття дивного спокою серед древніх стін. Діти грають на камінні чи у піску. Шоймер (дозорець, — Ж.К.) синагоги обходить будинки, скликаючи на молитву. Маленькі дітки біжать за ним, цілуючи з великою побожністю дерев'яний молоток (яким шоймер стучить, скликаючи на молитву, — Ж.К.). За кілька хвилин з'являється світло у вікнах великих синагог і маленьких молитовень. Дитячі голоси змінюють голоси дорослих, які моляться. Це громада читає вечірню молитву, й видається, що старі будівлі вторують їм у цьому гімні на честь Бога: «Благословен Господь достохвальний вовіки віків». (М. Balaban. Dzielnica Żydowska, jej dzieje i zabytki. Lwow, 1909).

Коловорот життя 20-30-х років XX ст. вносив свої зміни. Жорстокі реалії конкуренції, економічні, соціальні проблеми, бідність основної маси та пошуки виходу роз'єднували по партіях, організаціях, союзах.

Релігія одночасно ніби політизується і поступається місцем секулярній діяльності — «так багато роботи».

Різні релігійні угруповання мали свої програми, суди, прибічників. Так, релігійний союз «Агудас Ізраель» практично зосереджував свою діяльність на традиційному релігійному житті, займаючи лояльну позицію щодо польської держави, поборюючи соціалістичні та сіоністські організації. Намагаючись об'єднати всіх ортодоксів в ім'я збереження релігії єврейського народу, керівники «Агудас Ізраель» ворогували з белзькими цадиками.

З кінця століття інтенсивно поширювали свій вплив партії і організації сіоністського типу. Управа Львівської міської сіоністської організації навіть виступила за перетворення релігійної громади в національну, у центр політичного, культурного, громадського життя, боротьби за національно-персональну автономію.

Релігійний напрям в сіонізмі представляла організація сіоністів-ортодоксів «Мізрахі», яка діяла під гаслом «Тора і праця».

Мали свої програми соціалістична і трудова партія: еміграція в Палестину, демократичні й соціальні права.

Входили євреї і у комуністичні угруповання. Комуністичний рух переважно поширювався на теренах Бориславщини та Дрогобиччини.

Антисемітські прояви у галицькому суспільстві, брутальність польських ендеків збільшували число молодих євреїв у комуністичних організаціях. У традиційному галицькому трикутнику: українці, поляки, євреї — політизовані угруповання євреїв все більше вважали, що у боротьбі за свої права вони потрапляють між молотом і кувалдою польських і українських пріоритетів.

Не лише про погіршення економічної ситуації, але й про домінування проблем сьогодення, матеріального над духовним може свідчити предпасхальне звернення керівника Львівської релігійної громади й рабинату у новоствореному журналі єврейської громади:

«Брати і сестри! Допомагайте в міру можливості, пропагуйте нашу акцію Пасхальної допомоги. Громадяни євреї, нам 'ятайте про нашу традицію й не давайте знедоленим відчувати горе й голод у радісні дні свята Пасхи». (Gmina Z-ydowska. 1937. S.32).

Боротьба за шматок хліба і політична боротьба психологічно глушили голоси ребе, віддаляли рядки Тори, зумовлювали нехтування традиціями.

Пересічний єврей Галел Переходнік з міста Отвоцька на межі Східної і Західної Галичини так змальовував передвоєнні будні: *«Народився в родині звичайних євреїв з так званого середньозаможного класу. Були то люди порядні, поштиві, мали великий родинний потяг, який виявлявся в любові, приязні до батьків, матеріальній посвяті заради дітей».*

Зазначав «матеріальній» й тому, що ніколи жодні зв'язки духовні ані мене, ані брата і сестер не лучили з батьками. Вони не намагалися, чи не могли нас зрозуміти. Так кожен з нас зростав сам собою. Під впливом школи, друзів, прочитаних книжок, у почутті власної незалежності, в атмосфері фактичної свободи слова 1925 — 1935 рр.

Я належав з братом до Бейтару, сіоністської організації, яка пропагувала створення незалежної єврейської держави у Палестині. Це не перешкоджало, принаймні мені, почувати себе польським патріотом, любив польську поезію — з часів втрати незалежності, зокрема Міцкевича. Промовляла вона до мого серця, бо асоціювалася з історією народу Ізраїля. Вважав, що поляки, котрих так довго гнобили їхні вороги, — повинні зрозуміти євреїв, співчувати нам і дещо допомагати. Через те, що не був особливо релігійним, хоч вірив у Бога, вірив у місію єврейства у світі, пишався як Снінозою, так і Ёйніштейном, іншими геніями єврейства». (G. Perechodnik. Czy jestem mordercą. Warszawa. Karta, 1995. S. 3—6).

Таких було багато, але половина галицьких євреїв лишалася на позиціях хасидизму чи ортодоксального раввіністичного юдаїзму. Ребе, синагоги, суботні молитви, свята, спілкування з Богом єднали з тисячолітньою культурою, традицією, нормували буденне життя, упокорювали.

Українська греко-католицька церква творила світ українців. Переважної більшості українців — сільських мешканців, набагато бідніших, менш освічених, ніж євреї (всього 1% інтелігенції). Лише з другої половини XIX ст. галицькі українці починають усвідомлювати себе як частину рідної нації і протиставляти себе більш мобільним і освіченим римо-католикам — полякам.

До 80-х років XIX ст. переважно священики були в українців душ-пастирями й організаторами світських культурно-освітніх, господарських товариств, спілок, розбудови низки шкіл, видання релігійної літератури.

Новий тип проводу — педагоги, юристи, молоді високоосвічені священики — намагався пристосувати галицького селянина до вимог тогочасного господарювання, до європейської культури, зберігаючи його глибоку релігійність.

У 1901 р. галицьку Митрополію очолив А.Шептицький і був її беззмінним керівником впродовж 43 років (1901—1944). На всьому житті Галичини позначився вплив цього видатного вченого й філософа, великого знавця світової й української культури та мистецтва, глибокого патріота, громадського діяча, а головне — християнина.

Галицькі українці своєю наполегливою муравлиною працею у «Просвіті», товаристві «Сільський господар», Науковому товаристві імені Т.Шевченка не лише розвинули себе як окремішній етнос, але й стали суб'єктом загальноукраїнської історії, перетворивши Галичину на П'ємонт всеукраїнського національного руху. Впродовж першої світової війни і у повоєнні роки українці пізнали не лише страшний тягар фізичних втрат, розчарувань, психологічного зламу від поразки визвольних змагань, але й найгірший варіант протистояння. Українці як учасники боїв з обох сторін убивали один одного. Ідея власної держави як єдиний варіант розв'язання усіх проблем стала домінуючою.

У міжвоєнні роки відчай і біль поразок, зростаюче національне гноблення з боку польської держави сформували український радикальний націоналізм. Молодь, розчарована поразками батьків, ошукана польською політикою, прагнула тримати українське суспільство у стадії «постійного революційного бродіння». У 30-х роках вона фактично вступає у конфлікт з церквою, яка засуджує акції терору.

В екстремальних умовах економічного та соціального тиску у міжвоєнний період греко-католицька церква не лише розбудувала власну незалежну структуру деканатів, парохій, монастирів, але й була оберегом моралі, консервативним, об'єднуючим, виховним чинником. Глава Церкви Митрополит Андрей Шептицький був ідеологом нового душпастирства, розширював вплив церкви, пояснюючи Божу науку через численні пастирські послання, через священників, закликав інтелігенцію, молодь працювати для добра народу, плекати душу окремої людини. Греко-католицькі священники були душпастирями народу, будні і свята якого перепліталися з буднями і святами більш організованих, соціально захищених власною державою римо-католиків — поляків.

У 1935 році у розмові з кореспондентом польської газети «Tygodnik ilustrowany» Раздмінським Митрополит Шептицький окреслив умови діяльності священників:

«Католицька церква, якої човен пливе по нечувано розбурханих хвлях життя ХХ ст., мусить боротися за стан свого посідання і власне тому не раз лежить в інтересах церкви, щоб не осуджуючи всього, що має якийсь зв'язок з націоналізмом (в інтерв'ю йшлося про українсько-польські взаємини. — Ж.К.), притягти до себе його прихильників. Осудження націоналізму церквою та її поодинокими представниками виключало б можливість будь-якого порозуміння». В тому ж інтерв'ю Митрополит зауважив, що «фашизм без сумніву зближений до новітньої ереси, а все-таки Ватикан підтримує добрі стосунки з його творцем Муссоліні».

Життя щоденно випробувало священиків і їхніх вірних тривалим проживанням на одній землі з євреями та поляками. Така собі спільна кухня у величезній комунальній квартирі-державі. Були протиріччя, конфлікти між селянами і корчмарями, пізніше українськими кооператорами й єврейськими торговцями, але між священиками і рабинами — ні.

Відомий єврейський громадський діяч, співробітник Т.Герцля Н.Бірнбаум ще на початку ХХ ст. писав: *«З усіх європейських народів єдино русини не співробітничали в створенні великого всесвітнього наклепу проти євреїв. А те, що раніше було лиш справою їхнього інстинкту, нині вони, русини, продовжують як свідому політику... Русини, серед яких, можливо, мешкає більшість євреїв, не вимагають їхньої асиміляції»*. (Acher M. Die Jüdische nationale Bewegung // Ruthenische Revue. Wien. 1905, №14, s.36-37).

«Інстинкт» формували священики своїм шанобливим ставленням до єврейської побожності, єврейських ребе, синагог — «божниць», як мовили у Галичині.

Чи випадково отець Степан Качала, один із засновників культурно-освітнього товариства «Просвіта», ще у 1869 у книжечці для селян «Що нас губить, а що нам може помагати» доступно пояснював: губить пияцтво, темнота, невміння організуватися, щоб заробити й правильно витратити зароблене. Він не вважав винним корчмаря. Євреїв він, навпаки, вважав прикладом, бо не п'ють, мають школи, вчать дітей, вміло торгують.

Родина Митрополита Шептицького ще за часів проживання у родовому маєтку Прилбичах підтримувала дружні стосунки з родиною рабина Лієнфельда.

У десятках опублікованих спогадів галичан-українців та галичан-євреїв зустрічаємо факти приятних стосунків пан-отців і ребе.

У місті Болахові старші люди досі пам'ятають, як бувало отець Михайло і ребе Кренцбах обговорювали якісь рядки Старого Заповіту. Часто їх оточували цікаві і євреї і українці й шанобливо слухали. Донька отця — Марія і донька ребе — Стелла разом вчилися в українській гімназії у Станіславові.

Життя складають дрібниці, щоденні клопоти. Сусіди євреї та українці добре зналися на традиціях. Взаємно вітали одні одних на свята, бажали усяких гараздів. На Песах і на Пасху господині пригощалися мацою й паскою.

Митрополит Шептицький був відомий у всій Галичині приятним ставленням до євреїв, щорічними посланнями-поздоровленнями єврейській громаді до свята Песах з чеком-пожертвуванням. В архіві Митрополичого Ординаріату збереглися численні листи, звертання єврейських організацій або ж приватних осіб до Митрополита з проханням про допомогу, повідомленнями про нові книжки єврейських видавництв (Центральний державний історичний архів у Львові. Ф.358, оп.1, спр. 113, 105, 145).

Поза сумнівом тисячолітня культура, освіченість євреїв, усвідомлення коренів християнства привертала священиків. Чи ж випадково Митрополит Шептицький ще у молоді роки вивчав іврит?

У пастирських посланнях Митрополита, релігійно-повчальних виданнях греко-католицьких авторів фактично не обговорювалась тема вини євреїв за страту Христа. Шептицький, виступаючи у ролі християнського місіонера, виявляв величезну повагу до єврейського способу мислення, турботу про ізраїльський народ, який *«не видить так ясно сповнення прощитва свого патріарха (і не приймає голосного і виразного свідощтва многих поколінь у всіх народів світу. Може, однако, зближається хвиля, передказана апостолом Павлом, що ізраїльський народ спасеться)»*.

Його турбує, йому болять «журба» та «непокій» ізраїльтян теперішньої пори. *«Вони тепер, як браття Йосифа тоді, змушені були обставинами шукати корму для себе, родин, шукаючи того корму, знайшли Йосифа, вивишеного і славного, через котрого Бог многим людям дав спасіння ще заки до нього прийшли, шукаючи помочі, рідні брати.»* (ЦДІА. Ф.358, оп. I, спр. 16, арк. 51–55).

Позиція Митрополита була позицією і священників. Про це свідчать їхні численні виступи на захист єврейських студентів або крамарів. Широкого розголосу набуло інтерв'ю польськомовній єврейській газеті «Chwila» священника І. Бучка (текст був передрукований українським часописом «Нова зоря»). Отець Бучко називав антисемітизм антихристиянізмом, схвалював прагнення євреїв до власної держави, відзначав великий вклад єврейства у світову культуру.

Польське націоналістичне товариство «Самооборона» з приводу інтерв'ю о. Бучка звернулося до Митрополита з розлогою скаргою, де євреї звинувачувалися у всіх негараздах Польщі. Митрополит залишив скаргу без відповіді. (ЦДІА. Ф.358, оп. I, спр. 145, арк. 138–140; Chwila, 1936. 17; «Нова зоря», 1936, 15. XI).

У передвоєнні роки в Галичині відбулися події, котрі для багатьох тамтешніх євреїв і українців були духовним потрясінням: акти терору, насильства, деморалізація суспільства, невизначеність у житті, незгоди в родинях, непослух дітей і безвідповідальність батьків.

Знаком біди були тихі питання-роздуми рабинів і священників: чому падає моральність, чому так багато конфліктів у родинях, чому так багато відступництва від своїх традицій та віри. Страх покарання за гріхи, заклики до покавання як необхідної передумови Божого благословення поширювалися в єврейському середовищі.

Шестеро опитаних мною галицьких євреїв згадували тексти «Повторення Закону»: *«Коли не слухатимешся голосу Господа Бога Твого, не будеш сповняти усіх заповідей і уставів, що заповідано тобі сьогодні, так прийдуть на тебе усі прокляття і справдяться над тобою.*

Проклят будеш у місті і проклят будеш у полі, прокляте буде твоє сховище і твої запаси, проклятий буде плід утроби твоєї і плід поля твого...

...Господь віддасть тебе на смерть перед твоїми ворогами, одною дорогою виходитимеш проти них, а всіма шляхами втікатимеш перед ними, і будуть гонити тебе по всіх царствах землі».

Вже за рік до нападу Гітлера на Польщу серед євреїв Галичини ширилися чутки, що гряде нечувана біда, бо люди грішать проти Бога, порушують суботу, забувають про милосердя. Навіть у світській єврейській пресі зафіксовано, що рабини віщують покарання за гріхи.

Можливо, що пастирі вибраного Богом народу, як чутливий камертон, вловлювали соціальну напругу, яку може зняти покаяння, протистояння гріху. Не виключено, що вплив єврейської тривожності спричинив появу статей на тему гріха і покаяння.

Ще у 1934 р. на сторінках статті «Хто винен?», опублікованої у періодичному виданні «Львівські Архієпархальні відомості» («ЛАЄВ»), Митрополит Андрей поставив суворий моральний діагноз суспільству: *«Дивлячись на страшну руйну, в яку попав наш нарід на Придніпрянщині, на небувало тяжкї переживання, руйну нашого шкільництва, крайнє зубожіння наших сіл, безробіття майже цілої інтелігентної молоді, крайню нужду, в якій приходитьсь нашим дітям виховуватися, учитися; на крайній упадок моральності по селах, на безхосенність (безрезультатність... — Ж.К.) нашої проповіді, на те з якою легкою совістю люди, навіть інтелігентні, переступають сьому Заповідь Божу, дивлячись на легководушність молодих, несовісність старших, на те страшне багно, в яке глибше западаємо... дивлячись на зростаючу небезпеку алкоголізму... на руйну всього того, за чим може лучитися якась тінь надії батьківщини, — я питаю себе, яка того жахливого стану причина? І логіка фактів вела мене безнастанно до другого питання: чи не треба шукати причини тої руйни передовсім в нас самих?»* (ЛАЄВ, 1934, т.XLVII, с.45).

У 1939 р., напередодні війни, з'явилися сигнальні примірники книжки «Заклик до покаяння, Послання на Великий Піст». Книжка буквально пронизана духом Старого Заповіту. Митрополит наводить і тлумачить вірші Сираха, Пророків, називає і пояснює небезпеку гріхів спокуси, гордині, захланності, бездітства, гніву, невміреності, гріхів, що кличуть про помсту до Неба, — чоловіковбивства, непростимого гріха невіри у Боже вічне спасіння і засоби до того спасіння.

Застерігаючи проти наслідків прокляття, Митрополит ззиває тих, які мають якісь гріхи, *«що кличуть про помсту до Неба»*, пам'ятати настанови мудреця Старого Заповіту: *«Не кажи: я вправду согрішив, але нічого злого не спало на мене. Всевишній довготерпеливий, довго зсде з відплатою і карою. Не будь без страху супроти гріхів, навіть і відпущених...»* (Сираха 5: 4-7).

«...Божє благословення багато значить і дуже потрібне у житті. В цю правду вірять і невірющі люди. Її признають католики, православні, протестанти, усі сектанти, всі жиди, магометани, я б сказав би — всі погани та атеїсти.

Є щось у житті, що люди називають Божим благословенством... люди вірять, що є в житті якісь укриті сили, чи прикмети, яких не додачує людське око, а які мають дуже велике значення в житті». (А.Шептицький. Заклик до покаяння. С.43-44).

Початок другої світової війни був і початком жакливого випробування Смертю. Рабини і священники в прямому й переносному смислі кляли свої голови за своїх вірних, в ім'я Божого Світлого образу, в ім'я життя у Божому благословенні.

Голокост для рабинів і драма знищення греко-католицької церкви для священників почалися з вересня 1939 р. Ні, тоді їх не вбивали масово у таборах смерті. Радянська влада одразу ж перетворила їх у «служителів культу», заганняючи на задвірки буття, знецінювала їхню тиху й непомітну духовну працю галасливою атеїстичною пропагандою, дешевими звабами.

За 22 місяці радянської влади були арештовані та депортовані сотні священників, рабинів, канторів, меламедів, особливо з біженців з корінної Польщі, які рятувалися від німецьких фашистів. Важким ударом було позбавлення церкви й рабинату матеріальних цінностей: конфіскація майна, приміщень, земель. Це знижувало, а то й зводило нанівець традиційну доброчинність. Зневажання суботи, неділі, релігійних свят в умовах страху й терору деморалізувало, виснажувало. Одночасно єврейську й українську молодь масово спокушали декларованими можливостями навчання або державної служби в різних установах.

У листі до Кардинала Тіссерана 26 грудня 1939 р. Митрополит Андрей описував наслідки перших місяців урядування Советів: *«Це є система, абсолютно позбавлена всього того, що є або могло бути милосердям, або навіть доброзичливістю, хоча б навіть до найубогіших»*.

Здається, що все те, що походить від властей, має на меті притіснити, руйнувати, нищити і завдавати болю; при всьому тому неймовірно безладдя. Численні [нові] посади, бюро, комітети, представники всіх властей в Москві та Києві — і всі ті уряди, які не мають чітко вираженого спрямування, уявляють, що вони покликані робити все, і що вони можуть робити усе. Всі накази віддаються під загрозою смерті, кожен відділ всіх цих урядів ставить вимоги та завжди погрожує смертю: видається, що всі працівники можуть дозволити вбити будь-кого без ризику бути покараними. Колишнє ЧК, яке зараз називається НКВД, притягає до себе і примушує молодь ставати тайними агентами. Від першої хвилини усі школи були проголошені державними. Заборонено вчити релігію, і почалася тенденція систематичного згіршення, корумпування молоді, приваблюючи їх всякими танцями, музикою, іграми та врешті пропагандою фанатичного атеїзму...

Комерція майже зовсім знаціоналізована, неторговельні заклади конфісковані... Люди, котрі мали хоч найменшу власність, є зруйнованими... Почалася конфіскація майна сільських господарів, які хоч трохи багатіші від інших...

У всіх деталях виявляється ворожнеча і ненависть супроти релігії та духовенства, а також неймовірна жорстокість супроти людини взагалі. Всі себе взаємно ненавидять, кожен вважає другого своїм ворогом. Все це, поряд з руїнами війни, тисячі і тисячі людей, які втікаючи перед німцями, перейшли

від Польщі до нас. Іміграція величезного числа жидів, які також тікали перед німцями, все це значно ускладнювало умови життя. Від самого початку польське військо конфіскувало всі життєво необхідні речі, а червона армія масово експортувала все виробництво... Все живе населення живе під загрозою, що їхнє майно буде забране і що вони будуть ув'язнені...

Число арештів зростає, навіть по селах. Жиди в колосальних числах вторгаються в ціле економічне життя краю і надають діям властей характеру гідкої захланності, яку раніше можна було бачити серед малих жидівських нечесних і непорядних купців». (Митрополит А.Шептицький. Життя і діяльність. Документи і матеріали. 1899—1944. Львів. Вид-во Отців Василян «Місіонер». 1999, Т. II, кн. 2. с.892—894).

Це аналіз розумної неупередженої людини. Антисемітська польська і німецька пропаганда, наче підтверджуючись, спадала на голови галичан реаліями репресивної радянської дійсності. Інтелігенція — провід довоєнних років та духовні особи — були позбавлені будь-якого впливу, вся релігійна національна преса була ліквідована. Усталене життя, де публічно розмежовувалися порядні і непорядні люди, добро і зло, де загальновизнаними цінностями були милосердя і справедливість, нагло відійшло у минуле. Радянська влада паралізувала духовні сили галичан.

Такими ослабленими духовно, в обстановці жаху репресій, зустрічали галичани німецькі війська. Організоване обмеження інформації (радше дезінформація) маскувало сутність гітлерівської політики, особливо щодо євреїв. Першими зрозуміли весь огром зла ортодоксальні рабини та глибоко віруючі хасиди.

Випробування смертю в прямому розумінні спало на рабинів з початком гітлерівської окупації. Знищувалися синагоги, знищувався дух юдаїзму. Мабуть, фашисти у своїй безмірній безбожності все-таки розуміли значення молитви, спілкування з Богом. Вже у перші місяці вони заборонили не лише богослужіння у синагогах, але і міньяни. Якщо хтось виявляв ці спільні молитви, а виявляти могли «арійці» — двірники, сусіди — українці, поляки, а то й фольксдойчі, — міг повідомити у поліцію: усіх, хто молився разом з господарями квартири, *«тягнули до в'язниці, звідки вже не верталися»*, — згадував рабин Давид Кахана.

У перші дні молодчики з айнзацгрупи, провокуючи погроми, особливо збиткувалися над рабинами. Їхні яремки, їх бороди, одяг, поведінка доводили німців до шалу. Вони полювали на духовних осіб, посилено вишукуючи, виділяючи з натовпу, особливо жорстоко знушаючись над ними.

У перші дні окупації у Львові загинули найвідоміші рабини Єзекіль Левін та його брат, біженець з Ряшева, ребе Аарон Левін.

Старші мешканці містечка Перемишляни на Львівщині досі пам'ятають, як німецькі молодики зачинили у синагозі євреїв, які прийшли на молитву, обклали будівлю соломомою і підпалили. Окупанти методично

знищували синагоги, священні книги, паплюжили ритуальні речі. У Львові у серпні 1941 підпалили велику міську синагогу, через кілька днів синагогу на вул. Богданівка, Сикстутську синагогу у центрі міста. *«Видовище синагог, що горіли, — згадував ребе Д.Кахана, — наводило жах. Навколо стояла охорона, щоб перешкодити пробратися усередину й щось врятувати».*

Знищення євреїв у Галичині розтяглося майже до кінця 1943 року. У всі ці пекельні дні й ночі рабини, які залишилися живими, були зі своїм народом у гетто, таборах праці. Як шанованих, освічених, надійних людей їх обирали до юденратів, так бувало у Львові, Станіславі. У маленьких містечках рабини траплялося й очолювали громади.

Яка непоправна втрата для історії, що у літературі діяльність саме духовних осіб розглядається переважно у контексті юденратів та єврейської поліції порядку у великих містах. Чи не єдиними спогадами рабина Галичини, який вижив у тій безодні пекла, є *«Щоденник львівського гетто»* Давида Кахана. У розділі про юденрат, описуючи діяльність усіх відділів, останнім, — останнім, і я не можу збагнути чому? — він називає релігійний відділ і присвячує йому лише дві з половиною сторінки тексту.

Відділ було створено, коли сотисячна львівська єврейська громада поставила перед юденратом питання *«про надання кошерного м'яса, освячення шлюбу, винесення судових рішень у випадках розлучень»*. Були сподівання, що хвиля гонінь коли-небудь згасне, життя євреїв стабілізується і почне поступово відновлюватися. До відділу (фактично рабинату) увійшли рабини, що працювали в період між двома війнами й залишилися живі: ребе Моше Ельханан Альтер, колишній голова рабинського суду, ребе Ізраїль Лейб Вольфсберг, голова рабинського суду за межами міста ребе Залозич, Натан Нуте Лейтер, ребе Шмульке Раппопорт та його брат Моше Аарон Прейс, ребе Герш Розенберг, ребе Аншель Шрейбер. До рабинату увійшли також рабин міста Катовіце доктор Кальман Хамейдес та колишній рабин Сикстутської синагоги Давид Кахана.

Саме він описує мужність рабинів, які підписували документи про шлюби, розлучення, похорони, що підлягали поданню німецькому судові, віддаючи себе *«практично до рук німців, тому що цим підтверджували той факт, що у Львові існують рабини»*. Часті розлучення були жахливим породженням расової політики. *«Арійські жінки»*, які прийняли юдаїзм, поступались перед наполегливими умовляннями чоловіків, даючи згоду на розлучення лише задля порятунку своїх дітей.

Рабини віддавали останню шану померлим, намагалися організувати школу для дітей, таємно відправляли богослужіння. Нешастя об'єднували. Ніколи до того в історії Львівської єврейської громади не було такої однастайності між рабинами, як за тих часів. Відокремлені суди були скасовані, за свідченням Д.Кахана, всі *«розходження між хасидами і мітнагдм (найлютішими супротивниками хасидського руху. — Ж.К.), між*

сучасним і ортодоксальним напрямками залишалися осторонь. Всі сиділи за одним столом, панувала цікавита згадана».

Рабини у юденратах часто були змушені вирішувати або брати участь у вирішенні жакливиx питань — так званиx переселень, формуванні вказаної німцями кількості людей, як стало скоро відомо, на знищення.

Д.Кахана описує один з таких випадків. У гнітючій атмосфері безнадії рабини відхилили спасіння багатьох ціною жертви деякими. Вони взяли до уваги думку мудреців Талмуду: *«Чому ти вважаєш, що твоя кров червоніша за кров інших людей?»*, тобто, чому вважаєш що твоє життя цінніше за життя інших. Можливо, істина полягає в протилежному. Жодна душа не краща за іншу. Звичайно, всі рішення рабинів не впливали на дії німців.

У маленьких містечках, рабини іноді йшли на смерть зі своїми вірними. У Зборіві старші люди пам'ятають добру справедливу людину рабина Альтера. Українці готові були його переховати, пропонували сховати його маленьких донечок. Старенька пані Марія Семчишин зі сльозами на очах розповідала: *«Пішов на смерть з усіма, казав — кара впала на нас, жидів. Як ми не спокутуєм, загинуть усі жиди у світі»*.

У багатьох обставинах нестерпного, жалюгідного існування ребе були останнім оплотом віри і милосердя. У пеклі животіння сотні дрібних вчинків — слів розради, співчуття, приклади допомоги — були реальним живим благословенням традиції єврейських мудреців: *«Навіть коли вістря меча на її ший, людина повинна бути милосердною»*. Милосердям приреченим були ритуали, благословення на свята.

Рабин Кахана у грудні 1942 р. в Янівському таборі смерті як одержимий розшукує недогарок свічки й запалює Ханукальну свічу. Барак змучених людей загудів, одні застерігали від негайного розстрілу, інші просили *«нехай висловить благословення»*. Хтось почав співати *«Могутня скеля мого порятунку...»* Світле чудо Хануки надихало і вселяло надію у змучені серця безпорадних, ослаблених фізично і надломлених духовно людей.

У квітні 1943 р. завершувалась ліквідація Львівського гетто. У робочих бригадах спеціального табору рабини Зелтенрат, Френкель, Хольберстрат, Тверської і Кахана задумали і влаштували пасхальний сецер. Вони навіть зуміли дістати два мішки борошна й таємно відремонтували піч у напівзруйнованому будинку, щоб спекти мацу. Кантор читав молитву пошепки, щоб, не дай Боже, не було чути зовні. Слухали вірші Псалмів 113-118. То тут, то там хтось схлипував. Старе як світ питання, особливо болюче в гетто і таборах: *«Чому? За що? Чому праведники страждають? Де для Бога Праведник?»*

Ребе з Косова І.Шмідт втішав рядками з Книги Йова: *«Чи можемо ми осягти шляхи і плани Провидіння зі своїми людськими поняттями про гріхи, кари, праведність, справедливість. Приймаємо волю Господа Бога Твого»*.

Євреїв звинувачують, що йшли на страту, на смерть покiрно, як вівці. Хто знає, хто відає, що думали, відчували ці приречені в останні хвилини на своїх хресних дорогах?

Спогади тих, що вижили, закарбували візуальні картини.

Рабин Кахана: *«Декілька сотень євреїв, в основному жінки, діти і старі, що ледве пересували ноги, заповнили вулицю. За ними йшло кілька есесівців, українських поліцаїв та шупо... Євреї рухалися дуже повільно, звуки їхніх кроків луною віддавалися в мертвій тиші вулиці. Їхні обличчя були серйозними та зосередженими, начебто всіх поглинула якась важлива спільна думка, що, здавалося, примушувала їх змиритися зі своїм безсиллям. Люди, які нещодавно нервували і втрачали розум, тремтячи від жаху, мліли, очікуючи у своїх схованках приходу німецьких катів, люди, що так хотіли жити, — тепер начебто зовсім змінилися. Спокій опанував їхні обличчя, вони мали вираз замисленої покорі, на них більше не було страху. Вони дійшли простого висновку: «Ми євреї, тому ми повинні померти. У нас немає іншого вибору».*

У хвості колони я побачив знайому високу людину з кучерявими пейсами і чорними пронизливими очима. На ньому був чорний светр, під пахвою він ніс таліт. Це був Гедалке, шойхет з Подолії... Коли він підійшов ближче до мого спостережного пункту, я помітив, що його губи ворухнуться, — він щось бурмотів. Можливо, він читав молитви, вітаючи Шабат?

З моїх уст готові були злетіти слова, якими охоплена розпачем дружина Йова дорікала чоловікові: *«Ти все ще міцно тримаєшся в невинності своїй? (Йова 2:9) Ти усе ще шойхет, Реб Гедалке? Ти, як і раніше, сповнений полум'яної віри? Якщо це так, Гітлер може забрати твоє тіло, але не твою душу».*

Шістнадцятирічна Стефанія Велет з села Розлуч на Турківщині бачила й запам'ятала, як під холодним дощем гнали через село євреїв. Вони йшли, немов *«не на цьому світі»*, а старий Мошко тоскно співав. Розповідала, як на сповіді каялася, що має жаль до родичів, які не рятують від загрози вивезення до Німеччини, а священник сказав: *«Молися, дитино, корися. Бог Милостивий дасть тобі покору в терпінні, як жидам, бо то нарід Божий».*

Випробування небаченим злом ламало людей.

«Осінніми святами 1942 р. — згадував Д.Кахана, — крадькома збиралися львівські євреї у міньяни, щоб тихою молитвою вилити Творцеві свої гіркі скарги. Це не були молитви смиренності, люди не били себе в груди, опутивши голови. Це не було традиційне визнання «ми винні більше за всіх людей» і прохання, що випливало за ним, — послати на наші голови найбільше нещастя за наші гріхи...

...Цей настрій не мав нічого спільного з тим, яким, судячи з донесених до нас віками хронік або плачів, були охоплені євреї в часи хрестових походів. Тоді євреї били себе в груди і визнавали свої гріхи. Вони вірили, що вони дійсно заслуговують на серйозне покарання. Тому їм було легше виносити свої страждання і легше примиритися зі смертю. Але тепер євреям не вистачало цієї простої віри, віри чистої, ясної і світлої. Тому їхні муки були незліченно більшими і за своїм трагізмом значно перевершували муки їхніх далеких предків у пільмі середньовіччя».

Греко-католицька церква в ті страшні роки була церквою народу, який так відкрито, планово не знищували як євреїв. Українців, як і поляків, зараховували до «арійського» населення. Хоч швидко стало очевидним, що після розправи з євреями дійде черга й до них.

Серед деяких єврейських галицьких політиків було популярне тлумачення ситуації євреїв за польської влади як стану «між молотом і ковадлом». За німецької влади чи не в аналогічному становищі опинилася церква.

Молотом німецької безбожної влади були антисемітська антилюдяна пропаганда, розбещення ефемерною владою (українські війти, старости, допомогова поліція), виснажуючі податки, вивезення молоді на примусові роботи до Райху. Вдаряла по українцях й боротьба з польськими угрупованнями, які претендували на довоєнні «Східні Креси», з червоними партизанами, а з кінця 1942 р. і з ОУН-УПА.

Ковадлом були старі германофільські ілюзії, навіть у діячів церкви, підсичені жахами більшовицького терору і брехнею щодо німецької політики в Україні, низька політична культура національного проводу розкол ОУН і взаємне поборювання.

Жахливими були наслідки зваб більшовицької і фашистської пропаганди чи не у всіх верствах українського населення. Українці не лише зазнавали тиску з боку німецької влади та перебували в постійному страху перед поверненням Советів, але й брали участь у актах насильства. Деморалізація суспільства, невизначеність у житті, загальний розпач, втрата надії на майбутнє стали загрозою для християнської спільноти.

Нешастя, на жаль, не об'єднували українських релігійних діячів, як єврейських. Колосальні зусилля Митрополита Шептицького створити єдину українську церкву, що об'єднувала б Схід і Захід, виявилися марними.

Греко-католицька церква була підпорядкована Ватикану, який не мав на ті часи чітко визначеної позиції ні щодо українців, ні щодо євреїв, яких винищували як націю.

29—31 серпня 1942 р. у листі до Папи Пія XII Митрополит Шептицький писав: *«Уряд запровадив небачений режим терору і корупції, який день по дню стає все тяжчим, непосильним... Щонайменше рік немає дня, коли б не чинилися найогидніші злочини, вбивства, злодійства і грабунки, конфіскації і насильства. Першими жертвами є євреї. Кількість вбитих євреїв у нашому малому краї вже з певністю перевищила двісті тисяч. Спочатку влада соромилася таких актів нелюдської несправедливості, намагалася запевнити документами, що ці вбивства чинять місцеве населення або міліціонери. З часом стали вбивати євреїв на вулицях на очах усіх мешканців і без тіні сорому. Звичайно, велика кількість християн, і не тільки хрещених євреїв, але й «арійців», як вони кажуть, стала жертвою несправедливих убивств».* Митрополит підкреслює безмежну деморалізацію, якій піддаються прості і слабкі люди. Вони навчаються злодійству, злочину людиноубивства,

втрачаючи почуття справедливості і людяності. (Лист Митрополита Шептицького до папи Пія XII // Митрополит Андрей Шептицкий. Життя і діяльність. Документи і матеріали. Т. II, кн. 2. С. 982).

В ім'я порятунку людської душі, святості життя як Божого дару, Митрополит Шептицький вдається до єдино можливих в цих умовах засобів. Це відкриті, легальні пастирські послання до священників і вірних, а також таємні акції рятування людей, які найбільше терпіли, — євреїв.

Вже з 1941 р. на Архієпархіальних соборах Греко-католицької церкви з ініціативи Митрополита були запроваджені обговорення з метою широкої популяризації серед священників, а через них серед вірних сутності і змісту Божих заповідей. До кожного з таких соборів Митрополит звертався з посланням. Деякі публікувалися у Архієпархіальному віснику, в українських газетах «Львівські вісті», «Краківські вісті», «Рідна земля», у скороченому, або повному обсязі.

Нещодавно в Центральному Державному Історичному Архіві вищих органів влади серед документів фонду Організації українських націоналістів виявлено зошит із робочими записами керівного органу Греко-католицької церкви Митрополитичого Ординаріату з липня 1941 до липня 1944 р. Серед них пастирські послання, звернення до священників, розпорядження. Третина з підписом Митрополита (ЦДАВОУ, Ф.3383, оп.3, спр.13).

Щоденникові записи свідчать про шалену цензуру, переслідування священників з боку німецької адміністрації і намагання використати усі можливості церкви в реалізації християнського обов'язку захищати людське життя.

10 липня 1941 р., через п'ять днів після добре відомого в історичній літературі вітання Шептицького «*побідоносної німецької армії*» з подякою за «*порятунок від більшовизму*», підтримки проголошеної ОУН(б) 30 червня і невизнаної німцями держави, шоку мешканців Львова і багатьох повітових міст від виявлених у тюрмах закатованих в'язнів і розгулу спровокованих айнзацгрупою єврейських погромів, — Митрополитичий Ординаріат оприлюднює «Посланіє до Духовенства про організацію парохії і громади».

За підписом Митрополита Андрея душпастирі фактично зобов'язувалися «*якнайскоріше братися до усильної праці над doprowadженням до порядку парохії і громадян...*», «*доручалося* очолити громаду у випадку партійних роздорів... *свою владою назначити війта, радника, начальника міліції...*», нагадувати вірним, особливо молоді «*дотримуватися Божого Закону. Його порушення є гріх проти Бога*».

«*Наше завдання душпастирів так учити і давати такий примір, щоб поміж нашими вірними не було ані одного, що жив би у неласці і Божому гніві. Християнин може упасти в гріх, але не повинен у грісі тривати. Як довго поміж вашими вірними, Всечесні отці, є люди, що цього не знають і не уміють так жити, так довго ви ще не сповнили найважливішої часті вашої душпастирської праці*».

Були дуже поважні причини, щоб у тих обставинах саме у такий спосіб організувати працю священників. 6 вересня 1941 р. Митрополичий Ординаріат оприлюднює звернення «Тризуб без Хреста» (Відзнаку Тризуб носили члени ОУН(б) і також українські поліцаї). Тризуб без Хреста трактується як символ, «повороту до поганства». Центральна Рада 1917-1918 рр., яка заснувала такий символ, «допустилася много ошибок і під впливом засідаючих в ній безбожників спричинила національну руїну». Виявом безбожництва трактувалося і заступлювання виразом-привітанням «Слава Україні!» виразу відвічної похвали, що віддавалася Христу «Слава Ісусу Христу!». Загрозливою називалася тенденція «Усунути Христа і поставити батьківщину на його місце». «Взиваю усіх християн, — писав Митрополит — енергійно поборювати ті прояви безбожництва у практиках українського патріотизму».

В історичній літературі, у спогадах Д.Кахана подається дата оприлюднення — публікації на сторінках «Архієпархіального вісника» — знаменитого пастирського послання Шептицького «Не убий!» — 21 листопада 1942 року. Як свідчать сторінки робочих записів Митрополичого Ординаріату, вже 5 жовтня 1941 р. Митрополит Андрей подає «Всечесним отцям» основні положення послання «Не убий! — засудження гріха добровільного чоловікоубивства»:

«Коли немає можності голосно протестувати проти таких злочинів у пресі та голосом обурення п'ятнувати той злочин, відстрашувати перед його стовненням наших вірних, а передовсім нашу молодь, то тим усильніше, тим частіше і тим більше рішучо мусить підноситися той голос з християнської проповідальниці».

В умовах безмірної наруги над людськими і Божими законами, не маючи ні влади, ні опори на довоєнні світські, такі авторитетні і дієві в Галичині, організації, «...зі страху про вічне і дочасне добро дорогого нам народу», церква шукала «усильних орудників, щоб народові заєдно пригадувати його обов'язки супроти Бога».

Митрополит наголошує на величчі Божих чеснот, любові до ближнього, протиставляючи їх мерзенному злочину чоловіковбивства. Шептицький пов'язує любов до ближнього, спасіння душі й пошанування непорушності святості людського життя.

«...На першому місці представимо короткими словами вагу, святість і велич Божого Закону, що велить любити ближніх, як себе самих, а тому світлому образу з неба, себто представленню Божої чесноти, любові, протиставимо мерзенний злочин чоловіковбивства, що є прямим і найкрайнішим противенством того небесного і пресвятого обов'язку людей, яким можуть собі запевнити і дочасне щастя і вічне спасіння в небі».

А правдива любов обимає всіх ближніх. Годиться вправді своїх близьких більш, а дальших, чужих менше любити, але християнською любов'ю треба усіх ближніх обнимати. У Старому Завіті було сказано: люби твого ближнього,

а ненавиди твого ворога. А Христос сказав нам: «Любіть ваших ворогів і моліться за тих, що переслідують вас, щоб ви стали синами Вашого Вітця, що на небесах, котрий своєму сонцю велить сходити на добрих і на злих, і посилає долю на праведних і неправедних» (Матв. 5:45). Тому-то пресвятої всеобнимаючої християнської любови ближнього для Бога найгірше відрікається і в собі її нищить той, хто допускається страшного мерзенного злочину проти п'ятої заповіді Божої: «Не убий!» Чоловіковбивник виключає себе з тої Божої суспільності, з тої родини, якою по замірам Божим має бути людство. Тяжким гріхом проти суспільності людей чоловіковбивник відділяється від суспільності людей і стягає на себе велику Божу кару у вічності та страшне Боже прокляття на цьому світі.

...Цей суд Божої науки громом прокляття спадає на всіх, що топтаючи святість Божого Закону, проливають неповинну кров і самі себе відчужують від людського суспільства, нехтуючи те, що в тому суспільстві є найбільшою людською святістю, цебто людське життя».

Критика Митрополита Шептицького пряма і безкомпромісна. В умовах німецької цензури, розтління свідомості отруйною пропагандою він не боїться прямо вказувати українцям на їхнє зло. Митрополит називає і засуджує тогочасні вбивства: політичне, дитовбивство, вбивство брата-громадянина.

Андрей Шептицький закликає пастирів і вірних брати участь у наведенні злочинців на стежу праведності. Повторними нагадуваннями, розривом усяких зв'язків, бойкотом родини — всі повинні дати зрозуміти злочинцеві, що бачать в ньому небезпеку для громади, джерело зарази, яке загрожує охопити оточуючих. Священики повинні докладати усіх зусиль, щоб навертати злочинця до покаяння.

Чи впливали на долю населення Галичини пастирські послання Митрополита Шептицького? Чи зупинили вони нацистську машину нищення, чи уберегли від гріха людиновбивства? Ні, не зупинили, але загальмували її пекельний рух.

В умовах німецького тоталітаризму з його жорстокою цензурою чи міг Митрополит писати окремо про євреїв, українців, поляків, німців? — Не міг. Але його послання — звернення до українців, щоб шанували вони свою людяність, а через неї і людяність інших людей.

Особистий водій Митрополита А.Шептицького Іван Гірний (проживає нині у Нью-Йорку) під час візиту до Львова у 1997 р. згадував, що послання «Не убий!» мало вплив на віруючих. Як доказ він наводить факт з розповіді Генерального секретаря громадського комітету солідарності з євреями колишнього СРСР Давида Прітала, який мешкає нині в кібуці Маала Хаміша в Ізраїлі. Д.Прітала рятував українець Іван Яцюк і він пам'ятає, як по селах рятували євреїв (Спогади А.Гірного // Високий замок. 1997. 12 вересня).

Послання Шептицького формували у священиків і вірних їхню власну, індивідуальну поведінку. В умовах запеклої антисемітської пропа-

ганди це був чи не єдиний доступний засіб прямого впливу на священників і вірних. І він мав свої добрі наслідки. Попри страшенну моральну наругу, послання діяли ще й тому, що жила традиція Пастирського обов'язку, сформована десятиліттями серед галицького греко-католицького духовенства. Поведінка священників, монахів, їхній особистий приклад протидії знушенням над євреями благотворно впливали на мирян.

У Перемишлянах старі досі пам'ятають, *«як порятував отець Еміліан Ковч з вогню жидів»*. У вересні чи на початку жовтня 1941 р. у містечко приїхала на мотоциклах група СС, оточили синагогу, де зібралися на молитву євреї. Зачинили двері, підпалили й синагогу, й навколишні будинки. До отця Ковча з криком прибігли кілька євреїв,лагаючи допомоги. Разом з сином отець вискочив з хати, вбігши між юрбу коло синагоги. Закричав по-німецькому до есесівців, щоб відійшли, а сам кинувся відчиняти двері. Йому допомагав син, долучилися й люди. Для німців така відсіч була настільки неочікуваною і несподіваною, що повсідали на мотоцикли й подалися з містечка. Отець і люди почали витягати з божниці напівпритомних євреїв. Благали тікати, хто куди може, бо німці могли повернутися.

Усну інформацію мешканців Перемишлян підтвердили опубліковані спогади очевидців подій. (А.М.Ковч-Баран. За Божі правди і людські права. Збірник на пошану О.Еміліана Ковча. — Саскатун, 1994).

У 1942 р. Митрополит Андрей Шептицький прямо звертається з листом до Гімлера, протестуючи проти використання української допомогової поліції у єврейських акціях.

19 вересня 1943 р. Львів відвідав високопоставлений чиновник імперського міністерства окупованих східних земель. У своєму звіті він викладає і зміст розмови з Митрополитом та його братом Климентієм.

«Митрополит звинувачує німців у їхньому нелюдському ставленні до євреїв. Лише у Львові вони вбили 100 000 й мільйони на Україні. Один молодий чоловік признався йому на сповіді, що він особисто протягом однієї ночі вбив у Львові 75 осіб.

Я зауважив, що за даними, які маємо, українці також брали участь у цих бойнях, що цілком природно, особливо після того, як незадовго до відходу російських військ Совети знищили у Львові і його околицях 18 тис. чоловік. Крім того, майже всі члени НКВС були євреї, чим і пояснюється ненависть серед населення. Хіба єврейство не є смертельною загрозою для християнства, яке євреї поклялися знищити?»

Митрополит зі мною згодився, але продовжував відстоювати, що знищення євреїв недопустиме.

Примітка. З цього питання Митрополит викладав думки у тих же виразах, що і французькі, бельгійські, голландські єпископи, ніби всі вони отримали однакові директиви від Ватикану». (ЦДАВОУ. Ф. КМФ-8, оп. 1, спр. 77, арк. 40-41).

Чиновник наводить протести Шептицького щодо нищення євреїв. Він повідомляє, що Митрополит вважає, що німці зазнають поразки, що англо-американці візьмуть верх, але не надовго, тому, що *«остаточна перемога більшовизму не викликає сумніву»*. На запитання чиновника: *«А Німеччина? Невже порятунок не залежить від неї?»* Митрополит відповів: *«Німеччина гірша більшовизму»*. Хоч і зауважив, що *«більшовизм — грубий феномен, панування якого буде неперехідним, або він буде підданий якимось змінам у майбутньому»*. (ЦДАВОУ. Ф. КМФ-8, оп. 1, спр. 77, арк. 41).

Прямі протести Митрополита Андрея, скеровані до німецької влади, відкриті послання до вірних і священників, де євреї як місцеве населення фактично не згадуються, чи мали вони якісь наслідки? І так, і ні. Ні, бо не могли зупинити пекельну машину нищення євреїв як етносу, урухомлену фашистами. Так, бо гальмували її рух, оберігали, рятували душі, життя і українців, і поляків, і євреїв.

Ще один факт. У грудні 1941 р. у Львові та й у інших містах набирала розмаху епідемія плямистого тифу, в очі львів'янам лізли плакати із закликами *«Стережися плямистого тифу, уникай жидів!»*.

Через канцелярію Митрополита за підписом канцлера О.Голянта була розіслана настанова священникам *«У справі поборювання плямистого тифу»*, де збудниками епідемії були названі воші, а причинами *«відсутність мила в часі війни»*, рекомендувалося *«повідомляти пастві прості, доступні заходи протидії зараженню: раз у 4-5 днів виварювати білля (білизну. — Ж.К.)»*.

Послання А.Шептицького впливали на етичну поведінку окремої особи, священника, пересічного вірного, коли доводилося приймати своє власне рішення. Арешти десятків парохів, українських мішан і селян за допомогу євреям говорять самі за себе.

Були проведені тотальні обшуки у багатьох монастирях, у резиденції Митрополита на Святоюрській горі. Але самого Митрополита німці не сміли заарештувати, мабуть усвідомлюючи, що це могло б спричинити небажані для них масові виступи.

У червні—серпні 1942 р. прокотилася хвиля арештів священників у Самборі, Підгайцях, Раві-Руській, Перемишлянах, Львові. Їх звинувачували у хрещенні євреїв, щоб приховати їх від влади, у протидії «німецькій справі».

Арешти й переслідування не вплинули на організоване Митрополитом та його Церквою рятування євреїв. Про цю діяльність знали не лише священнослужителі, але й пересічні вірні. В умовах засилля таємної поліції, доносів, провалів досвідчених членів ОУН, німецька влада не змогла виявити сотні єврейських дітей, жінок, чоловіків, якими опікувалася греко-католицька церква.

Брат Митрополита Климентій Шептицький безпосередньо організовував розміщення єврейських дітей і жінок по монастирях Львівської єпархії, в Уневі, Якторові. Були влаштовані тимчасові пункти пере-

ховування у лікарні на вул. Петра Скарги у Львові, у друкарні резиденції Митрополита. У самій резиденції на Святоюрській горі в монастирі студитів переховувалися рабин Д.Кахана, діти рабина Левіна.

Настоятель монастиря студитів Марко Стек організовував перевезення й розміщення євреїв по монастирях єпархії, забезпечення їх документами. Єврейських дітей розподіляли не лише по монастирях, але й у дитячі притулки добродійних установ Українського допомогового комітету. Багато єврейських дівчаток знайшли притулок і вижили у дитячому будинку в Брюховичах під Львовом.

Отець Котів організовував для євреїв підготовку «арійських» документів, забезпечення одягом, харчами. Особисто опікувалися дітьми й жінками настоятельки монастирів — ігумена Йозефа, сестра Моніка.

Рятування євреїв безпосередньо організовували священики Іванюк, Титус, Пронюк, Будзиновський, Ковч й багато інших, імена яких ще досі не виявлені і не названі (Д.Кахана. Щоденник Львівського гетто // Діалоги. 1987. №№ 5-7, 7-8, 13-14; Спогади сестри Марії, С.Витвицького).

Лише 14 серпня 1942 р. понад 100 єврейських дітей, серед яких були й сини рабинів Хамейдеса та Левіна, а також донька рабина Кахана були вивезені до монастирів. Про це пам'ятає водій Митрополита Іван Гірний. Особисто він перевіз з митрополичих будинків до монастирів в Унів та Якторів понад 80 дітей. Чимало врятованих вижило і живуть тепер в Ізраїлі, Англії, США, Аргентині. З багатьма з них Іван Гірний зустрічався.

З якими труднощами було пов'язане переховування, знали священики й їхні помічники, частково могли збагнути й оцінити врятовані. Міські євреї здебільше знали польську, а не українську мову, діти взагалі могли говорити лише рідною мовою ідиш. Українське життя, звичаї були для них чужими, хоч жили роками на одній землі. Рятівники часто хрестили дітей, обов'язково давали їм християнські імена, вчили мови, звичаям. Про те, щоб одягнути дитині хрестик, навчити молитов, особливо дбали сестри-монахині, які провадили сиротинці при монастирях. Цим вони рятували дітей під час численних обшуків, перевірок, рятували й самих себе й монастир. Адже переховування євреїв каралося смертю. Дорослих забезпечували «арійськими» документами. Жінок вчили мови, поступово вводили у легальне життя. Чоловікам влаштовували таємні сховища, які з метою конспірації часто змінювали.

У 1941 — на початку 1942 р., шукаючи спасіння, частина євреїв, особливо у більших містах, вихрещувались. Для більшості дорослих людей, навіть тих, які не були особливо релігійними, зміна віри була важким вимушеним рішенням. Це не рятувало від нацистських переслідувань, бо згідно з гестапівською інструкцією після хрещення євреї не ставали «арійцями». Але все-таки свідоцтво про хрещення полегшувало можливість дістати «арійські» документи, а це ж була надія. Надія на порятунок.

Хрещення проводили напівтаємно у церквах Львова, повітових міст. Отець Е.Ковч з Перемишлян катехізував і хрестив усіх євреїв, які того хотіли.

Діяльність о.Ковча набула розголосу. В кінці 1942 р. він був арештований гестапо. За нього вступився сам Митрополит Шептицький. Казали, що його обіцяли звільнити, але мусів виконувати заборону хрещення євреїв. Отець відмовився, заявивши, що знає одну владу Христа, який сказав: *«Хрестить усіх в ім'я Отця, Сина, Святого Духа»*. — *Нема в ньому ні слова про жидів. Хто хоче хреститися, того я в ім'я цього закону хреститиму*. В серпні 1943 р. отця Ковча відправили у табір смерті Майданек, де він і загинув.

Отець Іван Нагірний з монастиря редемптористів у селі Голоско, розігнаного Советами, у січні 1942 р., вивів під виглядом монахів зі Львівської цитаделі п'ятеро єврейських лікарів. Вони були залучені до допомоги полоненим в розпал епідемії тифу. Отець Іван випадково дізнався, що їх мають перевести за наказом начальника цитаделі до Янівського табору. Тоді разом з отцем Богданом Репетило він організував втечу. Лікарі переховувались на львівській околиці — Збоїща. Отець Іван заразився тифом й помер (Спогади Христини М., В.Петриця. Хресна дорога // Мета. 1997. 10 липня).

Про Греко-католицьку церкву та її Митрополита, її священників в Україні довгі роки згадували лише у негативному контексті. Де вже тут писати про факти рятування євреїв, про те, що по закінченні німецької окупації єврейських дітей повертали родичам, або передавали під опіку єврейської громади, яка відродилася у Львові у 1945 р.

Під владою фашистської сили зла Митрополит Шептицький, всечасні отці-душпастирі, монахи вистояли. Випробувані смертю, залишалися зі своїми вірними, оберігали душі і серця, відводили від прірв смертельних гріхів, в ім'я освяченого Богом Закону.

Мозаїка виявлених і описаних фактів про діяльність рабинів і греко-католицьких священників (а скільки їх втрачено безповоротно), при неупередженому політичними орієнтаціями підході складається у реальну картину посвяти Богові і людям, морального піднесення людини, матеріалізації сили Молитви, Божого благословення і Божого неблагословення у найстрашніших випробуваннях.

Незаперечним доказом ролі і значення Греко-католицької церкви і Синагоги у суспільному житті є їхні споріднені долі у Радянському Союзі. Вже у перші повоєнні роки офіційно буде ліквідована Греко-католицька церква, підуть на смерть у в'язниці і табори ГУЛАГу тисячі священників, чинитиметься шалений опір прагненням врятованих Божим провидінням євреїв відкривати синагоги, вивчати Тору, молитися.

Вадим Скуратовский

К ЗАГАДКЕ ЕВРЕЙСКОГО ФЕНОМЕНА

(всего лишь гипотеза)

Современный антисемитизм, — собственно, миф о мировом владчестве евреев, завороживший полуинтеллигенцию — это возмездие современности за более чем 75-летнее отсутствие в ней В.В.Розанова, может быть, самого глубокого в истории знатока и толкователя феномена еврея. В двух-трех периодах он объяснил бы «читателям газет» некоторые метафизические первосвойства этого феномена, совершенно исключаящие в нем арийскую волю к власти.

Некогда Василий Чекрыгин, знаменитый художник-федоровец, ребенком, играя на подкиевском кладбище, оступился и увидел под ногой надгробный памятник с надписью: «Прохожий, не топчи мой прах, я дома — ты в гостях».

Некогда точно так же оступился о проблему трансцендентного египтянин, а вслед за ним иудей. Сколько бы и что бы ни писал В.В.Розанов о колоссальном соматическом напряжении Ветхого Завета, но таковой — прежде всего эпос трансцендентного сверхусилия, попытка сквозь толщу материи прозреть — *что* есть по ту ее сторону. Зрительно, материально «потустороннее» в Ветхом Завете удивительно не разработано, не разъяснено. Не случайно «шеол», иудейское царство мертвых, означает — «неисследимый», «вопрошаемый». Совершенно пустая зала в Иерусалимском храме — знак того, что Бог в нем вне зрачка человеческого. Вокруг его неназывания возникает внушительная мистическая семиотика, глубочайшая священная филология.

То есть вся когнитивная и другая энергия иудея проливается по ту сторону бытия. По эту сторону, здесьстороннее его интересует всего лишь как порог в тот самый дом, о котором маленькому Чекрыгину напомнил подкиевский мертвец. Иудей слишком озабочен Богом, чтобы сосредоточить свои силы — как то полагает современный мифоман — на добывании и завоевании мира с «этого», посюстороннего его края. Он скитается по миру — именно в надежде этого его края, конца, немира, не-времени.

На киевской улице 70-х я услышал — в некоей очень странной, столько же жалобной, сколько и скептической фонетике — обрывок из какого-то еврейского вполне бытового разговора:

— Да все это уже было-о-о... было-о-о... было-о-о...

...Киевский «экклезиаст», жалкий крещатинский «когелет», толкующий историю как «хебел» — дуновение, следов не оставляющее. Так какой в ней для него толк?

Завоевание мира, его неумная конкиста — это именно из другого мира. Пароль индоевропейца или, скажем, кочевника с его необходимым «матерьялизмом», пастуха-распорядителя громадных стад, жаждущих все новых и новых пространств. Фитогеография монгольских и других кочевых нашествий.

Еврейский же зрачок остановился на другом. Собственно, на том, что и увидеть-то нельзя.

Но, в таком случае, что же делать еврею внутри человеческой истории, ставящей себе цели и пределы именно человеческие? Что ему делать внутри человеческих ее сил, ее тотальной антропологии?

А то, что она делает здесь, сию минуту.

Еврей — конформист, приспособленец исторического процесса, затеянного не им, другими, то есть не-евреями.

При всей своей водобоязни старинного обитателя пустыни он послушно и умело плывет туда, куда указывает ему история. *Чужая для него.*

Не он, но арийцы затеяли в эпоху, названную ими «Новым временем» два действия: грандиозное торжище и, по-видимому, утопическую попытку это торжище разогнать, заменив его эгалитарным распределением.

Французская революция вытолкнула еврея за ворота его гетто — едва ли кто-нибудь вспомнит хотя бы одно свидетельство собственно еврейского восторга по этому поводу. Еврея, сосредоточенного в гетто, по его разумению, на Самом Главном, заставили ассистировать страстям, силам, стихиям, целиком пребывающим внутри истории, не переплескивающимся за ее трансцендентные края. Занятие для еврея не интересное, по крайней мере, едва ли не третьестепенное.

Но — арийский, да еще новоевропейский хозяин — барин. Евреи не эмансипировались — евреев эмансипировали. Скажем, величайший из упомянутых хозяев — Наполеон, который освобождал евреев столь же самовластно, как его карикатурный двойник (Гитлер) их впоследствии порабощал.

Л.Д.Троцкому, по-видимому, принадлежит термин «попутчик». История-1789 в одночасье превратила евреев в своих «попутчиков», должествующих выбирать ту или иную ее сверхтенденцию.

Оттого евреи никак не могли быть хозяевами мирового процесса — не они его избрали, но он нецеремонно ими завладел и распорядился.

Две эмблематические фигуры повисают над XIX веком — Ротшильд и Маркс. Воплощение указанного торжища и воплощенное же стремление это торжище, во всей его срамоте, приостановить, отменить, разогнать.

Два мощных еврейских интеллекта были брошены на решение задач самого противоположного, резко антагонистического смысла.

В одной чеховской повести предстают два брата-еврея: один пресмыкается перед собственностью, другой сжигает деньги, доставшиеся ему по наследству, в печи («Степь»).

Итак, часть евреев послушно устремилась к обслуживанию самых развитых товарно-денежных отношений, чья «партитура» виртуозно была разработана еще средиземноморско-античной, преимущественно, греческой буржуазией и затем столь же виртуозно была реставрирована итальянским Ренессансом (именно таковы «арийские» корни капитализма). Другая же часть, вкупе с ордами европейских романтиков-утопистов, бросилась на штурм капиталистической твердыни.

А поскольку еврею чрезвычайно важен край мира, его обрыв, нависающий над тем, что впоследствии Бёме назовет — *Ungrund* (как бы трансцендентная пропасть, куда проваливается бытие, так сказать, «шеол шеолов»), то он, в любой своей деятельности, торопится пройти ему положенное — именно в страсти-ожидании этого края. Это положенное и предложенное он доводит — как раз до края, до виртуозных форм, а часто и до абсурда.

В XIX веке евреи усердно занимались и приумножением денег, и их левацким «снятием», и грандиозным либерально-буржуазным строительством (скажем, в лице Дизраэли), и экстремистским штурмом нововозведенных структур.

В новокантианстве и гуссерлианстве евреи чрезвычайно порадили «платоновским», идеалистическим устремлениям европейско-философской «правой», но еврейские же имена в изобилии представлены в философском лагере «левой» — вплоть до самых резких форм материализма и атеизма.

Словом, еврей ассистирует хозяевам истории. Он — их советник, консультант, преданнейшее помощное существо. Он при всех первоустремлениях, наиглавнейших тенденциях, наконец, даже прихотях и капризах новой Европы, часто взаимоисключающих друг друга.

Он может создать могущественнейший банк — и может примкнуть к пролетарским инсургентам, его штурмующим.

Он может сочинить угонченную идеалистическую гносеологию — и самый беспощадный памфлет, адресованный таковой.

Он может принимать самое деятельное и самое дельное участие в том или ином национально-государственном формообразовании — и застыть в космополитическом к нему равнодушии.

При этом — он именно «попутчик», ассистент, помощник, соревнователь, но никоим образом не хозяин, не «субъект», но распорядитель.

Еврей может быть искусным «управляющим», но дело-то принадлежит не ему. Даже если он — Ротшильд.

Весьма любопытно, что европейский капитализм той поры знает множество евреев-банкиров, но еврей — «капитан» индустрии — явление даже не исключительное, но скорее полностью отсутствующее.

Итак, «Новое время» — время нового вавилонского пленения древнего народа, который на тот раз был поработен не царям, но тенденциям.

Евреи — раса в этом времени чрезвычайно зависимая. Лирику этой зависимости с удивительной силой запечатлел Кафка — на основе ее уже более чем столетних реалий.

...Еврей, словно грустный и послушный пес, бежит за цугом новоевропейской истории, за ее «правым», «левым» ли возницей. Хозяева же катят в самой карете.

Разумеется, хозяин подчас весьма и весьма зависит от своего советника, но обыкновенно последний куда больше зависит от своего патрона. Не евреи правят миром, но мир правит евреями.

При этом тысячелетнее отчуждение еврея эпохи диаспоры до чрезвычайности истончило его слух и — в несколько меньшей степени — его зрение, а равно аналитические его способности.

Еврей — искусный морфолог, превосходный музыкант. И то и другое — производное от того его существования, в котором без анализа и слуха прожить было никак нельзя. Еврейский интеллект, ограненный гетто, как бы совпадает с инстинктом самосохранения тамошнего жителя. Последний должен был пребывать в неимоверном сенсорном напряжении. Все его пять (шесть?) чувств — сторожевые его полной опасностей жизни. Этот тысячелетний тренаж после крушения гетто дал самые неожиданные результаты: еврей быстро и успешно, на самом их историческом лету, схватывает все — и перво- и второстепенные устремления европейско-либеральной цивилизации, что и сделало его идеальным ее «попутчиком», «эпигоном» (что собственно и значит — попутчик).

10.08.1990 г.

Михайло Вайскопф

«МИ БУЛИ НАЧЕ ВВИ СНІ»:

ТЕМА ВИХОДУ В ЛІТЕРАТУРІ

РОСІЙСЬКОГО ІЗРАЇЛЮ

У 1970-ті роки люди, що приїхали до Ізраїлю з Радянського Союзу, почали публікувати тут свої літературні твори (частина з яких була створена ще на колишній батьківщині). Тут виникла і розрослась певна нова словесність, мовно відмежована від загальноізраїльської, а тематично — від радянської культури. Новоприбулі, як правило, вважали себе репатріантами, а не емігрантами, і, відповідно, свою літературну продукцію зазвичай називали не російською, а російськомовною (такий самий термін у його антисемітському звучанні закріпився в Росії набагато пізніше й безвідносно до цієї самоназви). Визначення давно усім надокучило, проте навколо нього все ще точаться нудні термінологічні суперечки. Не всіх задовольняє поняття «російськомовна», і вже багато років висловлюються альтернативні пропозиції: «ізраїльська література російською мовою» або, навпаки, «емігрантська», або навіть — очевидно дратуючи і сіоністів, і юдофобів — «російська література в Ізраїлі». Остання з дефініцій набуває популярності вже у 90-ті роки, позначені ерозією ідеологічних канонів. Не вдаючися до всього цього нудного полемічного корнеслів'я, я буду використовувати тут безпринципний і несталий, проте технічно зручний термін: російсько-ізраїльська література — РІЛ. Хоча існує вона вже принаймні три десятиліття, до цих пір все ще нема жодної не тільки аналітичної, але навіть пристойної оглядової роботи, присвяченої цій темі. Дана публікація претендує лише на деякі підступи до неї, а зовсім не на остаточне заповнення прогалін.

Свідомо чи ні, творці РІЛ підключалися до багатовікової єврейської традиції, що ввібрала, крім івриту, чимало інших мов, зокрема і російську в останні десятиліття XIX — першої третини XX століть. Після Жовтня частина цієї літературно-публіцистичної діяльності перемістилася на Захід (Жаботинський та ін.), а також до Країни Ізраїль, де, мляво пульсуючи, проіснувала до самого початку першої масової репатріації з СРСР, переважно у вигляді інформативно-пропагандистських видань на зразок журналу «Шалом» або брошури «Маоза».

У 1970-ті роки до них долучилося чимало нових публікацій. Філологічний етикет зобов'язує мене передувати подальшому викладу обсяговий історико-літературний нарис, але за відсутністю місця я обмежуся лише побіжним переліком. Сюди входить альманах «Амі», в якому, до речі, вперше був надрукований знаменитий роман Вен. Єрофєєва «Москва-Петушки» (невдовзі

репринтований — чомусь без посилань на джерело — видавництвом ІМКА), товсті літературно-громадські журнали «Сіон» і — дещо пізніше — «Час і ми», релігійні журнали «Менора» і «Відродження», а також пістривим збіговиськом газет, тижневиків та напівефемерних випусків (на зразок студентського журналу «Голем»): «Наша країна», «Трибуна», «Тиждень», «Ми», «Вдома», «Клуб» (він же «Круг») і т.д. У наступному десятилітті список спершу розширюється, згодом зменшується, а наприкінці 80-х знову, причому неймовірно, розбухає відповідно до запитів гігантської репатріації.

1978 року від «Сіону» відбрунькувався журнал «22», який став майже на півтора десятиліття найважливішим літературним рупором репатріації (і zarazом одним із найавторитетніших емігрантських органів на Заході). Саме у «22» була опублікована значна частина матеріалів, що склали основу російсько-ізраїльської літератури, прийнятих до уваги у даному дослідженні. На початку 1990-х його потіснили всілякі, в тому числі реанемовані або навіть спорадичні, видання, чия вулканічно зростаюча кількість ледве піддається обліку. Тільки 1997 року в Ізраїлі було видруковано понад 40 альманахів російською мовою. До речі, це більше, ніж нараховувалося їх упродовж усієї «золотої доби» — пушкінської, гоголівської, лермонтовської — російської культури, що була, поза всім іншим, золотою добою альманахів. За даними М.Галесника, головного редактора видавництва «Беседер», в Ізраїлі майже щотижня виходить нова книга російською мовою, а кількість періодичних видань сягає півсотні.

Проте надто вразливим місцем РІЛ від початку було те, що силою історичних обставин її творці були відлучені від тієї саме єврейської спадщини, на спорідненість з якою претендували. В культурному плані репатріація була спробою подолати цей розрив, адже вона пов'язувалась або напряду ототожнювалась її учасниками із шуканим пізнанням єврейства, з поверненням не тільки «на історичну батьківщину», але й у лоно єврейської історії, до втраченого раю національного побуту.

Найближчий субстрат цієї літератури відрізнявся хаотичною строкатістю, що була притаманна взагалі радянському духовному життю 1960—1980 рр. і тому, що його успадкував «російський Ізраїль». Тут змішалися залишкові культи Хемінгуея та Селінджера, квазінаукова фантастика (із несміливими замірами на метафізику), Окуджава, Галич, надрич Висоцького, новомирівський ліберальний реалізм і ліберальний офіціоз Вознесенського і Євтушенка, крамольні Солженіцин, Шаламов, Домбровський, контрабандний окультизм журналу «Наука і релігія», йога, «почвенничество» та православне відродження, що стимулювало відродження іудейське; тут мерехтіли відроджені боги — від Соловйова з Мережковським до Мандельштама, Ахмагової, Цветаєвої та Михайла Булгакова, котрий уклав невибагливий союз із Булгаковим Сергієм; лєнінградський гібрид акмеїзму, обєріутїзму, Зошенка та «петербурзької ностальгїї» перегукувався з

Мамлеевим і московським андеграундом. Найбільш релевантою для нас рисою всієї цієї культури був, мабуть, її міфологічний настрій, сприйнятий від низового символізму та авангарду 1920-х років, частково через сучасну радянську, частково через західну літературу.

Якщо не згадувати малочисленну еліту, яка групувалася навколо єврейських семінарів і самвидаву, то в часи боротьби за виїзд основна маса майбутніх репатріантів у центральних регіонах Росії свої — вкрай фрагментарні — уяви про єврейство отримувала із Шолом-Алейхеми, з Еренбурга як об'єкта національного пошанування, підпільної Алігер («Твоя перемога») і «Бабиного Яру» Євтушенка, а також із романів Фейхтвангера. У 1970—1980-ті роки в масовій культурній свідомості вкорінюється роман Булгакова «Майстер і Маргарита», сприйнятий на правах безумовно вірогідного історичного свідчення і навіть озаріння. З власне ізраїльського боку сюди приєднувалися хіба що ті або ті розрізнені сіоністські агітки — найвпливовішою серед них, напевне, виявилася книга американського письменника Леона Юріса «Екзодус», — підручники іврити, листи, касети з піснями і недорікуватість — у будь-якому сенсі — передач «Голосу Ізраїлю», що, як на мою думку, швидше, відбивали, аніж стимулювали потяг до переселення. Де в кого був свій домашній (дід, бабуся, дядько) або просто знайомий оракул — наприклад, уродженець Прибалтики, Галичини або Молдавії — оберігач єврейського гнозису, відображений у багатьох зразках РІЛ.

Але головним моделюючим фактором у духовному становленні і самооцінці алії слугувала, очевидно, Біблія, з якою, безпосередньо або з чуток, знайомиться у той час широке коло російсько-єврейської інтелігенції, що була залучена до загальноросійського процесу релігійного відродження. Актуальні біблійні аналогії з настирною переконливістю були нав'язані самою політичною ситуацією. Як 1976 року писав Леонід Йоффе, звертаючись до ініціального моменту Виходу:

Когда в уме соединяешь было — стало
И можно тронуться умом и лечь у глыб,
Все происходит, как тогда, когда начало
Происходило: куст горит, а мы — малы.

У новому Виході відкривалася колишня передвизначеність, теологічність, і сама історія набувала рис жорсткої успадкованості. Майже через двадцять років після Йоффе Ізяслав Вінтерман ототожнює себе з усіма поколіннями Виходу.

Так свободен ли я, Моисей, / Сорок лет позади, впереди?! / Ты меня по пути не рассей, / И еще раз к себе приведи. / От меня до тебя — нет главы, / Не повторенной тысячи раз / И от сердца и от головы, — / Я и сам продолжаю рассказ.

У 1970-ті роки, всупереч своїй атеїстичній волі, Радянський Союз поставив себе у безглузде і сміховинне становище Єгипта, що змушений через силу підкоритися вимогам сіоністських Мойсеїв: «Відпусти народ Мій». Цей перегук помічали і набожні нсєвреї. В романі «Камінь Моря» Єфрем Баух згадує московські розмови 1972 року, означеного знаменитими торф'яними пожежами та іншими лихами:

«Старих кудись вивозять: помирають без повітря. Хворих також... — Високосний рік... — Чули, мор худоби. Голод <...> — Торф горить <...> Ось там кілометрами випаює з-під низу, а потім — земля провалюється... — Царице небесна... Я ж говорила, це кара єгипетська... Явреїв, чули, не випускають, як у Святому писанні з Єгипту не випускали... Вони ж народ Божий...»

Порівняння СРСР з Єгиптом зробилося настільки звичним, що утримувалося навіть за тих умов, коли воно губило сенс, — наприклад у В.Тарасова у вірші 1991 року «Час красного змея», де відповідно обігрується ленінська мумія:

О мавзолей!
О блеск захороненья!
Расея — мумия.
Бай-бай, Тутанхамон.

Приблизно тоді ж Михайло Король описує від'їзні клопоти: «Фиолетово, уныло плещет справками Египетская Русь». Пор. у Ріти Бальміної:

В надежде на «авось» и если
Мы вырывали наши корни,
Мы обрывали наши песни —
И песни застревали в горле.
Нырни безродною пираньей
В аквариум аэропорта,
Неисполнимое желанье
Послать таможенника к черту,
В томленье очереди куцей...
И хочется назад рвануться
Без всяких видимых причин, —
Но корвалол прощальный выпит,
Прощай, мельчающий Египет,
Твой силуэт неразличим.

Черпаючи натхнення з сакральних прецедентів, література нового Виходу — яку творили, про що вже йшлося, не тільки в Ізраїлі, але й у

Росії, ще до переїзду — органічно тяжіла до міфу, епосу й ритуалу, які змальовували перехід від смерті до життя, від крижаного мороку російської зими («Скажу півночі: Дай» Іс.43:6) — до жаркого цвітіння Райського Саду, від виморочного підневільного існування на чужині — до справжньої самоідентифікації як віднаходження Дому. Саме прощання з СРСР включало в себе повне і безумовне зречення від минулого, забуття, метафоричне спалення полишеної комуністичної держави. Цей мотив відбивався в інший географічний символ, морально співзвучний Єгипту: Радянський Союз у обсяговій серії текстів (Г.Люксембург, І.Рубін, Є.Аксельрод та ін.) уподібнювався приреченому Содому, а ліричний герой, відповідно, ототожнював себе з Лотом, що його янгол виводить із грішного граду.

Оскільки від'їзд майже завжди трактується як ініціація, РІЛ рясніє метафорами і метоніміями смерті — вони передаються як травма, каліцтво, недуга героя, його непритомність, загибель когось із близьких — наприклад, дитина, розлучення і т.ін. У багатьох текстах герой, що від'їжджає, неначе розлучається із власним тілом, із своїм колишнім, скасованим «я»: він споглядає себе зверху — «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело»; хоча, замість самого себе він може побачити померлого друга, дружину, навіть власний дім із ілюмінатора літака. У більшості випадків політ співвідноситься з водою, з переправою, хоча іноді від неї лишається тільки редукований антураж — дощ або калюжі на літовищі. Так архетип магічної водяної смерті поєднується з тьмяною пам'яттю про перехід через Чермне море.

Із прибуттям до Ізраїлю політ завершується. «Алія» (репатріація) на івриті буквально означає сходження, і ця метафора й досі тяжіє до сюжетної реалізації. Часто герой продовжує лишатися все в тому ж непритомному стані, що прибирає, однак, рис ейфорії. Новий репатріант, подібно до Мойсея, немовби піднімається на гору Нево, щоб оглянути даровану йому країну; аналогом такого підйому найчастіше слугує проста екскурсія по Ізраїлю, що дає панорамне уявлення про нову вітчизну. (В числі маркованих вражень зустрічається, до речі, мотив виноградної лози на дверях або воротах — тої самої лози, з якою пов'язано в Біблії перше знайомство євреїв із Землею Обітованою). При цьому репатріація часто сприймається як возз'єднання душ єврейського народу — і тому пов'язаний з нею відрив від ґрунту, перебування у первинній магмі іммігрантських емоцій, в аурі нестабільності та невлаштованості отримує спірітуальне потрактування: герой сприймає себе певною духовною сутністю, яка ще не набула остаточного втілення. Він неначе витає над гірським ізраїльським ландшафтом, гордовито і радісно усвідомлюючи свою близькість до неба. Як заміну булого «я», що залишилося на колишній батьківщині, він нерідко зустрічає свій новий ментальний образ — стикається із власним двійником. Ось типовий приклад, що його я запозичив із повісті Юлії Шмуклер «Йдемо з Росії» (1975). Героїня піднімається до Іерусаліму:

«Туди вела звивиста тропа, по древнім, кам'янистим горам Іудейським; помах за помахом гори відходили, відсувалися все далі — і раптом на одному з поворотів в отворі, що відкрився, вставав Єрусалім, містичне місто в піднебессі. Він гроноподібно саяв на семи пагорбах, і Геня, не наважуючися пройти, стояла і дивилася здалеку; але тоді, коли схилялося на вечір, вона все-таки піднімалася до його білих стін, теплих від сонця — вона сама чекала на себе біля цих кам'яних стін, у чорному, посміхаючись дивною сліпою посмішкою, що вицвіла від очікування».

Так само часто оповідач зустрічає тут своїх убитих предків або родичів, що повстали із розстрільних ровів, або просто давно втрачених, померлих друзів. Прибуття до Ізраїлю може пов'язуватися і з такими фольклорно-міфологічними стереотипами, як образ мертвого провідника — Харона або хтонічного собаки біля води (майже постійний мотив). Якщо герой не зустрічає самого себе або своїх близьких (як субститут власної особистості), то в усякому випадку нібито відроджується. Пор. вірш Ігоря Бяльського «Поднимаясь в Иерусалим», де герой неначе рухається назад сходами вікових трансформацій:

По стечении главной леты с живой водой
я встаю убитый стареющий молодой.

Замість радянської «лети» на цій стадії сюжету переважає тема радісного пригадування, впізнання національної праісторії. Персонаж Е.Люксембурга, наприклад, упізнає навіть хвіртку на одній з єрусалимських вулиць, яку колись бачив уві сні. Іноді таке перевтілення доповнюється народженням дитини — або відчуттям власного народження, нової малечості на новій землі. Буває й так, що репатріація проектується в космічний план — і пробуджує асоціації з біблійним сотворінням світу.

То болючим для сіоністської свідомості був наступний шок. Екстатичний політ рано чи пізно мав завершитися приземленням у незнайомій країні із незвичним людським і природним кліматом, який мало скидався на віяння Едему. З величної історії, створеної нею самою, людина випадала у дріб'язкову повсякденність. Перш за все, вона втрачала колишній соціальний статус або вчорашню — небезпечну, проте таку престижну — роль політично значущої особистості, за безсмертну душу якої змагалися два анголи — ізраїльський та радянський. Тепер вона ставала пасивним об'єктом рутинно-бюрократичних дій, визуджувала чужу мову, маялася в пошуках роботи, втрачала професію та самоповагу, принижено просила грошей, допомоги. Розпадалися сім'ї, не витримавши соціальної напруги і культурної ізоляції, люди спивалися, деградували, захворювали, дехто заподіяв собі смерть. Особливо травматичним переживанням із перших днів алії стало неприязне ставлення багатьох старожилів і уродженців країни.

У літературі цей стрес, пережитий більшістю іммігрантів до періоду їх соціальної стабілізації, зафіксований у майже повсюдно присутньому переході від захопленої лірики та епосу, взагалі від оптимістичних емоцій, до викривально-фізіологічного нарису під флером суїцидальної чортівні. Зазвичай драматичний зсув наставав десь через рік-другий після переселення, хоча у деяких психологічно або ідеологічно схильних до цього авторів (З.Зіник, А.Верник) негативна орієнтація виявлялася майже відразу. Як правило, на цій негативній стадії домінують два, нерідко взаємопов'язаних, підходи — інверсія та урівнювання. У першому випадку симетрично переверталася звична сіоністська діхотомія: пеклом поставала тепер саме ізраїльська природа, разом з усією ізраїльською цивілізацією. У межах цього симбіозу якийсь держслужбовець виглядав прикладом місцевої фауни на зразок скорпіону, а хамсін міг символізувати мертвенне бездушність влади. Втрачений же Едем переміщався у російські сніги та ліси. Існування радянської влади й антисемітизму не дозволяло, проте, генералізувати цей принцип співобертання, поширивши захоплені емоції на все колишнє життя тою ж мірою, якою тотальному засудженню підлягав образ Ізраїлю. Тому принцип інверсії доповнювався принципом урівнювання: з ненависною радянською владою асоціювався у подібних творах соціальний лад Ізраїлю, його мешканці й передусім — чиновництво. На цій депресивній стадії частина літераторів у 1970—1980-і роки перебралася у більш комфортабельні країни, де старанно експлуатувала викривальну антиізраїльську топіку (Г.Свирський та ін.). У вигляді ностальгічної альтернативи Ізраїлю іноді поставала така собі вимріяна або дорадянська Русь, що духмяніла мошами, озимими та городовими. Інші потягнулись до християнства, зазвичай антисемітськи забарвленого і завжди приправленого культовими ремінісценціями із «Майстра і Маргарити». Це єретичне «п'яте євангеліє» стало справжнім колодязем штампів для будь-якого ворожого змалювання Ізраїлю та Єрусалиму: обов'язкові морок і спека, головний біль, «яду мене, яду!» та інші атрибути «ненавидимого прокуратором города». У письменників, позбавлених русофільської домінанти, колишня антипатія до «доісторичної батьківщини» просто суміщається на даному етапі з антиізраїльськими філіппіками; на разі Ізраїль змальовується як друга чужина та продовження смерті. (Тенденція до буркотливого урівнювання обох держав посилюється вже на межі 90-х років, насичених прагматизмом, деідеологізацією та руйнуванням національних прихильностей як до Росії, так і до Ізраїлю).

Втрачає сенс і колишній образ радянського Єгипту. Точніше сказати, його прикмети переносяться на бачення нової батьківщини. Наприклад, в оповіданні О.Мостославського «Балабус» єрусалимський ринковий торговець постає саме в цій біблійній ролі — ролі гордовитого єгипетського повелителя:

«Олім він навіть не помічає, просто не бачить. Так, напевне в Єгипті наглядач не помічав єврейських рабів».

І, врешті, дезавуюється саме праісторичне протиставлення Єгипту — і єврейського народу, монотеїстичного іудаїзму. Пор. в іронічному висвітленні Семена Грінберга:

Я это знал, я угадал заране,
Что разговор наш станет так нелеп.
И все-таки я тоже сделаю признание.
Вот пишут — Моисей, Аменхотеп,
Разворошили старые преданья.
Ну, что нам дались эти египтяне?
Ну, жили с ними пару сотен лет.
Две пары? Хорошо. Но их в помине нет.
А где евреи? Это между нами...
Ну, рабствовали, ну, пасли скотину,
Кто пил, кто кончил университет,
Кто спрашивал, кто сам искал ответ,
И, наконец, нашли-таки причину,
Что, мол, Озириса в природе тоже нет,
И прав был праотец наш Авраам-авину...
Но вот в сиреневых деревьях без названья,
Меж бабочек, посаженных на цепь,
Какая, в сущности, безвылазная степь,
Да и жарища — прямо наказание.

Те відчуття моральної піднесеності, що раніше обумовлювалося ейфорією польоту та вільної незакріпленості на духовній батьківщині, тепер трансформується у тоскне почуття бездомності, некоріненості, вічного блукання. Повсюдним у РІЛ постає на цій стадії образ дому, що не є помешканням, а тільки прикидається ним: люди живуть в автобусі, що рухається (Діна Рубіна, «Ось іде Месія»); дім стоїть над безоднею або навіть на дереві (Лев Меламід); він схожий на корабель (Д.Рубіна); його замінює ліфт (Сусанна Черноброва, Тетяна Ахтман, Світлана Шенбрунн). Іноді це дім без даху, зі стелею, що осипається, без вікон або зі зламаними дверима, дім — не дім:

Дожидался, жил я — дождался
над долиной летящего дома.

Нету в доме ни крыльца, ни светелок.
На ноге я сыночка качаю.
Вот заглянет соглядатай-бесенок,
вот предложит изумрудного чаю.

(Олександр Верник)

Квартиру захоплюють ворожі створіння, що роблять її непридатною для житла: скорпіони і таргани, злі кішки та інші заступники тих «лиси, и филина, и ежа», які, відповідно біблійному прокляттю, колись заселяли опустілу Землю Ізраїлю:

Я сына отвожу его мамаше
И уезжаю в общежитие наше.
Где ждут меня паук да муравей.
Вхожу я в будни медленно, как в воду...
Благодарю тебя, что хоть субботу
Оставил ты мне в доброте Своей.
(Б.Кам'янов)

Мы с тобой, сонечко, справим одежду,
купим бутылку, лишайную кошку,
пустим по дому ходить.

Пусть себе, сука бацильная, ходит,
сказку расскажет, песню заводит,
станет котят приносить.
Так и научимся жить.
(О.Верник)

Колишні двійники героя та його близьких у цій фазі викриті як оборотні-самозванці (С.Шенбрунн). Часто тема Виходу інтерпретується як національна тавтологія, що не має сенсу, як монотонне продовження безкінечного поневіряння — тобто, як доля Вічного Жида:

Прости, обетованная земля,
Бесплодная, лежащая в пыли,
За то, что без единого рубля
И не с небес мы на тебя сошли.
За то, что razopили города,
За то, что потопили корабли,
Сожгли мосты, когда взошли сюда, —
Все за собой взорвали и сожгли.
Угрюмы стаи перелетных птиц.
Водовороты крыл буравят твердь.
И неотрывность вниз глядящих лиц,
И по земле рассыпанная смерть —
Все призывало положить предел
Порочной утопической мечте:
Мы снова оказались не у дел,

Мы снова очутились в пустоте.
Прости, обетованная земля,
Я — Вечный Жид — опять начну с нуля.
(Р.Бальміна)

Досить часто це поневіряльне звучання підтримується мотивом передчуття краху держави Ізраїль та новим вигнанням на чужину:

Так нежен, так протяжен каждый звук,
Как будто в нем предчувствие разлук.
И сам напев тоскует, предвещая
Господень гнев, изгнание из рая.

(Є.Аксельрод, «Пісні Ізраїлю»)

«Ізраїль йде... останнє царство чотирьохтисячолітньої єврейської історії. Схід зімкне ряди.» (Т.Ахтман, «Життя і пригоди провінційної душі»).

Для тих, хто лишився в Ізраїлі й зберіг вірність літературному покликанню, воно стало духовною оазою в пустелі буденних нісенітниць. Дехто, проте, просто пішов з літератури, надаючи перевагу більш адекватним формам уходження до ізраїльського життя й супутній їм зміні культурних пріоритетів — наприклад, звернення до іудаїзму. Інші прагнули сумістити літературні заняття з єврейською релігією, віднайшовши в ній могутній стимул і для творчості, і для життєбудівництва в новій країні.

Практично у всіх письменників, незважаючи на релігійне чи політичне забарвлення, ця негативна стадія переживається як повторна ініціація, як тяжке випробування, за яким наступає новий, підсумковий катарсис. В іронічному, але досить адекватному зображенні Ол.Толстої справа виглядає таким чином:

«Сюжет розіграє протистояння новачка-героя страшному і принадному, але чужому, чужому середовищу. Середовище втілює антагоніст. Це незрозумілий сабра, дикий сефард, зловредний пакид. Конфлікт знімається тим, що непроникний сабра — поручик Дан — тільки грає у ворожість, виявляється ж геть своїм: дикий сефард, незважаючи на свою агресивну волохатість <...> гине через героя по-геройськи <...>. Так герой виживає у випробуванні. Тепер йому треба відродитися духовно. Для цього сонце, спека, каміння — все повинно бути обов'язково сліпим, глухим, мертвим, прахом і тліном. У потрібний момент, проте, вічне повітря починає містично дрижати і співати, з'являються стовпи світла і вогню, а герой падає і розчиняється в сакральному ландшафті (помирає внутрішньо), аби встати засмаглим, припорошеним і зміненим. Тут два варіанти: один — військовий, тобто прах і тлін, світло і вогонь реалізуються у бій; другий — релігійний, де прах і тлін — це якісь архітектурно-підозрілі ієрусалимські завулочки давньої кладки, а містичне тремтіння і світові ефекти йдуть від кабалістичного місцевого екстрасенса».

Ще точніше буде сказати, що прах, тлін і мертве сонце утворюють універсальний фон саме для негативної стадії сюжету, який розповідає про тимчасову «смерть в Ізраїлі». Власне кажучи, ця друга ініціація, що йде за переселенням, є скорботним і повчальним для героя шляхом до низових, — і, одночасно, найекзистенційніших — шарів ізраїльського життя, його соціального дна або ж (в містичному ключі) до хтонічних надр Ханаану (їх постійним символом виступає безпритульний пес як антагоніст або ж заступник самого героя).

Залежно від ідеологічного потрактування цього вмирання варіюється третя, заключна фаза сюжету, що дає деяке його розшарування. Оптимістичний перебіг часто полягає у залученні героя до трансцендентного Ізраїлю, який проглядає за соціальною та іншою хтонікою тутешнього середовища, просвічується крізь строкату людську масу:

Не лучше ль с небом повстречаться взглядом?
Невозмутимый свет — в глазах темно.
А кто-то во дворе, со мною рядом
Сквозь мусор видит золотое дно.

Найчастіше коли йдеться про віднайдену батьківщину, то під цим розуміють невелику, але елітарну співдружність посвячених, що підтримують таємний зв'язок із містичним «горнім Єрусалимом», який витає над його земним утіленням. Таким чином розв'язується вся тематична лінія блукань і «польоту». В інших випадках прийняття рішення може вилитися у самоототожнення героя із тим же соціальним дном — і це останнє, в свою чергу, оголошується пізною глибинною суттю єврейської держави (такий підхід стане найпоказовішим для нинішнього молодого покоління авторів, що безпосередньо стикаються з життям ізраїльських маргіналів). Пересічний варіант адаптації зводиться до заміни «дна» ринковим «чревом» — до показу помітних і яскравих реалій тутешнього життя, поданого в розрізі товарно-продуктової та етнографічної екзотики.

Проте справжнього злиття з Ізраїлем у більшості цих текстів так і не відбувається. Представники РІЛ укладають із місцевим життям пакт про ненапад. Обвикаючись у буденній реальності країни, вони, зазвичай, просто обумовлюють умови окремого з нею існування, прагнучи відгородитися від Ізраїлю у своєму, вже досить облаштованому, домі. Це і є їх передостання батьківщина, де вони займаються словотворчістю. Останньою ж вітчизною, про яку постійно думає творець і головний персонаж цих творів, повинен стати потойбічний світ, очікуване безсмертя. Пройдений шлях змушує помудрілого героя піддати гірко-іронічному переоцінюванню втрачені ілюзії, що гаснуть у жорсткому і холодному свіщенні знову набутого життєвого досвіду.

У 90-ті роки метафізичний ескапізм отримав додаткову підтримку, коли православні потяги у багатьох прийняли характер дуже еластичного «внутрішнього християнства», вільного від територіального прикріплення до російської батьківщини, хай навіть і позбавилася вона безбожного комунізму. Перебираючись із сімейних або економічних міркувань на ізраїльську чужину, християнізований єврей забирає свої святині з собою, подібно до того, як його іудейські предки забирали до вигнання синагогу. На сіоністську Голгофу цей хазяйновитий паломник підніметься під тягарем подвійної ноші — з хрестом і корзиною абсорбції. У нього бездоганне алібі: нехай його тлінне тіло томиться у давньозавітному Ізраїлі — духовно він перебуває на християнській Святій землі, що її осіняють Воланд, Іешуа Га-Ноцрі та інші літературні фантоми.

Спочатку, з огляду на особливості нової алії, я хотів був виключити з розгляду тексти періоду «першої хвилі». Проте вивчивши більш уважно матеріал, я з подивом завважив, що сам сюжет про Вихід у 1990—1993 роках майже не змінився. До найпомітніших зрушень слід залучити загальне вгасання колишньої ворожнечі до «доісторичної батьківщини», яке можна пояснити розвалом комунізму, масштабами асиміляції та крахом державної юдофобії в Росії. Відповідно, пом'якшується і обмежується могильна символіка колишньої країни — точніше, вона локалізується у певному мертвенному місті, у певній індивідуальній долі, прирівняній до небуття, від якого герой пробуджується, переселившись до Ізраїлю. Інакше кажучи, полишене царство Аїда отримує особистісний, екзистенційний, підкреслено локальний статус. Одночасно, хоча Ізраїль як і раніше зберігає семантику такого собі альтернативного інобуття, його колишній метафізичний ореол тьмяніє, а разом із ним слабшає й традиційна антитеза — протиставлення двох батьківщин. З іншого боку, перехід до негативної фази у нових авторів, як правило, далеких від сіонізму, відбувається набагато швидше, ніж у їх попередників, і носить менш хворобливий характер. Урешті, судячи з нинішнього стану справ, у новій РІЛ ця стадія також завершується позитивно — або тою чи тою формою адаптації до власне ізраїльської реальності, або соціалізацією й визнанням у межах величезної і досить самодостатньої російської общини.

При всій надзвичайно бурхливій і багатоманітній еволюції, яку зазнала за цей час російська література в галузі стилів, тем, сюжетів і композиції, негативне змалювання Ізраїлю після початкової ейфорії у письменників 1990-х років виказує чудову подібність до старої РІЛ. У першу чергу вона пояснюється, звичайно, стабільністю ізраїльських реалій. Деякому зміцненню негативістського підходу сприяла ще й загальна мода на «деміфологізацію». Проте існують, імовірно, й більш фундаментальні фактори, що не виводяться з актуальних побутових вражень і не стосуються белетристичної кон'юнктури, до розкиданих віялом шкіл і напрямків. Безвідносно до того, чи претендують новоприбулі автори на звільнену

вакансію Бродського, або на посаду місцевого Пригова, Кібірова, Пелевіна або Сорокіна, вони пов'язані круговою порукою єдиного сюжету, і кожний із них, у повному або скороченому вигляді, проходить одні й ті самі його етапи, що втілені у серії повторюваних мотивів. Їх стадіальна зміна випадає в РІЛ на найрізноманітніші роки — адже індивідуальні письменницькі біографії кожного разу знову відтворюють безособовий шлях сюжету. В одного ці фази спрацьовують 1976 року, в іншого, відповідно часу прибуття, — 1995; трапляється, звичайно, що ці етапи накладаються один на одного і стикаються іноді навіть у рамках одного твору. Стосовно сюжетної схеми оригінальність того чи іншого автора відчутна переважно у специфічному забарвленні колективних мотивів, рідше — в їх своєзвичному підборі і поєднанні. В цілому стан справи тут такий самий, як і в усякому масовому, наприклад, демографічному явищі: воно складається з абсолютно приватних, персональних обставин, із ковзання хистких і невловимих випадковостей — проте в будові й динаміці цих мінливих факторів завжди прослідковуються суворі закономірності, що підлягають класифікації й прогнозу.

Міфологічні картини Ізраїлю в цій словесності близькі до загальнокультурного змалювання чужини як зони смерті, представлене у першій половині ХХ століття й у росіян (Г.Іванов, В.Ходасевич), і в інших емігрантських письменників (пор. хоча б «Тіні в раю» Ремарка). Цікаво було б, окрім того, співвіднести ізраїльсько-антиізраїльські твори з антисіоністськими оповідями 20—30-х років, від подібних епізодів у еренбурговому «Бурхливому житті Лазіка Ройтшванця» до «Обпаленої землі» Марка Егarta (що самі ґрунтовані на єврейській традиції похмуро-сатиричних та пародійних подорожей, заданої Хаскалою). Можна було б віднайти і паралелі з палестинськими сюжетами Бреннера. Поза тим інші тексти — наприклад, Г.Свирського — напрошуються на зіставлення з традицією т.зв. єврейського антисемітизму — як дореволюційного («Книга кагалу» Я.Брафмана і т. ін.), так і радянського (З.Шейніс, Ц.Солодар та ін. — список безмежний). Досить природним є зближення негативної стадії РІЛ із деякими творами Бродського, емігрантськими та самвидавськими текстами 70—80-х років (разом із Е.Лімоновим та ін.).

Більше того, оповідання, що утворюють ядро сюжету про ініціацію, переправу, про загибель заради нового народження і т.ін. взагалі універсальні; цією фольклорно-міфологічною символікою просякнута і західна, і та сама російська література (наприклад, оповідь про весілля або переїзд до іншого міста), звідки вийшли вчорашні або сьогоднішні наші автори. Подібні етапи — початкової ейфорійної готовності злитися з новим оточенням, згодом розчарування і ностальгія, і, врешті, примирення з чужим життям — взагалі притаманні емігрантській літературі як такий — наприклад, тій, що оповідає про переселення італійців, ірландців або німців до Америки. Все це так, але сюжет РІЛ, вбираючи в себе літературні конвенції, рухається в принципово іншому руслі. Пристосовуючися до нових,

ізраїльських умов, звичні моделі радикально змінюють свою історіософську і соціокультурну природу, насичуючись такими біблійними і національно-історичними символами, як Чермне і Мертве море, підземний Єрусалим, сіль, розжарений прах і вогонь у пустелі, виноградна лоза і т. д. Бо йдеться тут не про пересічне географічне переселення, а саме про Вихід, тобто про «збирання розсіяних» у тотальному національному поверненні (навіть якщо останнє, як часто буває у негативній фазі, трактується ворожо або іронічно). Звідси ті функціональні елементи сюжету, що, за деяким винятком, невідомі емігрантській або радянській літературі, зате постійно зустрічаються в РІЛ на її позитивних стадіях: збирання вбитих і замучених, повсталих із попелу Освенціма; їх фантазмагоричне повернення до Сіону; зустріч із померлими або їх перевтіленнями в Ізраїлі; двійники друзів або предків героя, що уособлюють його родові і племінні минуле; відтворення самого героя із решток зруйнованого ним галутного образу; чисто фізіологічне щастя синового доторку до Святої землі, її ґрунту, в якому герой впізнає свою адамічну тілесну основу — і заповідну прабатьківщину всього людства. Центральні мотиви РІЛ звертаються, разом із тим, до аналітичної психології Юнга, і навіть найреалістичніше оповідання про Вихід завжди було приховане під флером сновидної заграви колективного безсвідомого: «Як вертався Господь із полоном Сіону, то були ми немов би у сні...» (Пс. 126:1).

Усе сказане ніяк не свідчить про те, що начебто тексти РІЛ позбавлені індивідуальних естетичних достоїнств. Чимало з них, узяті самі по собі, й справді не заслуговують у цьому плані ніякої уваги, проте, якщо судити, як прийнято, за її кращими зразками, то це досить пристойна словесність — і в якісному, і кількісному відношенні її вистачило б на «окремо взятую країну». Тут є чудові майстри — наприклад, Генделев у поезії або Майя Каганська в есеїстиці. Можна було б навести й чимало інших імен. Дозволю собі, однак, нагадати, що є речі важливіші за літературу, і на цих утилітарних терезах найпровінційніша графоманія якогось забутого Юрія Мілославського важить майже стільки, скільки висококваліфікована проза Діни Рубіної, а простенькі ітеєрівські вірші означають набагато більше, ніж, скажімо, талановиті вірші Іллі Бокштейна, просто тому, що його метафізичні позиви зазвичай не торкаються теми Виходу.

Що ж до сумарної картини, то, на мій погляд, літературна діяльність «російського Ізраїлю» є безцінним соціо-психологічним виразом гігантського історичного — або, якщо завгодно, метаісторичного — процесу, справжнє значення й розмах якого ще приховані від наших поглядів. За всіх поправок на ті або ті естетичні умовності перед нами — живе свідоцтво, дорожні записи людей, що заново вийшли з Черного моря — й тепер обживають рідну пустелю. «Все інше — література».

Переклад з російської Оксани Жмир

Йоханан Петровский-Штерн

ОДИССЕЙ СРЕДИ КЕНТАВРОВ

«Конармия» Бабеля так прочно утвердилась в русской советской литературе со всей своей военно-революционной проблематикой, что совершенно без внимания осталась важнейшая особенность бабелевского цикла. А именно, что «Конармия» — меньше всего экспрессивно-натуралистический портрет буденновской конницы времен наступления Красной Армии на польском фронте, созданный бывшим русско-еврейским интеллигентом, а ныне — военкором Лютовым. Революционная конармейская тачанка и разоренные гражданской войной местечки — не более чем бутафорские аксессуары, и по сей день успешно заслоняющие от нас основную бабелевскую «сшибку идей». На самом деле Бабель решительно выводит главный конфликт «Конармии» за пределы гражданской войны и революции, в совершенно иное художественное время и пространство¹. Вместо революционной армии у Бабеля появляется как бы выведенное за пределы времени и превращенное в миф казачество, а пестрое пореволюционное еврейство Бабель сознательно возвращает к еврейству черты оседлости². В определенном смысле сказанное звучит парадоксально, поскольку у Бабеля солдат-еврей — будь-то Илья Брацлавский, сам рассказчик или его *alter ego* Лютов — служит в Красной, а не в русской армии. С другой стороны, ко времени Гражданской войны, описанной у Бабеля, черта оседлости отменена *de jure* (1917) и *de facto* (1915); связь солдата с традиционным еврейством, казалось бы, также уже утратила свою актуальность. Тем не менее, как мы увидим, сам бабелевский текст сопротивляется такому узкому пониманию.

Действительно, бабелевская конная армия — это в первую очередь (и почти исключительно) казаки. Казачество — прямое наследие русской армии, к тому же самый ее консервативный элемент. Не случайно о ней говорится — с точки зрения революционной сознательности — как о «казацкой вольнице, проникнутой многочисленными предрассудками». В бабелевском «Дневнике» (1920)³ об этом сказано еще жестче: «это не марксистская революция, это казацкий бунт»; «восстание дикой вольницы»⁴. Бабелевский рассказчик попадает в казацкую среду, многократно обработанную в русской литературе и имеющую в ней от Гоголя до Толстого репутацию ультраконсервативной, замкнутой, трудноуправляемой, стихийной и антисемитской военной касты⁵. Революция мало что меняет в сущности казачества — оно остается при тех же параметрах у писателей самого разного склада. Казачество пребывает при мифе своей исконно-русскости. Оно славится своей легендарной ксенофобией. У него за

плечами трехсотлетний опыт еврейской резни. В своем «Дневнике» Бабель отмечает именно эту *вневременную* сущность казачества. Истории как бы не существует, одни и те же события ходят кругами — Бабель даже сравнивает Буденного с Хмельницким и добавляет: «несчастное еврейское население, все повторяется, теперь эта история — поляки — казаки — евреи, с поразительной точностью повторяется». Он вновь возвращается к той же теме: «все повторяется, казаки против поляков, точнее — хлоп против пана». «Чем не время Богдана Хмельницкого», снова спрашивает Бабель.

Поэтому из всех экстремальных ситуаций, в которые попадает еврейский солдат и которые нам уже знакомы по русской и русско-еврейской литературе от «Штрафного» Осипа Рабиновича до «Гамбринуса» Куприна и «Порт-Артура» Степанова, ситуация «Конармии» — предельно экстремальная. В этой среде бабелевского рассказчика с первых шагов предупреждают, что к интеллигентам у казаков отношение неприязненное. Эта неприязнь мгновенно дает себя знать («Мой первый гусь»), хотя Бабель явно смягчает казачью ненависть к интеллигентам и евреям, увиденную им воочию и зафиксированную в «Дневнике»⁶. Бабель не может не отдавать себе отчет, что горожанину и очкарику, тем более — еврею, будет неслышанно трудно вписаться в казачью среду, где превыше всего ценится грубая мужская сила, своеобразный русский «мачизм» — умение держаться в седле и «портить дам». Тем не менее, именно к ним, к казакам, отправляется Лютов, русский еврейский интеллигент, кандидат права Петербургского университета. Именно среди них он пытается освоиться и пройти инициацию, чтобы стать настоящим конармейцем. Интеграция интеллигента и еврея в среду военного казачества — вот сущность бабелевского эксперимента⁷.

С другой стороны, в «Конармии» выдающееся значение приобретает бывшая черта оседлости⁸. Оставленная за пределами исторических рамок повествования, она занимает важнейшее место в «Конармии», формируя структуру, сюжет, образность и метафорику бабелевских рассказов. Структурно цикл «Конармия» начинается в Новоград-Волынской и заканчивается в Будятичах, на границе Царства Польского. Новоград-Волынский, Житомир, Козин, Белая Церковь, Берестечко, Бердичев, Сокаль, Замостье, Чесники, другие упомянутые Бабелем «еврейские местечки» замкнуты между двумя географическими координатами бывшей черты и непосредственно примыкают к ним (Царство Польское). Еврейское местечко тщательнейшим образом вплетено в сюжетную и мыслительную ткань «Конармии». Оно то занимает весь рассказ («Гedaли», «Рабби», «Кладбище в Козине»), то внезапно, без всякой, казалось бы, связи или надобности, вторгается в сюжет отвлеченным наблюдением («Учение о тачанке», «Эскадронный Трунов», «Берестечко»), постепенно убывая к концу «Конармии». Рассказ «Сын рабби», предпоследний в цикле, в центре

которого — сбежавший из местечка, бросивший свой хасидский дом и ставший солдатом революции Илья Брацлавский, подчеркивает это убывание.

Интересно, что в этих местечках, по Бабелю, преобладает не еврейский пролетариат, исторически весьма заметный в Житомире или Бердичеве, а наиболее отсталая и консервативная часть еврейского населения — хасиды, возвращающая читателя в эпоху хасидско-миснагидской полемики конца восемнадцатого века. Выбрав архаичных казаков из армейской среды, Бабель выбирает хасидов — ультраортодоксов из среды еврейской. Бабель как будто намеренно архаизирует время и образы «Конармии», чтобы сталкивая их, получить некий *хасидско-казаческий континуум*, на фоне которого разворачивается сюжет и происходит метаморфоза рассказчика. Этот континуум тем более выразителен, что водораздел в нем проходит по линии «жизнь — смерть».

Действительно, еврейский мир у Бабеля стоит на пороге смерти. Еврейское местечко — живой труп. Стоит появиться в рассказе еврею, местечковому интерьеру или местечковому ландшафту — как рассказчик нагромождает метафоры разложения, тления, распада. Умирание еврейского мира в «Конармии» не локальное, а повсеместное. Рассказчик как бы сам ожидает увидеть хоть какую-то жизнь, скажем, пестрый еврейский базар в Житомире, но его интонация взлетает вверх, на мгновение задерживается в апогее — и мгновенно сходит на нет, когда перед ним возникает «базар и смерть базара».

Еврейские местечки «безжизненные». На Волини вымерло все, даже пчелы. У местных евреев «нет теплого биения крови». В еврейской лавке стоит «запах тления». У самого лавочника, остроумного собеседника рассказчика, «мертвая рука». В доме, где приходится останавливаться рассказчику на ночлег, женщина спит рядом с трупом своего отца. Хасиды собираются на шаббат в комнате, «каменной и пустой, как морг». Еврейский мирок «смердит», «воняет». Сами евреи — словно восставшие мертвецы из гоголевской «Страшной мести»: от их разговоров, их быта, их рассуждений веет кладбищенским холодом. Цадик, как гоголевский Вий, «приподнимает веки», «опускает веки». Броды «мертвенные», отпугивающие «смертельным холодом глазниц». Та же метафора адресована хасидизму — «с вытекшими глазницами стоит хасидизм на перекрестке ветров истории». Бабель сознательно утрирует нелепую архаику еврейских споров, говоря, что «забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Ильи, виленского первосвященника...». Назвать Илью («виленского гаона, гонителя хасидов») первосвященником, — значит вернуть ожесточенный предмет споров между евреями местечка Сокаль из второй половины восемнадцатого века (недостаточный, по Бабелю, архаизм) на две тысячи лет назад, в эпоху до разрушения Второго Храма (70 г. н. э.). Возможно, что окружающие цадика евреи («Реббе»), восстали из той же эпохи, что и

первосвященник. «Лжецы и ротозеи» — чем не евангельские «книжники и фарисеи», которых ныне, как и тогда, две тысячи лет назад, должна смести с лица земли новая мессианская эпоха?

Сравнение «Конармии» и «Дневника» со всей очевидностью доказывает, что ничто не претерпевает у Бабеля такую значительную трансформацию, как еврейская тема⁹. В «Конармии», как мы уже заметили, она убывает. В «Дневнике» она повсеместная константа. В каждом местечке, где останавливается Бабель, он отправляется рассматривать синагоги и восхищается их архитектурой. О евреях лишь однажды и как бы случайно он упоминает как о «мертвецах» и «чахлом племени», но гораздо чаще рассказывает об их живучести, житейских радостях, яркой и разнообразной жизни. Отношение Бабеля к еврею совершенно иное, чем у Лютова. У Бабеля красота еврейского мира «берет его за душу». Разговоры с евреем он называет «милое, родное». Он «любит говорить с нашими», то есть — с евреями. Потому что «они его понимают». Бабель гораздо сильнее, чем его Лютов в «Конармии» ощущает и переживает свое единство с еврейским миром. Бабель молится, отмечает вместе с евреями Девятое Ава, день разрушения Храма, празднует еврейский новый год, субботу. Евреи — совсем не такие анемичные, как в «Конармии»: среди них есть и сионисты, и сочувствующие революции, и хасиды. Бабель говорит о «жизни еврейской семьи», о «мощной неумирающей жизни». Еврейский мир, окружающий Бабеля, совсем иной: он поражает пестротой и живостью («ужин — благодать. Вот она — густота еврейская», «базар — корзины с фруктами вишен», «евреи здесь менее фанатичны, более нарядны, ядрены, даже веселее». Женщина у него в «Дневнике» поднята на библейскую высоту — он адресует ей метафору «эшет хаиль» (Притч. 12:14 и 31:10) — буквально, «мужественная женщина», метафорически — крепкая, настоящая хозяйка, опора семьи, оплот благополучия (этого словосочетания не смогли ни прочесть, ни понять нынешние бабелевские публикаторы. В «Дневнике» говорится буквально следующее: «Ишас Хакл угощает меня хлебом...» Разумеется речь идет об идишистском варианте библейской цитаты — «эшес хаиль»). От этой пестроты и жизненности еврейского мира в «Конармии» не остается ровным счетом ничего. Там еврейский мир подан в черных печальных тонах, и Лютов возвращается к нему только для того, чтобы покинуть его навсегда¹⁰.

Чем глубже в позавчерашний день уходит отмирающее рудиментарное еврейство, тем ярче на его фоне выглядят казаки, с их быющей через край жизненной энергией, бушующей страстью, мощной физической силой¹¹. Еврею, задающему риторические вопросы о субботе и революции («Гедали»), противопоставлен конармеец, немногословный и упрямый, чей жизненный путь решен и сомнений в его правильности быть не может («Аргамак»). Казачий мир огромен, динамичен, груб и прост¹². Казаки приводят Лютова, бабелевского рассказчика, в восторг, он буквально

заворожены ими. Их судьбы, их поступки, сами их движения становятся предметом Лютовского созерцания и восхищения. Его завораживает Колесников, сидящий в седле, как татарский хан. Он удивляется красоте «громадного тела» Савицкого; завидует «железу и цветам» его юности. Особенно потрясают рассказчика их простые бесхитростные страсти — мощные, бурлящие, без примеси дряблой рефлексии¹³. Казаку нужно есть, спать, убивать и совокупляться. В «Конармии» Бабель очень точно воспроизводит в Лютове свое собственное восхищение казаками, запечатленное в «Дневнике»¹⁴. Особенно его завораживает вид бьющей из человека крови — той самой, которой уже нет в еврейх Волыни. Сама революция видится казаку «железом, из которого вытекает кровь». Он потрясен крестьянской тщательностью, с которой казак обставляет убийство («Жизнеописание Павличенки», «Берестечко», «Соль»). Его околдовывает предельная простота обычая конармейца: «рубить — тачанка — кровь». Убийство видится ему как ослепительной силы эстетическое событие: «из горла его вылился пенистый коралловый ручей»; «из руки пурпурным током вылилась кровь»¹⁵. Чтобы воплотить этот мир, Бабелю мало упомянуть статьи, которые Лютов пишет в газету «Красный кавалерист»; Бабелю нужен агитпоезд, обладающий теми же характеристиками, что и красная конница. У Бабеля он отличается теми же завораживающими эпитетами: «сиянием сотен огней», «волшебным блеском», «упорным бегом машин». Но самое поразительное в Бабелевской «Конармии» — что рассказчик парадоксальным образом совмещает в себе оба мира — еврейский, к которому его тянет память, и красноармейский, куда его ведет любопытство и воля.

Нельзя не согласиться с Шимоном Маркишем, заметившим, что «...Лютов — это его [Бабеля. — *И.П.Ш*] половина, еврейская половина, иступленно жаждущая обрести вторую, революционную, большевистскую, но — не теряя первой»¹⁶. Лютов раздираем контраверзой. Он знает о том, что его тянет в разные стороны, но не может найти равнодействующую разнонаправленных сил. Еврейство как бы мощный полюс притяжения, из силового поля которого Лютов не спешит вырваться. Повинуясь его токам, Лютов отправляется накануне субботы на поиски «еврейского коржика и еврейского стакана чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю». Это же силовое поле притягивает его в толпу горланящих хасидов, среди которых горланит и Лютов «для своего же облегчения» («Эскадронный Трунов»). Трудно поверить, что он общается с хасидами на каком-нибудь другом языке, кроме идиш. Токи еврейского прошлого притягивают Лютова на кладбище в Козине, где он разбивает древнееврейские инскрипты на *мацевот* — надгробных плитах. Лютов сам еще вполне сомневающийся и нерешительный еврей, стыдящийся убитого гуся («Мой первый гусь»), неспособный добить раненого («Смерть Долгушова»), болезненно реагирующий на разговоры о массо-

вом еврейском уничтожении в годы войны («Замостье»). Но есть и другой полюс, к которому тянет Лютова. А именно — дикий и необузданный, полный энергии и первобытных страстей. К нему и направлено волевое усилие Лютова, пытающегося преодолеть в себе очкастого интеллигента еврейского происхождения, чтобы стать настоящим красным конником.

По сравнению с еврейским гравитационным полем, в «Конармии» притяжение этого полюса заметно сильнее. Пытаясь подняться на солдатский уровень житейской грубости, Лютов, прибыв на поселение к казакам, толкает старуху «кулаком в грудь» и присоединяется к мародерству¹⁷. Он молит судьбу о даровании ему простейшего из умений — «умения убить человека». Грубость и простота страстей входит в его плоть и кровь; казаки кричат ему: «Ты всех задираешь, в тебе черт сидит, Лютов». Лютова, как и Хлебникова, командира первого эскадрона, раздрают одинаковые страсти: и Лютову, и казаку мир видится «майским лугом, по которому ходят женщины и кони». Чем ближе к концу, тем органичнее вписывается Лютов в среду своих однополчан. В финале он научается держаться в седле; казаки перестают провожать взглядом неуклюжего всадника Лютова. В самом последнем рассказе цикла Лютов «портит чистенькую дамочку» («Поцелуй»), словно воплощает в жизнь напутствие квартирьера, который впервые привел его к казакам. Лютов просится в строй и становится в строй. Ему, наконец, подчиняются «женщины и кони», из которых состоит мир. Разумеется, такая метаморфоза происходит не без последствий для другой, еврейской половины Лютова. Чем ближе к финалу, тем меньше в Лютове еврейского. Не случайно один из героев пьесы «Закат» роняет фразу, что еврей, севший на лошадь, не может считаться евреем¹⁸. Евреи надоели Лютову. Мощная жизненная энергия конармии уносит его прочь от еврейского умирающего мирка — не только буквально («галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог»), но и метафорически.

Нигде с такой силой не проявляется отречение Лютова от своего еврейства, как в сцене расправы казаков над бедным еврейским стариком («Берестечко»). Композиционно «Берестечко» располагается после всех рассказов цикла, насыщенных еврейскими мотивами и раскрывающих еврейскую половину Лютова. Поведение рассказчика в этом эпизоде весьма характерно для Бабеля с его чисто интеллигентским любованием грубой физической силой¹⁹. Сцена убийства еврейского старика происходит под окнами Лютова. Сам Лютов стоит на улице на таком близком расстоянии от сцены убийства, что видит все ее детали — серебряную бороду старика, аккуратные движения казака Кудри. «Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей

затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму. — Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет. Это свободно...». Написанный Лютовым с натуры эпизод вызывает объяснимое недоумение: если рассказчик находится в такой близости от происходящего, то почему у него не возникает даже мысли спасти еврейского старика? Он с таким любованием и так завороженно следит за сценой убийства, с такой тщательностью выписывает неспешность происходящего, что не остается никаких сомнений: времени, чтобы вмешаться и спасти невинного, у него вполне достаточно. Ведь даже ничего не подозревающий Кудря стучит в закрытую раму окон дома, где остановился Лютов, как бы говоря самому Лютову — «Интересуешься? — Прибери!». Лютов даже пальцем не пошевелил. Более того, раздавленный увиденным, он отрешенно идет следом за казаками, как безвольное дитя²⁰.

Поведение Лютова поразительно контрастирует с отраженным в «Дневнике» поведением самого Бабеля. В некоторых местечках Бабель оставался по просьбе евреев ночевать в еврейских домах, чтобы предотвратить погром. Кроме того, когда резали пленных, Бабель, в отличие от Лютова, не останавливался полюбоваться «коралловыми ручьями» крови, а, наоборот — отворачивался («я не смотрел на лица»). Таким образом, на фоне Бабеля, спасающего от казачьего погрома галицийских евреев, Лютова можно поздравить с еще одной победой над своим еврейским «Я»: эпизод рассказа «Берестечко», похоже, демонстрирует образцовую интеграцию еврея в казачество²¹. Дальше двигаться уже некуда. Умиравшее еврейство отошло в прошлое, женщины и кони приручены, еврейский казак Лютов стал атаманом.

Тем не менее, говорить о полном отречении Лютова от своего вчерашнего еврейства ради красноармейского сегодня и коммунистического завтра вряд ли возможно. Бабель, скорее, ставит вопрос, чем дает окончательный ответ. Принципиальная незавершенность и неразрешимость еврейской темы заявлена в рассказе «Сын реббе». Композиционно он относится к итоговому рассказам цикла. Перед последним испытанием, на котором заканчивается армейская инициация Лютова, ему предстоит *последняя* встреча со своим прошлым — субботой, Житомиром, еврейским местечком, хасидами. Все эти еврейские реалии воплощены в красноармейце Илье Брацлавском, умирающем сыне хасидского цадика, которого Лютов узнает и втаскивает в вагон. В рассказе «Сын реббе» Бабель повторяет в миниатюре всю сложную модель взаимоотношений Лютова с еврейской темой, знакомую нам по «Конармии». Бабелевский рассказчик фиксирует умирание Брацлавского, как раньше он подмечал черты умирания местечкового еврейства («застенчивое лицо умирающего», «исчахший семит»). Смерть Брацлавского — как бы завершает медленное, но неуклонное тление местечкового мира «Конармии»²². В рассыпавшихся

вещах Брацлавского Бабель овеществляет контраверзу сознания рассказчика. Противоречие разрешается не синтезом, а формальным объединением. То, что невозможно совместить, распадается на отдельные предметы и сваливается в котомку Брацлавского: «Здесь все было свалено вместе — мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня — страницы «Песни Песней» и револьверные патроны...».

Как и в рассказах цикла, Бабель прочерчивает траекторию движения, по которой его герой движется от еврейского мирка в революцию. Лютов отрекается от старика-еврея с серебряной бородой — Брацлавский отрекается от матери («мать в революции — эпизод»). Как и Лютов, Брацлавский идет в армию и — то ли в воображении, то ли в реальной действительности — принимает командование сводным полком. Бабель последовательно разворачивает ту же самую поведенческую и мыслительную парадигму: в армию и революцию через отречение от еврейства. Параллельность судеб Лютова и Брацлавского, рассказчика и героя рассказа, подчеркнута в обращении Лютова к Илье Брацлавскому, как к брату по отречению («я принял последний вздох моего брата»). У Лютова немало сотоварищей среди казаков, но брат только один, Илья Брацлавский: брат по еврейству и по отречению от него. В то мгновение, когда Бабель готов подвести итоги успешного эксперимента, его рассказчик одним-единственным словом их перечеркивает. Двусмысленность этого решения — бесспорно, модернистская, с характерной модернистской амбивалентностью и барочной «гармонией разлада». Для нас важно, что Бабель, последний в ряду русско-еврейских писателей, ставит интеграционную модель под вопрос, который сам он разрешить не может.

Бабель, как видим, решительно меняет соотношение в треугольнике «местечковое еврейство — солдат-еврей — армия», радикально переиначивая собственный жизненный опыт и живые наблюдения, отразившиеся в «Дневнике» 1920 года. Успешная интеграция еврея из интеллигентов Лютова в казачество является производной художественной структуры «Конармии», а не отражением реального опыта журналиста Бабея, пытающегося интегрироваться в Первую Конную²³. «Конармия» в каком-то смысле ближе к мифу «Одиссей среди кентавров», чем к исторически релевантной встрече (или невстрече) еврея-интеллигента с русским казачеством.

Примечания

¹ Стора-Сандор верно подметила, что главный конфликт в «Конармии» — это конфликт между евреем и армией. См.: Stora-Sandor J. *Isaac Babel: L'Homme et l'Oeuvre*. Paris: Klincksieck, 1968. P. 101.

² Левин Ф. И. *Бабель*. М.: Художественная литература, 1972. С. 8 (о «черте оседлости»); 59 (о «казацком духе»).

³ Здесь и далее «Дневник» цитируется по изд.: Бабель И. Собрание сочинений в 2-х тт. М.: Художественная литература, 1990. Т. 1 С. 362-435.

⁴ Очень точно сказано об этом у Брауна, исследующего реальную, не литературную конармию: «Во многих отношениях конармия представляет собой некий чудовишный реликт русского средневекового прошлого». См.: Brown S. *Communists and Red Cavalry: the Political Education of the Konarmia in the Russian Civil War, 1918-1920* // *Slavonic and East European Review*. 1995. Vol. 73. №1. P. 94.

⁵ Джеймс Фэйлен справедливо заметил, что «казаки — революционная армия, но безграмотные русские крестьяне». См.: Falen J. *Isaac Babel*. Knoxville: University of Tennessee Press, 1974. P. 133.

⁶ Ср.: Красноармеец отказывает Бабелю в куске хлеба: «с евреями не имею дела»; заглянув бойцу в душу, Бабель говорит о ней «зверье с принципами»; у Апанасенки «неугасимая ненависть» к интеллигентам.

⁷ О тематическом единстве цикла «Конармии», связанном с эволюцией Лютова, см.: Luplow C. *Isaac Babel's Red Cavalry*. Ardis: Ann Arbor, 1982. P. 7-11, 16-17, 23-29; Falen. *Isaac Babel*. P. 136-137.

⁸ В «Дневнике» Бабель называет евреев «до(украинские) жида», тем самым возвращая евреев Волыни в дореволюционную эпоху.

⁹ О недооценке этой трансформации в критике говорила Хамуталь Бар-Йосеф: «динамические изменения, идущие через весь цикл рассказов, и оставленные [исследователями] без внимания». См.: Bar-Yosef H. *The Poetic Status of Direct Speech in the Stories of Isaac Babel* // *Cahiers du Monde Russo-Soviétique*. 1985. Vol. XXVI. №2. P. 186.

¹⁰ Об эволюции Лютова см.: Левин. *Бабель*... С. 52-53; Carden P. *The Art of Isaac Babel*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1972. P. 129-131; Falen. *Babel*... P. 127.

¹¹ Патрисия Карден противопоставляет еврейство — казакам как физически полнокровное физически ущербному. Carden P. *The Art*... P. 112-116; наиболее полный анализ казачества в «Конармии» дан у Кэрол Луплоу. См.: Luplow. *Isaac Babel's Red Cavalry*... P. 34-44.

¹² Именно эту простоту и грубость имел в виду историк, описывающий эмпирически реальную Конармию: «Политработники Красной Армии с их городским образованием и нередко еврейским происхождением представляли собой полную противоположность конармейским солдатам из крестьян и казаков». См.: Brown. *Communists and Red Cavalry*... P. 93-94.

¹³ По этому поводу Фэйлен замечает: «Бабелевский Лютов — совершенно пассивный образ. Мечтатель, он не способен совладать с собственным опытом и даже не может инициировать действие». См.: Falen. *Isaac Babel*... P. 131.

¹⁴ Ср.: «Вид казаков, изумительно спокойное, уверенное войско»; «гоголевская фигура»; «красивые, молодые русские люди»; «фигура Аполлона» (у кавалериста Дьякова). См.: Бабель. *Дневник*... С. 367, 421, 434, 372.

¹⁵ О будничности насилия в «Конармии» см.: Левин. *Бабель...* С. 100-119; O'Connor F. The Romanticism of violence // *Isaac Babel: Modern Critical Views* / Ed. Harold Bloom. NY: Chelsea House, 1987. P. 64-65; Stine P. Isaac Babel and Violence // *Ibid.* P. 231-248, в особенности стр. 243-244.

¹⁶ Маркиш Ш. *Бабель и другие*. М.-Иерусалим: Гешарим, 1995. С. 17.

¹⁷ Комментируя рассказ «Мой первый гусь» Мильтон Эр называет происходящее с Лютовым инициацией, в процессе которой Лютов совершает насилие над женщиной и животным. См.: Ehre M. *Isaac Babel*. Boston: Twayne, 1986. С. 81-82.

¹⁸ См. об этом: Falen. *Isaac Babel...* P. 132.

¹⁹ Говоря о специфике точки зрения Бабеля в рассказе «История моей голубятни», Маркиш замечает, что рассказчик рассматривает погром, самих погромщиков «взором ясным, невозмутимым и даже любующимся иногда» (Маркиш Ш. *Бабель и другие...* С. 22-23).

²⁰ О Лютове и казаках см.: Luplow. *Red Army...* P. 44-47.

²¹ О различии между Бабелевским «Я» и Лютовым в «Конармии» см.: Falen. *Isaac Babel...* P. 148-149.

²² Бабель, получивший основы традиционного образования, говоривший на идиш и свободно владеющий ивритом, не мог не знать о мессианских претензиях Реббе Нахмана из Брацлава (т.е. Брацлавского), основателя направления брацлавских хасидов, однофамильца центрального героя рассказа, как, впрочем, и о мессианской коннотации имени Брацлавского – Илья (Элиягу). См. об этом подробнее: Friedberg M. Yiddish Folklore Motifs in Isaac Babel's «Konarmia.» // *Isaac Babel: Modern Critical Views* / Ed. Harold Bloom. NY: Chelsea House, 1987. P. 191-198.

²³ Ср. у Хамуталь Бар-Йосеф: «Бабель смотрит на возможность интегрироваться в новую реальность сквозь призму своего автобиографического пессимизма» (Bar-Yosef H. The Poetic Status of Direct Speech in the Stories of Isaac Babel // *Cahiers du Monde Russo-Soviétique* 1985. Vol. XXVI. №2. P. 189).

Ирина Сергеева

СЕМЕН АКИМОВИЧ АН-СКИЙ:

СОБИРАТЕЛЬ, ЭТНОГРАФ, ПИСАТЕЛЬ

Имя популярного еврейского писателя и известного общественного деятеля Семена Акимовича Ан-ского (псевдоним, настоящее имя и фамилия Шлойме-Зейнвил Аронович Раппопорт, 1863—1920) получило широкую известность в еврейской фольклористике и этнографии лишь в последнее десятилетие его жизни, совпавшее с одним из наиболее плодотворных и наиболее трудных времен для еврейской исторической науки. Этому периоду не суждено было завершиться при жизни исследователя фундаментальными научными трудами, которые бы обобщили результаты работы этнографа, его предшественников и коллег. Но, тем не менее, вполне закономерен тот факт, что С.А.Ан-скому, исследователю народной культуры, удалось вписать одну из самых ярких страниц в историю этнографической науки о восточно-европейском еврействе¹.

К пониманию ценности традиционной еврейской культуры С.А.Ан-ский пришел через идеалы русской народнической литературы. «Русский народник, социал-революционер, секретарь П.Лаврова, он стал еврейским националистом, не политическим, но культурным, он стал мечтать о закреплении исторических основ еврейской психики путем сознательного и настойчивого еврейского воспитания»². На национальную самоидентификацию С.Ан-ского оказали влияние политические процессы конца XIX — начала XX вв.: процесс Дрейфуса во Франции, страшные еврейские погромы в Кишиневе и Одессе. «Надо воспитать народ к национальной жизни, — писал, полемизируя с еврейскими национал-территориалистами, С.Ан-ский известному еврейскому политическому деятелю Х.Житловскому в 1905 г. — И тогда, как у здорового организма, у народа самого явится тоска по территории, по государственной жизни»³. Народническая школа научила С.Ан-ского, что задача «воспитания народа» безусловно предполагает в первую очередь его изучение, глубокое осознание и анализ исторических и культурных корней, традиций и верований.

На протяжении многих лет писатель изучал фольклор разных народов, методику записи, классификации и обработки фольклорного материала, что позволило ему в будущем успешно осуществить ряд фольклорно-этнографических экспедиций в «черте оседлости», собрать, проанализировать и подготовить к публикации уникальные по своему значению материалы. Понимая опасность полной утраты «наследия тысячелетнего творчества», С.А.Ан-ский уже в 1908 г. делает первые попытки организовать еврейскую фольклорно-этнографическую экспедицию. В сентябре

1909 г. он пишет Х.Житловскому: «Чем больше думаю, тем больше прихожу к убеждению, что еврейство лежит в 4000-летней психологии и 4000-летней культуре. Удастся нам приспособить нашу культуру к жизни — будем жить, не удастся — будем мучиться и выдыхаться, пока не умрем. А пришить нам чужие головы и сердце ни одному хирургу не удастся. У меня теперь план — если удастся, буду счастлив бесконечно. Хлопочу, чтобы Еврейское этнографическое общество командировало меня собирать по России еврейские народные песни, пословицы, сказки, заговоры и т.д., короче народное творчество. Если удастся — посвящу охотно этому весь остаток жизни. Это огромная культурная задача. Нужно для этого от 8 до 10 тысяч. Удастся достать — самый счастливый человек буду»⁴.

Время обращения С.Ан-ского к еврейскому фольклору и декоративно-прикладному искусству счастливо совпало с созданием в Петербурге Еврейского историко-этнографического общества (ЕИЭО)⁵, в организации и работе которого он принимал непосредственное участие. Уже в первом выпуске альманаха «Пережитое» С.Ан-ский, как бы обосновывая концепцию этнографической работы, представляет программное по своему значению обращение к читателям: «Всепоглощающее время уничтожает не только вещественные памятники старины; оно постепенно стирает и тот живой исторический материал, который заключается в преданиях, обычаях, воспоминаниях, песнях старинного происхождения и т.п. Естественный темп их исчезновения был значительно ускорен теми глубокими изменениями, которые с такой быстротой испытал еврейский быт в России. Многие из того, что еще недавно было явлением повседневной еврейской жизни, оставило лишь едва уловимый след в народной памяти; продукты еврейского коллективного творчества, отражающие взгляды народа на пройденную им полосу жизни, сменяются новыми»⁶. Пользуясь возможностью через альманах обратиться к широким кругам читателей, С.Ан-ский в статье «Еврейское народное творчество» ставит «неотложную задачу: организовать систематическое и повсеместное собирание произведений всех видов народного творчества, памятников еврейской старины, описание всех сторон старого еврейского быта. Дело это, как совершенно внепартийное, культурное и национальное, должно привлечь к себе и объединить лучшие силы нашего народа. Пора создать еврейскую этнографию!»⁷.

Одной из главных задач своей работы Ан-ский видит собирание и запись этнографических памятников в «черте оседлости», организацию для этого специальных экспедиций. Вплотную к реализации идеи проведения экспедиций он приступает в 1911 г. Деньги в размере 10 тысяч руб. на проведение исследований он получил от киевского мецената, сына известного еврейского финансиста, филантропа и общественного деятеля Горация Осиповича Гинцбурга — Владимира Гинцбурга. В фонде Ан-ского (ИР НБУВ) сохранилась обширная переписка с В.Гинцбургом⁸. В пись-

мах писатель и этнограф сообщает респонденту о текущих делах и ближайших планах, обсуждает организационные вопросы, связанные с предстоящими экспедициями. Из этой переписки следует, что помимо достаточно ощутимой финансовой поддержки Гинцбурга, Ан-скому приходилось в поисках дополнительных средств совершать многочисленные поездки в Москву, Баку, Царицын и другие города. В это же время он стремится привлечь к работе экспедиции лучшие силы еврейской интеллигенции. Ан-ский надеется, что с помощью собранного материала удастся переломить негативное отношение частично ассимилированной городской интеллигенции к народному быту, к предметам еврейского декоративно-прикладного искусства, традиционному фольклору.

Итак, 1 (14) июля 1912 г. экспедиционная группа в составе руководителя экспедиции С.Ан-ского, фотографа и художника С.Юдовина, музыковеда и композитора Ю.Энгеля выехала в пробную поездку, без официального статуса и подчинения, на Украину, работая в этом сезоне в Киевской и Волынской губерниях. Об этой экспедиции Энгель писал: «...летом я впервые получил возможность с головой окунуться в самую гущу глухих еврейских местечек, своеобразная жизнь которых еще во многом столь тесно связана с традициями прошлого и таким образом представляет наиболее благоприятные условия для сохранения памятников старинного народного творчества... Поехало нас трое: еврейский писатель, поэт и этнограф Ан-ский, я и еще один молодой человек. Ан-ский по части собирания сказок, легенд, поговорок, интересных предметов старины, я — по музыкальной части, молодой человек — для фотографических работ. Отправились мы в губернии Киевскую и Волынскую, — с одной стороны так как там много мест, относящихся к старейшим поселениям евреев в России, с другой стороны — по некоторым соображениям чисто практического характера. Я пробыл в пути немногим меньше месяца, Ан-ский же больше трех месяцев...»⁹.

За день до отъезда экспедиции, в предчувствии интересных открытий, Ан-ский пишет: «Сильно волнуюсь как перед большой неизвестностью. Как-то пойдет дело? Сумею ли приобрести доверие тех бедных и темных, из среды которых сам вышел, но от которых так далеко ушел за эти годы? Моментами даже жутко делается. Но, вместе с тем, в душе огромное радостное чувство, что начинается осуществление заветнейшей мечты целой жизни»¹⁰.

«Сумею ли приобрести доверие»... Ответом на этот, впрочем, риторический вопрос, может быть только цитата из отчета о поездке одного из участников экспедиции Юлия Энгеля, который, с присущим ему тонким юмором, пишет о взаимоотношениях с населением, проблемами, с которыми сталкивалась экспедиция при записи на фонограф. «...Нас приняли даже на время за граммофонщиков, т.е. людей, торгующих песнями и сказками. Но Ан-ский с его почтенным видом, соблюдением обрядов и умением говорить со стариками, здесь, как всюду впоследствии, сумел поправить

дело. О себе я не говорю. Помимо того, что я по-еврейски говорил плохо, я внушал недоверие старикам уже одним своим бритым видом. Но вслед за Ан-ским и мне легче было добыть, что нужно»¹¹. В другом письме Энгель замечает: «В Ружине я собрал очень мало материала, С.Ан-ский — гораздо больше, особенно преданий о ружинском цадике и его временах»¹².

О работе экспедиции 1912 г. С.Ан-ский писал в одном из писем: «путешествовали и собирали материалы и предметы для еврейского музея»¹³. Во время экспедиций С.Ан-ский вместе с Ю.Энгелем записывают при помощи фонографа еврейские религиозные и народные песни, сказания, делают множество фотографий, зарисовок, копий.

О результатах первого экспедиционного сезона Ан-ский сообщает из Луцка: «Эта пробная экспедиция дала гораздо больше, чем я ожидал от нее: несколько сот легенд, сказаний, исторических преданий, сказок, более 500 народных песен, несколько сот интересных стишков, около 200 предметов, купленных для музея, книги, рукописи и т. д. И это — десятая доля того, что можно было бы собрать при большем опыте, организованности и умелости. Я уверен, что большая экспедиция может собрать колоссальный во всех отношениях материал»¹⁴.

Вдохновленный успехом первой пробной экспедиции, Ан-ский в марте 1913 г. разрабатывает план предстоящего сезона и, вместе со сметой расходов, представляет на рассмотрение меценатов-евреев, способных оказать финансовую поддержку. В этом плане он указывает о намерении посетить более чем 250 местечек (на 3 года), планируя на сезон 1913 г. — 80, указывает примерный состав экспедиции. В работу по подписке для экспедиции этого года были вовлечены и такие известные еврейские общественные деятели, как Г.Слиозберг и М.Шефтель. Детали подготовительного этапа отражены в переписке Семена Ан-ского и Владимира Гинцбурга. Осуществление миссии по обеспечению финансовой поддержки работ обязывало писателя к частым поездкам, было связано с многочисленными встречами, переговорами и, в результате — частыми разочарованиями. Так, в письме от 24 мая 1913 г. он пишет: «В Москву на прошлой неделе пришлось ехать еще раз (тринадцатый раз со времени начала переговоров об экспедиции!!)»¹⁵. Однако, по поводу предложения М.Шефтеля провести этнографическую поездку 1913 года в том же объеме, что и предыдущую, и ограничиться сокращенным финансированием, Ан-ский, в уже упоминавшемся письме, замечает: «Для такого совета не стоило мне шесть месяцев обивать пороги..., я лучше откажусь совершенно в нынешнем году от экспедиции, чем вести ее в урезанном виде и скомпрометировать все дело»¹⁶.

В марте 1913 г. решается вопрос об организационном статусе экспедиции: «Экспедиция организуется как автономная комиссия при ЕИЭО и имеет свою самостоятельную администрацию и отчетность», за Ан-ским закрепляется «исключительное право по обработке для печати собранного при его участии материала»¹⁷.

Летом, 9 (22) июня 1913 г. экспедиция снова начинает работать на Волини и после двух месяцев работы переезжает в Подольскую губернию. «В четверг, 6/19 июня наша экспедиция отправляется в путь и в воскресенье мы уже приступим к работе»¹⁸.

Это направление было выбрано не случайно, ибо среди других регионов Восточной Европы именно Восточная Галиция, Волинь и Подолия выделялись и выделяются до сих пор обилием памятников еврейской старины. Именно здесь, и особенно в Подолии, относительно удаленной от старых центров еврейской культуры, устная легендарная история расцветала особенно пышно, конкурируя с письменной историей, дополняя, а то и замещающая ее. Кроме того, именно в этих местах зародился хасидизм с его культом святых могил и чудотворчества. Во время этой экспедиции С.Ан-ский приходит к пониманию важности собирания, анализа и публикации материалов еврейского декоративно-прикладного искусства. Волинь и Подолия открыли перед участниками экспедиции самобытное и высокое народное художественное творчество, отразившееся в резьбе *мацев* (надгробных стел), в убранстве и росписях синагог, в изобразительных мотивах и орнаментах старинных рукописей, в том числе и *пинкасим* (записных книг еврейских общин). С.Юдовин выполняет сотни фотографий и зарисовок, копий с изобразительного материала, что, кстати, впоследствии оказало огромное влияние на все его творчество как художника-графика¹⁹.

Место «музыкального человека» в этой поездке было закреплено за Зиновием Кисельгофом. Кроме него к работе этого сезона были привлечены студенты Курсов востоковедения А.Рэхтман, И.Фикангур и С.Шраер.

О работе в 1913 г. С.Ан-ский пишет В.Гинцбургу (письмо отправлено в конце августа из Киева): «Все это время мы разъезжали по самым глухим местечкам, находились в такой обстановке, что не было органической возможности уединиться. Одна из особенностей работы экспедиции заключается в том, что с раннего утра до глубокой ночи наши комнаты полны народом. Это невероятно утомляет, но против этого ничего нельзя поделать»²⁰.

В этом же письме этнограф подводит предварительные итоги этнографического обследования Волынской губернии: «За 2,5 месяца экспедиция побывала в 25 пунктах (8 уездных городах и 17 местечках), собрала материал вдвое, если не более, превышающий материалы прошлогодней экспедиции, сделали более 500 фотоснимков, записали до 1000 мотивов и песен, огромное число сказок и сказаний, приобрели 169 предметов для музея, среди которых немало старинных и ценных, в том числе до 20 рукописных, [большое] [число] ненапечатанных сочинений XVIII-XX веков, много писем известных лиц и т.д... Среди фотографий прибавился еще один отдел — обложки пинкусов. Сняли и скопировали около 40, среди которых множество оригинальных и художественных»²¹.

Во второй половине августа исследователи работают в Подольской губернии. Однако в сентябре они вынуждены сделать краткий перерыв в работе, обусловленный двумя неделями религиозных праздников. Это время Ан-ский использует для участия в процессе Бейлиса в качестве корреспондента от газеты «Речь». Во время посещений Киева он свозит в специально отведенную по распоряжению В.Гинцбурга комнату материалы, собранные в экспедиции. («Теперь выбрался на день в Киев, привез два больших ящика с рукописями и предметами для музея»)²².

С.Ан-ский имел намерение продолжить этнографическую поездку по Подольской губернии до 1 ноября 1913 г., в это же время он предполагал исследовать часть Киевской губернии. Эти планы отражены в письме В.Гинцбурга к Ан-скому. Касаясь темы финансирования работ, он пишет: «Вы помните, что мы условились продолжать экспедицию нынешнего года, пока того позволит погода, не считаясь с петербургскими средствами»²³. Письмо З.Кисельгофа в Киев (И.Маховеру для С.Ан-ского) датировано 9 ноября 1913 г. Вероятно, что в это время в Кисве оканчивалась работа сезона этого года.

В следующем сезоне 1914 г. экспедиция продолжает обследование Подольской губернии и посещает ряд городов и местечек Киевской губернии. О текущей работе экспедиции идет речь в нескольких письмах В.Гинцбурга к Ан-скому (21.06, 22.11.1914) и фрагменте письма Ан-ского меценату, в котором идет речь о финансировании работ до 1 января 1915 года, а также в воспоминаниях А.Рэхтмана. Так, в письме от 21 июня 1914 г. В.Гинцбург пишет: «Что касается общего плана Вашей деятельности, то я вижу следующее. Всем жертвователям мы говорили, что собирание материалов продлится три года. Далее очевидно, источники средств для нашего дела иссякают и поэтому на снаряжение дальнейших экспедиций (4-й, 5-й и т.д.) надежды нет... Принимая все это во внимание, мне кажется, нужно этим и ограничиться, оставив в стороне Польшу и Литву, которые потребовали бы еще много труда и таких средств, которые мы получить не можем»²⁴. К сожалению, работы экспедиции были прерваны с началом первой мировой войны, в которую Россия вступила на стороне стран Антанты.

Отчет о работе экспедиций 1912—1914 гг. С.Ан-ский помещает в письме, присланном в редакцию «Еврейской старины» из Галиции. Впоследствии этот отчет выходит отдельным оттиском. Согласно ему, за время работы экспедиция обследовала более 70 местечек «черты оседлости», собрала более 700 предметов старины, представляющих музейную и художественную ценность, записала огромное количество народных сказок, пословиц, поговорок, «500 народных песен, до 1000 народных мотивов, песенных, застольных, синагогальных и музыкальных (записано на фонограф)... Собрано несколько сот старинных документов, имеющих историческое значение, коллекции писем выдающихся лиц, мемуаров, до

ста старинных рукописей, пинкусов. Собрана большая коллекция старинных оригинальных рисунков, заглавных листов пинкусов, мизрахов, кеттуб и др., сделано около 1500 фотографических снимков со старинных синагог, внутреннего их украшения, кивотов и амвонов, художественных предметов культа, надгробных памятников, типов, сцен и т.д.»²⁵.

На основе собранных во время экспедиций материалов (легенд, преданий) Ан-ский написал цикл рассказов, рукописи которых сохранились в фонде: «Встреча (Легенда)», «Цадик Залман Шнеерсон. Биографический очерк», «История с Бештом и святопогибшими из-за навета. Сказание», «История с Бештом и убитым христианином. Сказание», «Сказка про алмазные слезки», «Кошмарная загадка. История одного загадочного убийства младенца» (написана в 1913 г., безусловно под влиянием процесса Бейлиса), «Янте (жена) Раби Исроэля», «Чудо цадика», «Вне человека. Легенда»²⁶. А уже в 1918 году он пишет «Великую и страшную историю с тельцом. (Из еврейских народных сказок)». Интересна работа над сказкой — Ан-ский подготовил 4 варианта и только в последнем нашел полное подходящее название «Страшная и удивительная история про четырехвратную башню в городе Рим, про корону железную, про неувядаемые травы и про кесаря Нерона. (Из еврейских народных мотивов)» (апр. 1918). Именно под этим названием сказка была опубликована в том же году в журнале «Еврейский мир»²⁷ с посвящением Федору Кузьмичу Сологубу.

Как результат работы экспедиций, писатель задумывает большое исследование «Евреи в их бытовой и религиозной жизни», несколько вариантов плана которого сохранились в фонде²⁸.

Мы публикуем три сказания, записанные во время экспедиций 1912 — 1914 гг. и литературно обработанные Семеном Акимовичем Ан-ским.

¹ Лукин В. От народничества к народу (С.А.Ан-ский — этнограф восточно-европейского еврейства) // История и культура евреев в России. Сб. науч. трудов. СПб., 1995. С.125.

² Горнфельд А. С.А.Ан-ский. // «Еврейский вестник», 1922. С.12.

³ Письмо С.А.Ан-ского — Х.Житловскому от 7.12.1905, Берлин. Цит. по Лукин В. Указ. соч. С.126.

⁴ Письмо С.А.Ан-ского — Х.Житловскому. Сентябрь 1909 г., Петербург. Цит. по Лукин В. Указ. соч. С.129.

⁵ Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем/Под общ. ред. д-ра Л.Каценельсона и барона Д.Г.Гинцбурга. Т.7. СПб.: Издание О-ва для научных изданий и изд-ва Брокгауз-Ефрон. Кол.449-450.

⁶ От составителей // Пережитое, 1908, Т.1.С.1.

⁷ Ан-ский С.А. Еврейское народное творчество // «Пережитое», 1908, Т.1.С.278.

⁸ ИР НБУВ. Ф.339, ед.хр. 295-316.

⁹ Ю.Энгель. Еврейская народная песня. Этнографическая поездка. [1913, Москва] — ИР НБУВ. Ф.190. ед.хр.266, л.2.

¹⁰ Письмо С.Раппопорта — В.Г.Гинцбургу, барону. 30 июня 1912 г. ИР НБУВ. Ф.339, ед.хр.949, л.1.

¹¹ Энгель Ю. Еврейская народная песня..., лл.36-53.

¹² Там же, лл. 10, 11.

¹³ Письмо С.А.Ан-ского к С.Нигеру от 1.03.1913, (Петербург). Цит. по Лукин В. Указ соч., С.133.

¹⁴ Протоколы заседания комитета ЕИЭО от 5.03.1913 и 17.03.1913. ЦГИАП, Ф.2129, оп.1, д.60, лл.81, 79.

¹⁵ Письмо С.Раппопорта — В.Г.Гинцбургу, барону. 24 мая 1913 г. ИР НБУВ. Ф.339, ед.хр.954, л.1.

¹⁶ Там же, л.2.

¹⁷ Протокол заседания Комитета ЕИЭО от 17.03.1913 ЦГИАП. Ф.2129, оп.1. д.60, л.79. Цит. по Лукин В. Указ соч., С.137.

¹⁸ Письмо С.Раппопорта — В.Г.Гинцбургу, барону. 26 апреля 1912 г. ИР НБУВ. Ф.339, ед.хр.959, л.1.

¹⁹ Земцова А. С.Б.Юдовин // Искусство книги. 1956-1957. Вып.2. М.: Книга, 1961. С.185.

²⁰ Письмо С.Раппопорта — В.Г.Гинцбургу, барону. Август 1913 г. ИР НБУВ. Ф.339, ед.хр.958, л.1.

²¹ Там же, лл.1-2.

²² Там же, л.1.

²³ Письмо В.Г.Гинцбурга — С.Ан-скому (Раппопорту). 12 июня 1912 г. ИР НБУВ. Ф.339, ед.хр.300.

²⁴ Письмо В.Г.Гинцбурга (барона) — С.Ан-скому (Раппопорту). 21 июня 1914 г. ИР НБУВ. Ф.339, ед.хр.314, л.3.

²⁵ Ан-ский С.А. Письмо в редакцию (о работах этнографической экспедиции) // Еврейская старина, 1915, Т.8. С.239.

²⁶ Все рукописи хранятся в ИР НБУВ. Ф.339. Приводим номера единиц хранения в порядке упоминания документов в тексте: 9(14), 10, 19, 32, 33, 7, 1, 40, 46, 47.

²⁷ ИР НБУВ. Ф.339, ед.хр. 2; Еврейский мир. [М.], 1918. С.223-241.

²⁸ ИР НБУВ. Ф.339, ед.хр. 11, 15 (два варианта рукописного текста).

Семен Ан-ский

ВСТРЕЧА

Легенда

Раби Мойше Мантефиоре был великаном в Израиле, и имя его гремело во всех концах мира. Был он первым советчиком английской королевы. И хотя она имела при себе много министров и сенаторов и великих полководцев и всегда с ними советовалась, она, выслушав их всех, призывала раби Мойше Мантефиоре, и как он советовал ей, так она и поступала. При своем высоком положении обладал раби Мойше Мантефиоре еще и несметными богатствами. Ему принадлежало множество колодцев «живого серебра» — и слуги его день и ночь черпали ведрами и не могли исчерпать. А «живое серебро», как известно, дороже обыкновенного серебра. Иные говорят, — дороже даже золота! И все свое богатство и могущество употреблял раби Мойше Мантефиоре на пользу евреев. Едва случалось где-нибудь несчастье с евреями, — гонение, жестокий указ, навет или, Боже упаси, избиение, — он тотчас же кидался, как лев на защиту своих братьев: являлся перед королевой, падал к ее ногам, моля о помощи и защите, сам ездил к другим царям в далекие страны, сыпал деньгами, и не успокаивался, пока не устранил грозного бедствия. И помогал раби Мойше Мантефиоре не одним только заступничеством. Он строил синагоги, ешиботы и школы, содержал на свой счет тысячи ученых, которые сидели в синагогах и изучали Тору, не оставлял ни одной мольбы нуждающегося без помощи, поддерживал старца, осушал слезы вдовицы, был отцом для сирот. Вел себя раби Мойше Мантефиоре истинным монархом: жил в роскошном дворце с сотнями комнат, украшенных золотом и драгоценными камнями, и самыми редкими тканями, имел тысячи слуг, выезжал в золотой карете со скороходами, и, проезжая по улицам, кидал из окна кареты бедным полные горсти червонцев.

При всем своем богатстве и знатности, оставался раби Мойше Мантефиоре самым набожным евреем, строго выполнял все законы и обряды, охранял все обычаи, каждый день читал положенное число псалмов, — короче, все, как полагается... Однако, надо признаться, что великим ученым он не был... То есть, не невежда, Боже сохрани! нет! Напротив, легко проходил страницу Талмуда, заглядывал и в более трудные священные книги. Но... да простит нам в его память! — все это было без тонкости, без остроты, без полета... И раби Мойше Мантефиоре принимал это и скорбел душою за свою собственную ограниченность.

В то самое время, когда жил раби Мойше Мантефиоре, жил в городе Минске великий раввин, раби Гершон Танхум. И был он тоже великаном во Израиле, имя его гремело во всех концах мира. Знал он наизусть весь Талмуд, — и не было священной книги, которую он не изучил бы, и не было такого трудного вопроса, в котором он не открыл бы новых путей. Это был

поистине живой родник мудрости, и сколько из него не черпали, он оставался полным до краев. И при всей своей мудрости и известности был раби Гершон Танхум страшным бедняком. Получал он от города содержания 20 грошей в неделю, и имея многочисленную семью, жил в большой нужде.

И вот узнал раби Мойше Мантефиоре про раби Гершона Танхума и его великую мудрость. И решил он в сердце своем взять раби Гершона себе в учителя. А если раби Мойше Мантефиоре что решил, то ему, при его богатстве и могуществе, конечно, нетрудно было это выполнить. Не стал он долго думать, велел слугам запрячь в золотую карету восьмерку самых быстрых лошадей и поехал. Надо вам знать, что от Английского государства до Минска — огромное расстояние. Но что значит самое большое расстояние, когда мчатся на восьми быстрых лошадях! Проходит несколько дней, и раби Мойше Мантефиоре уже в Минске. Приехал и начинает расспрашивать, где живет раби Гершон Танхум. И ему указывают на полуразвалившуюся лачужку на окраине города. И он заходит туда и видит — раби Гершон Танхум сидит за священной книгой. Подходит к нему и говорит:

— Учитель мой, раби Гершон Танхум! Да будет вам ведомо, что я — Мойше Мантефиоре.

Когда раби Гершон слышит это имя, он поднимается с места и произносит обязательное при лицезрении великих мужей благословение:

— Благословлен Уделивший из Своего величия смертному!

Потом протягивает гостю руку и приветствует его:

— Мир вам!

Раби Мойше Мантефиоре отвечает приветствием и говорит:

— Да будет вам ведомо, раби Гершон, что я приехал за вами. Я беру вас себе в учителя. Семье вашей оставляю, сколько ей потребно на содержание. А вас увезу с собою. Будете жить у меня в доме, сидеть за моим столом и будете из моей руки получать на все, что вам потребуется, на одежду и обувь, на баню и нюхательный табак.

Слушает раби Гершон эти речи, — и не знает, что ответить. Если раби Мойше Мантефиоре сам прислал за ним в золотой карете и берет его с собою, — может ли он не ехать? Но он все-таки говорит, что ему надо подумать и посоветоваться с женою. И он советуется с женою и дает свое согласие. И раби Мойше Мантефиоре тотчас отсчитывает жене раби Гершона 1000 червонцев, сажает раби Гершона с собою в золотую карету, и они уезжают.

Когда приезжают в английское царство, едут они по владениям раби Мойше Мантефиоре, и он показывает раби Гершону свои леса и поля, сады и виноградники. Потом показывает ему свои колодцы «живого серебра». Смотрит раби Гершон и удивляется: никогда в жизни не слышал он о таких несметных богатствах. Приезжают они домой к раби Мойше Мантефиоре, и он водит раби Гершона по своим дворцам и показывает ему множество огромных комнат, и все они украшены золотом, серебром и драгоценными камнями. Смотрит раби Гершон и поражается: ни-

когда ему и во сне не снилось такой несслыханной роскоши. Затем вводит его раби Мойше Мантефиоре в самый большой зал, и он весь сияет от драгоценных камней, и на потолке нарисованы солнце и луна, и звезды, и планеты, и знаки Зодиака. И все они движутся. И в зале стоят серебряные столы, накрытые золотыми скатертями. И на столах расставлены в золотой посуде самые дорогие яства и в драгоценных сосудах самые редкие вина. И за столами сидят самые великие богачи и почетные люди в вышитых одеждах. И сотни слуг подают к столу и прислуживают. И когда раби Мойше Мантефиоре входит, все поднимаются со своих мест, низко кланяются ему и кричат: «Да живет властелин наш, раби Мойше Мантефиоре», — и его охватывает большой трепет. И раби Мойше Мантефиоре сажает раби Гершона на почетное место, и слуги подносят ему лучшие яства. Но он не может притронуться к пище, не может взять ложки в руку, ибо весь дрожит от страха перед богатством, роскошью и величием, которые он видит перед собою. И у него дрожат руки и ноги.

Когда закончился обед, раби Мойше Мантефиоре оперся на спинку своего золотого стула и громко сказал:

— А теперь пусть раби Гершон Танхум нам скажет Тору!

Хочет раби Гершон начать говорить, но не может рта раскрыть от большого страха и трепета. И раби Мойше Мантефиоре еще раз повторяет громко:

— А теперь пусть раби Гершон Танхум нам скажет Тору!

И раби Гершон делает большое усилие и начинает говорить Тору. И сперва говорит он тихо, дрожащим голосом. Потом он немного приходит в себя, и голос его делается более твердым, и он все больше углубляется в сказания Агады. Раби Мойше Мантефиоре слушает его, и чем более слушает, тем более удивляется его мудрости и богатству его познаний, ибо видит, что раби Гершон властным хозяином разгуливает по садам и виноградникам Торы. А раби Гершон еще более успокаивается и забывает про несметные богатства раби Мойше Мантефиоре, про его поместья, про его колодцы «живого серебра». И он углубляется в дремучие леса Галахи, и голос его делается громким и сильным. И раби Мойше Мантефиоре слушает и уже поражается: никогда ему и во сне не снилось такой тонкости понимания, такой глубины мысли. А раби Гершон Танхум уже совершенно забывает про золото и серебро и драгоценные камни, и про дорогие яства, и про редкие вина, и про знатных и богатых гостей, и про все величие раби Мойше Мантефиоре. И он поднимается до высших и грозных вершин Торы и опускается в самые таинственные глубины ее. И глаза его мечут искры, и голос его гремит, как рычание льва! Слушает раби Мойше Мантефиоре — и весь он уже охвачен великим трепетом, и он вскакивает и весь трясется, и от страха у него дрожат руки и ноги...

ИСТОРИЯ С БЕШТОМ И УБИТЫМИ ХРИСТИАНАМИ

Сказание

Бешт приехал в город Заславль и оставался там в течение нескольких суббот. И в это время нашли в поле мертвого христианина, и привезли его в город, и хотели возвести навет на евреев. И пошли к «дюкуссе» (помещице) и сказали, что евреи его убили. И дюкусса боялась за себя, ибо ее муж, дюкус, умер в пути позорной смертью за то, что убил святых людей по ложному навету. И сказала: «Нельзя решать вопросы жизни и смерти, пока не [убедятся?] в точности, что евреи его убили». И когда евреи города узнали про навет, их охватил большой ужас. И послали раби Айзика к Бешту на постоянный двор, чтобы известить его. И нашел он Бешта, стоящего одной ногой на полу, а другой на скамейке, и раби Цви, писец священных книг, читал перед ним «Зогар». И Бешт повторяет за ним слово в слово. И Бешт охвачен пламенем великого вдохновения, и лик его сияет. И когда раби Айзик ступил на порог, Бешт сделал ему знак, чтобы он ушел. И он ушел. А ужас в городе все усиливался. И послали тогда вторично раби Айзика к Бешту. И Бешт опять сделал ему знак, чтобы он ушел. Тогда упростили раввина, раби Давида, чтобы он пошел. И его Бешт не оттолкнет, ибо он старик и очень уважаем. И пошел раби Давид к Бешту. И сказал ему Бешт: «Я не слышу, чтобы об этом говорили что-нибудь на барском дворе». И через несколько дней, когда Бешт после обеда лег на сундук, опершись на руку, и приближенные стали перед ним, он вдруг насторожил уши, точно старался что-то расслышать, и сказал, что во дворе уже толкуют об этом навете. И сказал: «Пусть поскорее подогреют мне бассейн для очистительного омовения». И пошел совершать омовение. И вернулся и сказал: «Не бойтесь, никакой опасности нет». И послал кагал ходатая во двор и слышал, что крестьяне свидетельствовали перед дюкуссой насчет убитого. И велела она своему доктору посмотреть покойника и определить, умер ли он своей смертью или нет. И кагал боялся возлагать все надежды на Бешта и дал доктору 30 дукатов. И не вышло от этого никакого навета. И спросили Бешта, почему он раньше, чем нашли убитого, не сказал, чтобы не боялись, когда его найдут в поле? И сказал Бешт: «Когда я сидел в микве (бассейне), я спрашивал: «Почему скрыли от меня это дело раньше?» И ответили мне, что это было в наказание за то, что я лениво произносил надгробную речь над могилой праведника раби Хайма из Броды». И еще сказал Бешт заславскому раввину: «Думаешь, я не знаю, что ты несколько раз прятался, чтобы видеть, что я думаю: один раз в бане под полкою». И тот во всем признался.

ИСТОРИЯ С БЕШТОМ И СВЯТОПОГИБШИМИ ИЗ-ЗА НАВЕТА

В Павловиче был возведен навет, и праведники были, по нашим грехам, убиты. И во всех городах вокруг Павловича все евреи убежали, ибо это был острый навет. И раввин раби Довид из Карачева хотел бежать в Валахию. И поехал он раньше в Межибож к Бешту. И Бешт несколько раз удерживал его и сказал, что праведники спасутся. Потом, когда они, по нашим грехам, были убиты, пришло раби Довиду письмо. И раби Довид был еще в Межибоже. И в письме было написано, что их убили и что раньше их подвергли великим мучениям. И сказал об этом раби Довид Бешту. И было это в пятницу. И Бешт очень опечалился. И когда он, совершив омовение в микве, пришел в дом, он сильно плакал. И стал на молитву «Минхе» с большим трепетом. Все его приближенные думали, что к «Встрече Субботы» он возрадуется, но и встречу субботы совершил он с трепетом. И справлял он освящение субботы над вином с плачем. И остался у стола секунду и ушел в комнату, где он спит, и лег на пол. И лежал он долго. И ждали его долго у стола гости и семейные. И жена его зашла в комнату, и говорит: «Свечи выгорят». И он ей говорит: «Пусть поужинают и уходят». И Бешт продолжал лежать на полу лицом вниз с распростертыми руками. И пришел раби Довид Карачевский и встал у дверей, чтобы видеть, чем это кончится, ибо в дверях была щель. И устал он от долгого стояния. И взял скамейку и поставил у дверей и сел, чтобы видеть, что произойдет. Пришла полночь, и раби Довид услышал, что Бешт говорит жене: «Закрой себе лицо». И через секунду комната осветилась, и свет проник сквозь щель в дверях. И услышал раби Довид, как Бешт говорит: «Благословен пришедший раби Акива!» И приветствовал он по имени всех святопогибших. И сказал он им: «Я вам повелеваю, чтобы вы пошли и совершили месть над злодеем сенатором». И святопогибшие стали его просить: «Пусть эти слова больше не сходят с ваших уст. И то, что вы изрекли, вы должны уничтожить, ибо вы совершенно не знаете вашей силы. Когда вы совершили «замешательство субботы», поднялся великий шум во всех мирах, и все разбежались из небесных чертогов. И мы не знали, что это означает, пока мы пришли в высший чертог и нам сказали: «Идите скорее и утишьте слезы раби Израйля Бал-шештова». И теперь мы расскажем, дабы вы знали, о всех мучениях, какие мы претерпели для прославления Имени Господня. И искушитель смущал нашу мысль, и мы отталкивали его обеими руками; но он все-таки оставил след в мыслях наших. Поэтому мы должны были пойти на полчаса в ад на муки. И все величайшие страдания, которые мы претерпели перед смертью, совершенно ничто в сравнении с теми муками, которые мы испытали за эти полчаса в аду. И когда мы вступили в рай, мы сказали:

«Мы совершили месть над нашим врагом». И нам ответили: «Еще его час не пришел. А если вы хотите совершить месть, вы должны сейчас вернуться в мир в новом воплощении». И сказали мы: «Мы хвалим и благодарим Господа, что сподобились отдать жизнь для прославления Его Имени и полчаса терпели величайшие муки в аду. И теперь, если вернемся в мир в новом воплощении, мы можем быть худшими, чем раньше — и горька будет наша участь. И лучше не будем совершать мести и не будем принимать нового воплощения. И поэтому просим вас уничтожить ваше повеление о мести». И спрашивает их Бешт: «Почему меня не известили с неба, что вы будете убиты?» Сказали они: «В верховном совете боялись, что если вас известят об этом, вы [силь]ною молитвою уничтожите то, что было решено, и тогда произошли бы еще большие бедствия, поэтому вас не известили».

ИР НБУВ, ф. 339, ед.хр. 32.

Катя Петровская

ДОН-АМИНАДО, ТРАГИЧЕСКИЙ ШУТ

Аминад Петрович Шполянский, писавший под псевдонимом Дон-Аминадо, вряд ли известен широкому кругу читателей в наше время. Но в 1920-1930-е годы в Париже «эмигрантский народ знал его куда лучше, чем Цветаеву или Ходасевича!» — удивленно вспоминал один из его современников. Знать лучше было несложно: Дон-Аминадо старался писать «для всех», и у него это получалось. Его фельетоны в стихах и прозе знала вся русская эмиграция от Нью-Йорка до Харбина. Талант Дон-Аминадо запечатлевать «сиюминутное», преломляя его в сатирически-ироническом свете, находить точные и простые, почти модельные формулы для описания катастрофических словов революционного времени и рутины эмигрантского житья-бытья создал ему популярность небывалую. По обстоятельствам, к литературе отношения не имеющим, этот самый популярный сатирик эмиграции в Советской России известен не был. Но есть и другая причина его практического отсутствия в поле зрения читателя-современника (надо оговориться, впрочем, что в последнее десятилетие его произведения не раз републиковались, здесь особенно надо выделить объемный и капитальный том «Наша маленькая жизнь», составленный В.И.Коровиным). Написанное «на злобу дня», как правило, в том дне и остается, но сатирической поденшине Дона-Аминадо судилось иное.

Иван Бунин в своей короткой рецензии на одну из книг Дон-Аминадо отмечал, что его не раз спрашивали о таланте этого писателя. «Уже сама наличность этого вопроса предreshает ответ: спрашивающие чувствуют, что имеют дело не просто с популярным и блестящим газетным, злободневным работником, а с одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которого дают художественное наслаждение <...> Дон-Аминадо гораздо больше своей популярности (особенно в стихах), и уже давно пора дать подобающее место его большому таланту, — художественному, а не только газетному, злободневному.» (Совр. записки. Париж, 1927. № 33).

Аминад(ав) Петрович (Пейсахович) Шполянский (1888—1957) родился в Елисаветграде Херсонской губернии. Там прошло его детство и гимназические годы. Как он вспоминал о своей «маленькой родине» много лет спустя: «Держался город на трех китах: Вокзал. Тюрьма. Женская гимназия. Шестое чувство, которым обладал только уезд, было чувство железной дороги». Эта чуткость провинциала к железной дороге, к поезду. Идущему куда-то, где жизнь бьет ключом, какая-то затаенная грусть и

светлая надежда, что там, там — все будет иначе, — это «шестое чувство» стало важной лирической интонацией Дон-Аминадо и создало целую сеть «железнодорожных» образов в его произведениях. Свой роман-воспоминания, написанный уже в самом конце жизни, он назвал «Поезд на третьем пути». Это был итог многочисленных переездов, остановок, интересных встреч и драматических коллизий, но во всех этих событиях слышится и другая нота — все это как будто тот же провинциальный поезд, так никогда и не попавший на первый путь...

В жизни Аминада Петровича Шполянского было много перемещений. Два сюжета были у него связаны с Киевом. Первый — когда он перевелся с юридического факультета Новороссийского университета в Одессе в университет св. Владимира в Киеве, который и закончил. Вторая вынужденная встреча с Киевом произошла уже после революции. Но об этом — несколько позже.

Перебравшись после окончания университета в Москву, Шполянский становится помощником присяжного поверенного, работая одновременно постоянным сотрудником газеты «Раннее утро». Он начинает писать фельетоны и для других изданий: для «Нови», «Красного смеха», «Утра России», «Одесских новостей» и ряда других. Но решающим обстоятельством для него стало сотрудничество с петербургским журналом «Сатирикон» (после раскола — «Новый Сатирикон»).

«Сатирикон» создал новую эпоху в русской сатирической журналистике, что было признано современниками и закреплено исследователями. Тотальность юмористических рефлексов отличала «Сатирикон» от предшественников. Сатиры на тещ и власть предрежающую сменились осмеянием практически всех аспектов жизни. «Поморная муза» — так назывался один из сатирических сборников конца XIX века, получивший название от чайки-поморника, собиравшей падаль на побережьях. Территория «гигиенических» усилий «Сатирикона» невероятно расширилась: быт и политические партии, новые и старые законы, моды и литературные течения. По слову самого Дон-Аминадо, журнал «блистал настоящим блеском, была в нем беспощадная сатира и неподдельный юмор, и тот, что на миг веселит душу, и тот, что теребит сердце и называется юмором висельников, весьма созвучным эпохе». (Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. 1994. С.611). Осип Мандельштам уловил то же «созвучие»: «Из своеобразного ощущения минуты родилось сильнейшее и острейшее чувство нелепости, возведенное в культ кривозеркальцами и сатириконцами... Настоящими участниками этой мистерии абсолютно нелепого могли быть люди, дошедшие до «предела», у которых было что терять и которых толкала на путь сокрушительного творчества из нелепого внутренняя опустошенность — предчувствие конца». (Слово и культура. М., 1989. С. 176).

«Предчувствие конца» характеризовало и другую эпоху, к которой отсылало само название журнала. «Сатирикон» Петрония — предвестник конца римской империи, детище переразвитой городской культуры. Петербургский «Сатирикон» этот «конец» и эту «рифму» хорошо осознал. Не случаен в журнале столь высокий интерес к производству разного рода энциклопедий (юмористических, разумеется). Петербургский журнал «Сатирикон» стал для молодого Шполянского (Дон-Аминадо) школой тотальной сатиры. Редактор и душа «Нового Сатирикона» Аркадий Аверченко часто подписывался псевдонимом, состоявшим из латинизированного начала его фамилии Ave, отсылающим к «Здравствуй, цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя» (Ave Caesar! Morituri te salutant). Псевдоним Дон-Аминадо многосоставен. Имя Аминодав, Аминад — уже само по себе экзотично. В русской сатирической журналистике того времени было множество «Донов». Шполянский иногда подписывался «Гидальго», но псевдоним Дон-Аминадо пришелся кстати и с течением времени практически вытеснил настоящую фамилию. Конечно Дон-Аминадо не Дон Кихот. И хотя в стихах сатирика горечь разочарования и мировой скепсис вытесняют романтический идеализм, все же обоих несправедливость не оставляет равнодушными... Но не слышится ли в этом псевдониме «участника мистерии абсолютно нелепого» еще одно «свидетельство конца» — «Аминь»?

В 1914 году Шполянский был мобилизован и отправлен на фронт солдатом. В том же году вышла его первая книга стихов «Песни войны». Книга, выдержавшая два издания (второе в 1915 году), была все же некоей неудачей, не только эстетической. В ней патриотическая риторика того времени, книжная эмблематика войны заглушает личный голос поэта. Но в этом пробивающемся голосе уже слышны многие интонации будущего Дон-Аминадо: «Грохочут в ночи и летят поезда — И рельсы охвачены дрожью...». Ужас перед войной и человеческими страданиями, сочувствие к врагу, попавшему на войну «по воле / Чьей-то злой и разнузданной силы» — все это позже разовьется в тему маленького простого человека, заброшенного в катастрофическую историю XX века, в «мельницу богов».

«Весна семнадцатого года», вторая книга Дон-Аминадо, — политический памфлет. Это аллегорическая пьеса о четырех монархах, низложенных своими народами: Абдуле-Гамиде, Магомед-Али, Мануэле Португальском и Людовике XIV. Гений Весны — еще один участник пьесы, олицетворение «Вечного Возрождения», революционных надежд и веры в новые времена. Но за весной пришла осень семнадцатого года и закончился как краткий сценический успех пьесы, так и краткий период русской демократии.

В Москве и Петербурге уже отчетливо ощущались задачи новой власти — умирала свободная демократическая пресса, сатирические издания

появлялись и исчезали, меняли названия, пытались уйти от цензуры. В 1918 году за «буржуазность» был закрыт демократический журнал «Новый Сатирикон», который именно эту «буржуазность» и высмеивал. Работать стало негде, да и голод был не за горами. А в Киеве — политическая оперетка, пирожные и почти свободная пресса... Аминад Петрович Шполянский получил у московского городского комиссара по иностранным делам В.М.Фриче разрешение на выезд за границу. Этой ближайшей границей была Украина.

Киев с середины весны по декабрь 1918 года — город культурного курьеза. Бегство от большевиков и голода обернулось тем, что обе столицы — и Москва, и Петроград — вдруг одновременно оказались в Киеве, образовав, тем самым, совсем иное пространство. Дон-Аминадо писал: «Киев нельзя было узнать. Со времени половцев и печенегов не запомнит древний город такого набега, нашествия, многолюдства» (Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. М., 1994. С. 637). Тэффи вспоминала, что, когда она осенью 1918 года приехала в Киев, ее встретил «один из сотрудников бывшего «Русского Слова» целым потоком новостей: «Что здесь делается! <...> Город сошел с ума! Разверните газеты — лучшие столичные газеты — лучшие столичные имена! В театрах — лучшие артистические силы. Здесь «Летучая мышь», здесь Собинов <...> Здесь жизнь бьет ключом... Открываются все новые «уголки» и «кружки». На днях приезжает Евреинов. Можно будет открыть Театр новых форм. Необходима также «Бродячая собака». Это уже вполне назревшая и осмысленная необходимость». (Тэффи. Ностальгия. Рассказы. Воспоминания. Л., 1989. С.332). В этой пестрой толпе оказались и петербургские сатириконтцы, тут же осознавшие необычайную культурную насыщенность Киева того времени и обыгравшие эту тему в своих фельетонах. В киевской газетке «Вечер» появляются фельетоны Михаила Кольцова и Дон-Аминадо. Один фельетон Кольцова назывался «Пушкин в Киеве»: «Прибывший на днях в Киев беллетрист А.С.Пушкин в беседе с нашим сотрудником сообщил много потрясающих фактов из жизни литераторов в Советской России», — писал Кольцов. В Киеве в ту пору собрались все, включая Пушкина.

В фельетоне Дон-Аминадо «Россия в бегах» в Киев попадают герои хрестоматийных произведений: разорившийся Онегин, разочаровавшийся Чацкий, сплетничающие Бобчинский и Добчинский и многие другие: «Не знаю, в каком именно державном поезде (кажется, что этот поезд пришел все-таки на первый путь. — К.П.), но все они прибыли на Украину. Во всяком случае, почти ежедневно, то там, то здесь, мелькают их с детства дорогие, запечатленные в памяти черты. Недаром Киев стал городом неожиданных встреч, и если еще чему-либо удивляешься, то не столько самим встречам, сколько тем превратностям судьбы, какие постигли всех этих героев и героинь, уходящих в вечность старой русской жизни» (там же).

В Киеве сатириконцы предприняли попытку издания газеты «Чертова перечница», начатой в Петрограде сразу после закрытия «Нового Сатирикона». Киевскую газетку выпускали сатириконцы почти в полном составе: А.Аверченко, Арк.Бухов, Вл.Воинов, Евг.Венский, А.С.Грин, А.И.Куприн, Вилли, Викт. Финк, Лоло (Мунштейн Л.Г.), Дон-Аминадо и многие другие. Редактором был Василевский (Не-Буква). Дон-Аминадо вспоминал, что еженедельный листок «Чертова перечница» пользовался «...наибольшим успехом на галерке и бельэтаже... Листок официально-юмористический, неофициально — центр коллективного помешательства. Все неожиданно, хлестко, нахально, бесцеремонно. Имен нет, одни псевдонимы, и то, выдуманные в один миг, тут же на месте» (Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. М., 1994. С. 637). Газетка высмеивала тогдашние порядки, вернее беспорядки, нарастающий хаос жизни, всех левых и правых, а также умеренных; осмеивались даже газетная структура и цена газеты.

Дон-Аминадо в краткий киевский период публиковался в газетах «Утро», «Вечер», «Киевская мысль», «Свободные мысли» и др., где стихотворения, как правило, подписывал псевдонимом Дон-Аминадо, а политические фельетоны в прозе — чаще всего своей фамилией Шполянский. Возможно, что именно его фамилией наделил одного из персонажей «Белой гвардии» Михаил Булгаков. Считается, что в 1918 году Булгаков был далек от литературных кругов. Но это не исключает того, что он был прилежным читателем. Михаил Семенович Шполянский (герой «Белой гвардии») — еще не полностью проявленный, но уже функциональный типаж практически всех произведений Булгакова. В «Мастере и Маргарите» этот типаж воплотится в Воланда. Михаил Семенович Шполянский скрыто влияет на судьбу Турбиных и Города, провоцируя трагические события. Сатириконская «Чертова перечница» под прозрачным псевдонимом «Чертовой куклы» оказывается в доме Турбиных. «Талантливы, мерзавцы, ничего не поделаешь», — так безлично-собираательно оценивают в доме Турбиных авторов газетки. В этом определении заложено то, о чем говорил Мандельштам в своих кратких размышлениях о явлении «Сатирикона»: «мерзавцы» — это люди дошедшие до края, их удел — тотальный смех вплоть до откровенного цинизма. От провокационного смеха сатириконцев до «provокатора» «Белой гвардии» Михаила Шполянского — один шаг.

Киевский период закончился также резко, как начался — бегством на юг, в Одессу. Фантастичность одесского пространства сглаживалась разве что за счет обычного южно-курортного колорита. Пребывание в этом городе Дон-Аминадо не трудно опять же проследить по газетам. С августа 1919 по январь 1920 года он публиковался в «Южном слове» и в «Современном слове» (в последнем под псевдонимом Дон). В газете сотрудничали как одесситы — Эдуард Багрицкий, Леонид Гроссман, так и «проез-

жие» Алексей Толстой, Иван Бунин, Овсяннико-Куликовский. Дон-Аминадо принимал участие в деятельности легендарного одесского Литературно-Артистического объединения.

Вместе с большой группой литераторов и ученых на корабле «Дюмон д'Юрвиль» Шполянский навсегда покинул родину. Он вспоминал, что на корабле кто-то предложил завести журнал и всем ответить на один и тот же вопрос: «Когда мы вернемся в Россию?» Ответы были самые оптимистические, и лишь один «был прозорливее других...»:

И только высоко у царских врат
Причастный тайнам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Л.Е.Белозерская (ставшая потом Булгаковой) была среди тех, кто все-таки вернулся. Она вспоминала, что на корабле «небольшой, упитанный, средних лет человек с округлыми движениями и миловидным лицом, напоминающим мордочку фокстерьера, поэт Дон-Аминадо (Аминад Петрович Шполянский) вел себя так, будто валюта у него водилась в изобилии и превратности судьбы его не касались и не страшили». Эту роль Дон-Аминадо играл и в эмиграции — эдакий Чичиков — средних лет, приятной наружности, обеспечен, полон планов. Эта роль необыкновенно нравилась самому Дон-Аминадо, он ее всячески лелеял и утрировал. Если взглянуть на письма, адресованные Шполянскому в эмиграции, — почти все они обращены как будто именно к этому не затронутому превратностями судьбы и обеспеченному человеку. Белозерская упоминает, кстати, что Дон-Аминадо все время на корабле цитировал Блока. Не он ли был «прозорливее других», ответив на корабельную анкету блоковскими строчками? И лишь по своей склонности к мистификации и анонимности не называет себя автором ответа?

Настоящая, небывалая известность пришла к нему в эмиграции.

После краткого пребывания в Константинополе Дон-Аминадо переезжает в Париж, где тут же затевает совместно с Алексеем Толстым издание детского журнала «Зеленая палочка». Название журнала было взято из детских воспоминаний Льва Николаевича Толстого и отразило надежды и чаяния взрослых и детей 1920 года: «старший брат Николенька объяснил, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми и будут любить друг друга. Тайна эта <...> написана на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага, в яснополянском парке...» (Зеленая палочка. Париж, 1920. № 1). Редакция объявляла целью журнала поиск зеленой палочки...

Журнал был несомненной удачей: здесь публиковались Бунин и Саша Черный, Куприн и кн.Г.Е.Львов, Бальмонт и Северянин. Но самой боль-

шой удачей журнала стала детская повесть Алексея Толстого «О многих замечательных вещах», позже получившая название «Детство Никиты» — пожалуй, самое эстетически безупречное произведение Алексея Толстого. Повесть была сочинена специально для журнала, журнал специально под эту повесть затевался. Приглашая к сотрудничеству Ивана Бунина, Алексей Толстой называл «Зеленую палочку» так: «одно *огромное* (курсив мой. — К.П.) издание, куда я приглашен редактором». Рассказывая советскому читателю историю создания «Детства Никиты», Алексей Николаевич писал уже несколько по-другому: «обещал *маленькому* издателю для *журнальчика* детский *рассказик* (курсив опять-таки мой. — К.П.). Биограф А.Н. Толстого Ю.А.Крестинский комментирует: «Белогвардейский (! — К.П.) журнал «Зеленая палочка». Всего вышло семь номеров журнала и несмотря на рост числа подписчиков, журнал прекратил свое существование по финансовым причинам. Интересно, что в архиве Алексея Николаевича Толстого не сохранилось ни одного документа, свидетельствующего о казалось бы прочных дружеских отношениях с Дон-Аминадо.

В том же 1920 году Дон-Аминадо пишет для газет «Еврейская трибуна», «Свободные мысли». Он начинает сотрудничать с либеральными «Последними новостями», бессменным редактором которых в 1921 году становится Павел Николаевич Милюков.

Из стихотворений, опубликованных в разных газетах, Дон-Аминадо сформировал свою первую эмигрантскую книгу под симптоматичным названием «Дым без отечества» (1921). Уже это название объясняет многое в таланте Дон-Аминадо — умение найти объемную формулу для общеэмигрантского употребления. «Дым без отечества» — это то, что осталось русскому эмигранту от общеизвестной грибоедовской цитаты: «И дым отечества нам сладок и приятен». Другая, важная для Дон-Аминадо предпосылка образа — роман Тургенева «Дым», а именно эпизод возвращения Литвинова в Россию. И хотя эмиграция двигалась в противоположную сторону, кажется, что дым в обоих случаях был одного свойства.

«Он (Литвинов. — К.П.) уж почти ни на что не надеялся теперь, и старался не вспоминать — пуше всего не вспоминать; он ехал в Россию... надо же было куда-нибудь деваться». Литвинов долго наблюдал за паровозным дымом из окна вагона и, «странное напало на него размышление <...> — «Дым, дым», — повторил он несколько раз: и все вдруг показалось ему дымом; все, собственная жизнь, русская жизнь — все людское, особенно русское. Все дым и пар, — думал он; — все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же <...> другой ветер подул — и бросились все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершилось на его глазах в последние годы ... дым, — шептал он, — дым...» (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. — Спб., 1913. Т.3. С.188-190). Отечества не

стало, остался только дым, но и он для эмигранта Дон-Аминадо, бесконечно «сладок» и «приятен»:

Я помню, помню — рывкнул паровоз.
Запахло мятой, копотью и дымом,
Тем запахом, волнующим до слез,
Единственным, родным, неповторимым.

Паровоз здесь становится символом движения во времени, именно он выводит и «вывозит» автора на путь воспоминания. Начиная с революционных лет, образы дыма у Дон-Аминадо как будто всегда соседствуют с образами ветра, несущего разрушения. Оценивая журнал «Сатирикон» 1917 года и свою деятельность в нем, Дон-Аминадо писал: «От бывшего огня остался дым, который уносится ветром» (Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. М., 1994. С. 611). Если для Литвинова была «противоположная сторона» и «другой ветер», то для исторического сознания Дон-Аминадо все двигалось по кругу, и ветер «возвращался на круги своя». Дон-Аминадо, конечно, вторил Экклезиасту. В одном из стихотворений сборника он пророчески предсказывает еще один круг бессмысленной истории:

Потом... О, Господи, Ты только вездесуш
И волен надо всем преображеньем!
Но, чую, вновь от беловежских пуш
Пойдет начало с прежним продолженьем.
И вокруг оси опишет новый круг
История, бездарная, как бублик.
И вновь на линии Вапнярка — Кременчуг
Возникнет до семнадцати республик.

Формула «Дым без отечества» не была забыта, и через двадцать лет после выхода книги Дон-Аминадо, уже в сороковые годы, другой эмигрант, правда, удачливо вернувшийся на родину, — Александр Вертинский именно так назовет автобиографический сценарий (РГАЛИ, ф.2418, оп.1, ед.хр. 60-62).

Бунин писал о «Дыме без отечества» как о книге «поминутно озаряемой умом, тонким талантом — едкий и холодный «дым без отечества, дым нашего пепелища <...> Аминадо он ест глаза иногда до слез» («Мне ... необходимо Вам сказать...» / Из парижского архива Дон-Аминадо / Публ. Н.Б.Волковой // Встречи с прошлым. Вып.7. М., 1990. С.312). Другой рецензент (Александр Дроздов) говорит о едком таланте Дон-Аминадо: «Сатиры <...> жалят эмигрантский быт и, главным образом, обанкротившиеся либеральные идеологии, то, что теперь любят называть интел-

лигенщиной. Дон-Аминадо ярок, остер, беспощаден, но не это главное. Главное, Дон-Аминадо сдко талантлив» (Дроздов А. Дон-Аминадо Дым без отчества // Рус.книга. Берлин, 1921. № 6. С.10-12).

Уже в этой ранней книге проявляется то, что сделало Дон-Аминадо популярным; так, по мнению Александра Дроздова, сатиры Дон-Аминадо были точным портретом эмиграции: «Мы, эмиграция, мы, — (и далее, цитирует Дон-Аминадо):

Прияв пожатье плеч
Как ответ и как расплату,
При неверном блеске свеч
Отойдем к Иосафату.

И потомкам в глубь веков
Предадим свой жребий русский:
Прах ненужных дневников
И Гарнье — словарь французский».

Стихотворение «Писанная торба», опубликованное в «Последних новостях» и вошедшее в «Дым без отчества», послужило причиной (а может быть, только поводом) ссоры с Павлом Николаевичем Милюковым, возглавлявшим «Последние новости». Милюков усмотрел в стихотворении уклонение от «главной линии», из-за чего в последующие три года в «Последних новостях» не было опубликовано ни строчки Дон-Аминадо. Крамольное стихотворение высмеивало последовательную республиканскую идеологию, впрочем, высмеивало вполне невинно:

Есть критики: им нужно до зарезу,
Я говорю об этом не смеясь,
Чтоб даже лошадь ржала марсельезу,
В кавалерийскую атаку уносясь.

Ссора с Милюковым вынудила Дон-Аминадо публиковаться в других изданиях, прежде всего в рижской газете «Сегодня».

В следующем, 1922 году Дон-Аминадо выпустил книгу для детей «Рассказ про мальчика Данилку, про серую кобылку, и еще про что-то». Идея возникла, по-видимому, из работы над журналом «Зеленая палочка». Этому Данилке еще предстояли эмигрантские превращения. Позже Дон-Аминадо создаст тип денационализированного мальчика — Колю Сыроежкина, — еще один портрет в эмигрантской галерее.

С 1925 года, уже без перерыва вплоть до 1940 года, Дон-Аминадо снова становится сотрудником «Последних новостей». Именно газетные фельетоны, написанные в стихах и прозе, принесли ему общеэмигрантскую известность. Фельетоны писались не просто «на злобу дня», но и буквально каждый день.

Известность была не только географически необозримой. Казалось, что эмигранты разных социальных кругов, политических ориентаций и литературных вкусов сходились на симпатиях к Дон-Аминадо. Леонид Зуров в своем мемуарном очерке о нем писал: «В Париже все знали Дон-Аминадо. Без преувеличения можно сказать: в те времена не было в эмиграции ни одного поэта, который был бы столь известен. Ведь его читали не только русские парижане, у него были верные поклонники — в Латвии, Эстонии, Финляндии, Румынии, Польше, Литве. Он сотрудничал в либеральной газете, но в числе его поклонников были все русские шоферы, входившие во всевозможные полковые объединения и воинский союз. Его стихи вырезали из газет, знали наизусть. Повторяли его крылатые словечки. И многие <...> начинали газету читать с злободневных стихов Дон-Аминадо» (Зуров Л. Дон-Аминадо // Новый журнал. Нью-Йорк, 1968. № 90. С.116).

В 1927 году Дон-Аминадо выпустил книгу фельетонов «Наша маленькая жизнь». Самим заглавием Дон-Аминадо определяет задачу — показать будни «мелкой единицы», маленького человека. В «Нашей маленькой жизни» есть как будто все для человека-эмигранта — социального существа. Человек не может без истории, поэтому и находим здесь «Уроки русской истории» — пародию на «Повесть временных лет»: «Откуда русское зарубежье есть пошло и как русская зарубежная земля стала есть». Как пропедевтический курс для существования в Западном мире выстроены последующие фельетоны: здесь собраны основные понятия о дансингах и парламентах, о всеобщем голосовании и диктатуре, о правилах стрельбы и чистоте языка. Жажда общения, воплотившаяся в переписке, запечатлена Дон-Аминадо в «Зарубежном письмовнике»: «Идя навстречу назревшей потребности, переиздательство наше предлагает просвещенному вниманию господ соотечественников, а также соотечественниц настоящий письмовник, состоящий из образцов писем на разные случаи эмигрантской жизни и смерти» (Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. М., 1994. С. 358). Форма письма давала возможность повествовать от первого лица, стилизовать «голоса» эмигрантов из разных углов: письмо унтера Макарова к прибалтийской тетушке, письмо о займе, деловое, пневматическое, по случаю юбилея, в редакцию, на случай самоубийства, письма обиженных людей и многие другие. В этих стилизациях порой отчетливо слышна зощенковская интонация.

Жизнь различных слоев, групп, идеологий постепенно складывается в тотальную картину эмигрантской жизни. Р.Словцов писал об этом эффекте: «Из сверкающей мозаики «маленьких фельетонов» складывается в книге целое *зеркало* (выделено мной. — К.П.) жизни — «Нашей маленькой жизни», смешной и грустной «перепутаницы беженского бытия» (Словцов Р. Наша маленькая жизнь. Новая книга Дон-Аминадо // Сегодня. Рига, 1927. №160).

Поэтому не так уж парадоксально то, что именно произведения Дон-Аминадо, фиксирующие настроения и быт эмиграции и, безусловно, иронизирующие над тем и другим, служили своего рода оправданием эмигрантского существования. Святополк-Мирский в «Заметках об эмигрантской литературе» подвел итоги: «...самый главный из прославившихся уже в эмиграции писателей, самый любимый, истинный властитель дум зарубежной Руси — Дон-Аминадо. Благодаря Дон-Аминадо мы можем сказать про Париж: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» <...> Дон-Аминадо ближе, социологически и политически, к Алданову, чем к генералу Краснову, но он стоит выше партийных и классовых перегородок и объединяет все зарубежье на одной, всем приемлемой платформе всеобщего и равного обывательства» (Евразия. 1929. 5 января. № 7. С.6).

В 1927 году Дон-Аминадо издал (совместно с французским писателем Морисом Декобра) сборник русского юмора «Смех в степи». В интервью с А.Седых Дон-Аминадо рассказывал историю создания сборника: в одном из Монмартрских кафе Морис неожиданно почувствовал славянскую ностальгию (sic!), «тогда, — рассказывал Дон-Аминадо, — чтобы развеселить Мориса, я прочел ему свои веселые стихи. Он прослезился и заявил, что весь Париж должен знать их наизусть» (А.С. Дон-Аминадо. Смех в степи // Сегодня. Рига, 1927.). Дон-Аминадо отобрал и перевел рассказы Чехова, Дорошевича, Аверченко, Тэффи и свои.

Имя Дон-Аминадо так часто мелькало в многочисленных газетах, прежде всего, ежедневно в «Последних новостях», в журналах — берлинских «Сполохах», парижском «Ухвате», а с конца десятилетия — в «Иллюстрированной России», что служило в свою очередь поводом для шуток. Так, один коллега Дон-Аминадо по «Новому Сатирикону» и «Чертовой перечнице» написал на это «мелькание» не очень удачную, но характерную эпиграмму:

Всей братье пишушей на страх
Семь раз в неделю (или чаще),
Ловя сюжет в житейской чаше,
Острит и в прозе и в стихах.
Чем объяснить такое рвенье?
Не в гонноре благодать:
«Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать».

Книга Дон-Аминадо «Накинув плащ» (1928) вышла с подзаголовком, наиболее точным образом определяющим жанр стихотворного фельетона Дон-Аминадо, — «сборник лирической сатиры». Неслучайно Дон-Аминадо выносит в заглавие сборника начало романса «Накинув плащ, с гитарой под полою...», подчеркивая острую сентиментальность романсового свойства. Рецензируя книгу, Михаил Цетлин замечал, что Дон-Амина-

до своей лирикой обнаруживает ложь любого пафоса, мечта об обыденной (обывательской) жизни у него сливается с ностальгией по родине и молодости. Действительно, он поэтизирует обыденную жизнь в дореволюционную эпоху, а единственным пафосом для него оказывается пафос жизни как таковой.

Какая-то нота бессмысленности существования эмиграции, какой-то исторической глупости или ошибки происходящего (впрочем, вполне повторяемой и повторяющейся) у Дон-Аминадо безусловно была, но не только она создавала «лирический колорит» его стихов и фельетонов. Эта интонация была лишь частью исторического скепсиса и самоиронии Дон-Аминадо.

Жизнь в Советской России для Дон-Аминадо была неизмеримо страшнее и куда бессмысленнее существования в эмиграции. И хотя он написал целый ряд фельетонов о советской жизни (например, блестящую филологическую пародию на разбор пушкинского «Лукоморья» на комсомольском активе), размышления о судьбе родины были порой категорически лишены юмористических обертонов:

И все для того, чтоб в конечном итоге
Прослав сумасшедшей, святой и кликушей,
Лежать в стороне от широкой дороги
Огромной гниющей и косною тушей.

Эмиграция, по Дон-Аминадо, хотя бы жива, хоть и живет на «третьем пути», то есть тоже «в стороне». Но для Максима Горького была важна как раз «лирика» Дон-Аминадо, интерпретированная им как бессилие. В письме М.Е. Кольцову от 19 декабря 1932 года Горький отмечал: «Мне кажется, что гораздо более искренно и верно отражает подлинное лицо эмиграции развеселый негодяй Дон-Аминадо — Шполянский в серии стихов «Без заглавия». Негодяй он — по должности, а по натуре человек, как будто весьма неглупый, зоркий и даже способный чувствовать свое и окружающих негодяйство, — негодность для жизни». (Архив Горького. М., Наука, 1966. Т. XI. С. 263). Именно эта «негодность для жизни», свидетельство слабости, сделала возможной публикацию (единственную в советское время) нескольких стихотворений Дон-Аминадо в 1934 в газете «За рубежом». Горький был инициатором публикации, но осуществил ее, по видимому, Михаил Кольцов. Дон-Аминадо не знал, что Кольцов был редактором Горького, а в 1934 году фактически редактором газеты «За рубежом». Получив письмо Горького, Кольцов не мог не вспомнить Дон-Аминадо и их сотрудничество в газете «Вечер» в Киеве в 1918 году. Может быть, именно Кольцов был автором сопроводительной заметки к публикации: «Дон-Аминадо является одним из наиболее даровитых уцелевших в эмиграции поэтов. В стихотворениях этого белого *барда* (курсив мой. — К.П.)

отражаются настроения безысходного отчаяния гибнущих остатков российской белоэмигрантской буржуазии и дворянства. Приводим несколько произведений поэта контрреволюционного этапа» (За рубежом. 1934. №6 (39). С.16). Конечно, в формуле «белый бард» уже почти стерты первоначальные значения, но слово «бард», все же, — серьезная проговорка. Бард — это и больше и меньше, чем поэт. Это тот, кто вряд ли принадлежит «герметической» поэзии, он в жизни, он среди людей, его поэзия — почти фольклор.

Марина Цветаева всерьез оценила лиризм сатир Дон-Аминадо, заметив, кажется, нечто подобное «барду»: «Вы совершенно замечательный поэт. Я на Вас непрерывно радуюсь и Вам непрерывно рукоплещу — как акробату, который в тысячу первый раз протанцевал на проволоке. Сравнение не обидное. Ведь акробат, ведь это из тех ремесел, где все не на жизнь, а на смерть... И куда больше — поэт, чем все молодые и немолодые поэты, которые печатаются в толстых журналах. В одной Вашей шутке больше *лирической жилы*, чем во всем «на серьезе».» (Марина Цветаева. Письмо Дону -Аминадо. Новый мир 1969. № 4. С.212).

Со второй половины двадцатых Дон-Аминадо — постоянный устроитель, распорядитель и конферансье многих вечеров, нередко заменявших печатную публикацию в трудном эмигрантском быту. Леонид Зуров вспоминал: «Без него не обходились заседания по устройству больших вечеров, и в дамских комитетах, куда его всегда приглашали, устроительницы его не только слушали, но и побаивались» (Зуров Л. Дон-Аминадо // Новый журнал. 1968. Кн.90. С.117). Дон-Аминадо был не только гарантией успеха вечеров, но и гарантией хороших денежных сборов. Неслучайно многие писатели (среди них Бунин и Гиппиус) просили его помочь с организацией вечера или принять в нем участие. 14 июня 1933 года Гиппиус писала: «Я обращаюсь с просьбой к тому серьезному лирическому поэту, которого не часто видят за каждодневностью Дон-Аминадо (и который сам, кажется, не любит показываться) — с просьбой сделать исключение для меня и принять участие в вечере о Любви и Смерти, среди почти всех современных парижских поэтов моих друзей <...> Откажет ли мне этот лирический поэт, к которому я обращаюсь, или нет, как вы думаете?» (Бахметьевский архив, Нью-Йорк). Среди большого количества писем Бунина к Дон-Аминадо есть и такие: «Аминад Петрович, дорогой, опять (sic!) надо спасти старика от когтей голодной и холодной смерти — как-нибудь соорудить вечер» (там же).

Собственные вечера Дон-Аминадо были невероятно пестры по составу: французские писатели и русские балерины, Евреинов и «Летучая мышь» Балиева, и неперенные цыгане... Ирина Одоевцева вспоминала об одном таком вечере (1927): «Тэффи, моложавая. Эффектная <...> и Дон-Аминадо <...> подтянуто элегантний, вели на сцене блестящий,

юмористический диалог-поединок, старались превзойти друг друга в остроумии. Зрители хохотали до изнеможения, до слез, до колик» (Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989. С.97).

Дон-Аминадо организует, распоряжается, острит, шумит (одна статья о нем так и называется «Шумный Дон» — в отличие от шолоховского «Тихого Дона»), и оказывается, что никто толком не понимает, что он за человек. Так часто бывает с людьми, которые всегда на виду. Вот и Зинаида Гиппиус, рассуждая о поэзии Дон-Аминадо, вдруг как-то осекается: «Что он за человек?» Ежедневное присутствие Дон-Аминадо перед газетной публикой, органическая и вынужденная «злободневность» парадоксальным образом скрывали этого человека от публики. Он как будто даже с удовольствием носил маску всеобщего увеселителя и распорядителя, остряка и дарителя экспромтов. Про него сочинили: «Молчи! Так надо. Я — Дон-Аминадо».

Афоризмы и экспромты — жанр стирающий грань между литературным бытом и собственно литературой. Афоризмы рождались, конечно, не за письменным столом, а в разговорах, «в жизни». По слову Леонида Зурова, близко знавшего Дон-Аминадо, он «в жизни был талантливее своих фельетонов, <...> он все видел и чувствовал с резкой ясностью, (Зуров считал, что эта черта сближала Дон-Аминадо с Буниним. — *К.П.*), а людей и жизнь знал как никто» (Зуров Л. Дон-Аминадо // Новый журнал. 1968. Кн.90. С.117). Об этом знали друзья, это иногда слышалось в прозаических и стихотворных фельетонах. Но гораздо чаще Дон-Аминадо представлялся таким, каким он изображен в фельетоне А.Седых «Мисс Россия 1929 года», — патентованным экспромтером, баловнем успеха, властным и поверхностным человеком: «К удивлению, он принял нас весьма радушно. После десятиминутного размышления, Дон-Аминадо ответил блестящим экспромтом: — Мисс Россия?.. Мисс Россия?.. Для неподготовленного уха это звучит как... (Две строки упразднены редактором).

Хи-хихи...

— Во всяком случае, мисс Россия звучит куда лучше, чем мисс СССР. Мы угодливо рассмеялись.

— Почему может быть краса и гордость русской революции и до сих пор нет красы и гордости русской эмиграции? В крайнем случае, если это не будет гордость, то по крайней мере останется краса.

Мы осторожно запротестовали. Дон-Аминадо помолчал минуту, а затем вежливо намекнул, что экспромт сказан и интервью закончено».

Кажется, что Дон-Аминадо сам поддерживал этот образ. Было ли это желанием скрыть истинное лицо? Спрятать за маской довольного и защищенного внутреннюю ранимость? Может это было и сознательно выбранной ролью сильного и веселого среди слабых и печальных? Леонид Зуров, близко знавший Дон-Аминадо, в своем очерке о нем писал:

«Сила воли, привычка побеждать, завоевывать, уверенность в себе и как бы дерзкий вызов всем и всему, — да, он действовал так, словно перед ним не могло быть препятствий. Жизнь он знал необыкновенно — внутри у него была сталь — он был человеком не только волевым, но и внутренне сосредоточенным. <...> В глубине души он был человеком добрым, но при всей доброте требовательным и строгим. <...> Меня поража-ло его внутреннее чутье, а главное — сила воли и чувство собственного достоинства, а человек он был властный и не любил расхлябанности, болтливости, недомолвок и полуслов» (Новый журнал. 1968. Кн. 90. С. 116-117). Такому человеку доверяли, на такого человека полагались, и, конечно, от него многого ожидали.

Среди писем, адресованных Дон-Аминадо, есть дружеские и деловые, есть и такие, в которых сквозит заискивающая интонация. Дон-Аминадо действительно мог помочь устроиться, заработать денег, организовать вечер. Поэтому часто, читая письма к нему, трудно отшелушить расчет-ливые комплименты от неподдельного восхищения.

О его необычайных организационных возможностях свидетельствует фильм, о котором газеты категорично сообщали: «Сенсационный фильм». В 1928 году Дон-Аминадо, «душа и организатор съемки», задумал и осу-ществил беспрецедентную съемку фильма о русской эмиграции, в кото-рой эта самая эмиграция играет саму себя: «для фильма <...> артистами и статистами выступили все парижские «знаменитости» эмиграции. Для та-кого исключительного случая забыты все партийные разногласия и стол-кновения <...> П.Н. Милюков мирно играет в шахматы с П.Б.Струве, и около них арбитр, которому вряд ли можно отказать в опыте — А.А.Але-хин...» Как удалось Дон-Аминадо собрать представителей разных партий и лагерей, порой недвусмысленно конфронтующих между собой людей для съемки, осталось непонятным. Дон-Аминадо как всегда был подвер-жен своему каталогизаторскому пафосу: закрепить, запечатлеть для исто-рии то, что позже, вероятно, войдет в энциклопедию «Русское зарубежье» или подобную, и все окажутся всё равно рядом. Но фильм, к сожалению, не сохранился.

С кинематографом Дон-Аминадо был связан еще целым рядом сю-жетов (см. статью Рашита Янгирова «Первый фильм из жизни русского Парижа»: забытая киношутка Дон-Аминадо // Евреи России — иммиг-ранты во Франции. Иерусалим — Москва, 2001). В конце 20-х — начале 30-х годов Дон-Аминадо сблизился с кинематографическими кругами. Он написал несколько сценариев к французским фильмам (один — совместно с Морисом Декобра). В письме к Дон-Аминадо знаменитый русский киноактер Иван Мозжухин называет себя «большим поклон-ником и настоящим другом» Дон-Аминадо. Дон-Аминадо посвятил Мозжухину небольшое свое произведение — скетч «В гарсоньерке у Мозжухина».

Дон-Аминадо — автор нескольких кинофельетонов, самым «кинематографичным» стал его фельетон «Мишка, верти назад» (Подробнее см. Петровская К. Дон-Аминадо: Поэтика каталога // Collegium. Киев, 1998. № 1/2 (7/8). С. 163-175). Этот фельетон развивал тему Аркадия Аверченко, заданную фельетоном «Фокус великого кино» 1921 года. «Ах, если бы и наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту! Повернул ручку — и пошло-поехало», — восклицал Аверченко. Именно эта технологическая особенность кино — способность поворачивать время вспять — стала основой фельетона Дон-Аминадо. Доступное кинематографу, в жизни неосуществимо. В мемуарном романе «Поезд на третьем пути» не раз возникает тот же мотив: «20 января 20-го года — есть даты, которые запоминаются навсегда, — корабль призраков, обугленный «Дюмон д'Юрвиль», снялся с якоря. Кинематографическая лента в аппарате Аверченко кончилась. Никому не могло прийти в голову крикнуть, как бывало прежде: — Мишка, крути назад! Все молчали. И те, кто оставался внизу на шумной, суетливой набережной. И те, кто стоял наверху, на обгоревшей паровой палубе» (Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. С. 644).

Поскольку чуть не все сатириконицы оказались в эмиграции, идея продолжения старого петербургского «Сатирикона» была практически самоочевидной. Но только в 1931 году идея воплотилась, да и то на весьма короткий срок. Издатель был тот же — М.Г.Корнфельд, он вспоминал: «если ознакомиться со списками писателей и художников этого журнала, оказавшихся в Париже <...> неудивительно, что этот синхронизм повлек за собой издание журнала, несколько не отличавшегося от своего прототипа». Дон-Аминадо занял место Аверченко, у журнала был несомненный читательский успех. Но все же журнал просуществовал менее года и закрылся по финансовым обстоятельствам.

По случаю 10-летия редакторской деятельности П.Н. Милюкова в «Последних новостях», Дон-Аминадо — присяжный фельетонист газеты — написал стихотворное приветствие «Всем сестрам — по серьгам». И Бунин отозвался коротко: «Придворный льстец, но молодец!» П.Н. Милюков по завещанию назначил Аминода Петровича одним из четырех своих душеприказчиков.

«Нескучный сад» (1935) — следующая книга Дон-Аминадо, состояла из пяти разделов, первый из которых представлял собой сборник афоризмов «Новый Козьма Прутков». Сквозь эту нарочитую «прутковщину» Георгий Адамович, как и Цветаева, разглядел потаенную лирику Дон-Аминадо: «Напрасно <...> Дон-Аминадо притворяется учеником Пруткова. Тот не писал так. У Козьмы Пруткова было не только меньше словесной находчивости, но и сам юмор его был плоше, грубее, без печально-щемящего отзвука той суеты сует, которая одна только и облагораживает

смех <...> Дон-Аминадо прикидывается весельчаком и под шумок протаскивает такую тоску, такое сердечное опустошение, такое отчаяние, что нетронутым в мире не остается почти ничего <...> и как ни толкает на крайность профессиональная обязанность общественного увеселителя, все же натура художника берет свое». («Мне... необходимо Вам сказать...» / Из парижского архива Дон-Аминадо/ Публ. Н.Б. Волковой // Встречи с прошлым. Вып.7. М.,1990. С. 312)

Одно из самых кратких произведений «Нескучного сада»:

«Жорж, прощай! Ушла к Володе!..
Ключ и паспорт на комод», —

Ирина Одоевцева назвала «целым эмигрантским романом в двух строчках».

Гиппиус в рецензии на эту книгу замечала: Дон-Аминадо «не вмещается в то, что он сейчас (1935 год. — *К.П.*) делает» (Антон Крайний. Дон-Аминадо. Нескучный сад // Совр. зап. Париж. 1935. Кн.58). Многие рецензенты, порой и читатели, чувствовали, что Дон-Аминадо не исчерпывает свой талант, как будто недовыражает его. Какой-то осадок, какая-то тайна остается недовысказанной: «Вы своим даром — роскошничаете» (М.Цветаева); «Дон-Аминадо гораздо больше своей популярности» (Бунин); Дон-Аминадо «в жизни был талантливее своих фельетонов» (Леонид Зуров).

Гиппиус полагала, что решая внешние задачи, Дон-Аминадо отклоняется от своего пути, «затемняет сущность свою и своего таланта». Гиппиус только подбиралась к постановке вопроса, Цветаева уже обладала ответом на него. Привыкшая мыслить романтическими крайностями, Цветаева писала: «Быт и шутка, Вас якобы губящие, — не спасают ли они Вас, обещая больше, чем (в чистой лирике) могли бы сдержать?»

То есть: на фоне — *не* газеты, без темы дам и драм, которую Вы повсеместно и неизменно перерастаете и которая Вам посему бесконечно выгодна, потому что Вы ее бесконечно выше — на фоне простого белого листа, вне трамплина (и *физического* соседства) пошлости, политики и преступлений — были бы Вы тем поэтом, которого я предчувствую и подчувствую в каждой Вашей бытовой газетной строке?

Думаю — да, и все-таки этого — никогда не будет».

Гиппиус по-своему трактовала это «предчувствие», считая Дон-Аминадо невоплощенным поэтом «некрасовского типа» (Крайний А. Дон-Аминадо. Нескучный сад // Совр. записки. Париж, 1935. № 58. С.472-474). Надо полагать, Гиппиус имела в виду образ поэта — газетчика, сатирика, гражданина, в духе собственно некрасовских программных стихов: «Блажен незлобивый поэт...» Гражданские интонации Дон-Аминадо, впрочем, никогда не оборачивались пафосом.

Его социально-политическое чутье было абсолютным. С провидческим ужасом он следил за поднимающимся немецким фашизмом: «Кукла из желтого воска, / С крепом на верхней губе, / Шла и вела их навстречу / Страшной и странной судьбе» («Паноптикум», 1935). И как почти всегда для лирического высказывания имела афористическая параллель. О той же «кукле» Дон-Аминадо писал: «Объявить себя гением легче всего по радио». Эту «сейсмографическую» способность регистрировать исторические и общественные перемены читатели Дон-Аминадо знали и ценили. Видимо, он не раз получал «заказы». Так, к примеру, Екатерина Дмитриевна Кускова доверила Дон-Аминадо «сюжет». 5 октября 1933 года, она, возмущенная антисемитскими экскурсами, писала ему из Праги: «Часто наслаждаемся Вашим неиссякаемым остроумием <...> А вот есть вещи, — глубоко гнусные, — которые хочется Вам сообщить, быть может в стиле злой сатиры, — они тоже Вам часто удаются, как-нибудь можно и этот сюжет задеть». И далее она пересказывает сюжет из газеты «об арийцах»: если ариец переспит с проституткой-еврейкой, то станет «грязным». «Все-таки, — пишет Кускова, — Вам нужно знать и это. Авось когда-нибудь удастся ударить в [нрзб] «арийскую чистоту» (Бахметьевский архив). В сентябре 1938 года та же Кускова писала Дон-Аминадо: «Вашему жанру не завидую. При всем Вашем таланте и опытности смеяться сейчас...» (Бахметьевский архив).

Общительный и остроумный Дон-Аминадо, любивший многолюдные сборища, в послевоенные годы стал скрытен, мизантропичен, нелюдим. «Нет ничего скучнее, чем жить в интересное время» — может быть этот, им самим когда-то сформулированный афоризм, захватил, в конце концов, и самого автора. Дистанция между «мелкой единицей», обывателем-эмигрантом и Дон-Аминадо стерлась? Скорее всего, нет, и, дело было, как кажется, не в скуке.

Марк Алданов, бывший с Дон-Аминадо в близких дружеских отношениях, сообщал в письме А. Седых в 1947 году, что Дон-Аминадо, «чтобы никого не встретить, вообще никуда не ходит, а когда Надежда Михайловна (жена поэта. — К.Л.) ему говорит: «А сегодня я встретила...», он мрачно ее обрывает: «Ты никого не встретила». Мы с ним за все время встречались два раза. Правда, беседовали оба раза часа по полтора и отводили душу». С годами, как кажется, этот поствоенный шок не прошел. Тот же Алданов писал Аминаду Шполянскому в 1953 году: «Справлялись у всех о Вашем творчестве и парижском адресе. Никто не знает. Говорят, что Вы никого не хотите видеть». В 1956, уже незадолго до смерти Шполянского: «Как жаль, что Вы, несмотря на просьбы, мало пишете или, во всяком случае, мало печатаете». Зинаида Шаховская утверждала, что в середине 1950-х Дон-Аминадо успешно занимался делами, «с юмором

ничего общего не имеющими» (Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М., 1991). По воспоминанию А.Седых Дон-Аминадо после второй мировой войны нигде не печатался, а «еженедельный свой фельетон заменял письмами друзьям в Америку». В его послевоенной переписке — обнаженность боли и множество «острых его слов <...> и блестящих остроумия» (А.Седых) не спасали его от невозможности говорить дальше: «Ибо для тех, кто уцелел, — замечал Дон-Аминадо, — Бухенвальд и Аушвиц это то же самое, что наводнение в Китае».

Немецкий мыслитель Адорно сказал однажды, что после Освенцима поэзия невозможна. Дон-Аминадо — маленький, но честный пример этого экзистенциального потрясения середины XX века. Его послевоенная книга «В те баснословные года» (1951) состояла, в основном, из довоенных произведений. То немногое, что было добавлено, было уже почти за гранью поэзии. Последнее стихотворение книги называется «Заключение» и свидетельствует о «конце поэзии». В нем как раз оба значения слова «заключение» оказываются невероятно близки тому, о чем говорил немецкий философ, — концентрационный лагерь (заключение) стал концом поэзии (заключением). Для Дон-Аминадо, добавим, стихотворение стало концом последнего поэтического сборника:

В смысле дали мировой
Власть идей непобедима.
От Дахау до Нарыма —
Пересадки никакой.

Прямое сообщение между двумя системами — фашизмом и сталинизмом — было для Дон-Аминадо безысходной очевидностью.

В августе 1945 он писал из Йера (городок под Парижем) М.А. Алданову: «Очень обрадован Вашим письмом. — Переключка после германской ночи. Ослы, стоящие на третьей страже (*Tertia vigilia*), уверяют, что уже взошла заря, что петухи поют, и что жизнь в сущности говоря прекрасна <...> Романов и рассказов писать не собираюсь. Поздно. Но если б досуг был, то закончил бы нечто вроде *chronique romanesque* — «Decharge» — 1915—1945. Правда, после этого пришлось бы уехать в Бразилию; ибо раскланиваться было бы уже не с кем» (Бахметьевский архив).

Видимо, малая возможность нашлась, и этой хроникой, летописью «Decharge» («Свалка») стали романизированные воспоминания «Поезд на третьем пути». Книга эта, как и его стихи, — повествование об утраченном мире, об ушедшей невозвратно эпохе, которая воспринималась уже как «позапрошлая». Но и поэтика этих воспоминаний не позволяет описать того, что произошло после 1939 года (по замыслу хроника должна была быть доведена до 1945 года). На 1939-м повествование обрывается...

Задуманная Дон-Аминадо «Свалка» имела отчетливую традицию. Еще в 1920 году Аркадий Аверченко писал об этом новом состоянии «времен» и «вещей» в фельетоне «Город мертвых»: «Я говорю: это было, потому что это будет. Не все ли равно: будущее время, настоящее, прошедшее. В вихре бешеного вращения Чертова Колеса все смешивается в пять минут, и будущее мигом делается настоящим, а настоящее со свистом проваливается в кучу рухляди, важно именуемой: Прошлое». Вот эту «кучу рухляди», — прошлое, и хотел запечатлеть Дон-Аминадо в «Поезде на третьем пути». «Поезд на третьем пути» содержит грандиозные перечни, каталоги, реестры вещей и явлений, реалий невозвратимого прошлого, — поэтому эту книгу представляется невозможным комментировать. Она как будто стремиться сама стать комментарием к эпохе. Называя реалии, ушедшие в небытие, Дон-Аминадо пытается их запечатлеть, закрепить, оживить.

Через всю книгу проходит лейтмотив повторяемости времен. По всему тексту разбросаны более или менее явные отсылки к Экклезиасту: «Пришел ветер с пустыни и развеял в прах», «возвращение на круги», «мельницы богов», «суета сует», «история повторяется».

Эта интонация появилась у Дон-Аминадо, кажется, уже в Киеве в 1918 году: «Был министр, И нет министра. Глядь, уж с новым интервью». Возможно, само непрерывное круговращение властей (киевляне насчитали четырнадцать переворотов за 1917-1920 годы, причем Дон-Аминадо — Аминад Шполянский — был свидетелем, по крайней мере, полудюжины) содержало в себе ту модель дурной исторической повторяемости, которую каждой новой эпохе оставалось только воспроизвести. Так бесконечно уставший от истории Дон-Аминадо сформировал свою «общедоступную историософию».

Название «Поезд на третьем пути», вместо «Decharge» — ответ ли это «нашему бронепоезду», стоящему на запасном пути? Метафора ли это судьбы, загнавшей автора на другую — эмигрантскую колею? «Шестое чувство», — «чувство железной дороги», Дон-Аминадо пронес через всю жизнь. Провинциальное детство впитало в себя не только эти проносившие мимо поезда, но и невероятно богатый пласт русской «железнодорожной» литературы: «Железная дорога» Некрасова, «Под насыпью во ржи нескошенной...» Блока, «Крейцера соната» Толстого, «Дым» Тургенева и многое другое.

Железнодорожные образы превращаются у Дон-Аминадо в меру «всех вещей». Направление ностальгии, невозможность возвращения, связаны с дорожными реалиями: «Эх, если бы узкоколейка шла из Парижа в Елец!» Ностальгия, впрочем, не излечивалась трезвым пониманием советских реалий: «Жизнь быстро вошла в колею, колея была шириной в братскую могилу, глубиной тоже». Для выбравшего эмиграцию: «география стала историей, а история превратилась в географию», — считал Дон-Аминадо

(Летние рассказы // Последние новости. 6 июля 1926, С.3). Размышляя о социально-политических завоеваниях разных народов, он писал: «У французов есть декларация прав. У англичан — великая хартия вольности. У немцев — веймарская конституция. И только у русских — одно расписание поездов и ничего больше, — и здесь Дон-Аминадо повторял: — Кроме общеизвестных пяти чувств мы обладаем еще и шестым: чувством железной дороги» (Там же). Это чувство становится своего рода экзистенциальным кодексом. По другую сторону границы Борис Пастернак писал: «... когда поездов расписание / Камышинской ветки читаешь в купе / Оно грандиозней святого писанья...». Как отклик на пастернаковское звучало стихотворение Дон-Аминадо «Бегство»:

Потому, говорю я, не кстати ль,
Вместо всяких ученых трудов
Погрузиться в простой указатель,
В расписание всех поездов?

Каким-то парадоксальным образом Дон-Аминадо своей судьбой раскрывает библейские смыслы имени Аминодав и выполняет сходные своему библейскому предшественнику задачи. Аминодав — «даритель», «донатор» (кстати, заметим: «Дон»). Он должен был развести на повозке «законы Моисея» во все четыре стороны света. Конечно, задачи Дон-Аминадо куда более скромны. Его «Поезд...», конечно, — не закон, но, по крайней мере, послание...

В этом номере «Егупца» публикуются стихи Дон-Аминадо, затерявшиеся в киевской периодике 1918-1919 годов и не входившие в авторские сборники.

ДОН-АМИНАДО

БУДЕМ ОТКРОВЕННЫ

(О чем думает мать городов русских)

— «Эх, кабы Волга-матушка да вспять побежала»...
А что в этом хорошего? Хорошего мало!
— Вот, кабы матушку-Волгу освободили чехо-словаки,
Да кабы город Воронеж отвоевали казаки,
Да кабы город Питер покорили финляндцы,
Да кабы в Белокаменную вступили британцы,
Да кабы великой Сибирью овладели янки,
Да кабы загремели американские танки,
Да кабы стали медью да чугуном сыпать
От Невы на Каму, от Днепра на Припять,
Да кабы град-Одессу полонили сенегальцы,
Кременчуг — румыны, а Жмеринку — португальцы,
Да кабы нам сердечным, Иванушкам да Петрушкам,
Выбежать на морозец — прислушиваться к пушкам,
Обжираться свининою да французскими булками,
Да обклеивать заборы всяческими цидулками,
Да тоску с заботою как пушинку сдунуть, —
Вот это, — я понимаю, — не в телефон плюнуть!

«Свободные мысли», 1918, 16 декабря, № 13

DOLCE FAR NIENTE

Я свершил свой путь из Орши
В эту чудную страну,
Где подсолнухи и Порши
Воскрешают старину.
Где, — как Троцкий, как Урицкий, —
Не расстреливают зря,
Где верхом Богдан Хмельницкий
Волит прямо под царя!
Безболезненно и быстро
Входит жизнь здесь в колею.
Был министр, — и нет министра,
Глядь, уж с новым интервью.
Кто рассажен по кутузкам,
Кто висит на волоске.

Говорят на малорусском,
 Но державном языке.
 В ресторанах стонут скрипки,
 Выступает куплетист.
 И на дутиках на Липки
 Мчится с дамой лицеист.
 Мило шепчутся кадеты
 О проливах на луне.
 Кредитовые билеты
 Ходят с золотом наравне.
 Где-то, словно при Олеге,
 Этак верст за двести-сто,
 Кто-то делает набеги,
 Печенеги, или кто...
 — Ничего я знать не знаю,
 Не желаю знать совсем,
 «Голос Киева» читаю,
 С кремом трубочки я ем!

«Вечер», 1918, 26 октября, № 17.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ

1

О, Муза, какого ты черта молчишь?
 Над миром грохочут буруны,
 А ты притаилась как мокрая мышь...
 — Молчите, проклятые струны!..

2

Печально взирая на Марксов портрет,
 Не допив свой утренний кофе,
 Снимает малиновый пышный берет
 Посланник республики Йоффе.
 — Молчите, проклятые струны!

3

Лишь третьего дня он купил лимузин,
 Вполне соответственный чину,
 И жег, словно юность, бензин,
 И бензин
 Казался престижем Берлину.
 — Молчите, проклятые струны!

4

Министры, курьеры, послы, атташе
Приемы, обед у Адлона,
А ноты, а ноты! Какое туше!
И что за изысканность тона.
— Молчите, проклятые струны!..

5

Имея большой откровенности дар,
Любил заявлять он без фальши
— Я ис«кра, из коей возникнет пожар,
Я факел, костер» *и... так дальше.*
— Молчите, проклятые струны!..

6

И *дальше*, чем думала искра сама,
Несет ее ветер неожиданный.
Вот-вот на московских хлебов закрома
Небесной падет она манной.
— Молчите, проклятые струны!..

7

В посольском вагоне храпят латыши.
Вот Орша. Знакомые гунны.
Чичерин. Китайцы. И крик из души:
— Молчите, проклятые струны!..

«Вечер», 1918, 7 ноября, № 27

ИНТЕРВЬЮ

Почти по Эдгару По

Я сидел в своей берлоге,
Опустив устало ноги
На решетку у камина
В стиле русского етpиpа.

Пламя желтое сверкало,
Золотя края бокала,
Горло узкого графина
И лимбургский старый сыр.

Плакал ветер за стеною,
И осенний дождь шальнойю
Мелкой дробью разбивался
Об оконный парпет.

Вдруг раздался треск ужасный,
Я услышал голос властный,
И, разбив стекло, ворвался
Черный ворон в кабинет!

Овладев мгновенно тайной,
Понял я, что гость случайный —
Есть герой седой поэмы,
Всем знакомой наизусть.

Не нашедши бюст Паллады,
На шкафу он сел с досады,
И мы оба были немые,
Погрузившись в сплин и грусть.

Выждав паузу, я сразу
Отыскал такую фразу,
Чтобы сделать невозможным
И приятным интервью.

— Вы хотите пост министра?
— «*Nevermor!*» — Он каркнул быстро,
Криком резким и тревожным
Обрывая речь мою.

Все же что-то в крике птичьим
Показалось мне обличьем
Некой истины задорной,
Некой правды неземной.

И с волнением неопита
Вопрошать я стал открыто:
— Отвечай мне ворон черный,
Отвечай мне гость ночной!

Будет час или не будет,
Когда род людской осудит
Ужас войн, безумье сечи,
Вечный жертвенный костер?

И под сенью новых сводов
Будет ли союз народов?
И не дав окончить речи,
Ворон гаркнул: *Nevermor!*

— Но тогда, по крайней мере,
Суждено ли нашей эре
Воссоздать иные скрепы,
Искупив былой позор?

И за тучами ненастья,
Может быть, просветы счастья
Нам несут с собой совдепы?!
...Ворон каркнул: *Nevermor!*

— О, скажи, чудесный странник,
Адских сил невольный данник,
Укротятся ли стихии,
Что мнутся до сих пор?

И внимая общий ропот,
Извлекут ли люди опыт,
Испытав судьбу России?
...Ворон каркнул: *Nevermor!*

— О, проклятье! Но когда же
И отбыв какие стажи,
Мы, отбросив сантименты,
Разрешим великий спор?

Вырывая зло заразы,
Обойдутся ли без фразы
Господа интеллигенты?
...Ворон каркнул: *Nevermor!*

И с усердьем староверца,
Обнажая раны сердца,
И лишая их покрова,
Я спросил его в упор:

— Будет ли на Украине
Пышно царствовать как ныне
Винниченко, Порш и мова?!
...И он крикнул: *Nevermor!*

«Вечер», 1918, 16 ноября, № 35

ПИСЬМО К МОЕМУ ЦЕНЗОРУ

*Я вам пишу. Чего же боле?
Что я могу еще сказать?!
Пушкин*

Не в силах с Вами я лукавить,
Кратчайший путь есть путь прямой.
Сознайтесь сами, что пора ведь
Нам объясниться, цензор мой!

Сходясь в конечном интересе,
Который нас соединил,
Мы оба служим русской прессе,
По мере знания и сил.

И мог бы общий выпел реять,
Обоих нас приосеня:
Ведь я обязан что-то сеять,
А вы — просеивать меня!..

Ваш труд нелегок, но приятен —
Уж если солнце не без пятен
И глаз не может оскорбить,
То как в газете им не быть?!

И я под дружескую сечу
Всегда готов подставить грудь,
Но вы и мне пойти навстречу
Должны, о, цензор, как-нибудь!..

Могу ли я, трудясь над строчкой,
Иметь в виду держав комплот?!
Кулик, летающий над кочкой,
Еще, ей-Богу, не пилот!

Нельзя ж, во имя дружбы наций,
Прививки делать, например,
От яда всех ориентаций...
Ведь, все же, цензор — не Пастер!

Зачем! Почто, тревожа страсти,
Уничтожать мои стихи?!
Не легкий ямб колеблет власти,
Не дактиль звучный, а грехи.

Могу ль за резвою цензурой
Во всех скитаниях поспеть?
Могу ли я одним Петлюрой
И вдохновляться и кипеть?!

Нет, не могу! И в вашей воле
Меня молчанием связать.
«Я вам пишу! Чего же боле?!
Что я могу еще сказать?!»

«Вечер», 1918, 11 декабря, № 54

ИЗ АРАНЖУЭЦА И ДАЛЬШЕ

*Отраднo улeтeть в стрeмительнoм вaгoнe
От северных безумств на родину Гольдони.*

Кузмин

Пока меня Андрей Никовский,
Как Катилину, обвинял,
Я старый паспорт свой московский
На украинский обменял.

И вот опять лежу в теплушке
По схеме: восемь лошадей.
И внемлю рев знакомой пушки,
Знакомой вестницы идей.

Сразить ли их каким-то танком?! —
Я думал, счастьем обуян,
Глядя, как с каждым полустанком
Худел мой бедный чемодан.

Колеса пели как шальные.
Слыхали ль эту песню вы?
—Та-та-та-та. Была ль Россия?
И паровоз хрипел: увы!..

В полях метель мела сугробы
И, выбиваясь из сил,
Как будто взрыв последней злобы
В окошко ветер доносил.

Уткнув лицо в сапог казенный,
Я думал: Ах, не все ль равно,
«Паду ли я стрелой пронзенный»,
Или рогатиной Махно?!

Не жалко жизнь отдать народу
И обратиться в пыль и прах,
Но быть спокойным за свободу, —
В надежных Рафеса руках!..

*Экспресс «Фастов-Знаменка»
«Киевское эхо», 1919, 13 января, № 1*

НЕМЕДЛЕННЫЕ ОПТИМИСТЫ

Вы помните, Долли, начало войны,
Банкеты в «Славянском базаре»,
И тосты, и всплески шампанской волны,
Взмутьившейся в первом угаре.

Вы помните корпусный пыл, командир,
Который в счастливой гордыне
Клялся, что подпишет с германцами мир
Через месяц!.. — и только в Берлине!

Вы помните гимнов торжественный ряд
На каждом парадном спектакле
И весь этот сладкий, обманчивый яд
Вы помните, Долли? Не так ли?!

Вы корпий щипали, вязали кисет,
Лишали себя шоколада
И, кажется, видели — так или нет? —
И «шит на ворота Цареграда»?!

Потом... — Но не будем тревожить теней,
Сошедших в летейские воды!.. —
На смену видениям розовых дней
Явились угрюмые годы.

Не знаю, по скатам каких берегов
Блуждали Вы, бедная Долли,
Но в старых кумирнях разбитых богов
Ни вздоха не слышалось боле.

И только сегодня, услышав слова
И первые тосты антантам,
Я понял сейчас же, что Долли жива
И действует с прежним талантом!

Не вы ли с биноклем стоите сейчас
В толпе многошумной Одессы?
И разве, о, Долли, я слышу не вас
В руладах восторженной прессы?!

Я верю, что искренен каждый привет,
Что хитростью он не расчислен,
Но, Долли!.. — могу я сказать или нет? —
Ваш тон, как вчера, легкомыслен!

В руке вашей зимние розы цветут,
Которых достоин Мессия.
А в сердце — надежда: чрез десять минут
Воскреснет бывлая Россия!

Вы бантиком снова сомкнули уста,
На щечках — дыхание зноя.
И даже, как пишет картинно «УТА»,
Вы плачете, в гавани стоя!

Прекрасные слезы! Их сладостный ток,
Клочущий в душах славянских,
Изысканным делает каждый глоток
Из узких бокалов шампанских...

Прибавьте ж еще и скептический яд
О, Долли, в напиток фантастов:
Еще далеко вожделенный Царьград
И близко — предательский Фастов!

«Вечер», 1918, 27 ноября, № 43

ГОРОД ЧУЖИХ

Я знаю, будет некий день.
И день умрет. И вечер синий
Накинёт вкрадчивую тень
На переплеты черных линий.

Еще безвинней станет снег,
Сегодня выпавший впервые.
Чугунный конь замедлит бег
На старой площади Софии.

И оба, брошенные вспять
Усиьем чьей-то злобной воли,
Мы будем выхода искать
От одиночества и боли.

И вспыхнут газ, вино и кровь,
Простонут скрипки в душном зале.
И еле-еле дрогнет бровь,
Сейчас же выпрямься в бокале.

И вновь, волнуясь и дрожа,
Я брошу жребий Дон Жуана
С горячей робостью пажа
И с грустным знаньем ветерана.

И темным золотом волос
Окутав опытные руки,
Я не пойму твоих же слез,
Как ты моей бесслезной муки.

«Свободные мысли», 1918, 9 декабря, № 12

ПРОСЬБА К МАДЛЕН

1

В отравленных строках Верлена,
Где с болью сплеталась услада,
Мне нравилась горечь рефрена,
Которым кончалась баллада:
«Молчите, молчите, Мадлена,
Молчите, Мадлена! Так надо».

2

Мадлена! Предвестницей галлов
Под флагом французских фрегатов
Из ваших монмартрских подвалов
Придите в страну азиатов!
И тихо пройдите, Мадлена,
По улицам древнего града,
Чтоб с радостным ритмом Верлена
Напомнить о горечи яда...

3

Пред взором очей ваших ясных,
Что небом горят отраженным,
Пройдут легионы несчастных,
Подобные псам прокаженным.
Ползут из далекого плена,
Не встретив ни хлеба, ни взгляда
— Молчите, молчите, Мадлена
Молчите, Мадлена! Так надо.

4

И дальше, у самого входа,
У снегом покрытой опушки
Вы встретите лагеря сброда
И чьи-то угрюмые пушки.

Вскипает кровавая пена,
Два года — безумие ада.
— Молчите, молчите, Мадлена.
Молчите, Мадлена! Так надо.

5

Предместья, что гнойные раны,
Но город беспечен и весел.
Он залил огнем рестораны
И пестрые флаги развесил.
И вечная праздников смена
Шумит среди стен вертограда.
— Молчите, молчите Мадлена.
Молчите, Мадлена! Так надо.

6

Не раз уж гремели буруны,
И идолам новым в угоду
Не раз низвергались Перуны
В днепровскую синюю воду.
Но все еще алчет арена
Закланий бессмысленных ряда,
— О, ради Мадонны, Мадлена
Не надо молчанья, не надо!

«Вечер», 1918, 26 ноября, № 42

ДВА САПОГА — ПАРА

1

Мы были нищие. Мы были дикари —
И нами правили от имени народа
Самодержавные восточные цари
И прокурор Святейшего Синода.

В курной избе — и до последних дней —
Жгут мужики древесные лучины,
И спят с детьми среди своих свиней,
И мира ждут обещанной кончины.

И наши граждане на улицах кривых
Десятилетиями лишь семечки лушили.
Пиликала гармонь мастеровых.
Кого-то били, не пушали и ташили.

И только горсточка безумцев иль слепцов,
Как островок в пучинах океана,
Сияла в терниях страдальческих венцов
И пела: Господу Грядущему Осанна!..

Вот почему, когда распалась цепь,
Себя надеждою могли мы успокоить:
Все наше прошлое — не более, чем степь!..
И разве степь еще нельзя застроить?!

2

Но вы, вознесшие готический собор,
И изобретшие искусственный цикорий,
Вы, победители степей и рек, и гор,
Строители своих лабораторий!

Вы, что наполнили гудением машин
Вселенную, как будто мастерскую,
Достигшие неслыханных вершин
И глубь избороздившие морскую!..

Вы, дети городов и стриженных аллей,
Всю сталь употребившие на скрепы,
Как вы могли, народ учителей,
Низвергнуться в солдатские совдепы?!

Мы не злорадствуем!.. Берлин — не Петербург —
И да щадят его бушующие вьюги!..
Но грустно сознавать, что Роза Люксембург
И Муся Спиридонова — подруги!..

«Свободные мысли» 1918, 9 декабря, № 12

СТИХИ С НАСТРОЕНИЕМ

1

Ждем-пождем и ах — обидно —
Не прождать бы до весны!
Что-то вымпелов не видно
Ни с которой стороны...

2

Ночь длинна. Не могу я уснуть.
Снова сердце усталое мается.
Может быть, где-нибудь кто-нибудь
От престола сейчас отрывается.

День прошел, как другие нелеп.
Впрочем, я не печалюсь, не сетую.
Скоро будет единый Совдеп
Управлять нашей скучной планетой.
Что же бедное сердце грызет
В эту осень тоскливую, хмурую?..
Ах, как ночь бесконечно ползет
Надо мной, над землей, над Петлюрою!..

3

«То ль дело — Киев!.. Что за край!
Валятся сами в рот галушки!..»
Поел галушек, — отдыхай,
И слушай, как грохочут пушки.

«Вечер», 1918, 21 ноября, № 38

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ СТРОЧКИ

Позвольте мне хоть раз в году
Блеснуть лирическим задором,
Простить врагам и кредиторам,
Забиться в сладостном бреду
И петь сусальную звезду,
И небо звездное над бором,
И славить месяца рога,
Его сиянье ледяное,
И ночь, и поле, и снега,
И что-то милое, родное,
О чем сквозь сумрак прошлых лет
Душа измученная плачет,
И что в душе, как тихий свет,
На склоне дней еще маячит...
Прошли года и на виски
Легли серебряные пряди,
И нет желанья во взгляде,
И силы в мускулах руки.
Перерожденное склерозом
Томится сердце, ноет грудь —
И так далек и светел путь,
Где юность легкая по розам
Прошла, веселием дрожа
И все прогнившее колебля,

Пока не пала ниже стебля
Под сталью острого ножа...
Как знать!.. На оргии стнящей
И на пирах среди чумы
Не оттого ль томимся мы
От мути жизни настоящей,
Что где-то в сердца глубине
Чрез боль и муку и страданье
Еще живет воспоминанье
Об искупительной весне,
Когда мы искренно любили
И расточали без границ
И пыл, и страсть — и правду были
Пред сказкой повергали ниц?!
Где вы, чудесная пестунья,
Привольной юности моей, —
И чаровница, и колдунья,
И предводительница фей?..
Где вы, изящная маркиза,
В шелках поблекшего Буше,
С изломом вечного каприза
В неуспокоенной душе?..
Где пышный шлейф из горностоя,
Рубины алые, как кровь,
И ты, наивная, простая,
Сентиментальная любовь?..
Пускай промчались бури лет
И выцвел шелк бурбонских лилий, —
Вы изменили туалет,
Но сердца вы не изменили!..
И, правда, если бы сейчас
Рукой уверенной и нежной
Я приподнял бы легкий газ
На вашей шейке белоснежной
И тронул кончиками губ,
Теряясь в парах в бальном зале, —
Ведь, правда, вы бы не сказали,
Что не воспитан я и груб?!..
Пятнадцать весен — добрый стаж
Для всходов счастья и для жатвы!..
С каким восторгом верит паж
В маркизы-ветреницы клятвы!..
Пускай, унылый педагог

В нем видит только гимназиста
И пусть он трижды будет строг,
И отнимает Монте-Кристо,
И украшает кондуит
Необходимой единицей!
Пускай, пускай!.. Душа летит
За вечно-пестрой небылицей.
Она себя вознаградит
За все страдания сторицей, —
И в снежном парке лунный серп
Накинёт сеть своих волокон
И на его помятый герб,
И на её душистый локон!..
Как часто плачущий рояль
И мелодическое скерцо
Я принимал за муку сердца
И настоящую печаль!..
Как клялся ей любить до гроба
И как безумно ревновал,
Когда другой с ней танцевал —
И в вальсе уносились оба!..
И все прошло... И сладость сна,
И снежных парков тишина,
И звезды с елочек зеленых,
И наше счастье, и любовь,
И этих углей раскаленных
В камине рдеющая кровь!..
И жизнь, как схимница седая,
Раскрыла книгу бытия, —
И, содрогаясь и рыдая,
Перевернул страницу я!..
...Мой Бог!.. Вы видите, маркиза,
Куда несет крылатый конь!
Из-под копыт летит огонь, —
И нет уздечки для каприза!..
Да будет счастлив жребий ваш,
Да превратит Амур-проказник
Под звон содружественных чаш
Короткий миг в короткий праздник!..

«Южная копейка», 1917, 1 января, № 2191

ПРОЩАНИЕ С КИЕВОМ

*Была без радости любовь,
Разлука будет без печали*

Не негодуя, не кляня,
Бегу под небо голубое,
Пусть будет чуден без меня
И Днепр, и многое другое.

Не так уж тесен Божий мир
А мне мила своя свобода.
Adieu, Аскольд! Прощай и Дир!
И... хай живе між вами згода.

«Свободные мысли», 1918, 23 декабря, № 15

Публикация М.А.Рыбакова

Евгения Дейч

Б.К.ЗАЙЦЕВ О С.С.ЮШКЕВИЧЕ

В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения известного русского писателя, классика Серебряного века Бориса Константиновича Зайцева (1881—1972).

«Я родился в Орле, 29 января 1881 г. (ст.ст.), — писал Зайцев в неопубликованной автобиографии, хранящейся в парижском архиве. — Раннее детство мое прошло в Калужской губернии. Отец — горный инженер, управлял Людиновским заводом. В 1898 году я окончил Калужское реальное училище, был затем студентом Императорского технического училища в Москве, Горного института в Петербурге, Московского университета, но дорогу свою нашел лишь в писательстве. На первых порах поддерживали меня тут А.П.Чехов и Л.Н.Андреев. В 1901 году последний напечатал в московской газете «Курьер» мой первый очерк «В дороге». За ним следовали другие. В 1907 году после рассказа «Волки» в сборнике кружка «Середа» меня приняли в этот кружок, где главенствовали Андреев, Бунин, Вересаев, Телешов. Приезжая в Москву, появлялись Чехов, Горький, Короленко. В серьезном благожелательном воздухе этих «Серед» прошла моя литературная юность. В искусстве я выступил «импрессионистом» — с маленьким «бессюжетным» рассказом-поэмой. Первая моя книга вышла в 1906 году в петербургском издательстве «Шиповник». В первый же год разошлись три ее издания. Стал печататься едва ли не во всех «толстых» журналах того времени, но главнейшее в альманахах «Шиповника», редактором которых одно время и был.

В 1902 году женился на В.А.Орешниковой, дочери известного московского ученого-нумизмата А.В.Орешникова. В 1922 году с женой и дочерью уехал в Германию. В Берлине в 22-м году вышло собрание моих сочинений в шести томах в издательстве Гржебина...»

Б.К.Зайцев, прожив 40 лет в России и 50 лет во Франции, оставил огромное литературное наследие: романы — «Дальний край», «Золотой узор», биографические книги — «Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов», тетралогии «Путешествие Глеба» («Заря», «Тишина», «Юность», «Древо жизни»), «Преподобный Сергей Радонежский», роман «Дом в Пасси», многочисленные рассказы и повести, драмы, переводы (в том числе перевод ритмической прозой первой части «Божественной Комедии» Данте — «Ад»), мемуарные портреты современников.

С 1947 г. и до конца дней своих (он скончался 28 января 1972 г.) Зайцев возглавлял Союз русских писателей и журналистов в Париже.

Он был в центре эмигрантской жизни, именно поэтому так велико его эпистолярное наследие. В парижском архиве писателя сохранились письма видных представителей литературы первой волны эмиграции:

Бунина, Алданова, Тэффи, Дон-Аминадо, Одоевцевой, Юрия Анненкова, Терапиано, Берберовой, Ходасевича и многих других.

Во время войны в среде эмигрантов произошел раскол. Часть приветствовала Гитлера: Мережковский писал ему письмо, устраивались молебны. Зайцев, оставаясь противником сталинского режима, сочувствовал России, жил мыслями о ней, помогал пострадавшим русским военнопленным и эмигрантам, спасал евреев.

В ночь с 15 на 16 июля 1942 г. гитлеровцы в Париже провели массовые аресты — было схвачено 12884 еврея. Их загнали на зимний велодром на бульваре де Гренель, где проводили отбор и отправку в Аушвиц (Освенцим). В километре от лагеря находилась монастырская обитель Лурмель. Там Мать Мария укрывала евреев, а священник Димитрий Клепинин помогал им выдачей свидетельств о крещении, с которыми они могли попасть в свободную зону.

Когда 4 марта 1942 г. в берлинской канцелярии Эйхмана было принято решение о том, чтобы евреи старше шести лет во всех оккупированных странах, включая Францию, носили желтую звезду Давида (ранее немецкие и польские евреи уже были обязаны это делать), Мать Мария написала стихотворение. Оно быстро распространилось тогда в рукописном виде.

Два треугольника, звезда,
Щит праотца, царя Давида, —
Избрание, а не обида,
Великий путь, а не беда.

Знак Сущего, знак Еговы,
Слиянность Бога и Творенья,
Таинственное откровенье,
Которое узрели вы.

Еще один исполнен срок.
Опять гремит труба Исхода.
Судьбу избранного народа
Вещает снова нам пророк.

Израиль, ты опять гоним,
Но что людская воля злая,
Когда тебя в грозе Синая
Вновь воплощает Элогим?

И пусть же ты, на ком печать,
Печать звезды шестиугольной,
Научишься душою вольной
На знак неволи отвечать.

Написанное от руки, стихотворение содержало вариант двух последних строк:

Научишься на знак невольный
Душою вольной отвечать.

Это стихотворение было опубликовано только после войны, в 1949 году в поэтическом сборнике Матери Марии (Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой). Я прочитала стихотворение в Париже в 1974 году. Мне дала его Анна Элькинд, активная участница еврейского общества. С ней меня познакомила дочь Зайцева Наталия Борисовна Соллогуб, которую Анна Элькинд просто боготворила, как и всю семью Зайцевых. В книге «Я вспоминаю...» Наталия Борисовна рассказывала:

«Один наш друг, Л.А.Элькинд (кинематографист, муж Анны Элькинд.— Е.Д.), смог бежать в свободную зону, а его жена осталась. Как-то она спросила, сможет ли жить у нас, если будет облава? И я сказала: «Конечно». 14 июля 1942 года она прибежала в одном летнем платье — мы оставили ее ночевать. В ту ночь фашисты собрали массу евреев — их привезли в грузовиках на велодром, где был сборный пункт. Это было ужасно видеть: все с детьми, с какими-то кулями, узлами. Плачут...

Анна Владимировна Элькинд жила у нас. Однажды мне нужно было пойти к ней в квартиру, откуда она убежала в одном платье, и взять ее вещи — было страшно. В квартире оставалась ее старушка-мать. Немцы ее не забрали, так как ей было много лет. Я все взяла, вернулась, а через несколько дней нам с Анной Владимировной надо было выйти к фотографу, чтобы сделать ей фальшивые документы для побега... Анну Владимировну мы постоянно прятали, даже запирали дома, чтобы кто-нибудь случайно не увидел ее и не донес. Через три недели с поддельным паспортом, который помогли сделать участники Сопротивления в мэрии, она убежала в свободную зону к мужу. А ее старушку-мать мы взяли к себе в декабре, так как разнесся слух, что будут арестовывать евреев, и стариков тоже. Так и случилось.

Примерно через месяц я помогла ей сделать паспорт на другую фамилию, и Генриетта Генриховна перебралась к дочери. Таким образом они спаслись. А очень много наших друзей погибло...

Борис Константинович при наших встречах с ним в Париже, где в 1966, 1968, 1970 годах мы с А.И.Дейчем работали в архивах, с большой горечью говорил о погибших в нацистских лагерях близких ему людей — Илье Исидоровиче Фондаминском (Бунакове), о Матери Марии, о ее сыне Юрии Скобцове, о священнике Димитрии Клепинине, о поэте Юрии Мандельштаме, о жене Ходасевича — Ольге Марголиной...»

Публикуемый ниже очерк об известном прозаике и драматурге С.С.Юшкевиче, пьесы которого широко шли в наших театрах. Вскоре после кончины его (12 февраля 1927 г.) Б.К. Зайцев написал и напечатал в журнале «Современные записки» (№ 31, 1927 г.).

Борис Зайцев

С.С.ЮШКЕВИЧ (1869–1927)

Я много лет знал покойного Семена Соломоновича, но впервые его «почувствовал» как следует, и быть может, понял, лет десять назад, в Москве, — мы встречались довольно часто в пестром и шумном предреволюционном кафе Бома. Большой лоб Юшкевича, большие руки, уши, нервный и горячий говор, удивленные, светлые и добрые глаза с очень детским оттенком живо помнятся среди мягких диванов Бома, в накуренной комнате, где встречались прапорщики, писатели, актеры, вечно были разные дамы. Юшкевич всегда горячился и всегда спорил, со страстью утверждал свое, он очень любил разговоры о литературе, кипел беззаветно и самым искренним образом воспламенялся... Именно тогда я увидел в нем «нашего», очень, навсегда отравленного литературой — а значит, сотоварища, И добрую его природу тогда же почувствовал.

Эти впечатления потом только подтвердились. В эмиграции еще чаще приходилось с ним встречаться. Он так же любил шумно и горячо говорить о литературе, хохотать, сидя в дружеской компании за бутылкой вина, и еще ясней раскрылась (для меня) одна его прекраснейшая, трогательная черта: беспредельная, воистину «неограниченная» любовь к семье — жене, детям. Даже казалось, что его жизнь вообще ориентирована по этим близким, что и слава, и возможность заработка интересны не столько для писателя Юшкевича, сколько для Юшкевича — отца.

Но одной стороны раньше я в нем не знал, или, может быть, на чужбине она сильнее выступила: это общая горечь отношения к жизни, пессимизм, безнадежность. Сыграло ли тут роль изгнанничество? Надвигавшаяся болезнь, упорно направлявшая его мысль к рассуждениям о смерти? Или дало себя знать безысходно-материалистическое его мировоззрение?

Как бы то ни было, за шумностью, нервностью, иногда за смехом Юшкевича в Париже или в Жуан ле Пэм (где так дружелюбно и бесконечно приветливо принимал он нас с Буниным этим летом!) — всюду ясно чувствовался какой-то «хриплый рог». Смерть ли это давала ему сигналы?

Он очень тосковал по России, и тяжелей других переносил изгнание. Тут приближаемся мы к его писательскому облику».

Юшкевич нередко говорил (мне и Бунину):

— Вам хорошо, вы рождены Москвой, а я Одессой.

Этим хотел сказать, что его родина, которую он так любил и с которой так тесно был связан, юг России, иерархически как бы подчинена, второстепенная рядом с Великороссией.

— За вами целая великая литература, — кричал он иногда, — Россия! Какой инструмент языка!

Тут он был и прав, и не прав: прав в иерархическом предпочтении Москвы Одессе, но не прав в мрачных выводах о себе: сам-то он очень ярко и сильно выражал южнорусский народ, русско-еврейский — и в этом была главная его сила как художника, Так, Мистраль (с которым у Юшкевича ничего нет общего в натуре) выражал свой, южнофранцузский, провансальский народ с таким гением, которому бы позавидовал всякий северный француз.

Да, Юшкевич был писатель «региональный». Лучшее в его писании связано именно с русским югом, с Одессой, с ее живым, нервным, говорливым и бурливым народом, Юшкевич, будучи евреем, нередко будто бы евреев задевал в своем писании, давал так называемые «отрицательные типы» («Леон Дрей») и даже, кажется, в еврейских кругах это ему ставили в некий минус. Если стоять на этой точке зрения, то следовало бы нашего Гоголя совсем заклевать — уж, кажется, ни одного порядочного русского на сцене не показал. Конечно, у Юшкевича была сатира (и, кстати, он как раз Гоголя очень ценил, и сам весьма тяготел к гротеску) — но подо всем этим, конечно, пламенная, кровная, органическая любовь к своему народу. Юшкевич был *органический* писатель, в этом его главная сила, он достигает наибольшего тогда, когда живописует *художнически любимых* им людей Одессы, когда дает неподражаемый их язык, трепет и нервность, и неправильность этого языка, и их облики, сплошь живые.

Вот потому, что он был такой *кровный* и настоящий, ему пришлось столь трудно за границей, в том Париже, который он знал с молодости — но где нет Одессы. В одном небольшом его очерке, уже здесь, в эмиграции, трогательно и ярко изображена тоска двух одесситов по Одессе. Все *тут* хорошо, а *там* лучше, и акации, и море, и Франкони... Если угодно, это древний плач на реках вавилонских. Возможно, что в каждой еврейской душе есть тоска по Земле Обетованной и горечь безродности. Для Юшкевича жизнь так сложилась, что на склоне лет солнечная и веселая, разноязычно-пестрая и яркая Одесса была отнята у него, и его плач стал еще пронзительней.

Совсем, совсем недавно мы сидели с ним на берегу Средиземного моря, под пиниями, на солнечном берегу Каннского залива, и он искренно всем этим восторгался, но сердце неизменно направлялось в Россию, и никакими Каннами утешить его было нельзя.

А тому назад месяц со вздохом кинули мы по пригоршне латинской земли в могилу на прах нашего дорогого сотоварища, талантливого честнейшего писателя, открытейшей души человека.

ЖИЗНЬ БЫЛА БЫ ВЕЛИКОЛЕПНА...

Письма Льва Квитко М.Хащеватскому и А.Гурштейну

Лейб Квитко, или, как принято во всех украинских и русских переводах, Лев Квитко — один из наиболее значительных идишистских поэтов двадцатого столетия, видная фигура так называемой «киевской группы» еврейских писателей, прославленный автор стихов, известных едва ли не каждому ребенку в СССР, особенно в тридцатые довоенные годы, в многочисленных переводах на десятки языков огромной страны. Начало его литературного пути необычно, а конец трагичен. Он начинал со стихов для детей, и только после шести детских книг начал публиковать произведения, которыми зарекомендовал себя как тонкий лирик, талантливо сочетающий литературную традицию с фольклорной. Вместе с друзьями и коллегами по Еврейскому Антифашистскому комитету (ЕАК) он был расстрелян в подвалах Лубянки 12 августа 1952 года. Эта дата стала началом конца еврейской литературы (да и вообще идишистской культуры) в СССР: Гитлер убил ее читателей, Сталин убил ее писателей.

Вместе с писателями погибли их книги и архивы — изымались и уничтожались. Лишь ничтожное количество книг и документов чудом сохранилось: ищущий жертв кагебистский глаз не все замечал, чекистские «чистые руки» (то есть хорошо отмытые от крови) дотягивались не до всего. Предлагаемые две подборки писем Льва Квитко — Михаилу Хащеватскому и Арону Гурштейну — уникальны: они дошли до нас именно потому, что были забыты в закутках архивохранилищ, а все бумаги личного архива поэта, изъятые в момент ареста Льва Квитко, сгинули безвозвратно.

Еврейский поэт, драматург и переводчик Михаил Хащеватский (1897—1948) погиб как солдат в боях за освобождение Белоруссии. Его многолетняя дружба с Л.Квитко завязалась в самом начале литературного пути обоих: сверстники, земляки и поэты, они вместе постигали азы литературного дела и тайны поэтического искусства. При этом обоим, по-видимому, не казалось странным, что самоучка, живущий в провинции («в голованевском болоте», по его собственным словам), Л.Квитко выступает как наставник своего друга — петроградского студента.

В ранних письмах Л.Квитко обращает на себя внимание резкое противоречие между тягостным полунищенским бытом молодого поэта и высокой напряженностью его духовного бытия. Решить сложнейшие проблемы искусства и достать кусок хлеба — вот над чем бьется в те годы Л.Квитко. Письмо от 18 февраля 1917 года — своеобразная декларация молодого поэта: «Жизнь была бы великолепна», если бы мы сами не портили ее. Он провозглашает своей литературной верой романтизм, открывающий оптимистические перспективы. Нужно понять, в каком окружении рождалась

эта декларация: она противопоставлена не реализму с его широким охватом действительности, а, скорее, приземленному, бескрылому этнографизму и натурализму. Ценным биографическим документом является письмо из Берлина от 22 октября 1922 года, содержащее характеристику эмигрантских кругов.

Письма Л. Квитко к М. Хашчеватскому — самые ранние из всех дошедших до нас его писем: эта переписка началась перед самой февральской революцией, охватывает период гражданской войны и не прерывается годами, проведенными Л. Квитко за границей, в Германии. Здесь публикуется наиболее интересная в историко-литературном отношении часть этих писем. Оригиналы большинства писем М. Хашчеватскому были предоставлены редакцией журнала «Геймланд» (Москва).

Арон Гуриштейн (1895-1941) — критик и литературовед, автор многих работ о еврейской литературе и театре, написанных на русском и еврейском языках. Ему принадлежат статьи о творчестве Д. Бергельсона, Э. Фининберга, С. Галкина, об актерском мастерстве С. Михоэlsa и В. Зускина — и книги: «Вопросы марксистского литературоведения» (1931), «Шолом-Алейхем» (1939), «Проблемы социалистического реализма» (1941). Осенью 1941 года А. Гуриштейн погиб в боях под Москвой.

Л. Квитко познакомился с А. Гуриштейном во второй половине 20-х годов. По сохранившимся письмам Л. Квитко к А. Гуриштейну видно, как знакомство переходит в дружбу — официальные обращения заменяются дружескими, они переходят на «ты» и т.д. Харьковчанин, а затем киевлянин Л. Квитко все смелее обращается за помощью к москвичу А. Гуриштейну и сам готов помогать ему. Л. Квитко информирует А. Гуриштейна о литературной жизни на Украине, сообщает ему автобиографические сведения, делится общими соображениями о литературе, доверяет ему редактирование своих стихотворений, но при этом не скрывает от друга, что по его, Л. Квитко, мнению, вкус А. Гуриштейна обеднен рационализмом. Письма Л. Квитко (ответные письма не сохранились) рисуют обоих участников переписки — их горячую заинтересованность в развитии литературы, глубокую принципиальность. Все это делает публикуемые письма Л. Квитко ценным литературным документом.

В одной из статей о Л. Квитко А. Гуриштейн писал: «...Несмотря на знание жизни, Квитко сохранил в своем мировосприятии чрезвычайную непосредственность. Он продолжает воспринимать явления мира с простодушием и изумлением, словно видит их в первый раз. Вот почему, между прочим, его так любят дети. Ему органически близко детское сознание, широко раскрывающееся навстречу миру и жадно впитывающее в себя его явления. Но «простодушие» поэта, имеющее своей основой глубоко народный оптимизм, исчезает без следа, как только Квитко сталкивается с социальным злом, с притеснением человека человеком, с уродствами капиталистического общества...» («Огонек», 1941, № 11, стр. 15). Оригиналы писем А. Гуриштейну находятся в РГАЛИ (ф. 2270, оп. 1, ед.хр. 131).

Все письма переведены с идиш Х. Бейдером в 1975 году.

Л.Квитко — М.Хашеватскому

I

Голованевск¹, 13 февраля 1917 г.

Дорогой Миша!

Твое письмо меня очень обрадовало: во-первых, в моем голованевском бытии оно было для меня хорошим подарком, а во-вторых, внутренний переворот в тебе, твой энергичный взгляд на работу, на творчество — обрадовали и изумили меня. Ты с такой силой прокукарекал мне в ухо свои стихи, что я забыл обо всем на свете.

Слушай, дорогой, я отвечаю тебе по всем пунктам (от аза до ижицы). Мне жизнь представляется полной неразберихой, но в ней скрыты жемчужины, это — жемчужины романтизма. Жизнь была бы великолепна, мир — изумителен, если бы мы сами не угробили все это. Мы забрели куда-то в сторону, а потом шли этим путем все дальше и дальше, с расширенными от страха глазами, наполовину захлебнувшиеся в той зловонной пропасти, куда мы сами себя загнали, и все же — мы унесли с собой ядрышко нашего прошлого счастья, одну жемчужину нашего сгинувшего богатства — романтизм. Его мы должны беречь, как зеницу ока, как бережет обнищавший богач последний золотой кубок, напоминающий ему о былом, дарующий надежду на будущее.

Настоящий художник обнаруживает все романтические искры, возводит чудесную башню и показывает нам, какой жизнь была и какой она может быть. Кто создал романтизм, если не сама жизнь? И.Л.Перец² был одним из тех гениев, которые это осознали, и он оставил нам его в наследство.

Я верю, что подлинный облик жизни и мира скрыт от нас, искажен. Где-то под руинами веков лежит забытый истинный оригинал — настоящая жизнь. Если телега жизни не потащит нас на дно и мир спохватится и вспомнит, чем он должен был стать, — то, я верю, некто великий придет, чтобы взять в свои руки этот заколдованный ключ и извлечь из-под тяжести вековых руин жизнь настоящую, романтическую, фантастическую.

А теперь о рифме и звуке: да, милый Миша, я и сам знаю, что музыка стиха выражает настроенные поэта и что настроение является самой необходимой частью содержания. Гейне даже говорил, что хорошая рифма — это поцелуй свежих губок (кажется, так?)³. Все же я думаю, что поэзия, жертвующая содержанием ради формы, — это не поэзия, а карточный домик. Слава всевышнему, мы, евреи, обладаем особенностью не только глядеть на стенки сосуда, но и заглядывать внутрь.

Возьми, например, любой жанр еврейской литературы: разве они не отличались своим содержанием, а не только формой, начиная с древних религиозных книг и кончая современной поэзией? Даже такой поэт, как

Бялик⁴ по форме не совершенен, Шнейур⁵ — тоже не больно блестящ (хотя его поэзия — не специфически еврейская).

Я думаю, [...] что такой близкий к эллинам народ, как русский, создал поэзию, полную смысла. А вот тебе пример новой русской поэзии, которую ты так боготворишь:

Качели, качели, печали качели,
печали качели: «Молчи».
И в плаче печали качели качали.
качали качели в ночи.

(К.Большаков, «Солнце на взлете»)⁶

Замечательно, не правда ли? Видишь, до какого пустословия можно дойти? А если еврейский поэт пойдет этим путем, он и вовсе забудет о содержании. Это будет выглядеть, как морская пена, которая исчезает от одного дуновения ветра...

Я о многом еще хотел тебе сказать, но что-то лень на меня нашла. Я здесь натолкнулся на одну скульпторшу, она делает хорошие вещи из глины, но они у нее распадаются. Сообщи мне адрес какого-нибудь художника, она очень нуждается в совете.

Жизнь моя здесь очень горькая, я отягощен бедами, все же много работаю. Стихи-однодневки меня не удовлетворяют, я работаю над большой вещью. Ценность произведения я теперь понимаю много лучше и на свою работу смотрю намного критичнее. Мне кажется, у меня теперь получится нечто удачное. А пока посылаю тебе «Мое сокровище»⁷, которое я очень люблю. Вчитайся в него, Миша, и полюби его тоже...

Если я неожиданно не разбогатею, то письма тебе не отправлю, сам понимаешь — марки!

Эзра⁸ ничего мне не пишет. О Бергельсоне⁹ я на днях узнаю. Д.Эйгорн¹⁰ издает в Женеве журнал. Каким образом к нему можно добраться?

Твой Лейб

Только что получил твое последнее письмо. Я очень рад. Завтра пошлю тебе ответ.

¹ Голованевск — местечко на Уманщине, неподалеку от Голоскова, где Л.Квитко родился и провел детские годы.

² И.Л.Перец (1851-1915) — классик еврейской литературы.

³ Приблизительный перифраз из стихотворения Гейне «Песнь песней». В русском переводе Л.Пеньковского:

... Целующий рот,
Срифмованный на совесть.

⁴ Х.-Н. Бялик (1873—1934) — классик еврейской литературы. М. Горький назвал Бялика «великим поэтом, редким и совершенным воплощением духа своего народа...» (М. Горький. «Несобранные литературно-критические статьи». М., 1941, стр. 73).

⁵ З. Шнейур (1886—1959) — еврейский поэт и прозаик.

⁶ К. Большаков. Солнце на взлете. Вторая книга стихов. 1913—1916. М., Центрифуга, 1916.

⁷ «Мое сокровище» — программное стихотворение Л. Квитко, романтическая декларация молодого поэта, впервые опубликовано в альманахе «Эйгнс», кн. I, Киев, 1918.

⁸ Э. И. Фининберг (1899—1946) — еврейский поэт, близкий друг Л. Квитко. Опубликованное дальше письмо Л. Квитко от 22.X.1922 (из Берлина) адресовано совместно М. Хашеватскому и Э. Фининбергу.

⁹ Д. Бергельсон (1884—1952) — выдающийся еврейский писатель.

¹⁰ Д. Эйгорн (1886—?) — еврейский поэт.

II

Дорогой Миша!

Получив твоё письмо, я пустился в пляс... Твой первый литературный опыт прекрасен, пожелай и мне такого же. Дай бог тебе здоровья, уж очень ты меня растрогал.

Как видишь, посылаю тебе несколько стихотворений. Если что-нибудь из этого пойдет в Петрограде, пришлю поэмы, у меня уже много написано и кое-что неплохо. Пусть Нигер¹ мне напишет, может, я еще сумею попасть в Киев, это ведь не от меня зависит. Я-то готов...

У меня много стихов для детей, спроси Нигера, как мне с ними быть. Добрушин² просит, чтобы я прислал что-нибудь для сборника, но на это я не очень надеюсь, а может, и пошлю что-нибудь...³

Еще у меня есть недавно написанная поэма «Похороны»⁴. Это вещь!

Тыпишь, что можешь мне прислать кое-что из своих стихов. О, прошу, прошу, с большим удовольствием...

Ох, что же будет с моими детскими стихами, с моими поэмами? Может, они выручат мой бедный желудок?

Я задыхаюсь здесь и напрягаю все силы, чтобы вырваться, вырваться отсюда, но что толку?

Отвечай поскорей.

Твой Лейб

Повидайся с Нигером.

¹ Шмуэль Нигер (С. Чарный, 1883—1955) — еврейский критик и публицист. В ту пору, к которой относится письмо Л. Квитко, играл видную роль в национальной периодике Москвы и Вильно; впоследствии эмигрировал в США.

² И. М. Добрушин (1883—1953) — еврейский драматург и критик. Среди его критических статей — несколько работ, посвященных творчеству Льва Квитко.

³ Речь, по-видимому, идет о сборнике «Эйгнс» («Родное»), кн.1, Киев, 1918; кн.11, Киев, 1920. В сборнике был опубликован цикл стихотворений Л.Квитко.

⁴ Неопубликованная и утраченная поэма Л.Квитко.

III

[1917-1918]

Мишук!

Я откопал для тебя целый клад бабушкиных словечек¹, и вот из этого лепета нанизал тебе целую связку рифм в подарок, мой дорогой. Они как раз такие, как ты любишь! [...] Подобных жемчужин могу собирать для тебя еще несколько связок, ты их вполне заслужил.

Правда, я тебе и сейчас не написал бы, но, так как тебя постигло несчастье — ты поступил на службу, следовательно, стал богачом в нашей семье, — то я и решил поклониться тебе в пояс. И я, бедный рифмач, склоняю теперь свою голову перед пылью твоих ног, о великий мой богач! А если кроме шуток — пришли что-нибудь из твоих последних стихотворений — в этом рассоле я все-таки огурец!

Пиши мне.

Лейб

¹ По просьбе М.Хашеватского Л.Квитко записывал для него образцы еврейской народной речи. К письму приложена (опущенная в переводе) «связка» этих рифмующихся между собой слов.

IV

[Начало 1918 г.]

Дорогой Миша!

Слово честного еврея — я не фальшивил, но пойми: ты мне слишком дорог, чтобы не быть на тебя в обиде за то, что ты уехал, не простившись со мной, — понял, умник мой? Представь себе парня, который, можно сказать, оторвался от всего света, потерял свое последнее имя — из «Оленя» превратился в «Льва»¹, возненавидел дорогую ему прежде литературную среду, утратил свою любимую бабушку², но по сей день еще ни одного пессимистического стихотворения не написал, — представь, такой человек получает письмо от своего хорошего друга черт знает из какой дали, — что ж, ты думаешь, он читает его? Да нет, он пускается в пляс!

Хочешь знать что, кто и почему? Отвечаю: Мишук, боюсь, что я «заэзрился»³. Я еще слишком зеленое яблоко для этого мутно-местечкового кваса [...]. Я порвал связь с писательским миром. Отличить свое хорошее стихотворение от неудачного я уже и сам в состоянии. Материально они мне тоже ничем не помогают, я вынужден сам промышлять со своей музой, сам добывать копейку. И, по-видимому,

из-за своего благословенного положения стал терять (тсс! это секрет!) веру в себя. Да, дорогой Мишук, я вдруг настроился философски, ищу абсолютную истину, нашел уже и абсолютную ложь... Видишь, куда я забрался?

Мишук, новость! Это все вздор, что я до сих пор наболтал [...]. Мне очень хорошо, ох, как хорошо!..

Посылаю тебе два-три стихотворения с условием, что ты ответишь немедленно.

Теперь о твоих стихах. Стихотворение «Как Самсон» — ново и сильно, ясно и лаконично. Первое стихотворение из «Альтварг» («Старье») — живое, освеженное, это старое дерево с новой сильной корой; стихотворение дышит энергией и мужеством. Второе из «Старья» — гармонично, народно. Приглядишься: у тебя в «Нашем марше» — сила народная, трубный зов под стенами Иерихона. Здесь я чувую у тебя боевой дух в начале восстания... «Глухой» немного затуманен, а «Я ищу» мне вовсе не нравится. Но как хорош твой «Самсон», просто чудесен!

Послушай: Эзра примирился с «моим» романтизмом и пишет очень хорошие стихи. Вне романтизма, говорит он, нет литературы. Недавно он гостил у меня, и нам так нехватало тебя, ой, как нехватало! Он опустошен, совсем опустошен, ему ничего не нужно, ничего не хочется. Трудно быть с ним рядом. Его адрес прост: Фининбергу — и все...

Твой Лейб.

Пиши немедленно, пойми меня.

Голованевское болото, среда, сумерки.

Я хотел бы послать некоторые мои стихи, сообщи кому. Тут есть одна простая девушка с талантом скульптора, лепит из глины. Что ей делать???

¹ Олень и лев — библейские образы. В одной из самых древних составных частей Библии — Псалтири — олень противопоставляется льву как невинность и кротость — опытности и грубой силе. Кроме того, Гирш (буквально — «олень») — юношеский псевдоним Л.Квитко. Подразумевается, что став «Львом» (Лейб — буквально «лев») из Гирша («олень»), он достиг зрелости, стал самим собой.

² «Влияние ее на меня и дало мне стойкость и упорство в борьбе с тяжелыми годами моего детства и юности», — писал Л.Квитко в автобиографической заметке, приложенной к письму К.Чуковскому (сентябрь 1935 года). Выражением любви и признательности к бабушке был один из юношеских псевдонимов поэта — Лев Бабушкин.

³ То есть стал похож на Эзру Фининберга (имеется в виду тяжелое моральное состояние Э.Фининберга, о чем говорится дальше в этом же письме).

V

[Берлин, 22 октября 1922 г.]

Ох, друзья мои дорогие, Эзра и Миша!¹

Знали бы вы, как горько у меня на душе в этой самой «середке Европы»... Кроме кучки зануд, эмигрантских козлов, от которых разит за версту, кроме «Романишес кафе»² [...], кроме мук-терзаний о заработке, — меня уже вовсе пришибла весть о том, что мой единственный, как я полагал, выживший брат давным-давно умер в Америке, так же, как и мой лучший друг, с которым мы, бывало, в одну ямку писали. Для моей русско-украинской головы это уж слишком. К тому же, здесь родственники жены собираются в Аргентину, и всякий раз у них что-нибудь разлаживается, расползается по швам; то документы, то деньги, — и все это я, горемыка, должен взять на себя. Но, как говорится, «любишь жену, люби и ее родню».

И все же голосковское несчастье — моя сестра — это всем бедам беда. Могу ли я позволить себе вздохнуть свободно?

Я просил Добрушина отсылать мой гонорар сестре. Вам я выслал материал для детского журнала и пришлю еще. Прошу Вас устроить мне книгу стихов, я буду присылать вам материал, но при условии: гонорар будут переводить сестре. Я был бы рад взять сюда хоть двоих из ее детей, но это невозможно. Не знаю, к кому обратиться, у кого кланяться. Все пришиблены, кроме тех, что наживаются на погромах³ Это дело верное, и в их лавчонках всегда прорва товару. Кого надо упрашивать, чтобы взяли детей сестры в детский дом? Сжальтесь, дорогие, ведь вы на месте, во имя всего святого — не отказывайте мне, Эзра и Миша. Передайте от моего имени, что я заплачу за содержание детей. Я обкорнаю свое скудное существование, но буду посылать им. Меня пригласили сотрудничать в киевском журнале для детей⁴, но я не пошлю им стихов, пока не умолю их устроить детей сестры в детский дом на как можно более долгий срок.

О литературе и литераторах, обо всей этой пестрой компании — в следующий раз.

Дорогой мой, многие «из наших»⁵ уже стали залеживаться и даже начали попахивать вместе со своими прекрасными перьями в руках.

Зимовать мы будем еще здесь, а весной возвратимся домой.

Сердечный привет всем, скоро напишу.

Лейб Квитко

Моя сестрица Лийка играет со мной в прятки. Где она обретается?

¹ Письмо адресовано совместно Э.Фининбергу и М.Хашеватскому.

² «Романишес кафе» в Берлине, место встречи писателей, художников, а также еврейских эмигрантов.

³ То есть тех, кто сочиняет книжки о погромах и торгует этими книжками.

⁴ Киевский ежемесячный журнал для детей — «Фрейд» («Радость»).

⁵ То есть эмигранты.

Л. Квитко — А.Гурштейну

I

Харьков, 19. III.1929.

Мне нелегко ответить на Ваши вопросы¹. В каком году я родился, я и сам не знаю. Я рос без родителей и вне дома. В моих бумагах путаница. Мне должно быть года 33-34, может быть — 35².

Почему Вы так редко бываете в нашем журнале?³

С приветом

Ваш Л.Квитко

¹ Вопросы А.Гурштейна, по-видимому, были вызваны его работой над статьей о Л.Квитко для «Литературной энциклопедии» (см. «Литературная энциклопедия». Т.5. Издательство Коммунистической Академии, 1931. С. 169-170). В архиве А.Гурштейна (РГАЛИ, ф.2270) сохранились наброски его статей о Л.Квитко для других справочных изданий.

² А. Гурштейн принял 1895 год в качестве года рождения Л.Квитко.

³ Имеется в виду редакция журнала «Ди ройте велт» (Харьков), в которой Л.Квитко в ту пору занимал пост ответственного секретаря. В № 11 за 1928 год журнал «Ди ройте велт» поместил рецензию А.Гурштейна на кн.: Еврейская литература. Хрестоматия литературы и критики. Составители Н.Ойслендер, В.Волькенштейн, Н.Лурье. Часть I. Киев, «Культурлига», 1928. С этой публикацией связано начало переписки между Л.Квитко и А.Гурштейном.

II

Киев, 18.XI.1932.

Сердечное спасибо, мой дорогой Арон, за оба твои письма¹. Береговский мне привез деньги — очень кстати. У меня уже не было ни копейки. Но при расчете меня обвели вокруг пальца. [...]

От института² я уже совсем свободен. Это дело решенное. Официально подтверждено, что моя просьба об освобождении из института удовлетворена. Ты не можешь даже представить себе, как мне это тяжело досталось. Я изнурен, как после целого года напряженной работы. Поскольку я считаюсь ответственным работником, мне нужно иметь разрешение партийных органов на переезд в Москву. Думаю, это разрешение скоро будет получено³.

Теперь о нашей книге. Ты хочешь изъять свою статью о Нусинове⁴.

По существу ты, может быть, прав. Статья эта похожа скорее на доклад и не глубока. Все же для меня это несколько неудобно, так как получается, что я даю критику лишь двух книг — Вевьёрки⁵ и Дунца⁶. Дунец может

обеспокоиться и вообще могут возникнуть претензии: почему только вот эти двое. Впрочем, это не может быть доводом против твоего намеренья, поскольку я тоже считаю, что статья слаба или мало обработана. А дополнительная работа над нею, по-видимому, исключается. Это было бы лучшим выходом, но возможно ли это сейчас? Наверно, нет. Я заранее согласен с твоим решением, а ты делай, как понимаешь. Если решишь статью изъять, то предисловие нужно будет подправить и перенумеровать оставшиеся страницы.

Я слышал, что ты получил какой-то глупый курс лекций в театральном педтехникуме. Это полное безумие. Не мог ли ты найти что-нибудь получше? Допустим, сейчас это для тебя важно и целесообразно. Но этими лекциями ты связал свое время, не приобрел ощутимого заработка и лишился возможности писать. Что с тобой творится? Если уж ты решил читать лекции, то почему не на русском отделении вуза? Боже мой, что с тобой творится? [...]

Из «Литературного Наследства» у меня был № 3 (где помещены письма Маркса и Энгельса о Лассалле)⁷. Мы ведь купили два экземпляра, разве ты не помнишь? Или это я запамятовал? [...]

Я работаю понемногу, но недоволен. Мало что удастся. Неопределенное положение между Киевом и Москвой раздражает меня.

Будь здоров и могуч. Привет Любе⁸ и Меиру.⁹

Твой Лейб

¹ М.Береговский (1892-1961) — еврейский фольклорист и музыковед.

² Институт еврейской культуры АН УССР (Киев, 20-е-30-е гг.)

³ Переезд Л.Квитко в Москву состоялся позднее — в конце 1937 г.

⁴ И.М.Нусинов (1899-1950) — русский и еврейский критик и литературовед.

⁵ Вевьерка (1887-1935) — еврейский прозаик и драматург.

⁶ Х.Дунец (1899-1937) — еврейский литературный критик.

⁷ «Литературное Наследство», Т.3. М., Журнально-газетное объединение, 1932.

⁸ Люба — сестра А.Гурштейна.

⁹ Меир — М.Винер, см. примеч. 1 к след. письму.

III

10.XII. 1932.

Милый Гурштейн!

Я чувствую себя виноватым перед Вами за то, что до сих пор не писал. Все хлопочу, все занят, а чем — спрашивается? Черт его знает! Меир¹ был у нас некоторое время. Только вчера уехал. Нам с ним было отлично.

На мне «выравнивают линию». А она все не выравнивается. Выравниватели втихомолку продолжают старое²

У нас положение намного сложнее. Нас, всю массу еврейских писателей на Украине представляет общественности один человек. А этому одному недостает ни ума, ни такта, ни таланта. Особенно таланта и дальновидности. Ограниченность, мелкая зависть и неприязнь могут привести только туда, где мы очутились. Большого искусства большого времени под таким «руководительством» не создашь. А работать хочется — очень и очень. Я же работаю немного. Винера я читал¹

Милый Гурштейн, большое Вам спасибо за Ваши хлопоты в «Федерации». Это очень кстати в нынешние нелегкие для меня времена. Мне только очень неловко беспокоить Вас. Я отблагодарю Вас сторицей при первой же возможности. [...] Еще раз благодарю.

Приезжайте в Киев ко мне в гости. Скучать не будете.

Сердечный привет Вашим.

Ваш Л.Квитко

¹ Меир Винер (1893 — 1941) — еврейский писатель и критик. Среди его работ — статьи о творчестве Л.Квитко.

² Здесь и в следующем абзаце своего письма Л.Квитко имеет в виду те сложные обстоятельства — литературные и житейские — в которые он попал, став объектом проработки со стороны тогдашних руководителей ВУСПа. В 1932 году постановлением ЦК ВКП(б) ВУСП был ликвидирован вместе с другими писательскими организациями, но их руководители заняли видные посты в новообразованном Союзе советских писателей.

³ Речь, по-видимому, идет о только что вышедшей книге М.Винера «Фольклоризм и фольклористика».

IV

4.2.1933.

Милый Гурштейн!

Я не знаю, почему я кажусь себе виноватым перед Вами, но такое у меня чувство. Хотелось бы сделать для Вас что-то весомое.

Здесь, на пленуме украинского оргкомитета¹, я познакомился с Эриком². Он боялся со мной разговаривать, чтобы не заразиться моей «неблагонадежностью». Вообще, бросается в глаза его неискренность. Выступал он на пленуме бледно и всех разбранил за недостаточную марксистскую выдержанность.

Я понемногу работаю, начальные главы моей новой работы опубликованы в первом номере журнала «Фармест»³. Хотелось бы узнать Ваше мнение.

Меир еще в Узком? Я напишу ему на днях. В «ЛИМе»⁴ хочу добиться высылки ему гонорара. Меня радует, что он спокоен и работает.

Дорогой мой, договор с «Федерацией», кажется, у Вас. Будьте добры, пришлите его мне. Я слышал, что это издательство планирует выпустить серию книжек писателей нацменьшинств, но не знаю, включена ли в план

и моя книга. Приехать в Москву в ближайшее время не удастся. Хочу посидеть немного, поработать. Я очень отстаю.

Сердечный привет Вам и Вашим, Меиру и Тамаре⁵

Ваш Лейб Квитко

¹ После ликвидации литературных группировок для создания единого Союза советских писателей на местах были учреждены оргкомитеты. У Л.Квитко идет речь о пленуме оргкомитета еврейской секции украинской писательской организации.

² Макс Эрик (1898-1937) — еврейский литературовед.

³ В № 1 журнала «Фармест» («Соревнование») за 1933 год было опубликовано начало романа (в прозе) Л.Квитко «Возрождение».

⁴ Государственное издательство УССР «Література і мистецтво».

⁵ Т.Н.Лурье — критик и переводчик, жена М.Винера.

V

31 .ХП.1933

Милый Арон!

Что Вы скажете о Вашем госте? Приехал и поселился. Дневал и ночевал. Заговорил всех до полусмерти и еще стащил у Вас перчатки. Красиво поступил этот Квитко, нечего сказать...

Ноах Лондон¹ сейчас здесь. Он москвич — передаю с ним перчатки, чтобы Ваши руки не мерзли.

Я утопаю в работе² Читаю хорошие книги и бегаю по коридорам «Нацмениздата», выпрашиваю еще копейку, но безуспешно.

Дома у нас тепло. Есть белая бумага, хорошие чернила, интересные газеты, веселый Бокаччио, великолепный Шолом-Алейхем³. Приезжайте, как мы договорились. Вы будете хорошо себя чувствовать, выпитесь, на саночках покатаемся. У Вас будет «птичье молоко» и другие блюда. [...]

Глаза мои работают хорошо, дорогой доктор, но ночью, во сне — они прыгают...

Брату привет, Арон, и будьте здоровы все.

Ваш Л.Квитко

¹ Н.Лондон (1888—1937) — журналист и редактор.

² В интервью харьковской газете «На зміну» (20 июня 1934 г.) Л.Квитко сообщал о проделанной работе: «За последние годы я выпустил для детей такие книги: «Ринг ин ринг» — сборник стихов и поэм, «Два товарища» — повесть, «Юнге бойерс» — сборник стихов и поэм, «А фрейлех юр» — стихи и рассказы в стихах и еще около тридцати отдельных изданий. Большинство из них не раз переиздавались. На украинском языке отдельными изданиями вышла повесть «Два товарища», «Скрипочка» — в переводе П.Тычины, и «Праздник». Теперь готовлю повесть «Гамбург» — о жизни и борьбе работников порта. Работаю над сборником новых рассказов в стихах на тему строительства, победы человека над природой» (перевод с украинского).

³ Шолом-Алейхем (Шолом Рабинович, 1859—1916) — классик еврейской литературы.

VI

23.2.1936.

Мой дорогой Арон!

Я много работаю. Мне кажется, получается что-то путное.¹ Хорошо было бы, если бы и ты выбрался, наконец, из твоей перегруженности и суеты и принялся за спокойную желанную работу.

Я не могу освободиться от чувства, которое возникло у меня, когда я видел тебя в Минске — рассеянного, озабоченного, придавленного грузом дел, не дающих спать по ночам, лишенного возможности вникнуть хотя бы в одну работу. Нужно создать себе хоть небольшой остров покоя (как умно придуман круг для милиционера-регулирующего на центральной площади — этот круг не переступает никто).

Напиши, дорогой, прислал ли Чуковский² материал о моих трудах. Какое впечатление произвели переводы Маршака?³ Эти два больших писателя азартно ставят на меня, как на козырнув карту. Я опасуюсь провала. Потерпевшим, боюсь, буду я. Люди, которые хотели бы подставить мне ножку, стоят наготове. [...]

¹ Л.Квитко заканчивал работу над романом в стихах «Иона» (см. след. письмо). В окончательной редакции роман получил название «Годы молодые».

² К.Чуковского связывала с Л.Квитко многолетняя дружба. Открыв для себя творчество еврейского поэта, К.Чуковский стал его страстным пропагандистом. Он многократно писал о поэзии Л.Квитко в своих статьях и рецензиях, говорил в докладах и выступлениях; посвященные Л.Квитко страницы включались в несколько изданий книги «От двух до пяти»; мемуарно-критический портрет Л.Квитко вошел в книгу воспоминаний «Современники». Работы К.Чуковского привлекли общественное внимание к творчеству Л.Квитко и в немалой степени способствовали популярности поэта. В архиве К.Чуковского сохранилось свыше трех десятков писем к нему Л.Квитко (1935-1941) большая их часть опубликована в сб.: Жизнь и творчество Льва Квитко. Сост. Б.Квитко и М.Петровский. М., Детская литература, 1976. С. 248-265.

³ «Я сделал все, что мог, чтобы по моим переводам читатель, не знающий подлинника, узнал и полюбил стихи Л.Квитко. Думаю, что хоть в малой степени я этого достиг», — писал С.Маршак К.Чуковскому летом того же 1936 года (архив К.Чуковского). Всего С.Маршак перевел шесть стихотворений Л.Квитко: «Письмо Ворошилову», «Ложка-поварешка», «Лошадка», «Урожай», «Жучок», «Юные ворошиловцы». Сохранившиеся в архиве С.Маршака письма к нему Л.Квитко см в сб. «Жизнь и творчество Льва Квитко, с. 242-247.

VII

12.IX.1936.

Милый мой Арон!

Кончилось проклятье, тяготившее надо мной многие годы. Завершен «Иона». Через неделю-другую я привезу его в Москву — показать тебе, Меиру и Ойслендеру¹ Я вложил в эту работу всего себя — думаю, она

того стоит. Больше, чем когда-либо, я обеспокоен тем, чтобы мою работу увидели и прочли. [...]

Я получил письмо от ленинградского писателя Заболоцкого², серьезного человека и очень хорошего, оригинального поэта. Он очень хочет перевести что-нибудь из моих стихов, так что серьезный переводчик у меня, верно, будет.

Здесь у нас в писательской среде интереса к работе собрата нет. Руководство [...] мою работу не замечает. Удалась ли мне работа или меня постигла неудача — никто и не спросит. Умудряются замалчивать достижения других — и собственные грехи.

Який пример тому — книга Копыленко «Дуже добре»³. Нужная, хорошо написанная книга. На школьную тему книг почти нет. А ее замалчивают. Вместо того, чтобы радоваться, стимулировать, помогать расти, как того желают партия и народ, — хозяйничают дележки и мешают расцвету большой литературы. Я посылаю тебе письмо Чуковского к Копыленко о его книге. Чуковский лучший у нас знаток этого рода литературы. Как резко отличается его отношение от упорного замалчивания, характерного для литературной жизни у нас на Украине.

Думаю, что тебя это заинтересует, и Лежнев⁴ выяснит это положение. Через неделю Чуковский приедет в Москву и непременно будет у вас. Вы сможете лично и подробно узнать у него о книге Копыленко. [...]

Ты, видно, по-прежнему очень занят и загнан. Будь здоров, мой дорогой. Сердечные приветы твоим.

Ответь, прошу тебя.

Твой Лейб

¹ Н.Ойслендер (1893–1962) — еврейский критик и литературовед. Среди его работ — статьи о творчестве Л.Квитко.

² Н.А.Заболоцкий (1903–1958) — русский поэт.

³ А.И.Копыленко (1900–1958) — украинский писатель. Его книга «Дуже добре» (1936; в русском переводе «Очень хорошо», вернее было бы — «Отлично») стала на Украине одной из самых популярных книг для юношества. Ц.М.Копыленко, вдова писателя, сообщала (в письме к составителю наст. комментария от 4.II.1973): «Мне трудно восстановить подробности, но я точно помню, что Александр Иванович и Лев Моисеевич вместе написали пьесу и назвали ее «Останній гендель» (что-то вроде «Последний барыш»). Надо полагать, что пьеса была написана на украинском языке. Рукопись пьесы не сохранилась — она пропала вместе со всем довоенным архивом А.Копыленко. Насколько мне известно, этот факт соавторства Л.Квитко и А.Копыленко до сих пор нигде не упоминался».

⁴ И.Г.Лежнев (1891–1955) — критик и литературовед.

VIII

7.X.1938.

Милый Арон!

Я отослал тебе исправленные стихи. Ты их, вероятно, уже получил. Я работаю. Готовлю еще несколько вещей, в которых нужно исправить мелочи, доработать, чтобы книга имела цельный вид, а интересного в ней еще недостаточно. Думаю, что новый цикл сделает ее привлекательней. Твое редактирование — правильно. Ты исключил то, что послабее. Твой вкус верен, но, мне кажется, недостаточно широк. Ты исключаешь из поэзии (то-есть — из жизни) элементы, которые существуют и своим существованием привлекают и волнуют. Они двигают сердца, вызывают радость или слезы, ненависть или любовь, — одним словом, будят человеческие страсти. О том, видишь ли ты их или нет, свидетельствует снятое тобой стихотворение «Я не знаю, где ты живешь». Я считаю его одним из лучших своих стихов, удачей, какая мне редко достается. В нем раскрываются значительные человеческие чувства. Я, упаси бог, не агитирую тебя. Я просто сожалею, что оно до тебя не дошло.

На пляже в разгаре лето. Оно разлеглось в трусиках и без. Оно купается два раза в день и ничуть не обеспокоено тем, что происходит в Чехословакии, тем, что змеи рвут ее на части.

Но лето не тешит мое сердце. Что-то бродит, поднимается во мне и не дает мне покоя. Чувствую, что делаю не то, что нужно. А как делать то, что нужно, — не знаю. Время идет, а я верчусь на месте...

Ну, будь здоров, дорогой. Я уже слышу, как ты, по своему обычаю, утешаешь меня. Ты говоришь, что, мол, это все, во-первых, мне только кажется, а во-вторых, — ничего, дескать, устроится...

Твой Лейб Квитко

*Вступительная заметка,
комментарий и публикация
Мирона Петровского*

«Егупец» уже писал о творчестве и судьбе Аркадия Белинкова (см. № 7). Продолжая тему, предоставляем место для воспоминаний вдовы писателя Н.А.Белинковой-Яблоковой (Монтерей, США).

Наталья Белинкова-Яблокова

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИК

Виктор Шкловский

Жарким московским летом 1958-го года Аркадий вез меня на Аэро-портовскую представлять Шкловским. До этого мне не раз приходилось от него слышать: «Я воспитывался на коленке Шкловского».

В судьбе Белинкова Виктор Борисович значил очень много: руководил его вступлением на литературный путь и пытался вызволить своего ученика из заключения. Аркадий считал литературу главным делом писателя и измены ей не прощал. Поэтому верность раннему, бунтующему Шкловскому он сохранял всю жизнь, а с поздним, сдавшимся, отчаянно спорил. Расхождения по принципиальным вопросам некоторое время их дружеским отношениям не мешали.

Аркадий часто бывал у Шкловских, и Виктор Борисович находился в курсе всех дел бывшего своего дипломника. Прошло уже месяца полтора, как мы поженились, а Аркадий все еще не познакомил Шкловских со мной, и теперь я полусерьезно спрашивала: «А что будет, если меня не одобряют?»

Выйдя из метро по широкой лестнице, которую Аркадий всегда преодолевал с трудом, мы подошли к домам солидной кладки, вошли в показавшийся мне парадным подъезд, миновали любопытствующую лифтершу, поднялись на просторном лифте, позвонили у добротной двери. В прихожей респектабельной писательской квартиры нас встретили подвижный полноватый лысый господин и сдержанная холеная светская дама. Аркадий представил меня Виктору Борисовичу и его жене Серафиме Густавовне. Говорили, что в 30-е годы она слыла неотразимой красавицей. Минутное пристальное разглядывание. Ординарные, приличествующие случаю восклицания. Одобрили, не одобрили — не поймешь, но с лестницы не спустили. По причине летней погоды хозяева дома решили, что прием состоится в ресторане на Химкинском водохранилище. Туда мы сразу же все и отправились.

Синяя вода, голубое небо, искрящийся хрусталь на ослепительно белой скатерти. Не в мою честь был этот июльский обед. Шкловские совершали поминки по Зошенко. Накануне в Ленинграде состоялись похороны опального писателя, на которые Виктор Борисович счел возможным не поехать. Не чокаясь, выпили вина. Серафима Густавовна нервно объясняла,

почему Шкловскому не следовало ехать на похороны. Виктор Борисович мрачно сопел. Аркадий неодобрительно помалкивал. Всем было не до меня.

О работах А.Белинкова иногда говорят: «В манере Шкловского». Думается, первым придумал это сам Виктор Борисович. По-моему, вслух ругая Аркадия за «подражательство», он потихоньку этим гордился. Если же приглядеться внимательнее: единственное сходство между ними состояло в том, что каждый отличался «лица необщим выраженьем». Через творчество того и другого просвечивает разное восприятие времени, авторская позиция по отношению к читателю иная, строение фразы другое. Если Шкловский — мэтр — слегка прищурившись, уверенно начинает с афоризма, то Белинков им заканчивает. Один небрежно дарит читателю найденную им истину. Другой, пригласив читающего в сотоварищи, идет к ней длинным путем: через фразы, порой растягивающиеся на полстраницы, через разнообразные примеры по одному и тому же поводу, через вставные эпизоды и лирические отступления. И, самое главное, Шкловский не прибегал — не нужно было — к эзопову языку шестидесятых, «вынужденному иносказанию», виртуозом которого был его ученик.

Из-за кажущегося стиливого сходства, из-за того, что Белинков неоднократно и негативно упоминает Шкловского в «Сдаче и гибели...» и потому, что теперь стало известно о заступничестве Шкловского за Белинкова, меня часто спрашивают об их взаимоотношениях. Они не были простыми.

Влечение к Шкловскому у Аркадия началось с интереса к формализму. Еще школьником он увлекся Юрием Тыняновым, а в студенческие годы, занявшись своей теорией «необарокко», изучал труды формалистов — Р. Якобсона, Б.Эйхенбаума, Б.Томашевского, В. Шкловского. Последний стал его кумиром.

Белинков сам выбрал Шкловского руководителем своего диплома, и это положило начало их своеобразным отношениям, похожим на дружбу-вражду. В архиве Шкловского сохранилась страничка Аркадия с дарственной надписью: «Виктору Борисовичу Шкловскому. Дорогому и любимому учителю». (Предполагается, что листок выпал из рукописи дипломного романа «Черновик чувств»). Преклоняясь перед блестящим писателем и оригинальным мыслителем, он в то же время не мог простить ему публичного отречения от прежних взглядов и добровольного перехода на позиции социалистического реализма¹

В свою очередь и на Виктора Борисовича произвел большое впечатление «болезненный мальчик, религиозно преданный литературе»². Таким он увидел двадцатидвухлетнего Аркадия. Тем не менее, наставник порой жестоко критиковал своего ученика. Где-то в записках Аркадия упоминается, что Шкловский обратил внимание на замкнутость его дипломного романа в самом себе, сравнивал это произведение с книжным шкафом. Надо полагать, речь шла об «отрыве от действительности».

очевидно, от советской... Еще бы! Белинков писал: «Наша жизнь была только для нас. С социалистическим обществом мы не делились». А бывший идеолог формализма, отказавшись от «самовитого» слова, как раз старался вписаться в это самое общество.

При встречах между учителем и учеником нередко возникали горячие споры — оба обладали вспыльчивым характером³. Сравнивали формализм и «необарокко», и Шкловский, улыбаясь, — такова была его манера преподносить неприятные вещи, — говорил: «Все это печально, и главным образом потому, что вы переплюнули самых оголтелых формалистов. Я никогда не позволял себе таких дикостей, какие позволили вы⁴».

Консультации по роману проходили на квартире Шкловского, жившего тогда в писательском доме на Лаврушинском. До ареста Аркадия в 1944 г. научный руководитель и его ученик успели встретиться в течение полутора месяцев раз десять⁵.

Главным вещественным доказательством «преступления» Белинкова против советской власти была его дипломная работа. Естественно, оказался под угрозой его научный консультант Виктор Борисович Шкловский. Эсер, выступавший то против белых, то против красных, председатель ОПОЯЗа, воспитавший первых «Серапионовых братьев», эмигрант, по возвращении в советскую Россию поддерживавший модернистские идеи в искусстве — пятен в биографии более чем достаточно. А тут еще одно свежее — белинковское пятно, — да еще в разгар войны⁶.

После ареста Аркадия взаимоотношения между учителем и учеником перешли из сферы литературной в иную, требующую незаурядного для тех времен мужества. Аркадий во время допросов на Лубянке отказался давать показания на Шкловского. Шкловский пытался избавить Белинкова от лагеря. Оба поступали так, повинувшись только внутреннему голосу, не зная о позиции, занятой другим. Шкловский не мог знать того, что протоколы допросов Белинкова будут опубликованы в 95-м году. О хлопотах Шкловского Аркадию стало известно только после его возвращения в Москву в 56-м году. (Теперь мы знаем, что став маститым советским писателем, Шкловский — этот двойственный человек — негласно помогал не одному Аркадию).

Допрашивали Белинкова с пристрастием, признание в антисоветских разговорах с учителем выбивали настойчиво, с «нарушениями норм социалистической законности» (была такая формулировочка). Одно неосторожное слово, минутная слабость арестованного — и Шкловскому грозил бы арест.

Из протокола допроса 15 февраля 1944 г.

Начат в 10 час., окончен в 22 ч.30 мин.

Следователь: Когда Вы познакомились со Шкловским?

Белинков: В июле-августе 1943 года.

Следователь: Какую оценку дал Шкловский Вашему роману «Черновик чувств»?

Белинков: Шкловский считал, что роман неудачный.

Следователь: Шкловскому высказывали свои антисоветские взгляды?

Белинков: Да, высказывал.

Следователь: Как реагировал на Ваши высказывания Шкловский?

Белинков: Мои взгляды он осуждал.

Следователь: Так ли это?

Белинков: Безусловно так.

Следователь: Шкловский систематически вам высказывал свои антисоветские взгляды и на литературу и на действительность...

Белинков: Повторяю, что Шкловский в разговоре со мной антисоветских высказываний не допускал.

*Из протокола допроса 12 апреля 1944 г.
Начат в 10 час.30 мин., окончен в 17 час.*

Следователь: На какой почве произошло Ваше сближение с писателем Шкловским?

Белинков: Я как оканчивающий Литературный институт должен был получить литературную консультацию по своему дипломному роману, и я с этой целью обратился к писателю Шкловскому Виктору Борисовичу.

Следователь: Известно, что Шкловский враждебно настроен к окружающей действительности и длительное время проводил анти-советскую работу. Известно также, что с определенного периода Ваши отношения с ним имели такой же характер. На очередном допросе предлагаем приступить к откровенным и правдивым показаниям об этом.

Допрос прерван. (Так в протоколе. — *Н.Б.-Я.*)

А потом не раз возобновлен. Имя Шкловского часто возникало на протяжении восьмимесячного следствия по этому делу. Не добившись требуемых показаний, следователь (тот или другой) допросы «прерывал».

«В тюрьме сидели?» — спрашивали потом на воле врачи, обследуя пациента с болями в пояснице, они-то знали, как на Лубянке отбивают почки.

В 1947 г. заключенный Белинков Аркадий Викторович написал заявление Председателю Президиума Верховного Совета СССР гражданину Швернику о сокращении срока наказания и переслал его неизвестным нам способом в Москву, родителям. Они передали его Шкловскому. Виктор Борисович, в свою очередь, отправил просьбу в Союз писателей, заместителю Генерального секретаря правления К.М.Симонову, сопроводив личным письмом: «Дело идет о талантливом человеке. Литературный талант — вещь слабо распространенная, тут бросаться

людьми не приходится... Я Вас очень прошу поддержать ходатайство Белинкова перед тов. Шверником».

Константин Симонов не дал заявлению дальнейшего хода в конце 40-х, но, движимый неизвестным нам импульсом, в начале 70-х показал письмо Виктора Борисовича редактору «Вопросов литературы» Л.И.Лазареву со словами: «Вот это поступок! И ведь в это время сам ходил по краю». Аркадий считал, что заступничество Виктора Шкловского, как и Алексея Толстого, спасло его от расстрела. (В доме Виктора Лазаревича, неустанно занимавшегося хлопотами об освобождении сына, хранились копии писем обоих писателей, где я их впервые и увидела). Письмо Шкловского ныне опубликовано, а письмо Алексея Толстого не сохранилось. Известно только ходатайство матери Аркадия, Мирры Наумовны Белинковой, на котором красуется резолюция Ю.А.Крестинского — секретаря А.Толстого: «Собранный материал в Ин-те не дает возможности просить за Белинкова»⁷. Это дало основание считать, что А.Толстой вообще отказался принять участие в судьбе начинающего писателя.

И ученик, и учитель выдержали испытание сталинских лет. Внутренняя связь не оборвалась. В историческом пятидесяти лет их отношения возобновились и пошли по новому кругу.

Шкловский жил теперь на Аэропортовской. Спустя некоторое время мы также поселились неподалеку. В доме бывшего учителя Аркадий встречался с незаурядными людьми, имел доступ к журналам и книгам, приходившим из-за границы. (Шкловский, кстати, был не единственным, кто щедро делился малодоступной литературой из-за рубежа. Мы получали запретные материалы и от И.С.Зильберштейна, и от Ю.Г.Оксмана.) Со своей стороны, мы таскали Шкловскому самиздат. Так осуществлялся «московский интернет».

Аркадий уже не был тем начинающим литератором, которого Шкловский встретил в 43-м году, и в их отношениях появился новый оттенок. Теперь они были на равных, и Шкловский это принял. Иногда они жестоко ссорились. Об одной такой ссоре Аркадий рассказал в письме Ю.Г.Оксману. В юмористических тонах, хотя и в мрачных красках, он изобразил, как Виктор Борисович отчитывал его за неумение вести литературные дела, требовал большей продуктивности и ловкости в добывании заработков литературным трудом. «Урок» велся в оскорбительном тоне, после чего у Аркадия был сердечный припадок⁸. И такое бывало.

Несмотря ни на что, у обоих была необъяснимая тяга друг к другу. Даже обменявшись нелিপцприятными репликами, они продолжали встречаться и перезваниваться, как ни в чем не бывало.

Аркадий был неременным гостем чуть ни на каждом дне рождения Виктора Борисовича, которые Серафима Густавовна превращала в щедрое и праздничное торжество.

На какую-то круглую дату она пригласила модных тогда начинающих поэтов — Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко. Поэты были совсем молоденькие, еще робкие, с тонкими нежными шеями. За столом сидели элегантные, умело подкрашенные женщины, сверстницы хозяев дома. «И за что эти бабы любят нас?» — торжественно читал Вознесенский — по возрасту даже и не сын им, а скорее — внук. Дамы плакали, их косметика расплывалась. Возрастные границы размывались. Многие пережившим женщинам вспоминалось, как когда-то им — юным, двадцатилетним — такие же двадцатилетние читали стихи о любви.

Однажды на день рождения Виктора Борисовича мы принесли ему в подарок только что вошедший тогда в моду сифон для газированной воды. Шкловский сидел в углу гостиной, а гости, разместившиеся на стульях вдоль стен, по очереди передавали ему завернутые подарки, и он «угадывал», что же в пакете. В тот год в Москве было несколько случаев черной оспы. Шкловский потряс нашим пакетом и «угадал», попутно изобретая новое слово: «Оспопрививатель!»

Если в жизни Виктора Борисовича происходили значительные события, а Аркадий по болезни не мог принять в них участия, на сцену выступала я. Однажды Аркадий попал в больницу, и мы не смогли пойти в ЦДЛ на обсуждение очередной книги Шкловского.

Звоню ему вечером по телефону. Виктор Борисович снимает трубку. Спрашиваю, как прошло обсуждение.

Он: (с энтузиазмом) Очень интересно!

Я: (чрезвычайно заинтересованно) Кто выступал?

Он: (весело) Никто! Я сам.

Аркадий считал, что виновницей капитуляции его учителя была Серафима Густавовна. (На самом деле Шкловский отказался от своих «ошибок» задолго до того, как на ней женился). Супруга учителя тоже относилась к Аркадию сдержанно-недоброжелательно. Однажды она решила проверить, так ли уж болен Белинков, как говорит? И отправилась расспрашивать об этом в поликлинику Литфонда. Узнав об этой ее выходке, Аркадий написал рассказ «Прекрасный цвет лица». Теперь, уходя из дома по его издательским делам, я слышала напутствие: «Пойди, наври им, что я болен». И все же Серафима Густавовна принимала Аркадия и даже решалась приглашать нас на встречи с иностранцами в своем доме (не скрывая, что эти визиты предварительно согласовывает с руководством Союза писателей). В частности, в доме Шкловских мы познакомились с итальянцем Анджело Мария Риппелино — специалистом по современной советской литературе, впервые написавшем о книге «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» в западной печати.

Как-то я застала у Шкловских легенду из легенд — преданного поруганию теоретика русского футуризма, экспериментатора в области поэтического языка — Алексея Крученых. Обладая несметными лите-

ратурными сокровищами — теперь частично погибшими — он бедствовал. Если бы я не знала, кого я встретила, подумала бы, что вижу возвращающегося из тюрьмы заключенного, такой у легенды был запущенный и несчастный вид. А как выглядят бывшие заключенные, я уже хорошо знала. Мне довелось видеть многих, проезжающих через Москву и побывавших у нас.

Серафимы Густавовны не было дома. Торопясь, не разбирая, что берет, Виктор Борисович вынимал из шкафа брюки, пиджаки, шарфы и передавал их Крученых, которые тот, не примеряя, поспешно складывал в какой-то прошлого века баул. У меня было очень короткое поручение к Шкловскому, и я ушла от него в сопровождении его гостя. Ехали вместе в метро под любопытные взгляды пассажиров. Действительно, мы представляли собой странную пару: типичная советская гражданка, завитая по моде того времени, и весьма старомодный господин, изысканно склоняющийся к даме, то есть ко мне. И он был в белых перчатках, рваных. Летом! При прощанье он поцеловал мне руку и, изобразив грациозный полукруг тросточкой, — «Двери закрываются!» — проскочил на перрон.

Добрый, улыбающийся, остроумный Виктор Борисович чуть было не погубил публикацию «Юрия Тынянова» — первую книгу своего ученика после возвращения из лагеря. Это случилось в кабинете Валентины Карповой — заместителя директора издательства, которая требовала очередных изменений в верстке перед тем, как отправить книгу в печать. Аркадий отчаянно сопротивлялся. Неожиданно в том же кабинете оказался Шкловский. Аркадий обрадовался: «Поддержит!» Не тут-то было. Учитель послушал, послушал и, воскликнув: «Не по чину берешь!» — выбежал из кабинета, хлопнув дверь. У Аркадия в тот же день случился инфаркт почки. (Более подробно я рассказала об этом в главе «Цензорский номер вместо лагерного»).

На выход книги в свет Шкловский откликнулся рецензией под броским заголовком «Талантливо». Он писал: «Мы получили книгу А.Белинкова — свежую, смелую, внимательную и очень талантливую... Но ценность ее еще и в том, что она выходит за границы монографии и не только разрешает важнейшие проблемы современного исторического романа, но и ставит коренные вопросы развития сегодняшней литературы. Я жду от этого человека многого»⁹. Комплиментарно? Да. Общие слова? Да. Однако, кто будет разбираться! Заголовок, похвальный конец, имя рецензента! (Друзья из «Литературной газеты» показали мне поразивший их, исчерканный синими авторскими чернилами оригинал, как будто бдительный цензор — не Серафима ли Густавовна? — прошелся по рукописи перед отправкой ее в редакцию).

Виктор Борисович стал инициатором вступления Аркадия в Союз писателей СССР. Рекомендуя автора «Тынянова», он кратко повторил свою рецензию:

«Это талантливая книга, ставящая основные вопросы истории и теории литературы на конкретном материале.

Мне кажется, что эта книга стоит в первом десятке литературоведческих книг последнего времени.

Она интересно и местами увлекательно написана. Иногда по-молодому усложнена.

Он [Белинков] был оклеветан врагами народа и более двенадцати лет был начисто оторван от работы.

Вот почему перед нами только один большой труд»¹⁰

Аркадий намеревался создать трилогию, объединенную единым замыслом — художник и общество при тоталитарном режиме. Вторую часть трилогии он предполагал посвятить выяснению причин, по которым оскудевает литература и искусство при тоталитарном режиме. Углубляясь в историю вопроса, он пришел к выводу, что всегда виноваты не только тяжелые обстоятельства, влияющие на творческую личность, но и сам художник. Объектом этого критического исследования становились его учителя, старшие коллеги «по трудному писательскому ремеслу».

Еще в 1960 году Аркадий подал заявку на книгу «Писатель и история» в редакцию критики и литературоведения издательства «Советский писатель».

«Я бы хотел написать книгу о влиянии на писателя истории, действительности, в которой он живет, о взаимоотношениях писателя и времени... С [этой] точки зрения мне представляется характерной творческая судьба Виктора Шкловского... Книга «Писатель и история» ни в какой степени не должна превратиться в монографию о творчестве Виктора Шкловского, ни тем более в очерк жизни и творчества. Это книга не о Шкловском, а книга о влиянии на писателя окружающей действительности, эпохи, истории».

Годом позже, во втором варианте заявки, внимание со Шкловского переключается на других писателей, но весьма определенного ряда: «С точки зрения влияния времени на писателя мне представляется характерной творческая и социальная судьба таких писателей, как В.Шкловский, Ал.Толстой, И.Сельвинский, Ю.Олеша, И.Эренбург. Эти люди названы не для алфавитного указателя, а для того, чтобы показать *тип* писателя. Писатель же в этой книге лишь точка приложения сил, пример, приводимый в доказательство...

Книга мыслится как одна из глав в толстом томе истории советской литературы и литературоведения».

Примером, приведенным в доказательство, стал Юрий Олеша. На Олеше Аркадий и ввел в литературоведение нравственную категорию внутреннего сопротивления, назвав книгу не «Писатель и время», как намеревался, а «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша».

На этой книге добрые отношения между учителем и учеником переломились.

Рукопись первого варианта «Сдачи и гибели...» Аркадий дал на просмотр своему бывшему мэтру. Возвращая ее, Виктор Борисович плакал. И снова сказал: «Талантливо». Старая, он становился слезлив. И обидчив. Шкловский поддержал внутреннего рецензента издательства «Искусство» Л.И.Славина в его резком отрицательном отзыве на книгу о сдаче и гибели своего поколения. (В своем кругу тот наивно удивлялся, что за этот поступок его благодарили «всякие издательские подонки»). Аркадию удалось ознакомиться с закрытой рецензией и узнать о роли своего бывшего учителя. После этого в рукописи, которую опять предстояло переделывать, в большом количестве появились саркастические выпады и против Славина, и против Шкловского. Каждого из них Белинков стал величать «лучшим знатоком творчества Олеси». (Я заметила, что некоторые критики приняли эти определения за чистую монету). Тогда же в «Сдаче и гибели...» появился короткий литературный портрет человека, «который считает, что время всегда право». В этой зарисовке без труда угадывается бывший учитель, патристическими рассказами о русских умелцах внесший свой вклад в борьбу с низкопоклонством перед Западом. (Полемика Белинкова со Шкловским и Славиним полностью сохранена в первом, мадридском издании книги, но сильно сокращена во втором, московском).

Свои ошибки, просчеты, уступки легче простить, если свалить их на время, обстоятельства, ситуацию. Не одного только Славина коробила концепция «Сдачи и гибели...». Одной писательнице, перед мужеством которой мы все склоняемся, не понравилось то, что Белинков «извлекает политический корень из Олеси»¹¹ — она опасалась такого же подхода к Анне Ахматовой в его будущей (не состоявшейся) книге о писателе-протестанте. Другая — обратила внимание на то, что жизнь Юрия Олеси послужила ему всего лишь «строительным материалом для обличения советской интеллигенции»¹². Одному из бывших серапионовых братьев показалось: [Белинков] «не догадывался, что присоединяется к тем, кто полагал, что литература сидит на скамье подсудимых»¹³. Даже писатель, всю свою жизнь поддерживающий «молодую, свежую и горячую литературу», не согласился с основной мыслью «Сдачи и гибели...», что «правительство всегда угнетало и уничтожало людей искусства»¹⁴. А сам Виктор Борисович предостерег литературоведа Мариэтту Чудакову от белинковского «задора», неподобающего людям ее специальности¹⁵.

Аркадий любил делиться своими планами и слушать возражения. Так он проверял себя. Отношение к его будущей книге ему было хорошо известно. Не случайно целую главу в «Сдаче и гибели...» он посвятил объяснению, «зачем написана эта книга». В его черновиках осталось несколько более выразительных страниц по этому поводу.

«Когда я упрекаю Сергея Эйзенштейна за «Ивана Грозного» или поношу Виктора Шкловского за книги, в которых он оплевывает все хорошее, что сделал в молодости, то не нужно укорять меня за фантастическую ограниченность, за то, что я такой же, как и те, кто вызывает у меня отвращение, только наоборот, и за глубокое равнодушие к прекрасному искусству...

Меня просят простить Эйзенштейна за гений, Алексея Дикого, сыгравшего Сталина после возвращения из заключения, за то, что у него не было иного выхода, Виктора Шкловского за его прошлые заслуги и особенности характера, Илью Эренбурга за статьи в «Красной звезде» во время войны, Алексея Толстого, написавшего «Хлеб», пьесы об Иване Грозном и много других преступных произведений, за брызжащий соком истинно русский талант, простить Юрия Олешу за его метафоры и несчастья... Я внимательно прислушиваюсь к мнению своих друзей и готов послушаться доброго совета. Простим гениального Эйзенштейна, прекрасных актеров и писателей — Виктора Шкловского, Илью Эренбурга, Алексея Толстого и Юрия Олешу. Простим всех и не забудем самих себя. Простим и станем от этого еще возвышеннее и чище.

Только зачем все это? Ну, простим. Ну, станем возвышеннее и чище. Но будет ли это научно? Я ведь писал о том, что они негодяи и предатели не потому, что вот лично у меня Алексей Толстой отобрал рубль. Наоборот, когда меня арестовали, он даже пытался помочь мне, чего старательно избегали другие, объясняя многое сложностью международного положения...

Вы хотите защитить этих прекрасных людей и себя тоже, а ведь это к науке отношения не имеет. Защищая и требуя от меня душевной щедрости и понимания, вы мешаєте понять и объяснить, почему десятилетиями уничтожается русская интеллигенция... почему происходит невиданное, неслыханное растление двухсотмиллионного народа.

Проливаемая кровь, растоптанная демократия, растление народа совершаются с помощью попустительства тех, кто все понимает или сделал вид, что его обманули, или дал себя обмануть».

16 октября 1964 г. в Центральном Доме литераторов состоялся вечер памяти Юрия Тынянова, основоположника русской формальной школы, мастера исторической прозы. 75-летие писателя, совпало с днем смещения Хрущева. Тревожные предчувствия собравшихся литераторов дали этому вечеру особое освещение.

Аркадий получил пригласительный билет наравне с другими рядовыми членами Союза писателей, и мы отправились. Заняли места недалеко от сцены. С нами Галя Белая и Лёва Шубин — наши друзья. Зал полон. Много знакомых. В том числе и Мариэтта Чудакова, оставившая свои воспоминания об этом вечере¹⁶. На сцене, в президиуме — «давшие себя обмануть»: Шкловский, Эренбург, Каверин.

«Аркадий, а почему вы не в президиуме?» — вдруг спрашивает Галя. Такой вопрос явно не приходил ему в голову. Дома мы этого во всяком случае не обсуждали. Начались выступления. Галя так и вертелась на стуле: «Сейчас я скажу, сейчас скажу...» Аркадий делает ей страшное лицо. Выступает Каверин. Ему все карты в руки. Он женат на сестре писателя. Он привлёк внимание к прозе Тынянова в 54-м году на Втором съезде Союза советских писателей. «Настоящей книги о Тынянове, — говорит он, — ещё никто не написал». В зале шум и выкрики: «Белинков! Белинков!». Шкловский (председательствующий) встает из-за стола и спрашивает, находится ли здесь Белинков. «Да, здесь», — отвечает, вставая, Аркадий. «А мы не знали...» — растерянно произносит обычно такой находчивый и прежде такой близкий Виктор Борисович и приглашает Белинкова в президиум. Побледнев, Аркадий направляется к сцене и медленно поднимается по ступенькам.

В зале, где сидят шестидесятники, — тридцатилетняя «молодежь», раздаются оглушительные аплодисменты. Аплодировали книге не столько о Тынянове, сколько тому, что ее автор извлек из исторических романов писателя: революции ведут в конечном итоге к термидору, измене, безоглядному подчинению режиму, творческому бесплодию. А Каверин, должно быть, хотел, чтобы в «настоящей» книге была бы показана жизнерадостная молодость века, открытия в науке и искусстве, грандиозные замыслы... Впоследствии, мечту о такой книге он осуществил сам¹⁷.

На лето, как и многие москвичи, мы снимали дачу. Что такое подмосковная дача, знают все. Теснота, отсутствие элементарных удобств и вошедший в анекдоты о нашем житье-бытье свежий воздух. В том году мы жили в Баковке по Белорусской железной дороге. От нас можно было пешком дойти до Переделкино с его Домом творчества и просторными литфондовскими дачами: Чуковского, Каверина, Сельвинского. Но это далекоавато. В Переделкино ездили по другой железной дороге, Киевской. Оттуда было ближе к писательскому городку.

Телефон на нашей даче, само собой разумеется, отсутствовал. Был будничным день и мы никого не ждали. Вечером на закате неожиданно появился Каверин. Мы не были близко знакомы. Поняв, что предстоит разговор один на один, Аркадий сделал мне знак удалиться. Единственной приличной комнатой на этой даче была деревенская терраска. Оба и устроились там. Я ушла в смежную комнату. Оттуда я наблюдала сначала освещенную вечерним солнцем, а потом меркнущую в сиреневых сумерках терраску, заплетенную беспорядочной подмосковной зеленью. И две склоненные головы. Body language! Было невыразимо грустно. Почти совсем стемнело. Тепло попрощавшись, Вениамин Александрович ушел. «Извинялся», — растерянно разведя руками сказал мне Аркадий. Казалось, Каверин принял концепцию «гибель в результате сдачи» безотносительно к тому, кто приведен в пример не для подражания.

На этом и кончился бы сюжет «Каверин — Белинков» — маленькое ответвление от темы «Шкловский — Белинков», если бы не совсем неожиданный поворот. Через пару десятков лет Каверин все же осудил Белинкова за то, что тот «помещает Шкловского на скамью подсудимых». Но дело не в этом. В конце концов, Аркадий мог понять Вениамина Александровича неправильно или тот вернулся к своему первоначальному мнению. Удивляет то, что осуждая Белинкова, он предъявил Виктору Борисовичу белинковский «список злодеяний»: «закладывал основы рептильной литературы, [власти] ему доверяют, диссидентов нет среди его друзей, совершает мелкие и крупные предательства, его нравственной позицией управляет жена». Споря с Белинковым, он подтвердил все то, что Аркадий говорил или собирался писать о Шкловском, и даже называет его «бывший учитель»¹⁸. И далекого сиреневого вечера как будто и не было...

Последний разговор между учеником и бывшим учителем состоялся по телефону. Скорее всего это был 66-й или 67-й год. Раздался звонок. Аркадий снял трубку. «Почему Вы не пришли ко мне на день рождения?» — не поздоровавшись, спросил Виктор Борисович и, не дожидаясь ответа, повесил трубку. Аркадий поспешно набрал номер телефона, сказал что-то не очень лестное и бросил трубку. Дальше происходило вот что. Звонок из квартиры Шкловского — он что-то говорит — кидает трубку. Аркадий лихорадочно набирает номер Шкловского — что-то говорит — кладет трубку. Звонок, брошенная трубка. Звонок, брошенная трубка. Это продолжается долго, в убыстряющемся темпе, в гневе. Эстеты! Они уже не выбирали слов.

Говорят, чтобы иметь представление о роли, которую артисту надо будет играть, ему достаточно прочесть первую и последнюю строчки пьесы (или сценария). Отношение Аркадия к Шкловскому начиналось с юношеского обожания за оригинальность мысли, литературное мастерство и личное бесстрашие, а кончилось горечью презрения за измену. А чувства Шкловского к Аркадию? Кажется мне, что в бескомпромиссном своем ученике он видел себя молодого, озорного, напористого, а в его писаниях узнавал себя стареющего, поднимающего руки, сдавшегося. Не оттого ли, пережив своего младшего собрата по перу на четырнадцать лет, он нет-нет да и вспоминал его и продолжал с ним, отсутствующим, спорить?

Ю.Г. Оксман

Вклад Юлиана Григорьевича Оксмана в отечественную науку огромен и еще не измерен. Оксман — литературовед, историк, текстолог. Коротко о нем говорят — известный пушкинист. Действительно, он — редактор и комментатор первых, подготовленных после революции, полных собраний сочинений Пушкина. А также Лермонтова, Тургенева, Герцена... Мы все

в детстве этими книгами зачитывались и учились по ним в школах и институтах. Но его имя известно только узкому кругу ученых и литераторов. И это не только потому, что характер его трудов в основном рассчитан на специалистов. Оксман дважды попадал под «заклятие замалчивания»: первый раз в 1936 году после ареста, второй — в 1964 по специальному распоряжению КГБ.

Мы познакомимся с Юлианом Григорьевичем в начале 60-х годов после его возвращения из саратовской ссылки. Яркий и точный портрет ученого этих времен я позаимствую из авторитетного источника: «Я ощутил себя в некоем потустороннем мире, где именно прошлое было реальностью. Большой кабинет был неприбран и темен, каждый клочок был занят книгами, они стояли на пыльных полках, теснились на столе и на стульях, лежали одна на другой на полу. Хозяин выгородил мне место. Хрупкий, неукрошенный гном, глазки, похожие на буравчики, слету оценивают гостя, из них, творя свое биополе, словно исторгается мысль, пульсирующая, как обнаженный нерв. Подвижность и живость неправдоподобны, передо мной из угла в угол перемещается по кабинету пребывающий в неустанном движении мудрый, все постигший шелкунчик, знающий то, что другим неизвестно: в покое зарождается смерть»¹⁹.

Оксманы жили в малогабаритной двухкомнатной квартире. Комната побольше служила кабинетом, а в маленькой обитала его жена Антонина Петровна. Тихая, приветливая женщина, принявшая на себя все невзгоды мужа, она не отличалась здоровьем и почти всегда лежала в постели. Если Оксманы устраивали чаепитие, к кровати больной придвигался стол и ее спаленка превращалась в столовую.

Оксман был одним из немногих российских интеллигентов, на которых не распространилось разлагающее влияние времени. Белинков — в отличие от большинства прозревших диссидентов — никогда не был грешен марксизмом. Бросалась в глаза и схожесть их биографий — и тот, и другой пережили арест, заключение, замалчивание. Аркадия и Юлиана Григорьевича можно было бы назвать друзьями, если бы не почти тридцатилетняя разница в возрасте, что, по-моему, подводило эти отношения к разряду «учитель — ученик». Их научные интересы сходились на русской истории, в частности, на декабризме. Они даже приняли совместное участие в осуществлении постановки пьесы Леонида Зорина «Декабристы» в качестве научных консультантов (о чем подробно рассказывает в своих воспоминаниях сам драматург).

В шестидесятые годы, характерные, кроме всего прочего, первой серьезной ревизией советской историографии, декабристская тема в сознании оппозиционной интеллигенции была одной из ведущих. Она прошла через книгу Белинкова о Тынянове, на этой теме сформировался как ученый Натан Эйдельман, о декабристах написал пьесу Булат Окуджава. Никогда не расстававшийся со своей темой Юлиан Григорьевич

в это время собирал материалы для исследования о Рылееве — поэте-декабристе, подчинившем свой поэтический талант задачам политической борьбы. Он даже стал обладателем старинного его портрета. Благодаря счастливому случаю Аркадий имел к этому прямое отношение.

Аркадий любил посещать антикварные магазины. Особенно его привлекали старинные миниатюры, но он их не собирал. Для такого рода занятий у нас не было денег. Коллекционеры тем не менее знали, что он разбирается в атрибуции памятников и часто к нему обращались за разъяснениями. Однажды мы зашли в антикварный магазинчик на Арбате. Не успели войти, как к нам подбежал продавец и попросил Аркадия опознать портрет на миниатюре, как он полагал, начала XIX века. И продавец, и Аркадий долго обсуждали овальную, белую, величиной с детскую ладонь миниатюру, разглядывали ее с обеих сторон в лупу, поворачивали ее то так, то сяк, мне казалось, что даже обнюхивали, и пришли к выводу, что это, возможно, портрет Рылеева. Так как большой уверенности в подлинности миниатюры не было, за нее запросили сравнительно недорого. Мы наскребили необходимую сумму, купили портрет и в тот же день отнесли его в подарок Юлиану Григорьевичу. Только мы вошли, как раздался телефонный звонок. Шкловский взволнованно сообщал, что по Москве ходит портрет Рылеева. Впоследствии он ревниво пенял Аркадию, что портрет достался не ему.

Чтобы протащить через цензуру статьи Оксмана, прибегали к замене подлинного авторского имени на вымышленное. В архиве Белинкова сохранилась маленькая серая книжечка со статьями Ю.Г. Оксмана под общим заголовком «Из истории общественного движения и общественной мысли в России в XIX веке». Книжечка «ненастоящая» — всего-навсего сброшюрованные оттиски саратовских «Ученых записок». На обороте обложки — автограф: «Дорогому Аркадию Викторовичу Белинкову от бывшего автора — говорю «бывшего», так как имя мое упразднено указом бывшего торквемады 3-его ранга Семичастного от какого-то декабря 1964 г. Ю.Оксман. 10/12 1966 г. Москва».

Ищу упраздненное имя. Листаю книжечку. В ней три статьи. Над каждой из них стоит имя автора: Ю.Г.Оксман. Но над названием одной статьи почерком Аркадия над «Оксман» карандашом вписана фамилия Ю.Григорьев, а другой — А.Осокин. Что бы это значило? В недоумении звоню Вячеславу Всеволодовичу Иванову. Уж он-то знает! И вдруг я отчетливо вспоминаю, как Юлиан Григорьевич при мне передавал Аркадию серенькую книжечку, объясняя, что это подарок его учеников и коллег. И книжечка, стало быть, — оттиск сверки еще не напечатанных работ. Когда дело дошло до цензуры, доброжелателям Юлиана Григорьевича в двух случаях из трех пришлось придумать другие фамилии. Только такой ценой стала возможной публикация всех статей ученого. Получив подарок-документ, пунктуальный Аркадий вписал карандашиком вынужденные псевдонимы...

Какие жизнь подбирает рифмы! Несколько спустя подобная история произошла и с его собственной статьей об Оксмани для Краткой литературной энциклопедии. Пятый том со статьей об ученом был сдан в набор в сентябре 1967 года, когда ее автор проживал в Москве на Малой Грузинской улице. Подписывали том к печати с опозданием месяца на четыре, в июле 1968. В промежутке между этими датами автор статьи переселился в штат Коннектикут, США. Перебежчик в советской энциклопедии? Делали выдержку. Статью сокращали, вычеркивали сведения об аресте и реабилитации Оксмана. Вместо А.В.Белинкова подписали Б.И.Колосова. По Москве ходили слухи, что так звали кухарку заместителя главного редактора В.В.Жданова.

Случалось, что терпели поражения и цензоры.

Несмотря на то, что на имя Оксмана был наложен запрет, Аркадий во что бы то ни стало хотел упомянуть опального ученого. Во втором издании «Юрия Тынянова» есть такие строчки: «Верность декабризму была не в попытках повторять их путь, а в отношении к безудержной самодержавной власти». Тут бы и назвать запрещенное имя. И Аркадий это делает, хотя и в сноске, мелким шрифтом: «О взаимоотношениях радикальной интеллигенции с последекабрьским абсолютизмом много и превосходно писал Ю.Г.Оксман. Особенно обстоятельно в книге «От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника». Саратовское книжное издательство, 1959»²⁰. Выкинуть озорное коленце он был совсем не прочь.

Имя Оксмана, набранное петитом, да еще спрятанное за частокол других слов, имело больше шансов проскочить через цензуру. И проскочило.

Когда действие указа бывшего торквемады несколько ослабело и Оксман смог печататься уже под своим именем, он поспешил ответить любезностью на любезность, отметив «научные и художественные достоинства» второго издания «Юрия Тынянова»²¹.

Таковы были подцензурные игры.

Ощущение «потусторонности» ученого, возникавшее при первой встрече с Оксманом, вскоре проходило. Сегодняшний день занимал историка не менее, чем вчерашний. Потому за ученым и следило бдительное государственное око. Оживленные шестидесятые годы по контрасту с мертвечиной сталинских времен накладывали свой отпечаток на «научно-исторические» беседы в доме Юлиана Григорьевича. Заходила речь об ответственности писателя и тогда не обходилось без переоценки роли Горького, без критики Шкловского, Алексея Толстого. Олеси. Обсуждали свои готовящиеся к печати рукописи и решали, как суметь положить на нейтральный материал не проходящие через цензуру идеи. Недавно даже появилось сообщение, что «Ю.Г. Оксман и Аркадий Белинков готовили издание «Нового Колокола»²².

Юлиан Григорьевич особенно ценил в Белинкове умение посмотреть на известные вещи остраненно. Ему нравилось опровержение таких штампов, как плодотворная роль газеты железнодорожников «Гудок» в формировании писательского мастерства, или ленинская формула о декабристах, как «рыцарях без страха и упрека». Да и сам ученый опроверг многие из устоявшихся литературных мифов. В частности, он открыл, что сцена с воздушным змеем — знаменитое начало пушкинской «Капитанской дочки» — была вычеркнута Пушкиным из последнего варианта повести.

Оксману не давали работать спокойно. У советского КГБ был обычай стучаться в дверь своей жертвы дважды. На этот раз жизнь историка подверглась опасности за переписку с Г.П. Струве, профессором американского университета в Беркли. Через аспирантку из Америки Оксман передал западному ученому письмо. Проходя через таможенный досмотр в аэропорту, неопытная молодая женщина обронила не то тетрадь, не то записную книжку. Таможенники вежливо осведомились о том, что бы это такое могло быть? Аспирантка, воспитанная в лучших традициях взаимоотношений частного лица с представителями власти, была убеждена — неприкосновенно все, что есть privacy. Она поспешно воскликнула: «Это дневник!». Ее задержали. Сфотографировали и дневник, и записи семинарских занятий, и письма. Аспирантку в конце концов выпустили. Струве письма не получил. За Оксманом установили наблюдение.

Теперь мне предстоит рассказать, как доверчивость Аркадия и, в свою очередь, доверчивость Юлиана Григорьевича сыграла с обоими злую шутку. Только «шутка», пожалуй, тут слово неуместное.

Аркадий был человеком общительным и не боялся высказываться на «опасные» темы. Среди наших знакомых появился некто Х. Он был начинающим журналистом, радостно учившимся у Аркадия писательскому ремеслу. Он умел слушать и любил расспрашивать. Он всегда был готов помочь, хотя при этом слишком усердствовал. Однажды он принес довольно дорогие гостинцы и, водрузив их на стол, стал громко и назойливо угощать наших гостей (в тот день у нас было застолье). В другой раз он весьма настойчиво допытывался, какая же все-таки у Аркадия «положительная программа»? Как-то, выпросив почитать отрывок из «Сдачи и гибели...», он с большим опозданием вернул его и довольно долго и сбивчиво объяснял причину задержки.

Нашим друзьям Х. не нравился. Но Аркадий продолжал его принимать. То ли его лагерное чутье притупилось, то ли его забавляли отношения, в которых он сам теперь играл роль учителя. Будучи изысканно и даже несколько старомодно вежливым, Аркадий вовсе не был снобом и отсутствие светских манер у Х. его не смущало. Вопрос о положительной программе легкое сомнение вызвал, но не насторожил. И кто знает, может быть, отрывок из «Олеши» просто залежался на ночном столике нашего милого знакомого, а вовсе не был отнесен на просмотр в известное

учреждение. Все же, наконец, подозрение коснулось Аркадия, и на скамейке бульвара на Ленинградском шоссе недалеко от нашего дома между ним и Х. произошло неприятное объяснение.

А в редакции «Нового мира» я столкнулась с поэтом К., который считал нужным предупредить меня о серьезных подозрениях, которые вызывает Х. Оказалось, его застукали при осмотре ящиков письменных столов в редакции «Нового мира» во время обеденного перерыва. Предостережение, однако, запоздало.

Давно уже Х. упрашивал Аркадия познакомить его с Оксманом, и тот многократным настояниям уступил. Знакомство состоялось. Х. не вызвал подозрений и у Юлиана Григорьевича. Глаза-буравчики не просверлили начинающего литератора. Да и то сказать: его же рекомендовал бывший зэк! Оксман показал любознательному гостю книги, полученные из-за границы: издания Струве и Филиппова, «Новый журнал», «Грани», каталоги зарубежных книжных магазинов.

Через несколько дней после визита Х. в темноватый кабинет ученого вошли голубые околыши и быстро пересекли комнату по диагонали, как будто бывали тут не раз, сразу подошли к той полке, о которой как будто точно знали, где она, и взяли эмигрантские издания прямо с того места, с которого их доставал Оксман, показывая нашему знакомому. Криминальные книги были конфискованы и увезены на Лубянку. Как вошли, куда направились, с какой полки сняли — все это в быстром темпе нам продемонстрировал сам Юлиан Григорьевич. В соответствии с отечественными традициями ему теперь ничего другого не оставалось, как ждать второго ареста.

Мой казенный письменный стол в издательском отделе Полиграфического института придвинут к широкому окну, висящему прямо над тротуаром в проезде Серова. Наш отдел и типография института занимают помещение напротив Политехнического музея. Это окрестности Лубянки. В окно кто-то осторожно стучит. Я поднимаю голову и в первый момент даже не узнаю напряженное, как бы застывшее лицо Юлиана Григорьевича. Он вызывает меня на улицу. Я выхожу, и мы быстро договариваемся, что я немедленно приду в подъезд старой библиотеки Института мировой литературы. Это совсем рядом. Только перейти площадь. В этой библиотеке недавно разоблаченный профессор Эльсберг (один из его ранних доносов был на Бабеля), униженно раскланивался, даже не будучи со мной знакомым. Он заискивал на всякий случай. Темный неказистый подъезд мне памятнее, чем сама библиотека. Тут я не раз передавала нашим знакомым самиздат.

Через несколько минут мы с Оксманом там и встретились. Он сообщил, что его вызвали туда: одно из двух — или вернут рукописи, или оставят там и его самого. До тревожного свидания оставался час. Мы недолго оставались в подъезде, вышли на улицу и час кружили вокруг

Лубянки. Оксман волновался и топил возбуждение в быстрых, наскากивающих одна на другую фразах. Он репетировал свой разговор с кагебешниками, опасался, что могут вызвать Аркадия, задавал мне вопросы, разрешая последние сомнения и желая уверить, что не считает нас причастными ко всей этой истории. Большой ученый, мудрый человек, опытный зэк искал защиты. У кого? У меня, такой тогда робкой и несведущей. Я старалась выглядеть спокойной и уверяла его, что все обойдется. И мы все ходили по близлежащим кварталам и не могли уйти далеко, чтобы не пропустить назначенного часа, и слепые окна страшного дома смотрели нам в спины.

Оксмана отпустили.

Теперь наши визиты к нему выглядели иначе. Разговоры на некоторое время утратили свою живую непосредственность: где-нибудь да был запрятан микрофон. Иногда мы переходили на шепот или писали записочки друг другу. Оксман заметно постарел и жаловался на зрение. У него появилась новая привычка. Быстро подкинув кулачок правой руки, он протирал им правый глаз и потом вывертывал кулачок наружу.

Последний раз мы навестили Юлиана Григорьевича незадолго до нашего отъезда насовсем. Он явно повеселел. Книги ему вернули. Часть обвинений с него сняли. Его даже могли восстановить в правах ученого, специалиста, биографа, историка, текстолога — обещали вернуть исчезнувшее со страниц научных изданий имя. Оставалось совсем немного: подписать покаянное письмо.

Помню нас в передней, уже в пальто, уходящих, и Оксмана, коренастого, с упрямо наклоненной головой, обеими ногами крепко упирающегося в пол. Он не отпускал нас, хотел что-то договорить и прежде, чем сказать, как будто к чему-то прислушивался: не то к неслышному шороху из-под пола (где там микрофон?), не то к внутреннему своему голосу. «Не подпишу!» — громко сказал он, еще упрямее наклонился вперед, опять прислушался и, резко взмахнув кулачком, вытер слезящийся глаз. Он не сдался.

Покинув Россию, мы думали, что расстались с нею навсегда и, чтобы никому ненароком не повредить, оборвали контакты со всеми родственниками, друзьями и знакомыми. Только родителям и то по их настоянию посылали коротенькие — здоровы и благополучны — письма. А мой отец отвечал: «Москва строится и хорошеет». Редко, кто решался связаться с нами. Было чревато большими неприятностями — иметь с нами дело. Неожиданно кто-то из иностранцев, т.е. свободный и, надо сказать, по тем временам смелый житель Запада, привез нам из Москвы декабрьский номер журнала «Волга» за 1967-й год. Для таможенного досмотра журнал юбилейного года — 50-летие Октябрьской революции — дело самое безобидное. Для нас же этот номер ничего интересного сам по себе не представлял. С удивлением разворачиваем выпуск. На оборотной стороне

обложки знакомым характерным почерком Юлиана Григорьевича: «Дорогой Наташе 12/1 69 Москва. От моих саратовских учениц на добрую память». Дата — канун моего дня рождения. Подпись отсутствует. Обращаться к Аркадию непосредственно и подписываться своим собственным, оксмановским, именем слишком опасно. Саратовские ученицы — маскировка. Ни одной из них мы не знаем. В номере, правда, в качестве зацепки, есть статья под названием «Труды саратовских литературоведов». Оксман — саратовский. Упрямый, бесстрашный Юлиан Григорьевич. Продолжает посылать свои весточки антисоветчикам за границу!

А может быть, это и не нам, а именно мне? Не забыл, как провожала его до Лубянки. Нелегко ведь дожидаться судебного часа одному.

Корней Чуковский

Среди бумаг Белинкова я нашла коротенький, в одну машинописную страничку, но вполне законченный рассказ о том, как Корней Иванович предложил ему участвовать в переложении Библии для детского чтения (затем Детгиза). Драматический поворот сюжета заключался в том, что издательство предупредило: запрещено упоминать слова евреи и Бог.

Писательскую манеру Аркадия отличало пристрастие давать литературным героям имена их прототипов. Назывался рассказ «Из дневника», была и дата — 1964 год. Но так как Аркадий дневников не вел, то всю эту историю я приняла за остроумный вымысел, шарж. Правдой могло быть только то, что Детгиз решил издать Библию на манер древних мифов Греции.

Известно, что вымысел далеко не всегда дотягивает до действительности.

В «Дневнике» К. Чуковского, изданном через 30 лет после описываемых событий — мне все время приходится оперировать десятилетиями — есть запись от 8-го декабря 1967-го года: «... «Библия» идет в печать! Но — строгий приказ: нигде не упоминать слова Иерусалим... Когда я принимался за эту работу, мне было предложено не упоминать слова «евреи» и слова «Бог». (Я нарушил оба завета, но мне и в голову не приходило, что Иерусалим станет для цензуры табу.)»²³.

Выходит, что Белинков, который всегда тяготел к гиперболам, в данном случае недогиперболил. Не додумался он до Иерусалима. И нашла я в его архиве не рассказ (вымысел), а дневниковую запись (факт).

С Корнеем Ивановичем Чуковским нас познакомила Татьяна Максимовна Литвинова. Это знакомство растянулось на несколько лет и стало для нас длительным праздником, театром, где главную роль играл хозяин дома, а мы были восхищенными, и, надеюсь, на некоторое время необходимыми ему зрителями. Корней Иванович умел влюблять в себя людей и увлекался людьми сам. Однако, его увлечения бывали недолгими — одна

из причин, почему Чуковского подозревали в неискренности. При этом зависимость продолжительности знакомства от значительности той или иной личности посторонними не всегда учитывалась.

Корней Иванович сделал нам много добра. В частности, публикация главы «Поэт и толстяк» из «Сдачи и гибели...» в журнале «Байкал» была осуществлена с его помощью. Коротко и сжато Чуковский дал блестящую характеристику Белинкову: «Многие наши критики и литературоведы пишут сейчас молодо, свежо, горячо... особенно выделяется своеобразным талантом Аркадий Викторович Белинков, автор известной книги «Юрий Тынянов»... Его оригинальный писательский метод, где строгая научность сочетается с блестящим артистизмом, сказался и в новой его книге, посвященной Юрию Олеше».

Вл. Бараев, заместитель главного редактора «Байкала», поведал в газете «Восточно-сибирская правда», как он получил эти несколько строк: «Узнав, что мы хотим опубликовать отрывок из книги А. Белинкова «Юрий Олеша», [Корней Чуковский] решил представить ее читателям «Байкала», написать врезку к его статье «Поэт и Толстяк». ...Я показал Корнею Ивановичу рукопись Аркадия Белинкова, но он сказал, что знаком с ней, и принялся сочинять текст врезки... Окончив текст, он переписал его начисто, отдал на машинку, и пока перепечатывали написанное, Корней Иванович принялся рассматривать номера нашего журнала...»²⁴.

Однако, в своем дневнике Чуковский делает о Белинкове запись прямо противоположного характера: «Он написал книгу о Тынянове, она имела успех, — и он хочет продолжать ту же линию, то есть при помощи литературоведческих книг привести читателя к лозунгу: долой советскую власть. Только для этого он написал об Олеше, об Ахматовой ...мне утомительно читать его монотонную публицистику. Это сверх моих сил... Он пишет так затейливо, претенциозно, кудряво»²⁵.

Читатель, незнакомый с нравами писательской среды и характером того времени, может встать в тупик.

На исходе 60-х годов, когда по стране опять пошли аресты и цензура обострила бдительность, Аркадий упрямо и наивно надеялся, что сможет опубликовать «Сдачу и гибель...», если еще что-то переделает, если еще кто-то влиятельный заступится. Публикация книги во что бы то ни стало была его навязчивой идеей. Он уже сфотографировал рукопись, уже переслал пленки за границу, уже продумывал свой побег... Мы лихорадочно жили в атмосфере надвигающейся катастрофы. Корней Иванович Чуковский и был тем доброжелательным и влиятельным лицом, на которого возлагалось спасение. Но вместо того, чтобы его самого попросить о помощи (какой? — какой-нибудь!) Аркадий обратился к посредничеству Татьяны Максимовны. Прочитав рукопись, она нашла, что любое участие в делах Белинкова будет для Чуковского опасным, и

сказала Аркадию, что приложит все силы, чтобы Корнея Ивановича уберечь и от Аркадия оградить. Разговор, начавшийся в ее квартире и окончившийся на лестничной площадке, был громкий, откровенный и беспощадный. Надежда на помощь была потеряна. Аркадий резко возражал и, кажется, Татьяну Максимовну обидел. Одной дружбой стало меньше.

С самим Корнеем Ивановичем наши дружеские отношения продолжались довольно долго. Мы просмотрели и прослушали весь его репертуар: и «Чукоккала», и докторская мантия после поездки в Англию, и головной убор индейского вождя, и детская библиотека, и костры, и даже принадлежащая его прислуге-украинке, украшенная «вышивками крестом» деревенская комнатка, которую показывали иностранцам в качестве совершенного этнического образца. Безусловно, Корней Иванович был больше, чем писатель, больше, чем личность, он был явление. И мы им восхищались.

О записях в дневнике кто же мог знать? Но что-то уже носилось в воздухе. Поэтому, когда Володя Бараев решительно направился к Чуковскому за врезкой, Аркадий даже отговаривал его от этого мероприятия. Торжествующий Бараев вернулся к нам на следующий день с победой. Невероятно! Что произошло? Желание поддержать репутацию патриарха, помогающего молодым силам в литературе? Пренебрежение опасностью, ради «правого дела» вопреки собственному мнению?

Все было намного проще. Бараев принес в Перedelкино, где постоянно жил Корней Иванович, интервью «Личность писателя неповторима», давно у него взятое и опубликованное «Вопросами литературы», о чем Чуковский, возможно, забыл. У всеми уважаемого писателя спрашивали: «Как же, по вашему мнению, должны писать наши критики и литературоведы?» Он же отвечал: «Они должны писать, как пишут сейчас: талантливо, молодо, свежо, горячо». И особенно выделял Белинкова. И когда Бараев обратился к Чуковскому, а тот слегка замаялся, в дело пошел опубликованный текст. Не мог же Чуковский отказаться от собственных слов! Ему ничего не оставалось, как добавить строчку о книге, посвященной Юрию Олеше.

Не хлопайте дверями! Мы жили в стране кривых зеркал. ...Низкий поклон Володе Бараеву за хитрость, большое спасибо Корнею Ивановичу Чуковскому за лукавство, благодарность Виктору Борисовичу Шкловскому за попытку спасения заключенного.

Илья Сельвинский

Совсем недавно, до опубликования книги «Россия и Черт», мне задавали вопрос: «Аркадий — литературовед или прозаик?». Почти никто не знает, что в свое время можно было бы спросить: «поэт или прозаик?». Его стихи, написанные в молодости, были конфискованы. От них не

осталось и следа... На следствии — вот какая бывает игра слов! — они служили вещественным доказательством антисоветских настроений Белинкова. Но потом органы их уничтожили за ненадобностью. Чтобы осудить начинающего писателя, нашли достаточно материала в рукописи дипломного романа «Черновик чувств».

Аркадий поступил в Литературный институт на отделение поэзии и посещал семинар Ильи Сельвинского. Поэт-конструктивист, Илья Львович всю жизнь искал новые возможности в области стихотворной техники. Но время и его «ломало о колено». В 30-е годы в романе в стихах «Пушторг» он изобразил взаимоотношения интеллигенции с властью иначе, чем требовалось партии (за что и подвергся резким нападкам, о которых никогда не было забыто), а в конце 50-х переработал свою поэму 24-го года «Уляляевщина», сделав главным ее героем В.И.Ленина. Когда началась вторая мировая война, Сельвинский ушел офицером на фронт, а Аркадий перешел на отделение прозы.

Со студенческих времен у Аркадия сложились добрые отношения со всей семьей поэта, в том числе и с его дочерьми Цилей и Татой — теперь известной художницей и поэтессой.

В 60-е годы Тата создала блистательный и, что для меня очень важно, психологически верный портрет Аркадия, который она получила возможность выставить только в период гласности. В выставочную композицию портрета входили даты рождения, заключения, смерти: «1921 — (1944 — 1956) — 1970».

К неудовольствию своего отца Аркадий посещал Сельвинских и после своего возвращения из заключения. Причем тут отец? Виктор Лазаревич запомнил, — и не однажды мне рассказывал об этом — что, несмотря на его просьбу, поэт не заступился за бывшего своего ученика. Сам же Аркадий через двенадцать с половиной лет восстановил прежние знакомства независимо от того, как вели себя его друзья или коллеги по отношению к нему после его ареста.

Я хочу специально обратить внимание на это обстоятельство, потому что есть люди, спутавшие бескомпромиссную общественную позицию Белинкова с его личным отношением к друзьям и близким, темперамент писателя-публициста с раздражительностью человека, страдающего гипоксией, неугомонный образ жизни вопреки тяжелому сердечному заболеванию с притворством и позой. Он действительно предъявлял повышенные требования к позиции, занимаемой писателями в литературе, судил, если хотите, по «гамбургскому счету» — мере, введенной в оборот Шкловским. Добровольная капитуляция советских интеллигентов перед властями предержащими, с его точки зрения, неизбежно вела к творческой гибели не только отдельного человека, но и к разрушению культуры всей страны. (После развала Советского Союза эта истина, кажется, стала самоочевидной). Разногласия с друзьями или коллегами по принци-

пимальным вопросам никогда не превращались у Аркадия в ссоры в бытовательском смысле этого слова. В этом отношении весьма характерен «скандал», однажды разыгравшийся в доме Сельвинских.

Больной Илья Львович, обложенный кислородными подушками, лежал в постели на втором этаже своей переделкинской дачи. У него недавно случился инфаркт. Поблизости в Доме творчества находился Аркадий. Он приехал туда по путевке Литфонда и сразу заболел воспалением легких. Как раз тогда он решал, кого выбрать примером для «сдачи и гибели». Кандидатов было много, в том числе и Илья Сельвинский. Когда слегчало, Аркадий отправился на дачу поэта с испитанными страничками. Он шел советовать! Добраться до второго этажа — сердечник, ослабевший от болезни, — он не мог. Жена писателя Берта Яковлевна взяла текст, поднялась по лестнице и передала Илье Львовичу. Просмотрев рукопись, тот пришел в ярость. Выразить свои чувства непосредственно Аркадию он был не в состоянии: препятствием была та же лестница. Пришлось Берте Яковлевне спуститься вниз и передать мнение Ильи Львовича. Аркадий возражал. Берта Яковлевна поднималась. Сельвинский отвечал. Она спускалась вниз. И еще раз. И опять. В доме Сельвинских эту сцену превратили в анекдот и долго со смехом рассказывали. Много лет спустя я узнала об этом происшествии от Таты, за что я и приношу ей свою благодарность.

Сохранилась гладенькая заявка Аркадия Белинкова на книгу о Сельвинском, адресованная главному редактору Государственного издательства «Художественная литература» А.И.Пузику.

«Творчество И.Л.Сельвинского в истории советской литературы занимает, несомненно, значительное место... И.Л.Сельвинский большой советский поэт и драматург, один из своеобразнейших художников нашей литературы... Поэт рос и мужал вместе со своим веком и несмотря на ряд ошибок и заблуждений вместе с другими писателями создавал великую советскую литературу... У нас нет книги, в которой был бы показан путь развития, эволюция художника, его взаимоотношения со временем, его отношение к истории...».

Приведенные цитаты — красноречивый пример работы того внутреннего цензора, который оскотлял русскую литературу советского периода. Но Белинков не был типичным советским писателем и не собирався писать книгу, адекватную заявке. Он самым бесстыжим образом обманывал главного редактора, подобно тому, как водил за нос своего редактора Евгению Федоровну Книпович, работая над «Юрием Тыняновым».

Заявка Пузику датируется 14 апреля 1961 г., а 13-го июня Аркадий «подал заявку» на шести страницах самому себе. Эти записки составляют резкий контраст с официальной заявкой. Они интересны тем, что вводят нас в лабораторию писателя, спорившего со временем.

«Одна из главных задач книги (без решения которой книга едва ли нужна) заключается в оптимальной, решительной и до такой границы, когда следующий шаг — это рассыпанный набор, переоценке эстетики, литературного процесса, писателей и книг 20-х годов...»

Будет проявлена вся сила стараний, изобретательности, ловкости, хитрости и фантазии для того, чтобы сказать как можно больше хорошего о Волошине, Ахматовой, Цветаевой, Пастернаке, Бабеле, Олеше, Мандельштаме, и как можно больше плохого о Ерилове, Никулине, Коваленкове, Софронове, Шолохове, Грибачеве, Зелинском, Кочетове...

В эту эпоху И.Сельвинский вместе с другими товарищами по перу борется с космополитизмом...»

Можно с большой долей достоверности предположить, что этот, или похожий на него вариант заявки вызвал гнев Ильи Львовича.

Книга о Сельвинском не была осуществлена. Что-то этому помешало. Может быть, дорогу перебежал Олеша, о котором Аркадий переменил свое мнение.

С.М.Бонди

Известный пушкинист Сергей Михайлович Бонди оставил после себя сравнительно немного напечатанных работ. Он расплескивал себя в лекциях, беседах, разговорах, шутках. На его выступления и лекции собирались, как в театр. Помимо научных открытий и остроумных находок он поражал необычным умением: с легкостью писал как правой, так и левой рукой, обеими руками одновременно, и справа налево, и слева направо. Такое проворство для большинства было совершенно недоступным и, я бы сказала, завидным подспорьем в преподавательской работе, когда чуть ли не единственными учебными пособиями были указка и черная доска с мелом. Даже проекторы считались роскошью. (Сам Роман Якобсон, приезжая из-за границы, чертил свои схемы на доске. Один круг обнимает слово «литература», другой — «металлургия», третий — «география», четвертый — что-то еще... А все круги охватывает один большой, во всю доску, — «язык»).

Если Бонди по ходу лекции надо было анализировать пушкинские строчки, он писал правой рукой: «Мой дядя самых честных правил...». Одновременно его левая рука с той же скоростью выводила вторую строчку: «Когда не в шутку занемог...». Следующие две писались также в две руки, но начинал он их с последних букв последних слов «...заставил» и «...мог» и шел в таком же темпе к началу. А однажды я нашла на своем столе (я работала тогда в Литературном институте, где Бонди вел курс по Пушкину) записку. Почерк принадлежал ему — ясный, с красивым наклоном. Но понять, что в записке, было невозможно. Приставили зеркало и в зеркальном отражении прочитали: «Был, но вас не застал». И подпись.

На исходе «оттепели», когда участились обыски и аресты и расхлебываясь было московская интеллигенция опять стала прислушиваться к звуку хлопнувшей дверцы автомобиля и шуму ползущего наверх лифта: «Не за мной ли?», — я столкнулась с Бонди в гардеробной института. В свои семьдесят лет был он подтянут и как-то легок. За наигранной беспечностью, однако, явно угадывалась нервозность. Шутя, как обреченный юродивый, он все повторял, бодро при этом припрыгивая: «Придут, а у меня инфаркт и все в порядке! Инфаркт и все в порядке!» За ним могли прийти, как за всяким порядочным человеком. Времена, когда брали всех без разбору, вроде бы миновали.

За ним не пришли. В 1966 году после суда над Синявским и Даниэлем С.М.Бонди подписал открытое письмо в редакцию «Литературной газеты», озаглавленное «Нет нравственного оправдания». В письме, кроме всего прочего, говорилось: «Дело прежде всего в том, что сочинения Терца полны ненависти к коммунизму, к марксизму, к славным свершениям в нашей стране на протяжении всей истории Советского государства». Вместе с Бонди это письмо подписали еще семнадцать сдавшихся московских интеллигентов.

Аркадий был потрясен. Он знал Сергея Михайловича лично, считал его выдающимся ученым, относился к нему с огромным уважением и был автором статьи о нем в КЛЭ. Среди особо важных бумаг, которые Белинков хотел сохранить, я нашла номер «Литературной газеты» со статьей о нравственности по-советски. Некоторые абзацы Аркадий отчеркнул карандашом. Один из них я процитировала. Кроме того, нашелся конверт с адресом Бонди и вложенным в конверт гневным письмом, которое по неизвестной мне причине не было отправлено адресату, хотя к конверту уже была приклеена марка.

С.Я. Маршак

Благодаря Самуилу Яковлевичу мы однажды действительно ощутили связь и глубь времен. На какое-то мое замечание он откликнулся: «Вот-вот! Мне Стасов однажды сказал, что Гончаров всегда ему это говорил!» Гончаров! Он в истории русской литературы идет сразу за Пушкиным... Такая непосредственная преемственность высокой культурной традиции настолько ошеломила нас, что мы не запомнили, что же такого я сказала. Увы!

Что привело нас к Маршаку в первый раз, я тоже не помню. Может быть, сыграло роль то обстоятельство, что он, как и Чуковский, хорошо знал Мирру Наумовну, мать Аркадия, в то время сотрудницу Дома детской книги, до того работавшую в Детгизе. Мирра Наумовна была организатором выставки 1962-го года в Доме детской книги, посвященной семидесятипятилетию Маршака. Совсем недавно архив Белинкова

обогатился фотографиями этой выставки и книгами Маршака с дарственными надписями: «Избранные переводы» — «Дорогой Мирре Наумовне Белинковой — доброму другу нашей литературы и литераторов — С уважением и любовью. С.Маршак 10.X.1959 г.»; «Избранная лирика» — «Дорогим Мирре Наумовне и Аркадию Викторовичу [Белинковым] с любовью. С.Маршак. 22.XII. 1962.»

Когда мы приходили к Самуилу Яковлевичу, нас угощали чаем. Московские знатоки писательского быта говорили, что это было редким событием. Чай подавался заранее подслащенным на кухне. Литераторы злословили, что на сахаре его экономка построила себе дачу.

Маршак делил с Чуковским лавры создателя детской советской литературы. Им приписывали соперничество. Рассказывали, что однажды в коридоре некоего издательства Ираклий Андроников увидел Маршака, закрывающего за собой дверь уборной. Чудодей устных рассказов и блестящий имитатор, он незамедлительно «воплотился» в Чуковского и, подражая интонациям его голоса, стал громко беседовать с проходящими по коридору сотрудниками и писателями, продержав Маршака за закрытой дверью больше часу.

По-видимому, репутация непримиримых соперников сильно преувеличена. В опубликованных дневниках Чуковского высказано о Маршаке много теплых слов (хотя и не без рассуждения на тему о том, как формула «Чуковский и другие» менялась в печати на «Маршак и другие»). А Лидия Корнеевна Чуковская, которой когда-то довелось работать вместе с Самуилом Яковлевичем в ленинградском Детгизе, всегда вспоминала о Самуиле Яковлевиче с большой теплотой.

Аркадий не причислял Маршака к «сдавшимся» (не за переводы ли сонетов Шекспира, которые знал наизусть?), Самуил Яковлевич был о себе того же мнения. При встречах оба находили много общих тем для обсуждения. Я же про себя удивлялась: как мог писатель, пять раз награжденный Государственными премиями, быть уверенным, что никогда не угождал властям? Впрочем, он чем-то — может быть, легкой иронией, может быть сдержанным чувством достоинства — неуловимо отличался от других советских писателей своего поколения. Не сказались ли его годы учебы в Лондонском университете перед первой мировой войной? Во всяком случае, цену себе он знал. Однажды, после долгого занудного сидения в приемной министра культуры Большакова, так и не дождавшись приглашения в его кабинет, он ушел оставив записку:

У Вас, товарищ Большаков,
Не так уж много Маршаков!

Последняя наша встреча с Самуилом Яковлевичем мне особенно запомнилась. Он был болен и принял нас, лежа в постели. Чаепитие не состоялось. Около кровати справа стоял высокий баллон с кислородом:

надо было непрерывно наполнять кислородные подушки. Одна из них лежала у него на груди. На столике слева в плоской пепельнице лежали дымящиеся папиросы. Самуил Яковлевич был отчаянным курильщиком. Говорить ему было трудно, он хрипел. Скажет несколько слов, вдохнет глоток кислорода. А потом затанется папиросой. Так и продолжалось в течение всего нашего визита: несколько слов, глоток кислорода, затычка папиросой; несколько слов, глоток кислорода, затычка папиросой.

Следующая сцена, имеющая отношение к Аркадию, закавычена, т.к. записана не мной.

«Искать в книге Аркадия Белинкова об Олеше объективную картину литературного процесса 20-х и 30-х годов — это все равно, что пытаться найти объективную картину истории русского раскола в книге протопопа Аввакума.

Из всех писателей старшего поколения, сверстников Олеши и старших его современников, по настоящему понял это только один: С.Я.Маршак.

— Вы читали? — спросил он меня.

— Читал.

— И какое у вас впечатление?

Зная реакцию всех «стариков», я начал влиять: да, мол, конечно, к Олеше он несправедлив. Но...

— Голубчик, — сказал Маршак. — При чем тут Олеша? Разве это книга об Олеше?.. Ведь это же — Герцен!»²⁷.

Примечания

¹ Имеется в виду статья В.Б. Шкловского 1930-го года о преодолении формализма в его собственном творчестве — «Памятник одной научной ошибке».

² См. публикацию А.Галушкина. «Четыре письма Виктора Шкловского». «Странник». Выпуск 2. М., 1991.

³ Сокурсник Аркадия А.Лацис, дававший показания по делу Белинкова, утверждал, что Шкловский отзывался о дипломном романе как об «эклектической форме рвотой». См. его рецензию на «Черновик чувств» в журнале «Культура и свобода», № 3-4, М., 1993 г. Раздел «Литературные подоконники». По сведениям редакции, рецензия написана в 1943 или 1944 г. сразу после ареста А.Белинкова.

⁴ Из показаний А.Белинкова на следствии. Опубликовано Г.Файманом, получившим протоколы допросов А.Белинкова из ФСБ. См. «Горе уму». «Русская мысль». 5 октября — 8 ноября 1995 г.

⁵ С первой женой Шкловского Василисой Георгиевной Аркадий поддерживал добрые отношения и после второго брака своего учителя. В бывшей квартире Шкловского на Лаврушинском в начале 60-х мы познакомились с бездомной тогда Надеждой Мандельштам, которую Василиса Георгиевна приютила у себя, как Ардов на Ордынке — Ахматову. Надежда Яковлевна устроилась в маленькой комнатке, почти все пространство которой занимал большой сундук, служивший

и столом, и диваном, и кроватью, и архивным хранилищем. Здесь мы получили от нее рукопись «Воспоминаний» на одну ночь. Когда Аркадий лестно отозвался о прочитанном, Надежда Яковлевна удовлетворенно произнесла: «А вы думали, это дамское рукоделие?» Ее слава только начиналась.

⁶ «Четыре письма Виктора Шкловского». «Странник», выпуск 2, М., 1991.

⁷ Два свидетельства. Публикация Е. Литвин. «Московский комсомолец». 3 марта 1989 г.

⁸ Ахматовский мотив в письмах А.Белинкова Ю.Г.Оксману. Публикация В. Абросимовой. «Знамя» №10. 1998. (В письме от 25 мая 1962 г. Аркадий сообщает, что он говорил со Шкловским о задачах, стоящих перед литераторами «в эпоху, когда начинают свершаться самые тяжелые эсхатологические предчувствия», а также о том, что «нормальное человеческое мировоззрение отличается от безнравственности тем, что не спрашивает, устраивает оно других или не устраивает, и не думает, хорошо ли за него платят». К сожалению, комментатор обращает внимание не на суть ссоры между двумя литераторами, а на «неблагодарность» одного из них.

В том же письме Аркадий пишет о непоследовательности Виктора Борисовича: «...поносил меня за «Тынянова», пока не прочел статью под названием «Талантливо». В.А. поняла эти слова буквально: «... в своем обличительном пафосе А.В.Белинков забыл о том, что именно Шкловский был автором этой статьи».

⁹ В.Шкловский. Талантливо. Литературная газета. 8 апр. 1961 г.

¹⁰ В.Шкловский. В секретариат Союза писателей СССР. 4 апреля 1961 г. (Не опубликовано. Цитируется по копии с оригинала.)

¹¹ Л.Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. (Запись 62-го года.). Т.2. Париж.1980.

¹² Р.Орлова. Воспоминания о непрощедшем времени. Анн-Арбор.1983.

¹³ В.Каверин. Эпилог. М., 1989.

¹⁴ К.Чуковский. Дневник (Запись 62-го года.) Т.2. М., 1994.

¹⁵ М.Чудакова. Так яркий ток, оледенев... Предисловие к кн.: А.Белинков «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» М., 1957.

¹⁶ М.Чудакова. См. предыдущую сноску.

¹⁷ В.Каверин. Вл.Новиков. Юрий Тынянов. Новое зрение. Москва. 1988.(По инициативе Новикова в приложении помещены фрагменты из «Юрия Тынянова» Белинкова — первая публикация после его побега из СССР в 1968 г.)

¹⁸ В.Каверин. Эпилог. М., 1989.

¹⁹ Л.Зорин. Авансцена. Мемуарный роман. М. 1997.

²⁰ А.Белинков Юрий Тынянов. М., 1965. Глава «Главная книга», стр.177.

²¹ Ю.Оксман. Пути и навыки литературоведческого труда. Ученые записки Горьковского государственного университета. Вып.78. 1966.

²² В.В.Пугачев, В.А.Динес. Историки, избравшие путь Галилея. Саратов. 1995. («Новый колокол» — сборник эмигрантов 60-х годов, опубликованный в 1972 г. на Западе. Основатель А.Белинков. Составитель Н.Белинкова).

²³ К.Чуковский. Дневник. 1930 — 1969. М., 1994.

²⁴ В.Бараев. Восточно-сибирская правда. Январь. 1968

²⁵ К.Чуковский. Дневник. 1930-1969. М., 1994.

²⁶ Подробнее о К.И.Чуковском см.: Н.Белинкова. «Чуковский и Чукоккала». «Мосты». №15. Нью-Йорк, 1969.

²⁷ Б.Сарнов. С художниками это бывает. Сб. «Возвращение». М.,1991.

Станіслав Цалик, Пилип Селігей

ЄВРЕЙСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ — МЕШКАНЦІ РОЛІТу

У Києві збереглося чимало історичних споруд, так чи інакше пов'язаних з життям і працею різних діячів єврейської культури. Серед них і будинок, розташований на перехресті центральних вулиць Б.Хмельницького і М.Коцюбинського. Колись у літературних колах України, ба навіть СРСР, це була дуже відома адреса: Київ-30, вул. Леніна, 68...

Йдеться про житловий будинок письменників РОЛІТ (тобто Робітників Літератури), в якому мешкали українські, російські, єврейські письменники. Так уже склалося, що протягом багатьох років про цей будинок згадували переважно як про оселю українських та російських літераторів. Це видно хоча б з меморіальних дошок, встановлених на його гранітному фасаді — з 23-х лише одна присвячена представнику єврейської літератури (Д.Гофштейну).

Єврейська сторінка РОЛІТу — найменш досліджена, хоча з будинком пов'язані долі 24 єврейських поетів, прозаїків, драматургів, перекладачів, науковців, дослідників, критиків... Іншого будинку, де б мешкало разом *так багато* відомих єврейських письменників, не було й немає не лише в Україні, а й навіть деінде!

Працюючи над книгою «РОЛІТ і його знамениті мешканці», в якій простежується історія цього славнозвісного письменницького будинку від кінця 1920-х років, коли його тільки-но збиралися будувати, аж до сьогодення, ми виявили чимало матеріалу, пов'язаного з єврейською сторінкою в історії РОЛІТу.

Спочатку РОЛІТ споруджувався як житловий кооператив київських літераторів — за прикладом відомого письменницького будинку «Слово» в Харкові. Проте, коли в 1934 р. будівництво вже завершувалося, стало відомо, що українську столицю з Харкова переносять до Києва. Зрозуміло, що разом із владними установами до нової столиці переселився і цілий гурт письменників-харків'ян. Разом з киянами вони й стали в грудні 1934 р. першими мешканцями РОЛІТу, серед яких було чимало єврейських літераторів.

Першим згадаємо **Іцка Фефера** — одного з провідних на той час поетів СРСР, що писали на ідиш. Він оселився у кв.25, у парадному №3. Мало хто з його сучасників мав таку популярність, як він. Життя Фефера могло б слугувати основою для пригодницького роману: працівник друкарні,

член Бунду, комуніст, підпільник, в'язень Лук'янівської тюрми, якого не встигли розстріляти тільки тому, що тюремники-деникінці мали терміново тікати з Києва... Червоноармієць, аспірант, відомий поет-трибун, драматург, перекладач, визначний громадський діяч, член президії Спілки письменників. І все це — в 34 роки... Співець нового життя, Фефер віддавав перевагу актуальним на той час темам: громадянська війна, Дніпрогес, комсомол, Ленін, партія тощо — не дивно, що його багато й залюбки друкували. Він був членом редколегій та співробітником усіх єврейських літературних часописів, що існували в Радянському Союзі... Зокрема, створив і очолив єврейський часопис «Фармест» (пізніше «Советіше літератур»), редакція якого містилася на вулиці Червоноармійській, 43 — на першому поверсі... У РОЛІТ Фефер переселився з Харкова разом із дружиною Рахіллю Григорівною та дочкою Дорою.

Також з колишньої столиці переїхав до РОЛІТу чудовий дитячий поет **Лейб Квітко**. Вважається, що тоді йому виповнився 41 рік. Але справжньої дати свого народження письменник не знав — чи то 1890, чи то 1893, а може й 1895-й (у документах значилося: 11 листопада 1890-го). Точна дата лишилася невідомою, бо хлопчик змалку осиротів — він єдиний вижив з великої, але бідної родини, вбитої сухотами: спочатку один за одним померли п'ятеро дітей, а невдовзі за ними пішли й батьки... Квітко мешкав в Умані, де й почав писати вірші. Одного разу в це містечко завітав до родичів відомий письменник Д.Бергельсон. Друзі вмовили сором'язливого Лейба показати гостеві свої твори. Бергельсон повіз зошити початківця до Києва, а через деякий час віршотворець отримав конверт, у якому лежала невелика книжечка, видрукувана на жовтуватому газетному папері — «Лейб Квітко. Пісеньки. Київ. 1917 рік». Так побачила світ його перша збірка... А вже у 1928 р. (протягом лише одного року) вийшло 17 книг поета для дітей!

Про дивну манеру Л. Квітка віршувати ходили легенди. Розповідають, приміром, що поет походжав по кімнаті туди-сюди, пошепки повторював рядки і тільки потім записував уже готовий вірш, але обов'язково на клаптиках паперу і завжди недогризком олівця. Ошатні, в барвистих плетіннях зошити, дбайливо приготовлені для нього дружиною, він акуратно складав у шухляду стола і ніколи ними не користувався. Клаптики ж паперу з віршами часто губилися, а якось, подекують, поет забув у трамваї цілу поему...

У РОЛІТі Квітко став господарем кв.12 на першому поверсі в парадному №2. Разом з ним жили його дружина Берта Самійлівна та дочка Есфір. «Берта Самійлівна така ж поетична, як і Квітко, тобто світла у ставленні до людей і світу», — згадував Корній Чуковський, який бував у цій поетовій квартирі в гостях (разом з відомими дитячими письменниками Агнією Барто та Сергієм Михалковим). У кв.12 Л.Квітко прожив менше двох років: 1936 року поет переїхав до Москви, де став одним з керівників секції єврейських письменників СП СРСР.

У кв.3 на другому поверсі (парадне №1) оселився **Іцик Кіпніс**, котрому також судилося стати класиком єврейської літератури ХХ ст., одним з найяскравіших продовжувачів традиції Шолом-Алейхема. Син шкіряника, він і сам опанував цей фах, завдяки чому був направлений 1920 р. профспілкою шкіряників на навчання до Києва. Там відбулося його знайомство з уславленим поетом Давидом Гофштейном (теж майбутнім «ролітівцем»), який увів молодого письменника в літературну спільноту. Кіпніс дебютував збіркою поезій «Воли» (1923 р.). Проте справжнє визнання йому принесла повість «Місяці й дні. Хроніка» (1926 р.), що стала значним явищем у радянській єврейській літературі. Пролетарська критика відразу ж закинула її авторові ідеалізацію містечкового життя (повість розповідає про життя містечка у 1919 р.). Шквал критики несподівано зупинило висунуте Єврейською секцією ВКП(б) гасло: «Обличчям до містечка!»... Але через два місяці по заселенні в РОЛІТ Кіпніс був у черговий раз атакований. У постанові ЦК КП(б)У від 2.02.1935 р. згадується «націоналістичний письменник Кіпніс», який «близький до націонал-фашистського угруповання Косинки, Епіка та ін.». Зважаючи на те, що на той час Г.Косинка — розстріляний, Г.Епик — у концтаборі, звинувачення в близькості до них могли мати вельми сумні наслідки. Хоча «провина» Кіпніса полягала лише в тому, що він... переклав єврейською мовою книжку «Петро Ромен», автор якої Г.Епик вже після надрукування перекладу виявився «ворогом народу»... Під час переїзду в РОЛІТ письменник мав 38 років. Разом з ним із кімнати в комуналці на Тарасівській, 40, переїхали дружина Віра Феодосіївна, дочка Белла й однорічний син Льюня.

Під Кіпнісом, на першому поверсі, оселився один з найпопулярніших тоді єврейських драматургів **Авром Вев'юрко** (кв.1), людина незвичайної долі. Перша його п'єса «Йошке Мосер» йшла в Лондоні в 1919 р. За її явну антивоєнну спрямованість автора вислали з Британії через Дарданелли в Туреччину, де він півроку провів у концтаборі. Потім з групою в'язнів драматург утік з концтабору і через Кавказ дістався радянського кордону... Згодом Вев'юрко працював у Єврейському комісаріаті, брав участь у реформі єврейської орфографії (навіть видав у 1926 р. посібник «Орфографія ідиш»), одночасно писав п'єси, які з успіхом ставилися на сценах єврейських театрів як в СРСР, так і за кордоном. У РОЛІТі Вев'юрко одержав двокімнатну квартиру, в якій оселився з дружиною Естер Григорівною і двома синами — Іллею і Тобою. Рівно через рік, у грудні наступного 1935 р., Вев'юрко — зовсім не стара людина (48 років) — помер. Це була перша письменницька смерть у РОЛІТі, перший похорон, перша вдовиця... Після смерті Вев'юрка Президія СРПУ ухвалила: «закріпити за його сім'єю квартиру в будинку письменників РОЛІТ, видати родині померлого одноразову допомогу, видати збірку його

творів», а також піднести клопотання перед урядом «про надання родині померлого персональної пенсії».

Дружина Вев'юрка була рідною сестрою єврейського літератора **Нояха Лур'є**, який оселився в тому ж парадному, що й Вев'юрко, але на останньому поверсі — у кв.10. Серед єврейських новоселів він виявився найстарішим. Багато чого він устиг побачити у своєму житті: вантажник, будівельник, в'язень (1907-1908), вояк на Першій світовій війні, червоноармієць, керівник Єврейських педагогічних курсів у Києві... Творчий стаж Н.Лур'є як новеліста, драматурга, перекладача становив (на момент вселення) 23 роки. Особливою популярністю користувалися переклади на ідиш казок братів Грімм, В.Гауфа, Г.-К.Андерсена.

На третьому поверсі в під'їзді №2 у кв.16 поселився 44-річний поет, драматург і перекладач **Ліпе Резник**. Починав він як поет-символіст (збірки «У блідих світанках», 1921; «Оксамит», 1922). Однак утвердження радянської влади змусило поета звернутися до реалізму, оспівувати події громадянської війни, образи комсомольців, червоноармійців, Леніна («Панцирник «Гевітер», ліричний цикл «Олімпіада» та ін.). Він стає одним з фундаторів поезії на ідиш в Радянському Союзі... П'єси Л.Резника неодноразово ставилися на сценах єврейських театрів не лише в Україні. Разом із Л.Резником до РОЛІТу переїхали дружина Соня і 7-річний син Ефраїм, якого у дворі звали просто Фрам.

У тому ж під'їзді, у кв.20 на останньому поверсі замешкав пролетарський поет **Хаїм Гільдін**, який у своїх творах також захоплено оспівував нову революційну дійсність, хоч він був уже літньою людиною. До революції Гільдін працював чоботарем на взуттєвій фабриці. Коли в його містечку встановили радянську владу, геть зникли цвяхи, а без них шевцеві й роботи нема... Колеги відрядили майбутнього поета до Москви — просити Леніна, щоб допоміг із цвяхами. Гільдіну вдалося побувати у Кремлі, поспілкуватися з Іллічем і повернутися додому чи не з возом цвяхів... Дружина Гільдіна грала у Київському єврейському театрі, доньці Генрієтті під час переїзду в РОЛІТ виповнилося 4 роки.

У парадному №5 оселилися з родинами два молоді єврейські письменники: 26-літній **Мотл Талалаєвський** (кв.57) і 23-річний **Гершл Полянкер** (кв.50). Серед перших мешканців РОЛІТу згадаймо також 37-річного письменника **Абрама Абчука**. Колись початківець Абчук потрапив до клубу, де виступали відомі єврейські поети. Після виступів юнак наважився простягнути одному з них (це був Гофштейн) зошит з власними пробами пера. Відомий поет, прочитавши зошит, запросив юнака до себе. А дізнавшись, що той не має ні кола, ні двора (в 13 років утік від своєї родини), Гофштейн прилаштував його вихователем у Будинок безпритульних. Молодий письменник багато друкувався («на небосхилі єврейської літератури заяскравіла нова зоря», — писала тодішня критика),

а паралельно — вчився. Закінчив Київський ІНО (так звався тоді університет), став одним із перших наукових співробітників щойно створеного Інституту єврейської культури АН УРСР. Одна за одною з'являються його книжки — і прозові збірки, і наукові праці (серед них фундаментальна монографія «Нариси й матеріали з історії єврейського літературного руху в РРФСР»). Абчук написав чи не перший у радянській літературі на ідиш твір про робітника — роман «Гершл Шамай». Виданий 1933 р., цей роман приніс славу талановитому прозаїку. Вже наступного року на I Всеукраїнському з'їзді письменників Абчука одностайно обрали керівником єврейської секції. Він став впливовою постаттю в єврейських літературних колах...

1937 рік жорстoko поламав долі багатьох мешканців письменницького будинку.

А.Абчука схопили просто на вулиці серед білого дня, запхали в машину і повезли в НКВС. Кажуть, що приводом для арешту виявився роман «Гершл Шамай» — той самий, що прославив автора. Адже в цьому творі йшлося не тільки про веселого трударя. Герой роману наважився говорити про недоліки на фабриці, критикувати начальника-бюрократу. Дехто витлумачив це як контрреволюцію і повідомив «куди слід», на підставі чого письменника звинуватили в підривній діяльності та шпигунстві. Через два тижні, поспіхом, майже не вникаючи в суть справи, в'язня розстріляли й безіменно закопали на Лук'янівському кладовищі... У день арешту в Абчуковій оселі вчинили трус, після якого дружину з сином-немовлям Вільямом викинули на вулицю.

Подальша доля членів сім'ї «ворога народу» складалася, як правило, за стандартним сценарієм: дружин засилали, а дітей віддавали до спецпритулків НКВС. Проте Вільям якимось дивом вижив і через 18 років, ще до XX з'їзду, почав клопотатися про повернення батькові чесного імені. Благородну роль у реабілітації Абчука відіграли відомі українські поети В.Сосюра та М.Рильський — його сусіди по РОЛІТу. «До мене звернувся син єврейського письменника Абчука Абрама Петровича, — писав зокрема В.Сосюра військовому прокуророві В.Мешкову 8 січня 1955 р., — з проханням допомоги в реабілітації його батька, справа якого нині Вами переглядається. Повідомляю, що я знав А.П.Абчука з 1936 року як гарного радянського письменника. Такої ж думки про нього були і його побратими по праці, від яких я чув тільки хороше про А.П.Абчука».

Х.Гільдіна заарештували вдома — вночі. Цей арешт не вдалося провести непомітно, оскільки енкаведисти спочатку помилилися квартирою. Увійшли в під'їзд №2, пішки піднялися на останній поверх (ліфтів у будинку тоді ще не було), рвучко натиснули кнопку дзвінка. Відчинила перелякана Дарія Гончаренко — дружина поета Івана Гончаренка. «Це не та квартира», — винуvато пробурчав двірник РОЛІТу

І.Нізельський і заквапився дзвонити у двері навпроти. «Ви хочете Гільдіна забрати? — заступилася Дарія Григорівна. — Він же з самим Ленінінм зустрічався!» «Громадянку, — відрізав роздратований енкаведист (зайвих свідків своїх чорних справ вони не любили), — зачиніть двері й лягайте спати».

Приводом для арешту слугувала начебто поетова необережність — в одному з віршів він написав, що в сільраді на стіні висів портрет Сталіна, недбало намальований самодіяльним художником... Звинуваченого в підривної діяльності, письменника заслали до сибірського табору, де він, за відомостями дружини, загинув 1944 року. (В другій половині 1950-х Х.Гільдін, як і інші «ролітівські» в'язні, був реабілітований.) Сім'ю поета — рідкісний випадок! — залишили в РОЛІТі. Відомо, що його дочка Генрієта мешкала тут деякий час навіть після війни...

Утім, жертв терору могло бути більше. Готувався, приміром, арешт Фефера. За вказівкою згори його вже усунули від керівництва часописом «Советіше літератур», уже скликали партзбори, щоб виключити з партії — то були вірні ознаки майбутнього арешту. Фефер удав із себе хворого, зволікав як міг — і в такий спосіб, як не дивно, врятувався. Як з'ясувалося потім, ешелон з «ворогами народу», куди його збиралися запроторити, виявився заповненим достроково, і також достроково був відправлений у Воркуту, — тож потреба у Фефері відпала.

Ще однією жертвою мав стати Ноях Лур'є. У 1938 р. він разом з «ролітівцями» М.Гарцманом та І.Кіпнісом поїхав на кілька днів виступати в яесь містечко. За декілька днів повернулися тільки Гарцман та Кіпніс, а Лур'є ув'язнили у вагоні. Поки тривало слідство, Сталін усунув М.Єжова з посади головного чекіста і призначив на його місце Л.Берію. Новий нарком наказав перевірити справи, по яких слідство тривало, і Н.Лур'є відпустили — таке траплялося нечасто!

Унаслідок репресій у РОЛІТі спорожніло чимало квартир, у які Спілка письменників почала селити нових мешканців — здебільшого перетворюючи колись окремі мешкання на комуналки...

29-літній прозаїк і поет **Аврам Гонтар** одержав дві кімнати у кв. 2 (у третю кімнату вселився поет Леонід Вишеславський, що й досі мешкає в РОЛІТі, але вже в іншій квартирі). Наприкінці 1920-х газета «Ді вих» надрукувала вірш Гонтаря, і молодий поет несподівано для себе отримав листа від Д.Гофштейна, який похвалив цей твір і люб'язно запросив до себе. Звичайно, юнак не гаючи часу вирушив до Києва, але коли дістався помешкання Д.Гофштейна на Пушкінській вулиці, то дізнався, що той десь поїхав... Гонтар не розгубився, пішов до райкому комсомолу і там прочитав свої вірші. В райкомі поезії сподобалися (мабуть, там розуміли ідиш!) і відправили талановитого юнака в молодіжний санаторій, сказавши при цьому: «Відпочинь, попиши, а там і дочекаєшся повернення маестро».

Коли Гофштейн за місяць повернувся до Києва, він зустрів Гонтаря словами: «Якщо ти омочив ноги в Дніпрі, значить, ти киянин». Слова виявилися пророчими — Гонтар справді став киянином, працівником журналу «Советіше літератур». Коли він переїхав до РОЛІТу, його вже знали як автора кількох поетичних збірок («На лісах», «Востанне згадав») та роману «У занедбаному кутку», в якому Гонтар зобразив життя свого рідного Бердичева в роки Першої світової війни.

28-літній поет **Мотл Гарцман** також був уродженцем Бердичева. «Невисокий, чорнявий, він нагадає італійського юнака епохи Відродження», — таким запам'ятав його Л.Вишеславський. Віршувати Гарцман почав рано — в 15 років приніс свій творчий доробок письменнику Абрамові Кагану (який, між іншим, теж став «ролітівцем», але трохи пізніше), а з 17 років уже почав друкуватися як професійний поет. За словами дослідника єврейської літератури І.Добрушина, Гарцман «привніс у єврейську поезію романтичне кипіння та бадьору схвилюваність». Поет був освіченою людиною — закінчив 1934 року літературний факультет Московського педінституту (єврейське відділення), а 1936-го — аспірантуру при Інституті єврейської культури АН УРСР у Києві. Гарцман з родиною (дружина Ніна Яківна та 2-річна донька Шеля; молодша Оленка народилася вже в РОЛІТі) оселився у кв.41. Поет товаришував з іншими «ролітівцями» — українськими поетами Миколою Шпаком і Володимиром Сосюрою. Через багато років у поемі «Розстріляне безсмертя» В.Сосюра згадав, як сім'я Гарцмана допомагала йому в лиху годину:

Не раз, по сто, а то й по двісті,
Я в Ніни Гарцман позичав,
Коли не мав чого я їсти.

29-річний поет **Шике Дріз** одержав кімнату в кв.8 (пізніше переїде в кв.49 — теж комуналку, але матиме дві кімнати з телефоном). Колись він мріяв стати скульптором, навіть навчався в Київському художньому училищі. Але життя змусило піти робітником на завод «Арсенал», а потім — служити в штабі військового округу. «Ролітівський» період Дріза (з 1937-го до початку війни) у творчому плані виявився не найкращим. Після виходу двох перших збірок «Світле буття» (1930) і «Сталева міць» (1934), поет на багато років замовчав — наступна збірка вийшла тільки 1959-го. Але, попри всі негаразди, він продовжував наполегливо писати. Визнання прийшло до Дріза лише на схилі літ, коли його почали друкувати, перекладати, вірші поклали на музику, з'явилися мультфільми та театральні вистави, поставлені за його дитячими п'єсами.

Один з перших прозаїків єврейської радянської літератури **Марк Даніель** оселився у кв.54 (справжнє ім'я та прізвище письменника — Мордехай

Меєрович; псевдо «Данієль» утворене мабуть від імені старшого сина). Його літературний дебют «В такий час», присвячений темі безпритульності під час Першої світової війни, одразу привернув до себе увагу читачів і критиків. Ісаак Нусінов в передмові до книги М.Данієля «На порозі» (Харків, 1930 р.) так висловився про твір дебютанта: «Це було дуже зухвало. Письменник, тільки-но починаючи, бере таку центральну проблему. І Данієль своїм твором довів, що він мав право на зухвальство». Окрім прози, письменник також писав п'єси для єврейського театру, які ставилися на багатьох сценах... Разом з 37-річним письменником у РОЛІТ в'їхали його дружина і два сини — Даня і молодший Юлік. Це, між іншим, той самий Юлік, який через три десятиліття стане відомим на весь світ як учасник «процесу Данієля і Синявського». Письменників покарали за те, що вони насмілилися друкувати свою прозу на Заході. Андрія Синявського засудили на 7 років, Юлія Данієля — на 5...

У 1939 р. до РОЛІТу прибудували ще одне парадне — фасадом на вул. Леніна (саме цей фасад рясно обвішаний нині меморіальними дошками). У цьому елітному парадному, призначеному виключно для письменників-класиків, одержав квартиру вилатний поет, один з фундаторів єврейської радянської поезії **Давид Гофштейн**. Багатьох єврейських мешканців РОЛІТу ввів у велику літературу саме він... «У вікні поета на першому поверсі, — згадував Г.Полянкер, — дуже часто аж до світанку не згасав голубуватий вогник. І ми, тоді ще досить молоді його учні й шанувальники, з душевним трепетом позирали на це вікно. Ми притишували крок, проходили тихенько, аби не порушувати тиші київської ночі, не заважати творцеві. Ми знали, що за цим вікном, за письмовим столом, відмежувавшись од усіх світських клопотів, сидів над своїми творами блискучий поет, мислитель, тонкий лірик». Гофштейн був також автором ряду підручників і укладачем численних збірників народних пісень... 49-річний маестро в'їхав у кв.62 на першому поверсі разом із дружиною Фейгою Соломонівною, дочкою Левією та двома синами — Шамаєм та Гілеєм.

У це парадне перебралися й деякі мешканці старого корпусу РОЛІТу — серед них і Фефер (кв.69), твори якого на той час вже були включені до програм середніх та вищих єврейських учбових закладів СРСР. До речі, в «під'їзд класиків» Гофштейн і Фефер в'їхали кавалерами ордена «Знак Пошани», яким були нагороджені (разом з великою групою радянських письменників) незадовго до новосілля — в січні 1939-го. В 1940-му Фефер отримає ще й орден Леніна...

У звільнені квартири старого корпусу незабаром в'їхали нові мешканці.

Ордер на двокімнатну кв.3, яку залишив І.Кіпніс (він з родиною переселився у кв.37 — це в старому корпусі, але квартира трикімнатна; її, у свою чергу, залишив О.Копиленко, який переїхав у парадне для класиків), отримала молода поетеса **Рива Балясна**. Вихованка дитячого будинку, вона

пробилася в житті тільки завдяки власній наполегливості: в 15 років уже працювала на Першій взуттєвій київській фабриці, потім стала студенткою Київського ІНО (відділ профосвіти), отримала диплом, закінчила аспірантуру при Інституті єврейської культури АН УРСР. Перша її збірка «Переклик» вийшла друком 1934 р. Другу збірку — «Світлі дороги» — поетеса готувала саме під час переселення в РОЛІТ.

Файвл Сіто також виховувався в дитячому будинку. Ще змалку він лишився сиротою, тинявся разом з безпритульниками, аж поки в тринадцять років не потрапив до одного з харківських дитбудинків. Свою першу повість «Сенька Горобець — мій найкращий друга» (про пригоди бездомного 13-річного підлітка) він написав у 20 років. Наступний твір — теж автобіографічний, «Дитбудинок № 40» — Сіто з подякою присвятив своїм вихователям... Молодий письменник багато друкується єврейською мовою, його починають перекладати. Невдовзі Сіто — вже відомий дитячий письменник, редактор єврейського часопису «Жовтеняtko». Між іншим, він одним з перших в літературі на ідиш почав друкувати літературні пародії... Дружина письменника, Ада Сіто, жінка надзвичайно красива, теж була вихованкою дитбудинку. Подружжя замешкало у кв.18.

39-річний **Абрам Каган** оселився у кв. 54, яка звільнилася після переїзду М.Даніеля до Москви, із дружиною Оленою Борисівною, 18-річним сином Левом та 11-річною донькою Еммою. А.Каган теж народився в Бердичеві. Учителював, грав у пересувному театрі, дописував у газети. В літературі починав як поет, перша його книжка — збірка поезій «Рубці». Але відомим став, коли вийшло друком кілька збірок новел, історичні романи («Арн Ліberman», «У річки Гнилоп'ятки»), а в Харківському єврейському театрі було поставлено його п'єсу «Енергія». Деякі з цих творів перекладено українською мовою.

Тоді ж мешканцями РОЛІТу стало письменницьке подружжя — **Іхл Фалікман і Дора Хайкіна**. «Перед війною, — згадує сьогодні Д.Хайкіна, — ми жили в київському будинку письменників РОЛІТ... Мама виходила в парк вигулювати онуків і заприятнилася з іншою бабусею — матір'ю українського поета Андрія Малишка. Вони гуляли по парку, котили в колясках онуків і розповідали одна одній про своє нелегке життя»...

22 червня 1941 р. вибухнула війна. Як і всі, «ролітівці» дізналися про це з радіовиступу В.Молотова опівдні. Проте ми можемо абсолютно точно назвати ім'я людини, яка про початок війни дізналася в будинку найпершою — ще задовго до виступу Молотова. Це — Ліпе Рєзник. Він чудово знав німецьку мову й часто-густо тайкома слухав німецьке радіо. Буквально за годину після вторгнення, тобто близько п'ятої години ранку, німецькі диктори сповістили про початок нової війни на Сході і про те, що на чотири радянські міста, включаючи Київ, скинули бомби... Ділитися з будь-ким такими новинами було небезпечно — «панікера» і «про-

вокатора» елементарно могли поставити до стінки (з цим тоді було просто). Під великим секретом Л. Резник повідомив страшну звістку лише своєму близькому другові І.Кіпнісу.

Багато «ролітівців» вдягнули військові шинелі. Літні письменники з родинами евакуювалися в тил — переважно в Уфу чи Саратов. У лавах фронтовиків виявилися Мотл Гарцман, Гершл Полянкер, Мотл Талалаєвський, Файвл Сіто... По-різному склалися їхні долі.

Талалаєвський пройшов усю війну, з червня 1941-го до Перемоги, повернувся з орденами на грудях. Також від першого до останнього дня воював Полянкер, мужність якого відзначено бойовими нагородами. Він, між іншим, єдиний — не тільки з мешканців РОЛІТу, але й з усіх письменників СРСР! — у червні 1945-го крокував на Параді Перемоги на Красній площі в Москві.

Але будинок не дорахувався деяких своїх мешканців.

Командир взводу медичної служби Гарцман загинув наприкінці 1943-го, коли виносив поранених з поля бою. Сіто, який редагував фронтову газету «На розгром ворога», помер після Перемоги — у вересні 1945-го. Резник помер в евакуації в Казахстані 1944 року.

Деякі довоєнні пожильці будинку не повернулися в РОЛІТ — влаштувалися в Москві. Там їхні долі склалися не менш драматично, ніж у колишніх київських сусідів — жоден з них не уникнув репресій кінця 1940-х. Найбільш відома доля І.Фефера, який став одним з керівників Єврейського Антифашистського Комітету, створеного для «залучення до боротьби з фашизмом єврейських народних мас в усьому світі». Разом з Міхоелсом він в 1943 р. їздив до США, Великої Британії та інших країн збирати кошти для Червоної армії. У 1948 р. під час розгрому комітету його заарештували, а в 1952 р. — розстріляли ... (Та ж сумна доля спіткала Д.Гофштейна і Л.Квітка.)

Ноях Лур'є вирішив перебраться до Москви, оскільки там мешкала зі своєю сім'єю його дочка Тамара, відома перекладачка. Під час антисемітського «полювання на вільом» письменника ув'язнили. Після реабілітації він згадував, як до табору, де він утримувався, одного разу привезли стукача, за доносом якого Лур'є був ув'язнений. Побачивши свою колишню жертву, негідник затремтів. Проте письменник підійшов до нього, підбадьорив і поділився тим, що в нього було... Після реабілітації Лур'є повернувся до Москви, де встиг створити найвідоміший свій твір — повість «Лісова тиша» (помер у 1960-му).

Авром Гонтар також став москвичем і також був арештований. Розповідають, що коли йому оголосили вирок — 15 років «за шпигунство на користь Англії» — він, не втрачаючи почуття гумору, попрахав: «Дайте мені довідку, що я — англійський шпигун». — «Навіщо вам?»

— «Коли звільнюся, піду в англійську амбасаду і зажадаю гроші за виконану роботу»... Після реабілітації 1956 р. і до кінця життя він мешкав у білокамінній (помер у 1981 р.), написавши чимало цікавих творів, з яких найбільш відомий роман «Велика родина». За участю А.Гонтаря в Москві видавалося багато книжок єврейських письменників з України. Приміром, у збірці Шике Дріза він — упорядник, до книжки Файвла Сіта — написав переднє слово. Ще б пак! Це ж його колишні «ролітівські» сусіди...

...Але повернімося в післявоєнний РОЛІТ. Оскільки з житлом у Києві було тоді вкрай суцужно, то в «ролітівські» мешкання заселяли не лише довоєнних пожитців будинку, але й тих письменників (та їхні родини), попереднє житло яких було зруйноване або вже належало іншим мешканцям.

У кв.50 (парадне №5) замешкала письменницька родина, яка повернулася з евакуації — дитячий поет **Веніамін Гутянський**, літературознавець **Берта Корсунська** та їхня 5-річна донька Олена... Є цікаве свідчення про їхнє знайомство в середині 1930-х. Корсунська тоді працювала завлітом Єврейського лялькового театру і підшувала нових авторів. Талалаєвський порадив їй Гутянського, який нещодавно написав п'єсу спеціально для лялькового театру. «Ввечері того самого дня, — згадувала Корсунська, — я зустріла Гутянського в абонементному відділі бібліотеки АН. Я бачила його і раніше, але ми з ним не були знайомі. Я підійшла до нього: «Гутянський?» Він жваво повернувся до мене: «Так». — «У мене до вас справа... Чи не можна познайомитися з вашою ляльковою п'єсою?» Ми сіли на стільці, оббиті строкатим ситчиком. Як часто потім пригадували ми його, цей ситчик, що ознаменував початок нашого знайомства...» Незабаром родина переселилася в окрему кв.41, що на першому поверсі в тому ж парадному (сім'я загиблого Гарцмана, яка мешкала тут до війни, перебралася у кв.32)...

Відомий поет **Йосип Бухбіндер** отримав кімнату в кв.17. Проте постійним мешканцем РОЛІТу він не став. Поживши там рік разом з дружиною та дочкою Ганною, поет з сім'єю отримав постійне житло в Рильському провулку.

У кв.37 виділили кімнату **Мойсею Мижирицькому** — критику й досліднику, старшому науковому співробітнику Кабінету єврейської культури АН УРСР. Він також недовго перебував «ролітівцем» (кілька місяців), невдовзі переселившись в інший будинок.

Тим часом над РОЛІТом знову почали збиратись чорні хмари. «Підтвердилися факти прояву сіоністських антирадянських настроїв єврейської інтелігенції, — звітує наркомат держбезпеки секретарю ЦК КП(б)У Д.Коротченку (позначка: «*строго секретно*»), — НКДБ пропонує ізолювати письменників Гофштейна... та інші подібні елементи». На Д.Гофштейна

заведено агентурну справу «Круг», за якою його згодом і заарештують. Аналогічні справи заводяться на Полянкера, Талалаєвського та багатьох інших.

У жовтні 1947 р. починається атака на оповідання І.Кіпніса «Без хитрощів, без розрахунку», яке в статті, підготовленій на замовлення ЦК КП(б)У, називалося «шкідливим антирадянським». Автор, на думку критиків, припустив «брутальні політичні помилки», оскільки прагнув «поставити щит Давида — цю емблему націоналізму — поряд з емблемами Радянського Союзу, що символізують собою братерство і дружбу народів». Кіпніса виключили зі Спілки письменників, позбавили можливості друкуватися. Але, як виявилось невдовзі, це була тільки прелюдія.

Сумна хроніка арештів у РОЛІТі виглядає так: 16 вересня 1948 р. заарештований Д.Гофштейн, якого звинуватили в націоналістичній діяльності, зрадництві та шпигунстві. «Через короткий час, — згадувала дружина поета, — правління Спілки письменників змусило мене залишити нашу велику квартиру і передати її молодому... письменнику, а мене із сином Давида Шамаєм і його родиною переселили на шостий поверх у маленьку двокімнатну квартиру цього письменника». Згадана двокімнатна квартира — це кв.76 на останньому поверсі в парадному №1. А після того, як Гофштейна разом з іще дванадцятьма єврейськими письменниками розстріляли, його сім'ю заслали...

У січні 1949-го заарештований Абрам Каган, його засуджено на 15 років концтаборів.

Через півроку заарештований Іцик Кіпніс. Його дочка розповідає, що того вечора, 23 червня, вона з братом була в театрі — гастролював МХАТ, давали виставу з Аллою Тарасовою в головній ролі. Це була подія — і МХАТ, і Тарасова глибоко шанувалися в сім'ї письменника. По дорозі додому дочка уявляла, як зараз скаже татові: «Ми бачили саму Тарасову!» Повернулися пізно — близько опівночі. Двері відчинив якийсь незнайомиць (майнула думка: «грабіжник?»), наказав увійти. А там — поняті, протокол, обшук... Кіпніс отримав 10 років таборів особливого режиму. Сім'ю «ворога народу» ушільнили, підселивши у кв.37 ще дві родини...

Через два тижні в РОЛІТі заарештували вагітну БERTУ Корсунську. Згодом письменниця згадувала: «Шосте липня, перший день моєї відпустки, починалося чарівним ранком. Годині о п'ятій пролунав дзвінок... У великій кімнаті стояли троє. Один з них пред'явив мені ордер на арешт... Він узяв мене під руку й повів до машини. Двоє лишилися, аби зробити обшук». Б.Корсунську, за свідченням її дітей, «мали розстріляти за зраду Батьківщині, але щасливий випадок, змінивши в ході слідства статтю, подарував їй ще тридцять років життя». Корсунську було заслано до Кустанаю... Того ж дня на світанку взяли її чоловіка В.Гутянського, який

лікувався в туберкульозному санаторії в Пуші-Водиці, — він одержав 10 років таборів суворого режиму.

У листопаді 1951 р. прямо на вулиці заарештували керівника єврейської секції Спілки письменників Гершла Полянкера, який повертався додому з відрядження. «Був холодний, промозглий ранок, — згадував він. — Я задумливо йшов краєм тротуару, вже майже дістався свого будинку, аж раптом поруч заскреготіли гальма чорної «Победи». З неї стрімко вискочило двоє вовкуватих молодців у довгих плащах військового покрою, у насунутих на очі однакових чорних капелюхах... Один із них промукав: «З органів... Ви затримані, не пручайтеся». Злегка підштовхуючи ліктями, вони посадили мене між собою на задньому сидінні чорної машини...». Письменника засудили на 10 років позбавлення волі.

Існує бувальщина про те, як дружині Полянкера вдалося відстояти квартиру, адже за тодішніми правилами мешкання арештованого перетворювали на комуналку. Якесь письменниця вже навіть приходила оглядати свою майбутню кімнату... Про це нам оповів син письменника — Олександр Григорович. За його словами все відбувалося так. Есфір Абрамівна (дружина Полянкера), жінка моторна, рішуча, до того ж юрист за фахом, поїхала до Москви, де за допомогою своїх знайомих, помічників Генпрокурора СРСР, домоглася авдієнції в самого Романа Руденка. Блискуче знаючи різні нюанси тодішнього законодавства, вона довела, що підселяти когось у квартиру арештованого протизаконно, і як доказ поклала на стіл Руденкові... його ж статтю в якомусь юридичному журналі. Спонтанічному прокурору нічого не залишалось, як визнати правоту відвідувачки! З високого кабінету Есфір Абрамівна вийшла з документом, який виконував роль «охоронної грамоти» для квартири... Так це було чи ні, можливо якісь подробиці пообрастали легендами, проте Полянкери — справді єдина на весь РОЛІТ родина репресованого, яка уникнула ушільнення.

Того ж дня, коли заарештували Полянкера, в Миколаєві під час творчих зустрічей з читачами взяли Мотла Талалаєвського — секретаря секції єврейських письменників СПУ. Він також одержав 10 років позбавлення волі.

У травні 1952 р. прийшли за Ривову Балясною. Під час слідства поетеса, до якої були застосовані засоби психологічного та фізичного тиску, тяжко захворіла. Але судді, не звертаючи на це жодної уваги, прирекли нездорову людину на 10 років концтаборів... З арештантського вагону письменницю на ношах перенесли в табірну лікарню для в'язнів-інвалідів, де вона перебувала чотири роки — аж до початку 1956-го, коли була реабілітована.

Після смерті Сталіна письменники-в'язні почали повертатися додому. В РОЛІТі знову замешкали Талалаєвський, Балясна, Полянкер, Каган...

Повернулася в письменницький будинок і родина Д.Гофштейна, яка вселилася в кв.76. В.Гутянський, пройшовши Солікамський табір, був достроково звільнений 1954 р. за станом здоров'я і помер за два роки від туберкульозу в Кустанаї, де перебувала його родина. Згодом Б.Корсунська з дітьми повернулася до Києва, проте в РОЛІТі більше не мешкала. І.Кіпнісу після звільнення з табору заборонили селитися в столиці УРСР (він жив у своєї сестри в Боярці). У 1958-му, отримавши нарешті дозвіл на проживання в Києві, він замешкав в іншому письменницькому будинку. Усіх «ролітівських» арештантів 1948—1952 років згодом було реабілітовано (Гофштейна і Гутянського — посмертно).

Надалі нових єврейських письменників у РОЛІТі більше не з'явилося. Воно й зрозуміло — їх просто не було, отих нових чи молодих єврейських письменників! У будинку мешкали винятково «старі» літератори, яким пощастило вижити після сталінського погрому єврейської культури, — наймолодшому з них було 46 років...

У 1960-му РОЛІТ залишили І.Фалікман і Д.Хайкіна — вони одержали окрему квартиру в новому письменницькому будинку. У 1974 р. в інший будинок переїхала Рива Балясна. Наприкінці 1973-го емігрували в Ізраїль удова й дочка Д.Гофштейна.

Інші письменники залишалися в стінах РОЛІТу до кінця свого життя. А.Каган помер у 1965, М.Талалаєвський — у 1978, Г.Полянкер — останній єврейський письменник у РОЛІТі! — помер у 1997 р. З усієї тієї когорти жива тепер лише Дора Хайкіна, яка з 1993 р. мешкає в Ізраїлі. Кажуть, пише спогади.

Отже, крапку в єврейській сторінці легендарного РОЛІТу поставлено, та дослідження історії письменницького будинку ще тільки починається. Щоразу виявляються нові факти і цікаві подробиці. Ми сподіваємося розповісти про них у книзі «РОЛІТ і його знамениті мешканці», яку зараз готуємо.

КАК Я ВЫЖИЛА

РАССКАЗ МАРИИ НАУМОВНЫ ВИННИК,
УРОЖЕНКИ МЕСТЕЧКА ТЕПЛИК ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ

В наше местечко немцы пришли в конце июля. Эвакуироваться мы не могли: отец был тяжело болен, одного лишь брата (старше меня на три года) вывезли с подростками. Старшая сестра закончила к тому времени днепропетровскую зубоврачебную школу, вышла замуж. Её сразу мобилизовали, и мы о ней ничего не знали.

Наше местечко боёв не знало, но немцы обстреливали нас. Очевидно, из дальнобойных орудий. Отец воевал в 1914 году, был ранен, контужен — он понимал, что наш стоящий на возвышенности дом мог служить хорошей мишенью. Поэтому по его приказу мы собрались уйти из дома и оказались в старой кузнице, находящейся при самом въезде в наше местечко, на Гайсинской дороге, по которой шли немцы.

В кузнице уже пряталась одна старенькая женщина с дочерью. Мы с ними переждали весь артобстрел, а когда всё стихло, пошли к своим родным — к брату моей матери. Их дом стоял в саду, немного в стороне от дороги, и в нём собралось много народу — соседи, несколько семей беженцев с детишками. Мы все сидели в тёмном коридоре, прислушивались, что происходит на улице. Я первой полезла на чердак и в чердачное окошко увидела немецких мотоциклистов. Потом послышался сильный гул: это двигались танки. Когда я рассказала об этом своим, все пришли в ужас. Через некоторое время я опять полезла на чердак. Я видела, как на дороге появился грузовик с нашими солдатами. Они, наверное, не знали, что в местечке уже фашисты. Немцы сразу открыли по ним огонь, убили шофёра и сидевшего в кабине офицера, а потом всех до единого красноармейцев. Они так и остались лежать на дороге.

Таким был первый день прихода немцев.

Когда я утром после бессонной ночи опять полезла на чердак, машины и трупов уже не было: очевидно, местные жители куда-то их отташили.

В доме дяди мы просидели тихо два дня, а на третий день кончилась вода. Взрослые боялись высовываться из дому, пришлось к колодцу идти мне с одним мальчиком-беженцем. Мы дошли до колодца незаметно, огородами, потому что по дороге шла вереница немецкого транспорта. Недалеко от места, возле одного из еврейских домов, мы увидели толпу и подошли к ней. Оказалось, что на доме вывешен приказ: срочно сдать оружие, радиоприёмники, выдать скрывающихся красноармейцев... А еврейскому населению надеть белые повязки с шестиконечной чёрной звездой. После каждого пункта значилось: «За неповиновение — смерть».

Мы принесли известие об этом домой, но оказалось, что в наше отсутствие там уже побывали немцы. Среди них был один — с ножница-

ми. Он выстригал всем женщинам часть макушки, даже тем, у кого были косы. Старикам он отрезал полбороды, дяде моему срезал один ус. Стриг даже подростков. Я уцелела только потому, что отсутствовала.

За трое суток в доме дяди мы съели все запасы и стали потихоньку расползаться по своим домам. Взяв кое-какие продукты, мы решили опять уходить, так как в нашем, стоящем у самой дороги доме, оставаться было опасно. Когда мы уходили, то заметили в самом центре местечка, в сквере у магазина группу местных украинских интеллигентов. Они преподносили немцам на вышитом рушнике хлеб-соль. Среди них находился некто Шкуруп — школьный бухгалтер. Отец мой, хороший столяр, одно время вёл в школе уроки труда и прекрасно знал его. В группке находились учителя литературы и математики, а также несколько врачей.

С этого дня мы ничего хорошего уже не ждали. Немцы создали управу и сделали старостой того самого Шкурупу. К еврейскому населению он обращался через одного почтенного, длиннородого человека, назначенного как бы старшим среди евреев. При нём состояло ещё несколько человек. Они и доводили до населения требования немцев, а вернее — вымогательства, называвшиеся «контрибуциями». Чуть не каждый день требовали срочно сдать все золотые и серебряные вещи. А у кого они были? Кто их имел, тот был в состоянии эвакуироваться. Осталась голытьба. Но каждую ночь от дома к дому ходили люди, умоляли хоть что-нибудь сдать. Иначе расстрел!

Вскоре до нас дошли сведения о расстреле всех евреев в Гайсине, Умани, Немирове. Но нашего местечка это почему-то пока не коснулось. Лишь каждый день взрослых гоняли на работу. Помню, однажды нашего больного отца забрали прямо из постели. Вернулся он избитый, весь в синяках, босиком. Вся одежда была изорвана в клочья. Чтобы не расстраивать нас, он ничего не стал рассказывать.

С самого прихода немцев мы ни разу не разделись — спали только в одежде, ждали каждую секунду: сейчас придут, сейчас возьмут. Помню страшный грёхот среди ночи — это пришли за мамой. Она должна была таскать воду к немецкой полевой кухне, там ночью готовили еду. Мы, конечно, уже не спали, тряслись, гадали, придёт она или нет.

Пришла она под утро, рыдала страшно, слова не могла вымолвить, лишь молила бога, чтобы меня не взяли. А издевательства и страдания продолжались. Наши мучители придумали такую меру для нас: каждое утро всё работоспособное население местечка должно было собираться возле полевой жандармерии, разместившейся в инфекционном отделении нашей больницы. Возле неё была большая площадь. Мы называли её «рунда», от немецкого — круг. Сюда приходили на работу старики и старухи, мальчики и девочки. Но всех нас перед работой гоняли по кругу бегом минут 15—20, а иногда и больше. А вокруг с двух сторон стояли немцы и полиция и били нас плётками и прутьями. Время было уже зим-

нее, морозное и, если кто-нибудь поскользнулся и падал, того избивали особенно жестоко. У меня до сих пор есть след на ноге от плётки со свинцовым наконечником. Эта рана не заживала и гноилась у меня все три с половиной года оккупации.

А на работу посылали кого куда, например, мыть полы в конюшне, в которую они превратили школу, или на полевую кухню, или просто с места на место грязь переносить — лишь бы что-то делать. Но мы хоть оставались в живых. К нам даже прибегали спасаться из других местечек, где шли расстрелы. Так прошла эта зима — в страхе, в побоях, в истязаниях. Отец ходил на мужские работы, а мы с матерью — мыть сапоги этим мерзавцам. А о том, чтобы нас кормить, и речи не было. Добирались вечером без сил домой, но и там еды не было. На базар же ходить нам было запрещено. Слава Богу, местные жители по старой памяти приносили кое-что на обмен. Мы последнее с себя отдавали, чтобы получить миску кукурузной муки или несколько картошек. Но до третьего марта мы хоть спали в своих постелях.

Второго марта нам объявили: на следующий день всё население в возрасте от 14 до 45 лет должно явиться к управе. При себе иметь смену белья и запас продуктов на три дня. Когда мы пришли туда, там стояли машины. Нас погрузили в них, сказали, что везут на работу, но не сказали куда. Проститься с родственниками не разрешили. Мои, правда, остались дома: маме уже исполнилось 45 и она на этот раз избежала вывоза.

Повезли нас в сторону Гайсина. Было очень страшно, потому что там уже не осталось евреев, лишь сумевшие спрятаться единицы. Но Гайсин мы миновали, доехали до Нижней Крапивной, до самого Буга — в километрах 50–60 от нашего местечка. Здесь нас выгрузили и погнали под конвоем в Райгород, около которого находились карьеры по добыче щебенки.

Когда нас приконвоировали в местечко, мы увидели, что оно разгромлено. Центр его был ограждён колючей проволокой, по углам стояли сторожевые вышки. У ворот стоял немец. Я очень хорошо помню его слова: «Дети Израиля, заходите в дом Исаака!»

В ограде стояло 5–6 домишек с земляными полами. В каждый загнали по 50–60 человек. Меня толкнули в комнату, где уже находилось 15–16 человек, к счастью, и четыре моих двоюродных сестры, почти мои одногодки. Мы сразу улеглись на пол. Хорошо ещё, что стояла тёплая весна. А покормить нас никто и не думал.

Рано утром нас погнали в карьер, раздали молотки и приказали долбить каменную породу. То, что мы таким образом добывали, мужчины грузили в вагоны на узкоколейке и отправляли в Винницу, а оттуда — в Германию.

Мы работали с утра до вечера, а помыться было невозможно: воду наши мужчины привозили откуда-то в бочках только для питья. Кормили нас дважды в день: утром какая-то безвкусная бурда, называвшаяся «кофе»,

и днем — жидкая бобовая похлёбка. Хлеб выдавали раз в пять суток — каменно-чёрствую маленькую буханочку.

Охраняли нас в это время литовцы, немцев было поменьше и жили они отдельно. Конечно, хватало и побоев и издевательств, но расстрелов не было. Я потом оказалась в других лагерях, там было много хуже.

В это же время из Теплика пригнали вторую партию евреев. Их разместили в Нижней Крапивне, где в карьерах добывали песок. Там оказалась и моя мама. Не знаю как, наверное, подкупив литовцев, удалось обменять несколько человек из нашего лагеря на ихних. Так я опять оказалась с мамой.

Жили мы в бывшем клубе, в котором соорудили трёхэтажные голые нары. В центре здания — карта. Всё было окружено колючей проволокой, а охранники — немцы и литовцы — жили в соседнем доме.

В этом лагере мы пробыли недолго: 26 мая нас срочно переписали, и каждый должен был сам указать свой возраст. Мы не знали, как лучше написать и поставили, как есть: маме шел 46-й, мне — 15-й. На следующий день всех построили и зачитали список — кто останется в лагере, кто пойдёт на работу. Мы с мамой остались. Вскоре подъехали крытые машины. Из них вышли эсэсовцы в черной форме, и сразу всем стало ясно: за нами приехала смерть. Стали нас выводить, а я была рослая, крепкая, и немцы в последний момент меня за косы вытащили из машины, видно, посчитали, что я смогу ещё поработать. Так я осталась в лагере, а остальных увезли. Мама мне успела только крикнуть: «Доченька, у тебя уже нет мамы! Бог тебя благословит!»

Их отвезли в другой лагерь, опять отобрали старших и младших, отвезли в Райгородский лес и в тот же день расстреляли. Там и я должна была лежать...

А о гибели нашего местечка мы узнали случайно от одной женщины-украинки. Она с сыном шла куда-то, тащила за собой тележку. Поравнявшись с нашим карьером, присела отдохнуть. Мы работали невдалеке и стали шепотом переговариваться с ней. Она спросила: «Откуда вы, люди?» Мы ответили: «Из Теплика». Тогда она и сказала: «Боже мой, я иду из Умани, проходила через Теплик, там уже никого из ваших нет».

Вскоре опять приехали на машине эсэсовцы в чёрной форме, посадили, вернее — поставили нас в кузов, где мы стояли обнявшись, и повезли. Мы были уверены: к яме. Но приехали мы в Гайсин, к комендатуре. Машина остановилась, но охрана осталась. Старший надолго ушёл в комендатуру — мы ждали часа 3. Было жарко, пить нам не давали.

После возвращения главного машина опять тронулась: мы поехали по дороге, ведущей к Теплику. Но машина остановилась у какого-то села, возле песчаного карьера. Нам дали кирки, ломы и лопаты и отправили на строительство дороги в сторону Умани. А вечером нас повели в третий уже лагерь в селе Тарасовка. Там мы встретили несколько человек из

Теплика, успевших спрятаться 27 мая. Их потом всё равно нашли и пригнали сюда. Разместили нас на хозяйственном дворе, в кошарах для овец, в которых уже было много людей из разных мест. Условия были страшные: спали как скотина, вповалку. Завшивленность страшная. После первого дня работы ни есть, ни пить не давали, только выпускали к параше по нужде, там стояли вёдра и тазы.

В этом лагере находилось уже больше 1000 человек. Он был ограждён со всех сторон колючей проволокой, по углам стояли вышки с пулемётами. Охраняли не только литовцы, но и полицаи-украинцы, имелись и сторожевые собаки.

Уже в первый день мы поняли, что надежды на выживание у нас нет. Появились мысли о побеге, тем более, что один земляк рассказал мне, что мой отец, как специалист, избежал расстрела и находится в Теплике. Но бежать из лагеря было невозможно, и мы с моей подружкой решили бежать с работы, хоть это тоже казалось почти недостижимым: уже наступила осень, хлеба скосили, место голое, а лес — довольно далеко. Но однажды нас включили в небольшую бригаду, работавшую как раз возле леса. Мы присматривались несколько дней и установили, что в субботу немцы уезжают в Гайсин, остаются только литовцы и полицаи. Поэтому ребята решили только в субботу.

В одну из них, когда литовец и полицаи уехали на велосипедах за едой, а охранять нас остался единственный полицай, мы улучили момент и нырнули в кусты. Погнаться за нами, оставив всех, полицай не мог. Он стал стрелять. Ему, наверное, сказали о нашем побеге, ведь нам всё время внушали: если кто-то убежит, расстреляют всех, поэтому все боялись и следили друг за другом.

Мы бежали, не видя дороги, мчались несколько часов, не раз перелезали через ручей. Это нас выручило, когда нас стали искать: мы слышали отдалённый лай собаки, но она нас не нашла.

Когда стало темнеть, мы нашли какую-то канаву, накрылись ветками и так долежали до глубокой ночи, потом стали в темноте бродить по лесу. Мы были босые, и я нащупала ногой след колеса, колею. Мы пошли по ней, и она нас привела почти к нашему лагерю. Но это нас и спасло: ведь нас искали совсем в другом месте. Потом мы узнали, что всю нашу бригаду страшно избивали, а упустившего нас полицай увезли куда-то, и никто его больше не видел.

Возле лагеря мы неплохо ориентировались: обошли старое кладбище, пересекли дорогу и вышли к другому лесу. Там было село. Из одной хаты нас позвала молодая женщина: «Заходьте, дівчата. Ви звідки?» Мы с подружкой договорились, что говорить буду одна я, потому что я хорошо говорила по-украински. Я сказала, что мы из Умани, ходили в Гайсин искать среди пленных брата. Тогда ходили люди, разыскивали своих родных.

Женщина завела нас в хату, дала молока потом положила на полу у самого порога. Измученная подруга сразу уснула, а я ещё не спала, когда в хату зашёл мужчина и поставил в угол винтовку. Смотрю, а у него на руке повязка: полицай! Это был муж той женщины. Она сказала ему, кто мы, а он ответил: «Пусть спят, не буди», — и вышел. Я растолкала подружку. А в это время заплакал ребёнок, и женщина пошла к нему. Мы бросились к окошку (оно было открыто) и выбрались наружу, попали на огород, поползли по грядкам. Возле дома слышались мужские шаги, голоса...

Огородами мы вышли к бахчам, натолкнулись на старика-сторожа возле сторожки. Он поднял крик, думал, что мы красть пришли. Затащил он нас в сторожку, но когда рассмотрел поближе, то сразу понял, кто мы и откуда. Ничего он у нас не спрашивал — сразу накормил: дал пирога, разломал дыню, а потом сказал: «Идите девчата этой дорогой. Сегодня воскресенье, ярмарка, смешайтесь с людьми и идите». Вот что сказал этот мудрый человек.

Мы так и сделали. Ярмарка проводилась в местечке Киблич, в котором бывали и погромы. Но по дороге в Киблич мы зашли в одно село. Там нас заметили полицаи. Они стали звать нас. Но я сообразила, как избежать их приглашения: рядом была церковь, и мы гордо, закинув косы, прошествовали туда. Но как только мы зашли за церковную ограду, сразу бросились за церковь, по кладбищу — пока опять не вышли на дорогу к Кибичу. По ней шло много людей, ехали телеги, и мы спокойно вместе с народом дошли до местечка, но в него не зашли. Мы пошли дальше по дороге и только спрашивали, как попасть в Теплик. Я же знала, что у меня там отец, и решила добираться домой.

К вечеру мы дошли ещё до одного села — Марковки, где попросили у одной женщины попить. Она ласково пригласила нас: «Заходьте, дівчата, відпочиньте. Ви звідки?» Она дала нам воды и оставила во дворе, а сама пошла в хату. Может, она и не думала ничего плохого, но мы были слишком напуганы и опять бросились бежать. Добежали до какого-то запущенного сада на окраине села и спрятались в кустах. Просидели в них до глубокой ночи, а потом опять пошли, в основном — по полю, чтобы, если кто-нибудь встретится, упасть в канаву, затаиться.

Так мы дошли до кладбища в Теплике, там отдохнули немножко и стали приближаться к местечку. По рассказу спасшихся я знала, что специалистов (и моего отца) разместили в маленьком гетто — доме Бершадского. И мы, прячась, по дороге направились к нему и зашли в дом. Света в нём не было, и узники не узнали нас. К счастью, и охраны в этот момент не было. Там их всё время пересчитывали — каждые несколько часов, проверяли, все ли на месте и нет ли кого чужого, потому что всё ещё выползали люди из всяких укрытий.

Когда узники поняли, кто мы такие, поднялся страшный переполох: люди испугались за себя — вот-вот должен был придти комендант Ру-

дольф. Нас срочно отвели в заброшенный, полуразрушенный дом и оставили там до утра, надеясь за ночь что-нибудь придумать. Сидели мы в загаженном подвале и страшно замёрзли, сколько ни прижимались друг к другу. А ранним утром зашёл один из узников и отвёл в мастерскую, где они работали. Нас отвели на чердак, принесли еды и сказали, что отправят нас куда-то, надо только найти провожающего. А в гетто мы не можем находиться ни минуты, так как их всё время считают. Больно нам было, что всё вокруг родное, знакомое, а мы вынуждены прятаться.

Через пять суток нашли человека, знавшего дорогу за Буг, где была румынская территория — благословенная Транснистрия. Проводнику заплатили большие деньги, собранные со всех. А отца в эти дни я так и не видела ни разу: он работал в другом доме и не имел права оттуда выходить.

Перед дорогой наши принесли нам одежду — телогрейки, широкие спидницы, всё, как одевались украинки. Идти нам предстояло только днём, потому что ночью всё страшно охранялось. А следовать за проводником нужно было на расстоянии, лишь бы видеть его. Шли мы несколько часов, прошли километров тридцать. У самого Буга проводник завёл нас в какой-то дом и сказал: «Ждите. Вот вам вода, вот хлеб. За вами придут!» Много времени спустя мы узнали, что одну группу таких же, как мы, в этом доме забрали немцы. Наш проводник боялся, и заработать хотел, и боялся.

Возле этого места (село, кажется, называлось Чорна Гребля) был брод через Буг, а неподалёку мост, охранявшийся немцами. Мы специально подошли к реке — стирали, мыли ноги. Потом подошёл один человек, быстро показал нам место перехода. Мы сразу пошли, но когда приблизились к броду, началась стрельба. Но пули ушли в песок. И мы перешли!

На том берегу мы, обессиленные, упали в кусты. Проводник нас даже не подгонял. Через какое-то время к нам подошёл другой человек (их там, на этой переправе, действовало трое), он сразу сказал: «Где деньги?» Мы знали, что они зашиты в телогрейке, я распорол её и отдала. Боялась только, что он нас дальше не поведёт. Но он повёл. Шли мы ночью, стараясь двигаться перелесками, села обходили. Так дошли до Бершади, до Бершадского гетто, где были и мои родные — родной брат отца с семьёй. Вот как я попала на землю обетованную.

Приходу нашему обрадовались и не обрадовались. Было много слёз. А нам всё казалось странным: в этом гетто все жили в своих домах, спали в своих постелях, свободно ходили за водой (гетто вообще не было ограждено, но выход за пределы, конечно, запрещался). Ютились все в страшной тесноте, потому что в Бершади оказалось и много беженцев из Буковины и Бессарабии. Перед моими родными сразу встал вопрос: куда нас девать. В каждом доме висел список, составленный юденратом. В нём значились все жильцы, даже малые дети. Тех, кто приходил из-за Буга брали на отдельный учёт, но мои родственники опасались этого. Таким

образом я жила у них нелегально: только спала, а целый день находилась вне дома. С питанием тоже было очень сложно: работал (ремесленничал) один дядя, кормя большую семью. Поэтому днём я ходила в некое подобие кухни или столовой, организованной нашими теплицкими ребятами, бежавшими сюда ещё до погрома. У них можно было раз в сутки получить что-нибудь горячее. Потом эти ребята ушли к партизанам, в живых остался лишь один из них. В Бершади действовал даже общественный детский дом. В нём находились в основном дети умерших от тифа переселенцев с румынской стороны.

В первую зиму я тоже заболела сыпным тифом. Больница была в бывшей аптеке. Туда свозили тифозных, которых никто не лечил. Медикаментов не было никаких: кто выживал, тот выживал. Я выжила, хоть потом с месяц не могла стать на ноги — заново училась ходить. Вернулась я из больницы ранней весной, а за время моего отсутствия к моим родственникам подселили семью переселенцев из Молдавии. Мне спать было негде, и я скиталась — то у одних, то у других ночевала. Это меня и спасло, потому что многих перешедших Буг и попавших в списки юденрата переправили обратно, на немецкий берег, где их и расстреляли. Там погибла и моя лучшая подруга Хайкеле.

В это время в Бершади появился мой отец. Он находился перед этим в Гайсине, бежал и перешёл Буг. Пришёл он совершенно больной, и я каждый день приходила в дом дяди ухаживать за ним. Отец страшно страдал, не мог смириться с потерей мамы. Ему всё казалось, что, может, случилось чудо и она жива...

Когда я немного окрепла, я встретила на улице одного земляка, предложившего мне поучиться на курсах медсестёр, чтобы потом уйти в партизанский отряд. Курсы в своём селе организовала фельдшер Маня Билляр, приходила туда преподавать и врач из села Устье. Нас учили оказывать первую помощь, накладывать жгут, вводить противостолбнячную сыворотку, перевязывать раны. Училось на этих курсах 10–12 девушек из гетто, я — самая молодая из них: мне исполнилось 15 лет. После обучения часть девушек действительно ушла в партизанский отряд, среди них две двоюродные сестры — Люба и Ева. Люба погибла перед самым приходом наших: её ранило, и она, боясь попасть в руки фашистов, застрелилась. Я же не смогла пойти в отряд по двум причинам: во-первых, тяжело болел отец, а во-вторых, я была совершенно разута: летом ходила босиком, а зимой привязывала к ногам всякую рвань. А Маню Билляр расстреляли потом вместе с другими бершадскими жителями, имевшими связь с партизанами.

Был подпольщиком и мой двоюродный брат Миша Винник. Он входил в подпольную группу, полностью выданную провокатором и расстрелянную. А в партизанском отряде воевали мои земляки Ефим Коган и Ефим Понаровский. Они тоже бежали из нашего лагеря, хоть сделать это

после нашего побега стало очень сложно. Двух девочек (одна из них моя соученица Клара Ванштейн), пытавшихся бежать, схватили, привели в лагерь, заставили самим себе выкопать яму и на глазах у всех расстреляли. Потом их ещё неделю не закапывали, чтоб остальным неповадно было бежать. Но эти два Ефима всё же бежали, как и мы во время работы.

Моя же подпольная работа свелась к тому, что однажды Миша Винник попросил меня помочь провести день незамеченным одному связнику, пришедшему из другого отряда. Ведь в гетто в любую минуту мог войти румын или местный полицай. Я боялась, но повела его к речке, где мы и провели целый день. Вечером в гетто нас уже ждало несколько человек, и моего подопечного куда-то увели.

А через два дня брат попросил, чтобы я этого человека вывела из гетто. Для этого следовало перейти мост, охраняемый полицаями-украинцами. Среди них находился и один, славившийся особой жестокостью: нагайка у него была толстенная, и он колотил ею всех направо и налево. Я попросила у своей кузины юбку попримечнее, повязала платок, и мы с этим человеком, взявшись за руки, перешли мост. Полицай даже не заподозрил, кто я. Но сразу назад я не пошла: выжидала когда этот мерзавец сменится с поста. Таким образом я этого связного ещё несколько раз вводила и выводила из гетто. В этом, пожалуй, и состояла вся моя подпольная деятельность.

Но когда провокатор выдал подпольную организацию, начались аресты. Обнаружили и главную квартиру, где хранились списки лиц, причастных к этой организации: кто вещи собирал, кто продукты, кто средства. Каждую ночь ходили по домам и забирали людей. В одну из ночей пришли и к нам, но, так как спать мне было негде, я ночевала совсем в другом месте. Ещё на подходе к дому мне сказали: «Не ходи, у вас всех забрали». Но как же я могла не пойти домой? У меня там больной отец.

Я подошла к дому: дверь настежь (была зима), отец лежит на своём месте, над его головой вся стенка изрешечена пулями, но он жив. Кроме него в доме остался пятилетний сын моего двоюродного брата Сёмочка. Его отца и мать забрали. В доме полный разгром: двери сорваны, подушки распороты, всё валяется на полу... Но мой дядя с дочерью сумели скрыться. Отец сразу велел мне уходить, так как считал, что полицаи ещё вернутся. Но я его не послушала, согрела воды, одела ребёнка, напоила отца морковным чаем... И тут в дом вошли два немца и сразу ко мне, а я им говорю по-украински: «Я сусідка, я сусідка!» А они мне показывают на дверь: выходи! Но в это время кто-то их с улицы позвал, они вышли, а я сразу убежала через чёрный ход.

Как только немцы ушли, я вернулась и больше из дому не уходила. Отец уже находился в очень тяжёлом состоянии и надо было ухаживать за ним и за ребёнком. А дядя с дочерью прятались по чердакам, их тоже надо было кормить. Еду я брала у родственников, выменивала у крестья-

ян. Мать и отец Сёмочки прятались в подвалах, им я тоже носила передачи. Немцы обнаружили их и вместе с другими задержанными вывели за местечко и расстреляли.

Мой отец не дожид до освобождения трёх недель. А как он мечтал дожить до освобождения! Когда я его хоронила, выхода из гетто уже не было, разрешали только вывозить покойников. Имелась и специальная телега для вывоза на кладбище и два еврея при ней. За телегой мог идти только один сопровождающий. Уложили отца, конечно, без гроба, прямо на телегу. Я одела его в самое чистое бельё, омыла ему лицо, проводила до ямы на кладбище... Вот так я и похоронила своего отца.

Он умер 24 февраля 1944 года. Дни до прихода наших были заполнены страхом и ожиданием. Отступающие немцы всё чаще заходили в местечко. Буквально каждую ночь проводились расстрелы. На каждом телеграфном столбе на центральной улице висели казнённые. Снимать их и даже подходить близко запрещалось. Но каждую ночь уже явственно слышалась артиллерийская стрельба, и был велик страх, что именно в последний момент нас уничтожат. Но то ли немцам было уже не до нас, то ли судьба хранила, но 14 марта, на рассвете в местечко начали входить наши войска. Нет слов, чтобы выразить это счастье! Мы плакали, целовали солдатам сапоги, бросались на шею... Солдаты даже отмахивались от наших бурных излияний.

А к вечеру на нас опять напал страх: нам показалось, что наши опять могут отступить. Мы с моей подругой выглянули на улицу и заметили цепочку наших бойцов с командиром во главе, идущих, как нам показалось, в направлении из местечка. Я бросилась перед ними на колени и стала умолять: «Возьмите нас с собой! Не оставляйте нас здесь одних!» А он нам сказал: «Идите, девочки, домой, постарайтесь эти дни, пока фронт здесь, пересидеть в погребке, в подвале, кто где может. Будет ещё стрельба, всё будет». Мы так и поступили. А Бершад несколько раз бомбили, несколько бомб упало чуть ли не в центре местечка. По ночам всё ухало, гремело. Но через три дня все, кто остался в живых, всего человек 6–8, собрались и пошли в свой Теплик. Шли около двух суток, останавливались в сёлах, где нас уже пускали в хаты, кормили, хоть и смотрели на нас как на выходцев с того света.

Так мы добрались до Теплика, зашли в крайние дома, обитатели которых тоже думали, что ни один еврей не уцелел. Но нам помогали чем могли. Мне даже нашли старые галоши, а то я шла по мартовской грязи босиком.

На второй день с рассветом мы пошли на братские могилы. От той, первой, в которой лежали жертвы расстрела 27 мая 1942 года, не осталось никаких следов. Но рядом была ещё одна могила, в ней виднелись не полностью засыпанные трупы. Это уже жертвы второй или третьей очереди расстрелов — евреи из концлагеря, беженцы, переселенцы... Возле самой ямы мне бросились в глаза крохотные детские ботиночки.

Мы вернулись в местечко, попросили у тепличан лопаты, стали засыпать эту братскую могилу. Но с нашими слабыми силами на эту работу у нас ушла неделя. Кормились в это время мы тем, что давали нам соученики и знакомые. Они же нашли для нас кое-что из одежды. Я всю весну пробыла в Теплике, сюда же вскоре приехала моя сестра, устроилась на работу, а я пошла в школу. А через некоторое время нашёлся и наш брат, тот самый, которого с группой детей эвакуировали в начале войны. Он все эти годы работал на оборонном предприятии. Так распорядилась судьба, что мы, дети одной из многих уничтоженных еврейских семей, остались в живых.

*Рассказ М.Н.Винник записала Н.Брумберг.
Подготовил материал к печати Г.Аронов.*

«НАШ АР'Є»

Інтерв'ю з Євгеном Сверстюком

З ім'ям Ар'є (Юрія) Вудки постійні читачі «Єгуція» вже знайомі завдяки опублікованим в 4-му номері нашого альманаху спогадам цього в'язня сумління 70-х років про його табірних друзів — українців Євгена Сверстюка та Степана Сапеляка, спогадам, які вперше побачили світ ще в далекому 1983 році у виданій в Мюнхені книзі «Острівки приязні» з підзаголовком «Збірник спогадів і статей про українсько-жидівські стосунки».

Пригадуємо, спогади про Євгена Сверстюка мали назву «Шляхетність». Шляхетність — це саме та риса, яка якнайкраще характеризує і самого автора спогадів, під час арешту в Рязані у 1969 році — юнака родом з Дніпропетровщини, який пізнав Бога і з поважною гідністю потім ніс хрест своє повне випробовувань життя це святе для нього Знання. Не дивно, що вони зустріли один одного на стежках невблаганної долі — Ар'є Вудка і Євген Сверстюк. Дві шляхетних поетично-філософських натури, такі схожі і водночас такі різні, зустрілися волею обставин разом у 1976 році у Мордовських таборах на знаменитій 36-й зоні. Зустрілися, щоб невдовзі розлучитися, як тоді їм здавалося — назавжди, зберігаючи, скільки стане їм віку, в серцях спомин щирих і шляхетних взаємин в умовах табірної небуття.

Коли восени 1976 року Ар'є Вудка назавжди прощався з табірним життям, він, усвідомлюючи свій моральний обов'язок перед друзями, які залишалися, забрав із собою у великий світ найкращі їхні поетичні твори, що їх закарбувала його феноменальна пам'ять. 1978 року ці твори Євгена Сверстюка, Олексі Різникова і, можливо*, Василя Стуса побачили світ у Мюнхені в збірнику «Поезія з-за колючих дротів. Слово репресованих Москвою українських поетів».

Далі суворе ізраїльське життя на територіях. Кілька збірок філософської публіцистики — «Московщина», «Нить Ариадни» (1986), та збірок поетичних — та ж таки «Нить Ариадни», «Дни возвращения. Письма из советской тюрьмы и лагеря Ар'є Вудка, Шимона Грилюша, Йосифа Менделевича», а також переклади на іврит поезій Євгена Сверстюка та Василя Стуса в серії «Шедевры восточно-славянской литературы в качественном переводе».

Увже згаданому збірнику «Острівки приязні» було надруковано написане у грудні 1979 року в таборі Євгеном Сверстюком невеличке есе «Зерна українсько-ізраїльської солідарності», якому пощастило потрапити на Захід.

* Тоді як Євген Сверстюк гадає, що опубліковані в збірнику поезії Василя Стуса, принаймні їхня частина, теж були вивезені Ар'є Вудкою, Дмитро Стус — син поета, вважає це мало ймовірним. В усякому разі, питання є відкритим.

В ньому кількома майстерними і щирими рядками постав перед читачами Ар'є Вудка, постав таким, яким він залишився в пам'яті друзів: «Зовсім коротко з'явився в Пермський табір, після Владімірської тюрми, Ар'є Вудка. Скромний, інтелігентний, поетично настроєний і водночас до всіх уважний, з постійним запасом добра і приязні, він відразу завоював симпатії моїх земляків і зачарував своєю плавно-милослушною українською мовою. Здавалося, що всім хочеться сказати «наш Ар'є» про цього юнака, який світився привабливою посмішкою на відльоті в рідний край».

З часу написання процитованих рядків минуло багато років. З огляду на непересічність постаті Ар'є Вудки ми звернулися до Євгена Сверстюка з проханням пригадати ту далеку історію і поділитися своїми спогадами про друга. Пан Євген радо відгукнувся на нашу пропозицію і з цього всього народилося, можливо, трохи хаотичне, проте щире інтерв'ю, яке ми подаємо нижче.

Володимир Любченко

* * *

Коли я прибув на 36-ту зону в *лагер* 389-36 — це *посьолок* Кучино Пермської області Чусівського району, то мені призначили ліжко, і на цьому ліжку ще висіла бірка «Юрій Вудка» (на нарах, вже не пригадую, чи перший чи другий поверх). Природно, я запитав: «Хто такий Вудка?» А його на той час вже взяли у тюрму, Владімірську. Це не була трагедія, але це звучало похмуро, бо коли брали в тюрму, то це був натяк на те, що репресії не закінчуються на тому, що в'язень потрапляє в *лагер*. Я звичайно поцікавився: «За що? Хто він був?»

Він був з молодих сіоністів. Але чогось його зненавиділи *КГБ*-істи, хоча він був зо всіма добрий і за своєю натурою неконфліктний, в той час як багато хто потрапляв у тюрму за конфліктність натури, за те, що він йшов на демонстративне протистояння. Тоді я про нього дещо дізнався. А потім минає 3 роки...

А розпочалася історія коли?

Я приїхав в *концлагер* в 73-му році, восени. Він вже був у тюрмі. І йому, наскільки я пам'ятаю, дали три роки.

Взагалі в *лагері* встановили певні форми стосунків між земляцтвами. Загалом приязні і навіть дуже приязні, і я їх вже застав. Практично якісь нюанси там ще вироблялися, тому що завжди, коли з'являється якась особа, якою цікавиться ширше коло, то вона дещо змінює клімат. А *лагер* — це такий маленький все ж таки соціум.

Отже, хто були євреї в 36-й зоні і не тільки в 36-й? Це були, як правило, люди, що виходили з ідейних сімей. Батьки були дуже часто комуністами.

І може це саме впливало на радикальну поставу дітей, щоб різко відмежуватися від позиції батьків.

Ар'є Вудка був релігійним. Це слово дуже багато характеризує: і моральну позицію, і глибину світогляду, і рівень спілкування. Скажімо, спілкування між релігійними людьми було інтенсивнішим і цікавішим. І не дуже велике значення мало, якої релігії людина дотримується.

Він був релігійно настроєним, причому він чоловік глибокий і його релігійність глибока. Це означало, що він абсолютно не сприймав *совєтського* режиму, елементу абсолютності надавала релігія. Там, де її не було, там було щось середнє. Але там, де вона з'являлася, з'являлася особа. Я думаю, що в тому була одна з причин, чому вони вважали, що він має негативний вплив на інших, передусім своїх земляків. І саме таких ізолювали у тюрму.

Коли мав приїхати Ар'є Вудка, ми уже вираховували. Всі чекали. Чекали передусім євреї, і навіть з певною ревністю хтось із них казав: «Він же до нас приїжджає». Але яка, власне, якщо брати загалом, різниця? Він мав прибути в зону, де на нього дуже чекали. Його чекали і як людину, і вже як «іноземного кореспондента». Справа в тому, що коли приїжджає українець з тюрми, то він приїжджає в зону, щоб сидіти далі, а потім вийти у «велику зону». А коли євреї приїжджає, то наперед знали, що він з часом виїжджає за кордон. І майже завжди було ясно, що він виїде за кордон.

А на той час уже було відомо, що в Ар'є Вудки закінчувався термін?

Було відомо все. І коли ми дізналися, що він вже в ізоляторі, тут, то всі раптом активізувалися, але з певною обережністю, перефразовуючи Леніна «дабы не отпугнуть буржуазию» — щоб не дати зрозуміти начальству, що ми його чекаємо і як саме ми його чекаємо. Хоча начальство це знало краще за нас. Воно мало всі дати в своїх руках. КГБ-істи робили всі прогнози. І тільки їхня злість дурна, я думаю, не давала їм можливості оптимально розв'язати цю ситуацію. Ми дуже боялися, що в них вистачить розуму прикинутися гуманістами і випустити його в лікарню. І лікувати його. Що там у тій лікарні? Ну, будуть давати йому А-5 чи Б-5 — це дієтичне. Білий хліб і таке інше — замість чорного. Ну, і працювати він, звичайно, не буде в лікарні. Але що там та праця, порівняно з тим, що він виїде за кордон. У них розуму не вистачило. І вони його тримали відповідно до свого норову в *ШИЗО* тиждень. Ми, звичайно, по-*зеківськи* запротестували, що знушаються над чоловіком, який відбув свій тюремний термін, і йому без усякого суду нав'язують карцерний термін ще. І ця боротьба наша закінчилася перемогою: Вудку випустили в зону.

Була певна коректність в зоні, щоби не нав'язувати свого знайомства, своєї розмови. Людина, яка повернулася, хоче відпочити, хай сама приживається, як вона вважає за потрібне й зручне. Його, зрештою, одразу відправили на роботу. І дали йому найтяжчу роботу: набивання ТЕНів —

заправку спеціальною сумішшю тепло-електричних нагрівачів. Найтяжчу, як для інтелігента невмілого, і легку, як для тих, які мають сприт у руках. А він мав сприт. Він вмить прилаштувався, він не бачив ніяких труднощів у цьому. Став виконувати норму на 100%, щоби мати *ларьок*. І, по-моєму, виконував її за 4 години. Так що він мав можливість поговорити, походити. Виконав норму — і вже може ходити по зоні.

Як відбулося ваше формальне знайомство, адже заочно Ви знали один одного?

Звичайно. Всі зеки знали один про одного, так що, ясна річ, що він привітався, познайомився зі всіма знайомими і незнайомими. А потім він підійшов до мене і сказав, що він би хотів ближче поговорити. І зокрема, він говорив вже з Олексієм Різниковим з Одеси. Він хотів би вивезти по кілька віршів, наприклад, по два. То, каже, не є проблема.

То була його ініціатива?

Його ініціатива. Окрім того, він вже їх мав з тюрми кілька.

А чиї то були вірші?

Гадаю, що Стусові.

Безпосередньо від Стуса?

Ні, я думаю, що він від когось іншого міг мати. Тому що зі Стусом він не міг там зустрітися, Стус не був у Владімірській тюрмі.

Він сказав, що для нього досить два рази прочитати вірш — і він запам'ятає і буде тримати в пам'яті стільки, скільки треба. А тоді вже він їх виписує з пам'яті, як оце тепер з комп'ютера знімають. Це мене дуже здивувало: «Як, тільки 2 рази?!». Він каже: «Так, мені досить 2 рази».

Я йому дав зошит, щоб він собі вибрав декілька віршів.

А у в'язнів була можливість тримати при собі зошити з власними творами?

У нас була можливість дуже обмежена, і цією можливістю треба було дуже обережно користуватися. Як правило, це були вірші замасковані. У кожного був свій альбом, свій зошит і різні виписки. Виписки з різних літератур. Якщо це російською мовою, на них це діяло заспокоїливо, як бром. Якщо українською, це було більш тривожно. І вони брали це на перевірку. Але бажано було цього не ховати, бо знайдена річ зразу викликає тривогу. А річ, яка лежить зверху, на видноті, може собі лежати, вони її не шукають. Ми користувалися цим психологічним ефектом. А ще дуже часто надписували над віршами заспокоїливі імена: або переклад з Пушкіна, або з Шекспіра, або старалися підібрати якесь загадкове ім'я, але таке, щоб вони його теж чули.

Таким чином, легеньке маскуванню давало можливість передавати один одному речі, що не мають явного політичного характеру. А підтексту вони не розуміли і не знали. Не надавали йому значення. А там вся суть, звичайно, була в підтексті.

Я пригадую, він мене запитав, як це безпечніше зберігати. Я йому сказав, що найкраще тримати зверху, на подушці.

— А сусід?

— Сусід, — кажу, — він непоганий чоловік, хоча з поліцаїв.

— Тобто йому можна довіряти?

— Боронь Боже, — відповідаю, адже цілком ясно, що майже з кожним з поліцаїв адміністрація має ближчі стосунки.

У вас були якісь побажання щодо того, які саме вірші Ар'є Вудка мав запам'ятати і вивезти у великий світ, чи він сам вибирав з вашого зошити?

Він... В тому зошиті було не багато, і я не боявся, що вони заберуть його, тому що в мене все було переписано. Потім він попросив ще, потім ще.

Наше становище було зовсім безперспективне, тобто в оптимізм бавитись було б інфантилізмом, але і песимізм розводити було б ознакою слабкості. Було очевидно, що після закінчення терміну буде заслання на 5 років, а після заслання буде знову термін — побутовий. Це була схема, і від цієї схеми в той час було дуже важко ухилитися. Зрештою, невідомість була: ще 5 років, і тут ще досиджувати 3 роки, а то ціла вічність. Немає сенсу говорити про важке майбутнє. Але був сенс у тому, щоб дати світові знати про існування людей в тій зоні, про те, що вони думають, що вони пишуть. Це було дуже важливо, і був обов'язок тих, хто виходив. Якщо в'язень виходив у вільний світ, то ясно, що цей обов'язок був більший, ніж коли він виходив, скажімо, на село. Але надійніше було передавати через чоловіка, яким явно там будуть цікавитися.

А то була єдина можливість вивезти вірші, саме запам'ятавши їх?

Думаю, що при якихось там хитрих прийомах щось можна було б записати. Але гарантії не було ніякої, що це пройде, тому що настільки кваліфіковано обшукували, що жодних записів такого характеру не проходило.

Ну а як же в'язням вдавалося вивозити зошити з віршами, наприклад, при виході на поселення? Вам же вдалося?

При виході на поселення я виходив, по суті, в іншу тюрму, і тому не боявся конфіскації. Я все вивіз із собою після перегляду КГБ-істами. Зовсім інша справа, коли йшлося про вихід в'язня на волю, в'язня, на якого чекали за кордоном.

Отже, вдалося б йому вивезти записи чи ні? Ми вважали, що не вдасться. А це був, власне, ідеальний варіант. Він знав, куди має вийти. І він передав це українським націоналістам у Мюнхен. Також журнал «Сучасність» виходив і ці вірші надрукував. Так що це було використано належним чином.

Тепер ясно, що одна справа — обов'язок, і інша справа — людина. Треба сказати, що обов'язок без людини не живе. Це був дуже надійний чоловік, Вудка. Тобто то був чоловік, який коли що сказав, то він зробить, і ніякі обставини йому не перешкодять.

Ви, як автор, потім знаходили якісь різночитання між авторським текстом і тим варіантом, що був виданий, чи все було абсолютно ідентично?

В цілому ідентично. Якісь маленькі відхилення, якісь синоніми вкралися, але, в цілому, так як було йому подано, так воно й вийшло. Отже, справді, в нього на диво «керована» пам'ять: доки треба, доти вона зберігає. Цікаво, що в Ізраїлі я з цим його феноменом вже не зустрічався. Очевидно, немає такої потреби.

А коли ви дізналися, що ваші вірші потрапили на волю і вийшли друком? То було ще на засланні?

Ні, це вже після повернення і навіть не зразу після повернення. Це коли вже можна було привозити з-за кордону сюди літературу, десь тоді мені потрапила до рук ця книжка — “Поезія з-за колючих дротів. Слово репресованих Москвою українських поетів”. Але раніше я просто був певен, що він передав.

Яким був Ар'є Вудка у спілкуванні?

Він мав дуже контактний характер в *лагері*. Зі всіма був добрий. Дуже спокійно всіх вислуховував. Можна було з дивуванням спостерігати, як він прогулюється то з одним, то з другим, то з третім, так, наче бере інтерв'ю. З різними приходили до нього проханнями, у кожного було своє. І часто він мене запитував: «Хто це є? І хто він є насправді?».

Я пригадую, як його відправляли на етап. Ми вже знали, коли його будуть брати з зони.

Як ми попрощалися з ним? Як люди, які зустрілися в житті раз, і, очевидно, майже напевно, єдиний раз. Це надавало нашим стосункам глибшого драматичного характеру. Тобто це виходило за рамки побуту.

Мені навіть здається, що було якесь особливе ставлення конвою, коли вони бачили щось в побутових стосунках між *зеками*. Крім того, це було щось таке справжнє, це було те, що вимірюється життям. І коли людина іде в невідомість, вона зовсім не малює собі райдужних візій іншого життя, вона його не знає. Навіть не дуже уявляє, але що буде — те прийму, прийму все, що буде.

Я думаю, що в зв'язку з цим він вибрав таке суворе продовження, оселившись на територіях. Воно трохи несе в собі продовження тієї самої напруги, яка робить людину ближчою до Бога.

Він, до речі, має якесь особливе прочитання Біблії. Для нього це дуже інтимна Книга і дуже особиста. В той час, як для інших — це була книжка, яку вони вивчали. Про віру я тут не беруся судити, але в усякому разі йшлося про вивчення.

А за походженням він звідки?

Його батько з Польщі, звідти його прізвище Вудка. «Вудка» це «водка» польською. З його матір'ю я познайомився в Ізраїлі, і вона на мене справила враження української вчительки. Чому української? Вона з Дніпропетровська, мені здавалося, що вона вписувалася в цей клімат, як

людина дуже своя. Я навіть відчув, що вона дуже добре говорила українською мовою, хоч зараз вже й призабула.

То й сам Ар'є Вудка теж з Дніпропетровщини?

Так. По-перше, він для неї Юрочка, і зараз Юрочка. Він взяв собі ім'я Ар'є, і в *лагері* до нього зверталися тільки як до Ар'є. Отже, ми навіть не чули іншого. А для матері це ніякої ролі не грає. Для неї це той самий хлопчик, що і в дитинстві.

Мені здається, що вона якось поза тим життям, що навколо. Вона живе окремо з чоловіком в іншому будинку. По сусідству. Розводить мальви і різні квіти, так, як на Дніпропетровщині. І, очевидно, живить ту побутову традицію.

Треба думати, що Ар'є Вудка добре володів українською мовою?

Щодо володіння українською мовою, то він викликав велике здивування у нас всіх, тому що він практично володів мовою чи не краще за багатьох українців. Він казав, що навчився української мови від в'язнів. Я думаю, що то перебільшення. Судячи з того, як його мати розмовляє українською, він її знав вже раніше. Інша справа, що тоді він не мав жодних контактів з українцями. Якось Семен Глузман висловився, що вперше з українцями (хоч він виріс у Києві) він зустрівся в таборі. Я думаю, що в тому ж самому розумінні і Ар'є Вудка. Але з українською мовою він явно зустрівся раніше, тому що було просто неможливо аж такою мірою оволодіти. В нього вона була співуча, навіть з ароматом місцевим, мабуть, з Дніпропетровщини.

А ким він був за фахом у тому житті, до ув'язнення?

Він же студентом був. Зі всього судячи, філологом.

Як він реалізував себе у професійному плані в Ізраїлі?

Я думаю, що в професійному плані він себе не реалізував. Хоча він змістовно живе. Якесь у нього життя природне, де б він не був.

Востаннє я був в Ізраїлі на конференції до 3000-ліття Єрусалиму. Ар'є приїхав на зустріч і запросив мене до себе в гості. Мешкає він на поселенні у Самарії. Контактуює з інтелегентними людьми, з поетами та художниками. Сам трохи малює, навіть подарував мені свою картину. Але він більше реалізує себе як релігійна людина. Має гарну сім'ю, маленьких дітей. Діти його дуже люблять, і він віддається їм цілком. Дуже мила дружина, родом з Росії. У неї двоє дітей від першого шлюбу.

Мені запам'яталася сімейна ідилія. В теплий вечір ми сиділи надворі біля хати, поділеної з сусідами навіпіл. Замість стола – імпровізовані стільчики, замість дерев – якісь малі кушки. А вже біля матеріної хати виріс доглянутий садочок, високі мальви.

Він живе біблійним духом, біблійною мудрістю, відсторонено від суєтного світу. Але за один вечір я там познайомився з добрим художником, родом з Ленінграду, з добрим журналістом. На другий день Ар'є відвіз мене своїм авто до аеропорту і провів аж на митний кордон. Він

переживав, щоб я не забув своїх речей, бо у нього біля хати я залишив на ніч сумку з документами. Вночі їх намочив дощ. Але я не пережив тієї тривоги, яку пережили вони: навколо чужий арабський світ, кожен звук до обережності і пильності.

До речі, він дуже гостро відчував наближення війни.

Ще таке запитання. Чи можна сказати, що деякі поетичні твори були врятовані саме завдяки Ар'є Вудці?

Я думаю, що врятовані твори — це не просто врятовані тексти, а врятовані для сучасності. Одна справа, коли з'являться вірші в кінці століття, і інша, коли вони з'являться саме тоді, коли на них чекають. В цьому останньому розумінні вони були врятовані, були врятовані для сучасників. Було врятовано дуже потрібну інформацію, яка формувала клімат певних середовищ і яка мала культурну цінність, поза всяким сумнівом. Я думаю, що то була дуже велика місія — передати якусь культурну цінність через той глухий коридор, де все гинуло, і де було забезпечене небуття.

Я знаю, що він має дуже гостре моральне чуття, і це чуття переноситься на політику. Скажімо, його теза: за одні й ті ж самі злочини повинні нести кару і націонал-соціалісти, і комуністи, а тим часом до них застосовується зовсім різна міра. І це дискредитує сам принцип моралі і права. Він це чітко завжди підкреслює. І, власне, я думаю, що це його моральний імператив: щоби скрізь і на кожному кроці зберігати міру закону і міру справедливості.

Ольга Жбанкова

МАГ І ЧАРОДЕЙ ФАРБ



Абрам Маневич увійшов до історії українського мистецтва разом з Олександром Мурашко, Федором Кричевським, Олександром Богомазовим, Олександром Екстер, Анатолем Петрицьким — майстрами, котрі зачинили новітнє малярство ХХ століття. В творчості Маневича повною мірою віддзеркалилась загальна лінія розвитку як європейського, так і національного живопису, спрямована на розкриття декоративної сутності світу.

Самобутній стиль майстра органічно поєднав у собі новітні досягнення світового мистецтва та реалістичні тенденції вітчизняного пейзажу. Його полотна, що успадковують плернерність імпресіонізму, кольорову

площинність модерну, пластику його ліній, тяжіють і до головного постулату естетики передвижників — поетизації буденності. «Маневич синтезує у своїй творчості всі новітні форми художеств, надаючи їм свого змісту, облагороджуючи їх своїм внутрішнім і духовним я», — писав один з дореволюційних критиків.

Світ образів, створений Маневичем, — неповторний і завжди впізнаваний. Тут пульсує життя і панує елегійний сум. За мальовничими стінами осель вбачається людська туга, за буянням палахкотливих барв осені — одвічне згасання природи. Художник, який народився і виростав на убогих вуличках Мстислава, маленького білоруського містечка, що входило в межу осілости, на все життя перейнявся духом скорботи свого народу. Почуттям такого ж тихого смутку оповиті й живописні фантазії Марка Шагала, і соковита проза Шолом-Алейхема.

Маневич приїхав до Києва 20-річним юнаком, сповнений єдиного бажання — стати художником. Спочатку працював у майстерні вивісок, згодом — на фабриці ліжок, яка містилася на Подолі, — розписував спинки готових виробів ландшафтами та квіточками. Знайомство з відомим ученим, археологом, етнографом, директором Міського музею (тепер — Національний художній музей України) Миколою Біляшівським визна-

чило його подальшу долю — навчання в Київському художньому училищі (1901-1905) та в Мюнхенській академії мистецтв (1905-1907).

Біляшівський був й ініціатором влаштування в залах Міського музею першої персональної виставки художника-початківця (1909), котра мала на погляд тодішньої преси, «не лише моральний успіх». Вона засвідчила, що в українському мистецтві з'явився талановитий майстер «із своїм неабияким розумінням інтимної чарівності пейзажу, далеко не зовнішнім відношенням до природи, широсердістю злиття з нею».

Отримавши кошти від продажу картин, Маневич знову поїхав за кордон. Він відвідував Швейцарію, Італію, Францію. Працюючи на о.Капрі, художник познайомився з Максимом Горьким, який захопився його талантом. Протягом багатьох років вони підтримували теплі стосунки. Майже всі роботи Маневича цього періоду були придбані галереєю Горватта у Женеві.

У 1913 році в Парижі, у престижній галереї Дюран Рюеля відкрилася виставка робіт нікому невідомого київського художника. Однак на неї звернула увагу не лише примхлива паризька публіка, а й поважна критика. Відомий бельгійський поет Еміль Верхарн, який майже щодня відвідував виставку, читав лекції про творчість митця. Анатоль Луначарський, який тоді перебував у Франції, вітав у пресі «бурхливого, сильного художника», що привніс до Парижу «трохи неба, повітря, зuboжіння і широчини, суму і усмішки рідної природи». Директор Люксембурзького музею придбав до своєї колекції один з експонованих пейзажів.

До Абрама Маневича прийшло європейське визнання, але воно не змінило художника, який так і залишився тихою і скромною людиною. В одному з тодішніх інтерв'ю на запитання — яка тема його найбільше хвилює, Маневич твердо вимовив два слова, що прозвучали мов священний девіз: «Моя батьківщина».

Як спомин про минулі роки сприймається відома картина художника, що її багато разів репродукували у дореволюційних виданнях — «Моя батьківщина. Мстиславль». Злиденність та непорушність містечкового укладу панують на спустілій вулиці. Вони застигли і в покривлених часом, потемнілих від снігу і дощу будиночках, і в самотній постаті чорного цапа, що концентрує в собі щемливе відчуття безпритульності та відчаю.

Поняття «Моя батьківщина» охоплює у Маневича й бідні єврейські квартали Вінниці, Фастова, Чернігова. Особливе ж місце в його творчості та в його долі займає Київ. Художник сприймає місто не в громаді його новітніх модернових будинків і відомих історичних пам'яток, не в експресії нових урбаністичних реалій, як то ми бачимо на полотнах Олександра Богомазова. Київ Маневича розкриває інтимну сторону свого існування. Про красу міста нам розповідає людина, яка звикла до провінційної тиші і спокійно проходить повз прикмети технічного прогресу.

Околиці Києва, затишні вулички Солом'янки, Куренівки, Подолу, подвір'я з сірими парканами та кам'яними стінами будинків, дахи міста,

його сади, схили Дніпра... Ці невибагливі мотиви при всій своїй буденності захоплюють одухотвореністю, світлою поезією буття.

У багатьох краєвидах Маневич застосовує певний композиційний засіб — зображення дерев на першому плані. Експресивне переплетіння їхніх корякуватих, покручених гілок сприймається мов фантастичне мереживо своєрідної зависи. Воно відділяє глядачів від тієї реальної картини життя, де повільно плине час, забарвлений людськими радощами та печалями. Віти дерев наділені активною дієвою силою — здається, що вони коливаються, пульсують, розкриваючи динаміку одвічного руху природи. Їхні темні, енергійно окреслені контури створюють на полотні виразний пластичний ритм — то повільний і плавний, то напружений, переривчастий. У цьому вбачається близькість Маневича до мистецтва модерну з його милуванням лінією.

Майстерне використання виразних можливостей кольорових мас, підпорядкованих площині полотна — у Маневича йде не тільки від модерну, а й від традицій постімпресіоністів, зокрема, улюбленого ним Поля Сезанна, творчість якого не обминув майже не один визначний майстер початку ХХ ст. Декоративні кольорові форми, часто відокремлені темним контуром, народжують на наших очах візуальні образи — дахи Києва, паркани, домівки, землю, небо... Маневич казав: «Я відмовлюся визнавати реальністю те, що являється оку. Реальність — це така якість, до якої може докопатися лише розум. У кожної речі є своя мова, і, щоб правильно відтворити її, художник повинен розуміти цю мову».

Так, Маневич узагальнює побачене, але його узагальнення спирається не на закони конструктивної будови речей, а, радше на своєрідність світобачення самого майстра. За нагромадженням кольорових площин у нього завжди присутня реальна підоснова пейзажного образу, яка визначається суттєвістю зображених форм та точністю передачі стану природи, поєданого з поетикою настроїв самого художника.

В одній із статей, присвячених творчості Маневича, Луначарський описував манеру його роботи, прагнення майстра досягнути закони існування світу: «Маневич сидів, бувало, схожий чимось на Гоголя, і, прищуливши очі, з рукою, що застигла в повітрі з пензлем, вдивлявся в «об'єкт». З трохи українським акцентом він говорив при цьому повільно: «Що ж воно таке?» І потім: несподівано, з неймовірною швидкістю обрушував на полотно мазок за мазком, задоволено шепочучи при цьому: «Ось воно що». Це не означає, що Маневич раніше щось погано бачив... Це значить, що Маневич не розумів якоїсь внутрішньої сутності побаченого, а потім раптом збагнув...»

Абрам Маневич — співець не тільки гучної сили природи, а й її тендітної тиші. Трансформуючи здобутки імпресіонізму в галузі пленеру, художник пише свої найпоетичніші пейзажі. В них простір набуває глибини і прозорості, наповнюється подихом свіжого повітря, трепетом мінливих

легких тіней, що пливуть по землі. Подивіться на тоненькі берізки, які «оживають» на наших очах, під теплими променями весняного сонця. «Симфонія весни» — то елегія музики барв. Поет Василь Стус присвятив цьому невеличкому пейзажу свій вірш:

Життя симфонія, «Симфонія весни»
І сатанинський, зойками Маневич.
Єврей по горло і по горло — невір
По горло маячний і мудрий сніг
Пелюсточками пальцями, руками,
Як жалами співучими до віт
Березових, хистких, бузково-тканих
В його лірично-фосфоричний світ...

Сучасна Маневичу критика писала, що фарби його «живуть, думають, хвилюють, радіють, страждають і борються». Живописне багатство землі художник розкриває і в монохромності сірих похмурих днів, і у варварській розкоші кольорів осені, коли дерева перетворюються на полум'яніючі величезні багаття, і в стихних вишуканих барвах пухкого снігу. Поет Верхарн стверджував, що Маневич вміє передавати пензлем відчуття холоду. Давид Бурлюк називав художника «магом і чародієм фарб, диригентом оркестру, в якому кольори грають в унісон без жодної фальшивої ноти в звучанні».

Виконані в Україні твори Маневича забарвлені то тонкими, «чехівськими» полутонами, то бравурними акордами потужних звуків фарб. Вони виступають у гармонії з натурою самого художника — зовні тихого, врівноваженого, схильного до сумних настроїв, але в глибинах душі якого буяли неспокій і пристрасть. Барви у Маневича поєднані з ритмом мазків, в одному разі — коротких, експресивних, в іншому — видовжених, гнучких,— складають пластично-кольорову характеристику світу, сповнюють роботи внутрішньою енергетикою.

У 1916 році в Петрограді, а згодом — у Москві, відбулися виставки творів Маневича, які ще раз підтвердили інтерес публіки до його мистецтва. Живучи в Москві, художник пише пейзажі міста — його околиці, фабричні квартали, що теж складаються із зображення дахів, парканів, будівель. Однак на відміну від київських, у них зовсім відсутній мотив дерев. У них Маневич повністю відходить від пленеризму, впритул підходячи до декоративного трактування картинної площини. Експресію життя великого міста він передає насиченим, доведеним до найвищого ступеня напруженості, червоним кольором, а також сильними, «вагомими» мазками, які не стільки живописують, скільки «ліплять» форму.

Далекий від політики, Абрам Маневич спокійно зустрів революційну добу. Наприкінці 1917 року його обирають професором пейзажного живопису шойно створеної Української академії мистецтв, фундаторами

якої виступили Олександр Мурашко, Федір Кричевський, Георгій Нарбут, Микола Бурачек... Втім грізні політичні події не обминули родину Маневича. 1919 року в Трипіллі трагічно загинув 17-річний син художника Борис — активний комсомолец. Тяжкі переживання, пов'язані з втратою єдиного сина, складні політичні і економічні обставини, примушують Маневича залишити рідні місця і відправитися за кордон (1921). У цьому йому допомогли Луначарський та Горький.

Митець планував повернутися на батьківщину після експонування своїх виставок в Європі. Доля ж розпорядилася інакше. Шлях Маневича проліг від берегів Дніпра до берегів Гудзону. З 1922 року він жив у Нью-Йорку. Оселився у Бронксі — бідному кварталі, де мешкало багато емігрантів. Поруч з ним жив його давніший знайомий, всесвітньо відомий кубофутурист Давид Бурлюк.

«Змінити ґрунт для художника набагато важче, ніж для вченого, комерсанта, просто трудівника. Художник має, як і кожний, пристосовуватися до статуту чужого монастиря, і, в той же час, виховувати в новій країні свого глядача, створити кадри своїх шанувальників, які сприймають його стиль, особливості і те, що називається мовою його рідної країни» — писав Бурлюк про такі важливі для них обох проблеми.

В Америці Абрам Маневич віднайшов і свою мову, і свого глядача. «Я переживаю тут нову пору переоцінки своєї художньої діяльності. Багато від чого я вже відмовився» — свідчив художник.

Тут, в Нью-Йорку, Маневич завершує розпочатий ще на батьківщині принципово важливий для нього твір — «Гетто» (1923), котрий придбав Бруклінський музей. Син межі осілості, він висловив на полотні віковічну скорботу і біль свого народу... Руїни домівок, що нагромаджуючись одна на одну здійснюються до самого горизонту. Над ними полум'яніють останні промені червоного, мов кров, сонця. На першому плані стоїть безпритульний одинокий чорний цап, що, здається, «прийшов» сюди з вузьких вуличок далекого Мстиславля.

Прошли века, но не исчезло Гетто,
За годом год чернят его заботы.
И огненный закат, пророчествуя где-то
Повис над городом, где чтят закон субботы...
Кошмар над Гетто тянется веками,
Оно под траурным налетом покрывала
От тех времен, когда молись Ваалу,
Толпа, как зверь, терзала жертв клыками.
Стенанья старых стен, согбенны Гетто крыши,
Безумье улочек и тупиков законность.
Но почему закат, ломая руки, дышит
Пурпурово, пророча тайн бездонность.

Це фрагменти з поеми, яку Давид Бурлюк написав під впливом побаченого полотна. В зображенні гетто Маневич досяг високого ступеня епічності і трагізму. Не даремно ж цю картину порівнювали з «Гернікою» Пікассо.

Америка дала новий імпульс творчості майстра. Змінювалась пластика його живописної мови, але незмінною залишалась тематика його пейзажів. Співець провінції, він пише одноповерхову повітову Америку, і таку ж Канаду. Зображуючи прозаїчні куточки невеличких міст, Маневич віднаходить поезію в похмурих будівлях промислового Пітсбурга, у світлих охайних вуличках Пікскіля, у темних негритянських кварталах Нью-Йорка. Цікаво, що в творах, написаних на батьківщині, Маневич майже ніколи не зображував людину. Його краєвиди були одухотворені лише її незримою присутністю. Тепер же постаті людей стають невід'ємною часткою того життя, що проходить у маленьких провулочках між крамничками, гаражами та бензоколонками. Та як і раніше, від пейзажів Маневича віє елегійною тугою за маленьким невігадливим щастям.

Характеризуючи творчість художника американського періоду, один з критиків відмітив, що Маневич «втратив безпосередність і свіжість колірного відчуття. Технічно художник навіть виріс. Цілий ряд картин на теми американської вулиці було написано блискуче, але в них немає вже того аромату природи, тієї наспівності барв, яку він показував на початку своєї молодोї творчості». Сам Маневич завжди пам'ятав «аромат» тієї природи, яку полишив. Його дочка Люся розповідала, що батько часом шукав такі пейзажні мотиви, котрі нагадували б йому Україну. Він спеціально їздив до Канади — писати зиму, прагнучи пригадати той ефект блиску снігу під сонцем. Він малював осінні парки Коннектикута, але вони вже не полум'яніли такою варварською розкішшю фарб.

Америка визнала і полюбила Абрама Маневича. Щороку у великих містах проходили виставки його творів. Його полотна купували музеї, приватні колекціонери. Його мистецтвом захоплювався всесвітньо відомий вчений Альберт Ейнштейн, котрий у записці вже смертельно хворому майстру написав: «Ми обоє служимо зорям — ви, як художник, я — як вчений». 1942 року Маневича не стало.

1972 року до Києва, міста, де пройшло її дитинство та юність, приїхала тендітна літня жінка — Люся Маневич. Виконуючи останню волю майстра, долаючи не лише великі відстані, а й, що було набагато складнішим, численні радянські бюрократичні перепони, вона через 30 років по смерті батька, привезла до Музею українського мистецтва 48 його живописних полотен. То був щедрий дар, який, до речі, не порадував тодішніх чиновників Міністерства культури. Він був для них обтяжливим і створював чимало проблем. Дочка хотіла побачити виставку батькових творів, і виставку, як не дивно, зробили. Але ця акція відбулася не в музеї, якому було презентовано картини і де ще в далекому 1909 році

відкрилася перша виставка молодого Маневича, а в Київському музеї західного та східного мистецтва, тим самим штучно відокремлюючи майстра від України, її малярства.

На творчий доробок Маневича можуть по праву претендувати кілька культур. У 1928 році А.Луначарський писав, що однією з найхарактерніших рис живопису художника «було глибоке єврейське начало. В чому воно полягало — це не так просто визначити. Щоправда, Маневич дуже любив суто єврейські сюжети: старі, напіврозвалені провінційні синагоги... будиночки на горбатій містечковій вулиці. Однак Маневич був палким любителем російської природи і природи взагалі. ...На картинах природи Маневича лежав відбиток дещо сентиментального переживання, її музика. Ось у цьому якраз, можливо, і є щось таке, що ріднило тодішнього Маневича з єврейством...» У Д.Бурлюка, нащадка вільних козаків, роботи майстра викликали спомини рідних з дитинства образів: «Провінція російська, уся заплакана. Все у Маневича нагадує по-чудовому, по-дивному Росію, але особливо гарний Дніпро — тут і верби, й гори, подивився на картину і побував на Україні — щасливий, ситий, де і дівчата, й соловейко...»

Саме на Україні Маневич створив свої найпоетичніші, найзворушливіші картини природи, ті, з якими він увійшов у європейське мистецтво. Проте, художник перейнявся й духом Америки і майже 20 років із захопленням писав її краєвиди...

Самобутнє, філософічне мистецтво Абрама Маневича піднеслося над часом і над вузькими національними визначеннями. Воно близьке і зрозуміле багатьом людям, адже в ньому — споконвічні ідеали добра і любові.

Михайло Кальницький

АБРАМ МАНЕВИЧ
У КИЇВСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ УЧИЛИЩІ

Дружній шарж Н.Альтмана на А.Маневича, надрукований у газеті «Киевская мысль» (1910).

Протягом неповних чотирьох років — з вересня 1901-го по травень 1905-го — Маневич навчався у Київському художньому училищі, яке почало діяти саме у вересні 1901 р. (йому передували тимчасові художні класи, відкриті у січні 1901 р.). Училище виникло за ініціативою групи відомих київських митців: художників В.Менка, В.Орловського, М.Пимоненка, Х.Платонова, І.Селезньова, О.Троїцької-Гусевої та архітектора В.Ніколаєва — першого директора училища. Тут викладали мало не всі провідні художники й скульптори тогочасного Києва. Інтимний пейзаж — улюблений жанр Малевича — був представлений у колі педагогів яскравою постаттю Григорія Дядченка. Навчальну програму для училища надала Імператорська Академія художеств (Петербург); малося на увазі, що вихованці,

котрі отримають у київському училищі середню освіту, можуть претендувати на вступ до Академії. Щоправда, через бюрократичні перешкоди статут училища тривалий час не був затверджений, і діяльність закладу фактично визначалася напівофіційними угодами між радою училища, Академією, містом та крайовою владою в особі генерал-губернатора. Це, зокрема, торкалося становища євреїв у Київському художньому училищі. Тут не було запроваджено «процентну норму», але вільно поступати до училища могли тільки ті єврейські юнаки й дівчата, хто вже мав право проживання у Києві, — адже Київ не входив до «межі осілості». Щодо приїжджих євреїв директор училища мав звертатися до генерал-губернатора з окремим клопотанням, де засвідчувалися їхні здібності до мистецтва, і лише після настійливих умовлянь начальник краю давав дозвіл на проживання учнів за особливим списком та тільки на час навчання.

Маневич — фактично вже самостійна 20-річна людина, якій довелося самій заробляти собі на життя — спершу був зарахований до училища як вільнослухач. Через це він, за приписом — мстиславський мішанин, не потрапив до списків на право проживання і мешкав поза

ИСКУССТВО



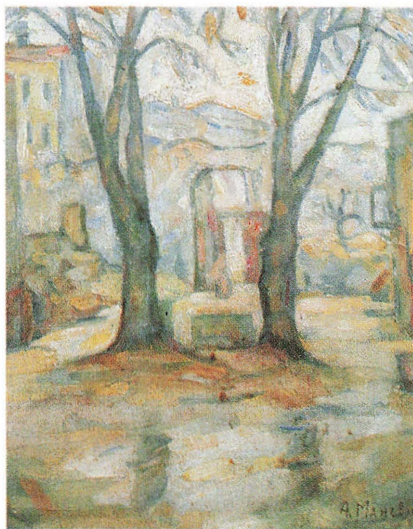
*А. Маневич. Провінція.
Із збірки І.Б. Черкаського*



*А. Маневич. Зимовий пейзаж.
1910-і рр. Із збірки І.М. Онопрієнко*

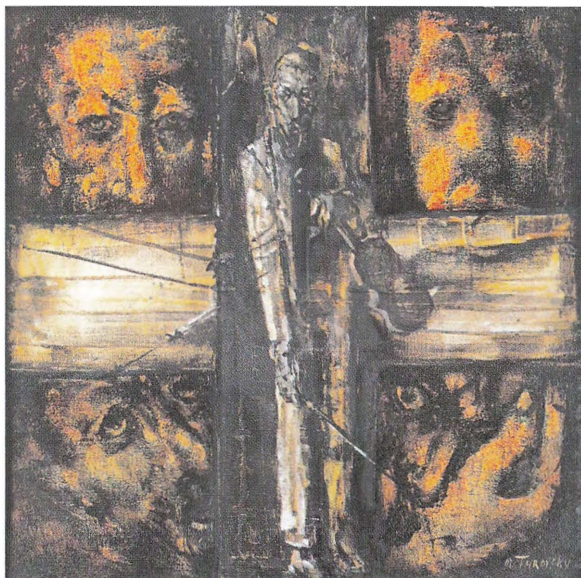


*А. Маневич. Золота осінь. 1910-і рр.
Із приватної збірки*



*А. Маневич. Міський пейзаж.
Із приватної збірки*

ИСКУССТВО



*М. Туровський. Скрипаль у таборі.
Полотно, олія. 61 х 61 см.*



*М. Туровський. У вогні.2
Полотно, олія. 61 х 76 см.*

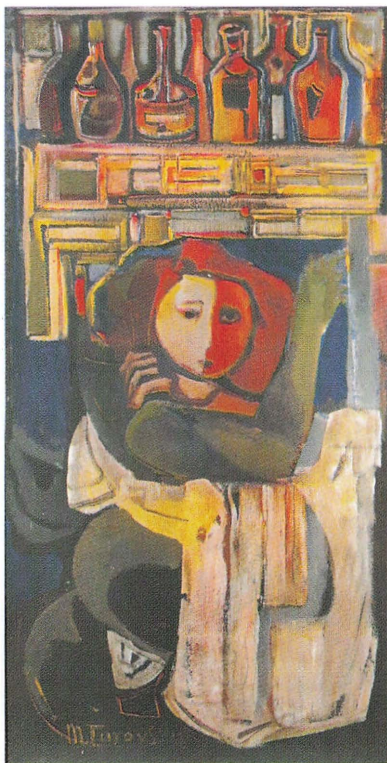


*М. Туровський. Без назви.
2000 р. Змішана техніка. 140 x 81 см.*



*М. Туровський. Муза.
1997 р. Змішана техніка. 200 x 92 см.*

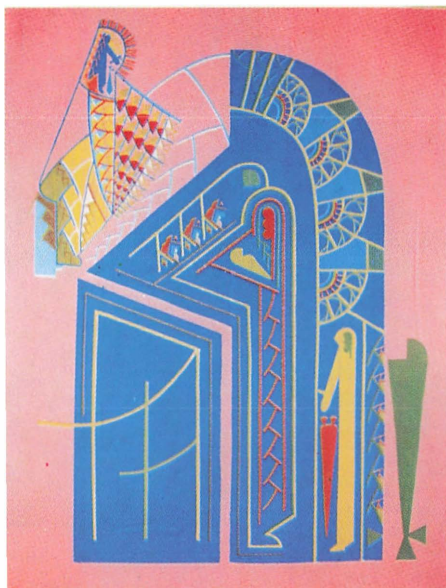
ИСКУССТВО



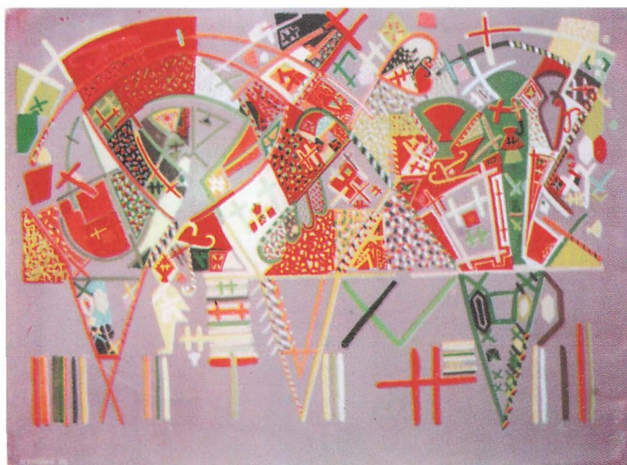
М. Туровський. Без назви.
1999 р. Змішана техніка. 186 х 92 см.



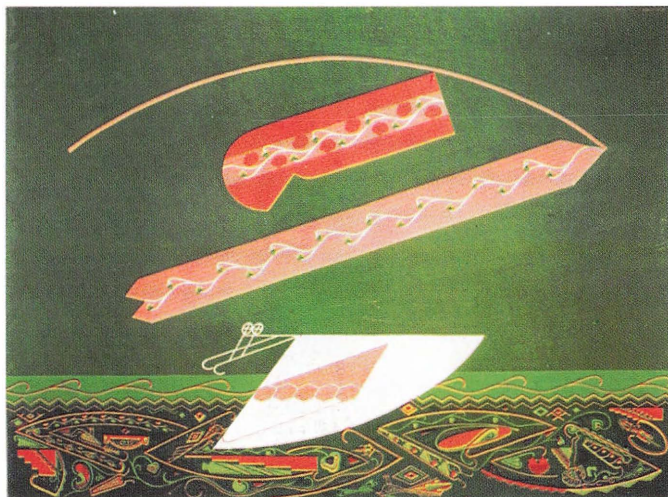
М. Туровський. Нью-Йорк. Опус 12.
1994 р. Полотно, олія. 92 х 72 см.



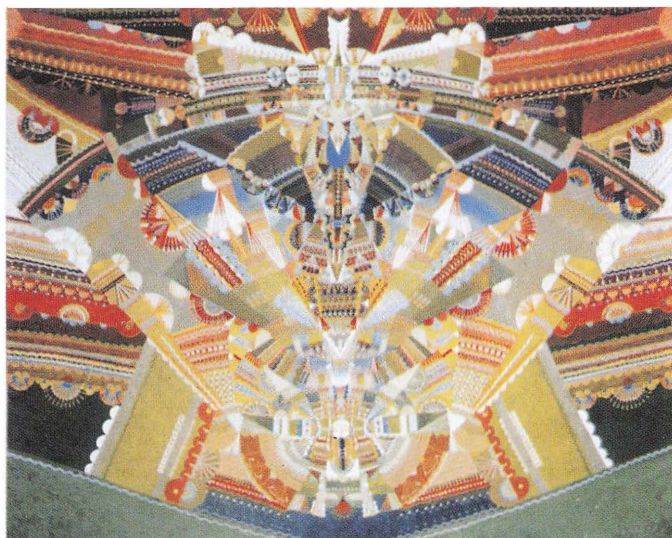
*С. Акерман. Облако священника
зелёной геометрии. 1987 г. Бумага, гуашь.*



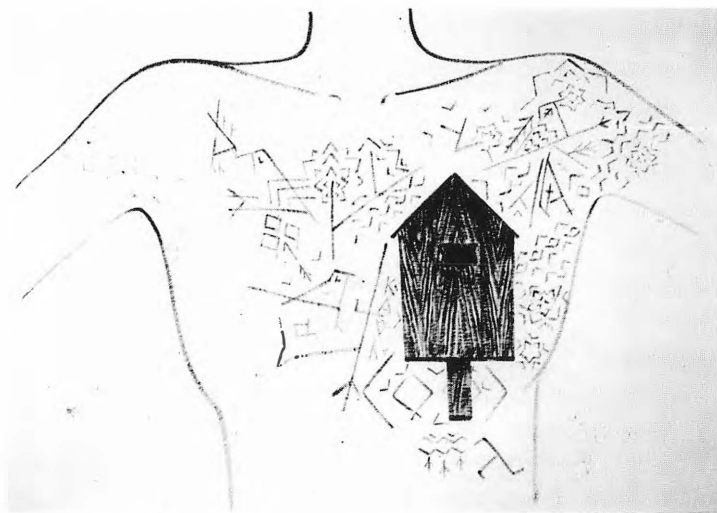
С. Акерман. Одежда земли. 1986 г. Бумага, гуашь.



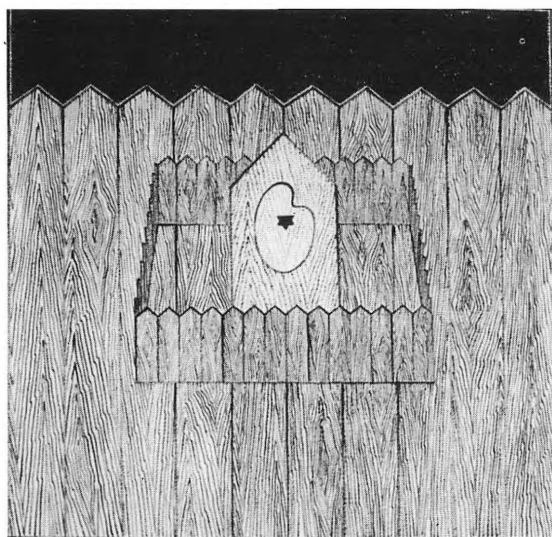
С. Акерман. Одежда земли. 1986 г. Бумага, гуашь.



С. Акерман. Зелёное солнце. 1981 г. Бумага, гуашь.



С. Акерман. Притча бодрствующего сна. Бумага, гуашь.



*С. Акерман. Притча бодрствующего сна.
1998 г. Бумага, гуашь.*

межами Києва, у передмісті Деміївці. Училище у 1901—1902 рр. перебувало на вул. Великій Житомирській, 29; з 1902 р. постійно містилося в будинку по Бульварно-Кудрявській, 2 (тепер вул. Воровського, приміщення належить педагогічному коледжу). Вільнослухачі могли відвідувати заняття з малювання, що відповідно до складності поділялися на класи: масковий, головний, фігурний, натурний. Вже у грудні 1903 р. Маневича зарахували до старшого, натурального класу. У травні 1905 р. він вибув з училища, щоб продовжити художню освіту у Мюнхені. Там у 1907 р. він влаштував першу самостійну виставку й повернувся до Києва, щоб увійти до шеренги найвидатніших майстрів пензля.

Олег Сидор-Гибелинда

ГЕОМЕТРИЯ СТРАСТИ

В середине 70-х, в некоем популярном нашем журнале появилось психологическое исследование. Любопытное, но среднего уровня достоверности: по маргиналиям, т. е., дословно, по «заметкам на полях», которые рассеянно чертит усталая рука, когда субъект беседует по телефону, слушает собеседника, просто размышляет, развалившись в кресле, ученые попытались сделать выводы о его характере. Среди представленных материалов нашлось место для лесенок и заборчиков; по мнению авторов, они должны были обозначать натуру непоколебимую и целеустремленную, чуть замкнутую и богатую сомнениями. Об искусстве там не сказано было ни слова...

Да не заподозрят меня в злопыхательских намерениях к автору! «Психологический практикум», в сущности, еще один повод для подтверждения закона о произрастании «высокого» из «низкого», «цветов» из «сора». Но тем более достоин внимания художник, у которого можно найти наряду с артистизмом и философичностью, также и неподдельную непринужденность (последнее — самое трудное, встречается гораздо реже всего предыдущего). Каждая из работ Самуила Аккермана, в жизни только что достигшего полувековой отметки, естественна, словно ее сделал ребенок. Вот только у взрослого рука несравненно увереннее, тверже...

«Я с детства угол рисовал», мог бы повторить Самуил Аккерман вслед за трагическим нонконформистом из всем нам известного стихотворения. Позиция, даже якобы не совсем удобная, — всегда благо: из остроты высекаются искры смысла, напротив, смыленность контура способствует творческому ожирению. (В последнем случае, увы, даже алкомая «многозначность» получается на поверку какой-то дряблой, плоской, скучной — как у Эжена Каррьера, в чем у меня была возможность убедиться на примере его полотен в Музее Родена). Словом, острота — залог — душевно-творческого — здоровья.

Во всяком случае, внятности. Ее-то современному искусству не хватает катастрофически. Всем своим творчеством талантливый уроженец Мукачево, теперешний парижанин и гражданин Вселенной, доказал вочию, что можно говорить непростые вещи простым и прозрачным, пусть при этом — колюще-режущим языком, не прибегая при этом даже к многословности. Ослепительная «ясность» ледяной поверхности предусматривает жестокость конфигураций ее возможных сослагающих. Безмятежность целого обеспечена потенцией зубастых осколков, в нем глухо таящихся.

В своем манифесте 1994 года, так и названном «Свиток прозрачности», Аккерман сравнил это искомое свойство со «зрачком ребенка, не знающим тяжести мира». Но ребенку неведомы также и некоторые жизненные фе-коллизии, до которых вправе додуматься только взрослые. И хотя они ностальгируют по их странному и жестокому миру, равно как и те порой взыскуют примет младенчества, но характер и тонус ностальгии — различные. Вальтер Беньямин, один из оригинальнейших мыслителей XX века, друг Брехта и барокко, любил игрушки. Но дети обычно с игрушками — играют!..

Страннику и энциклопедисту, неудачнику и коллекционеру, меланхолику и модернисту, Самуил Аккерман посвящает ассамбляж 1987 года — черный галстук со звездой Давида, раздваивающийся в верхней части двумя узкими пластронами, снабженными двумя петлями...То ли извечная раздвоенность интеллектуала сквозит в этом символе, то ли намек на способ разрешения житейских треволнений — на роковую петлю, схлестнувшуюся на шее самого мнительного из группы беженцев, застрявших на франко-испанской границе в 1940 году... И пусть говорят историки, что это была случайность, и таможенники, угрожавшие редепортацией, на самом деле ждали обычной взятки — смерть Вальтера Беньямина остается черным пятном на (и без того не белоснежной) совести тоталитаризма прошедшего столетия.

Тема террора и насилия, возведенного в унылый, ежедневный принцип, является определяющей в лучшей, на мой взгляд, серии Аккермана — «Притче бодствующего сна», созданной в технике гуаши в 1997 году. (После «высоких слов» как-то несподручно гутарить о формально-фактурных изысках, а придется, т. к. эта техника обычно используется с целью создания атмосферы плотного, жирного праздника, как это мы наблюдаем в «масленицах» Кустодиева, а уж никак не для зависания над пропастью... но именно так это происходит у нашего современника).

Серия строится на — опять-таки, «прозрачной» — оппозиции забора (черной ямы, сухой коряги) и звезды Давида. Первая группа символов наделяется семантическим подтекстом, обозначающим мертвенность, однообразие, унылое уродство. Знак «второго ряда», однако, не выступает абсолютной противоположностью знакам «ряда первого»: жизнь также медленно источается из его немногочисленных реинкарнаций — из сухого листка, отверстия в скворешне, из картинке в книге. Потому что: осквернено, запылено в черную яму полуплешивое древо; опрокинут скворешник; искромсана книга; надежды нет? И все-таки противостояние происходит — в стадии пред-агонии, в сумраке поражения, из «позиции лежа», когда уже нечего терять, кроме своего достоинства.

Забору чаще всего отведена роль ограды как пространственного усекновения, дощатого (не железного! — в этом была бы своя «эстетика»: мерцание холодного металла, капли воды на запотевшем железе, непред-

сказуемые арабески ржавчины...) занавеса, намертво пригвоздившего эту холодную землю. Разумеется, это наиболее общее воплощение тоталитарной власти (тогда как яме «поручена» одна из ее ответственных функций — узилища). Забор — это также искусственная замена горизонта, черта, определяющая невидимому обитателю (и зрителю) положенную меру неба. (Он также покровительствует шахтам, куда сбрасывается все, содержащее оттенок сопротивления). Или даже простой фон, присутствие которого положено не замечать, что на нем самом, фоне, никак не называется.

Разновекторные параллели двух пил, положенных вдоль забора, навязчиво разрушают намечающуюся тавтологию образов, рост оборзевшего симулякра, вверху снаряженного зубчатым краем, диагональной лентой текущим из одного угла в другой. Иного не дано. Предметы власти не способны карать (наказание происходит «за кадром», действие его непостижимо), они в состоянии лишь тускло доветь. Или «умножать двойников» (вслед за зеркалами и женщинами, если верить Борхесу), рождать из своей серой утробы структуры следующего (но не лучшего, не более совершенного) уровня, отчего дифференцированное пространство уподобляется блогаузу без бойниц, гробовому отсеку без надгробия... парашечному пятачку — «без права облегчиться»? (Ситуационная перверзийность скорректирована перверзийностью соответствующего измерения: новое, с позволения сказать, «строение» не произрастает из почвы, забор, положенный навзничь, не дает оснований для его «столпоутверждения»).

Мы будем трижды неправы, ограничившись исключительно этой, минорной интонацией. Ибо орешник зеленеет — солнышко блестит, ласточка весною, в гости... к нам... впрочем, все это лишь ожидается, но не без оснований, задаваемых «иными» листьями серии. Скворешник покоится на белой поверхности, напоминающей снег (в ход вступают воркутинско-соловецкие коннотации), но из его боков пробиваются ростки несмелой хвои. Десять «почерневших» скворешников распято на стволах, подвергшихся единообразной ампутации, а на десятом — глянь, проклюнулось окошечко! А вот еще один «почерневший» скворешник, странным образом совмещенный с нагим человеческим торсом. Немудрящие иероглифы, без сомнения, навеянные мелодией исчезнувших птиц, расплозились по поверхности податливой кожи... Исключения — пожалуй, но исключения, подрывающие жизнеспособность Правила.

Таким образом, страсть (в данном случае, возмущения) заключена в строгие рамки геометрической аллегии, в нарратив прозрачной притчи; в косноязычии (обычно не только прощаемом, но и поощряемом) ей отказано наотрез. При этом она не теряет в силе выразительности и убедительности: по не столь отдаленной аналогии в памяти всплывают страшные побасенки Франца Кафки, рассказанные сухим и ломким, от беспро-

будного отчаяния осипшим голосом-слогом. (Он тоже читал «бодрствующие сны»!). Даже система организации пространства у писателя и художника — почти идентична: «На противоположной стороне улицы четко вырисовывался кусок бесконечного серо-черного здания — это была больница — с равномерно и четко разрезавшими фасад окнами...» («Превращение»). Аккерман, однако, предпочитает поверхности «без окон, без дверей»: «опыт отчаяния», накопившийся в нем, в его современниках более чем за истекшие полвека, толкает его на поиск «света в конце тоннеля» — под совсем другим азимутом.

И вот здесь можно было бы поставить точку. Одна геометрия (визуальности) замкнулась инородной геометрией (нарратива). Все логично, последовательно, убедительно — кроме того обстоятельства («на правах постскриптума»), что может быть и «другой Аккерман». Он ни на йоту «не поступается принципами», но измышляет на плоскости флоральную феерию, явно вдохновленную декоративно-прикладным искусством родных Карпат («Одежды земли», «Зеленое солнце», «Зеленое поле», «Облачко священной зеленой геометрии»). Показательно, что доминантным в богатом колористическом спектре (ср. с аскетической монохромией «Притчи...») оказываются «измарагд ликующий», что без труда воскрешает в памяти строки одного из наиболее блестящих украинских поэтов Богдана-Игоря Антонюча.

Гелий Аронов, Елена Школяренко

МОНОЛОГ НА ДВА ГОЛОСА О ХУДОЖНИКЕ МИХАИЛЕ ТУРОВСКОМ

Гелий Аронов. В мае 1979 года киевский художник Михаил Туровский уехал в Штаты. Тогда казалось — бесповоротно, безвозвратно, как говорят у нас — «с концами». А еще у нас справедливо говорят: «С глаз долой — из сердца вон».

Тем неожиданнее для очень многих стало появление его 22 года спустя на большой собственной выставке в Национальном художественном музее Украины, где, кстати, оказалось, что художник прекрасно говорит по-украински. («И зачем это ему?» — удивлялись многие давние знакомцы и коллеги, прожившие всю жизнь в Украине, но так и не удосужившиеся освоить этот язык).

Но самое главное, что поразило знавших Мишу доэмиграционного — это темперамент его работ, такой узнаваемый и такой неожиданный в давно сложившемся и не таком уж молодом Мастере. Ведь он был хорошо известен и до 1979 года (об этом, кстати, еще раз напомнила практически одновременно открытая усилиями Института иудаики и галереи «Тадзио» выставка графических работ Туровского, хранящихся в частных коллекциях). Более того, ряд тем того, доэмигрантского периода, остались в его творчестве — и остались, наверное, навсегда.

Прежде всего — это Холокост. Можно бесконечно спорить о способах живописного решения этой темы (кое-кто считает, что она вообще такового не имеет). Но право художника решать — быть или не быть ей в его творчестве. А это право в свою очередь диктуется наличием или отсутствием ее в сердце.

Елена Школяренко. У Миши она именно там. И этим объясняется один феномен: первые, самые трудные 10 лет жизни в Нью-Йорке, он был поглощен именно темой Холокоста, безусловно, не имевшей никакой коммерческой перспективы.

Это началось еще в Киеве, где в Бабьем Яру лежат очень многие его родственники. Нужно было видеть, как он работал над серией графических листов «Бабий Яр» — до изнеможения, до нервного срыва. Он пытался воплотить в зримые образы то, что не поддавалось изображению.

Уже в Нью-Йорке он предпринял вторую попытку изображения Холокоста, на этот раз — живописную. Веселый по натуре, открытый для радости, влюбленный в солнечную красоту мира, в цветущую прелесть женского тела, он взвалил на себя, казалось, непосильную ношу — показать

униженные, изуродованные и убитые человеческие дух и плоть. Он пошел по пути поиска человечности в нечеловеческом.

Гелий Аронов. Грешен: во время подготовки выставки в Киеве я предложил не экспонировать «Холокост» вообще. И дело было не в том, что я считаю наиболее подходящим для живописного изображения актов геноцида путь Пикассо с его «Герникой», где гармония и красота разорваны, растерзаны, разъяты. Нет, я просто элементарно боялся — непонимания, оскорбительного равнодушия или даже яростного отрицания. Миша не согласился со мной, и мы оба оказались правы, ибо честно работающий художник всегда прав, но прав и скептик-обыватель, всегда боящийся худшего.

Это же можно сказать не только о монохромном мире «Холокоста», но и о цикле, идею которого Михаил Туровский тоже вывез с собой в эмиграцию. Речь идет о «Лениниане», начавшейся для художника еще в 70-е годы. Естественно, в то время эта тема казалась сплошь конъюнктурной. Но возвращение к ней через 20 лет в мире совсем ином выдавало личную заинтересованность художника, более того — свидетельствовало о неотступности этой темы, о желании объяснить, прежде всего себе, суть личности В.И.Ленина, столь трагично повлиявшего на судьбы человечества в XX веке. «Конец прекрасной утопии» — это не только название цикла, но и знак освобождения самого художника из-под ига догм, упований и наивной веры.

Елена Школяренко. Выставка была устроена так, что посетитель как сквозь строй проходил через два зала («Лениниана» и «Холокост») и лишь тогда попадал в залы, где экспонировалась живопись Михаила Туровского, созданная им в 90-е годы XX века. Здесь атмосфера резко менялась, демонстрируя широчайший диапазон творческих возможностей Мастера. И это при том, что он не балует разнообразием сюжетов: оно лишь в предельной пластической и колористической выразительности любого мотива, будь то пейзаж, ню или любовная сцена. Главный смысл и содержание почти всех этих картин — фигура обнаженной женщины, монументально заполняющая пространство кадра, данная во всевозможных позах и ракурсах. Женщины очень разные, многие отнюдь не блещут молодостью и красотой, но они живописно прекрасны, ибо живопись Михаила Туровского динамична и упруга. В ней поражает и композиционная цельность каждой фигуры, казалось бы, расчлененной контрастирующими пятнами света и цвета. Безошибочный рисунок сдерживает и ограничивает цветовые массы — то едва намеченным контуром, то контрастирующей линией. Каждая из картин неповторима своей гармонией цветовых и тональных созвучий и столкновений. Полотна не нуждаются в названиях, а те, что попадают — «Даная», «Ева», «Олим-

пия», «Купальщицы» — воспринимаются скорее как отголоски классических сюжетов...

Гелий Аронов. Конечно, произведения искусства самоценны, и, возможно, не нуждаются в присутствии автора при экспонировании. Но беру на себя смелость утверждать, что люди, знакомые с Михаилом Туровским, получают некое преимущество при оценке его живописи. И дело не только в том, что присутствие блестящего знатока мировой живописи может многое разъяснить. Общение с ним — с человеком, наэлектризованным иронией и самоиронией, импровизационным остроумием, дает ключ к пониманию многих его жизненных и творческих коллизий. Объясню это на примере.

Во время персональной выставки в Союзе художников Украины (1978 г.) один крупный чиновник от искусства настоятельно рекомендовал дать на плакате выставки портрет В.И.Ленина. Отказаться было чрезвычайно опасно, но и согласиться невозможно. Выручило спонтанное остроумие. «Очень хорошо, — сказал Миша. — Будет дан портрет вождя и подпись под ним: Михаил Саулович Туровский».

Высокому чиновнику крыть было нечем. Так появился плакат с Мавкой из «Лісової пісні» Леси Украинки.

На выставку Михаила Туровского в Национальном музее пришло много друзей, собратьев по ремеслу, представителей других искусств. Многие из них приходили в выставочные залы снова и снова. И не только чтобы еще раз взглянуть на полотна, главное — пообщаться с автором. И он их не разочаровал, представляя перед ними в разных ипостасях: друзья то слышали в его исполнении романсы, то афоризмы из книги «Зуд мудрости», в которой наиболее полно отразился груз печальной мудрости художника. «История повторяется. С евреями она повторяется чаще», — утверждает Михаил Туровский. Хочется верить, что повторяются не только ее страшные страницы.

DE MORTUIS

ПАМЯТИ ОЛЬГИ ШАНИНОЙ-МУДРАГЕЛЬ



В 1994 году, работая над первым номером «Егупца», мы полушутя-полусерьезно говорили: «Давайте дадим друг другу слово непременно дожить до 10-го номера». Тогда это казалось таким естественным, хоть и далеким.

И вот перед нами «Егупец» № 9, во время работы над которым ушла из жизни самая молодая из нас — ответственный секретарь альманаха и ученый секретарь Института иудаики Ольга Вадимовна Шанина-Мудрагель.

Скоротечная болезнь отрывала ее от нас, но мы никак не могли смириться с неотвратимым. Ведь Оля была так полна жизни, интереса к ней, планов и надежд, так внимательно следила за всем происходящим, так мужественно переносила мучительное лечение...

В последний раз на людях она появилась на открытии выставки нашего друга — Миши Туровского: улыбалась, шутила, смеялась, оставаясь все той же знакомой нам Олей. Она так радовалась успеху друга, так светилась доброжелательностью, что казалось: жизнь еще не исчерпана, ее хватит надолго. Чего это ей стоило, можно только догадываться.

Надо ли говорить, как нам ее не хватает? Как часто хочется посоветоваться с ней или просто попросить почитать Цветаеву, что она так любила и так артистично делала.

Увы, остается утешаться надеждой, что все знавшие Олю никогда ее не забудут и, сколько бы ни длился «Егупец», она всегда будет с нами.

Редколлегия альманаха

ЗМІСТ — СОДЕРЖАНИЕ**ПРОЗА**

Ирина Хорошунова
ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ
5

Ханна Краль
РАССКАЗЫ

ДИБУК

111

КРЕСЛО

120

ПРАВНУК

123

СПАСЕНИЕ

130

ПРИСУТСТВИЕ

134

ДРУГИЕ ИСТОРИИ

140

Селим Ялкут
МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ
147

ПОЕЗІЯ — ПОЭЗИЯ

Анатолий Німченко
ВІРШІ
170

Григорій Фалькович
ВІРШИКИ З ДИТЯЧИХ БЛОКНОТІВ
174

Инна Захарова
ЕВРАЗИЯ
178

ПУБЛІЦИСТИКА — ПУБЛИЦИСТИКА

Жанна Ковба
ВИПРОБУВАНІ ЖИТТЯМ І СМЕРТЮ
181

Вадим Скуратовский
К ЗАГАДКЕ ЕВРЕЙСКОГО ФЕНОМЕНА
201

Михайло Вайскопф
«МИ БУЛИ НАЧЕ ВВИ СНІ»:
ТЕМА ВИХОДУ В ЛІТЕРАТУРІ
РОСІЙСЬКОГО ІЗРАЇЛЮ
205

Йоханан Петровский-Штерн
ОДИССЕЙ СРЕДИ КЕНТАВРОВ
219

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ — НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

Ирина Сергеева
СЕМЕН АКИМОВИЧ АН-СКИЙ:
СОБИРАТЕЛЬ, ЭТНОГРАФ, ПИСАТЕЛЬ
229

Семен Ан-ский
ВСТРЕЧА
237
ИСТОРИЯ С БЕШТОМ
И УБИТЫМИ ХРИСТИАНАМИ
240
ИСТОРИЯ С БЕШТОМ
И СВЯТО-ПОГИБШИМИ ИЗ-ЗА НАВЕТА
241

Катя Петровская
ДОН-АМИНАДО, ТРАГИЧЕСКИЙ ШУТ
243

Дон-Аминадо
СТИХИ
Публикация М.А.Рыбакова
264

Евгения Дейч
Б.К.ЗАЙЦЕВ О С.С.ЮШКЕВИЧЕ
280

Борис Зайцев
С.С.ЮШКЕВИЧ (1869-1927)
282

ЕПІСТОЛЯРІЯ—ЭПИСТОЛЯРИЯ**Лев Квитко****ПИСЬМА М.ХАЩЕВАТСКОМУ И А.ГУРШТЕЙНУ****285**МЕМУАРИ — МЕМУАРЫ**Наталья Белинкова-Яблокова****УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИК****300****Станіслав Цалик, Пилип Селігей****ЄВРЕЙСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ — МЕШКАНЦІ РОЛІТУ****328****КАК Я ВЫЖИЛА****РАССКАЗ МАРИИ НАУМОВНЫ ВИННИК****342****«НАШ АР'Є»****ІНТЕРВ'Ю З ЄВГЕНОМ СВЕРСТЮКОМ****352**МИСТЕЦТВО — ИСКУССТВО**Ольга Жбанкова****МАГ І ЧАРОДЕЙ ФАРБ****361****Михайло Кальницький****АБРАМ МАНЕВИЧ****У КИЇВСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ УЧИЛИЩІ****368****Олег Сидор-Гибелинда****ГЕОМЕТРИЯ СТРАСТИ****370****Гелій Аронов, Елена Школяренко****МОНОЛОГ НА ДВА ГОЛОСА****О ХУДОЖНИКЕ МИХАИЛЕ ТУРОВСКОМ****374**DE MORTUIS**ПАМ'ЯТИ ОЛЬГИ ШАНИНОЙ-МУДРАГЕЛЬ****377**

CONTENTS

PROSE

Irina Khoroshunova
THE FIRST YEAR OF THE WAR
5

Hanna Kral
STORIES
DIBBUK
111
CHAIE
120
GREAT GRANDSON
123
SALVATION
130
PRESENCE
134
OTHER HISTORIES
140
Selim Jalkut
A PLACE FOR LIFE
147

POETRY

Anatol' Nimchenko
POEMS
170
Grigory Falkovich
SMALL POEMS FROM CHILDREN'S NOTEPADS
174
Inna Zakharova
EURASIA
178

PUBLICISM

Zhanna Kovba
TESTED BY LIFE AND DEATH
181

Vadim Skuratovsky

TO THE MYSTERY OF THE JEWISH PHENOMENON
201

Mikhail Weiskopf

“WE WERE LIKE IN THE DREAM”:
A THEME OF EXODUS IN THE LITERATURE
OF RUSSIAN-SPEAKING ISRAEL
205

Johanan Petrovsky-Shtern

ODYSSEY AMONG CENTAURS
219

OUR PUBLICATIONS

Irina Sergeeva

SEMEN AKIMOVICH AN-SKY:
COLLECTOR, ETHNOGRAPHER, WRITER
229

Semen An-sky

A MEETING
237

A HISTORY ABOUT BESHT
AND KILLED CHRISTIANS

240

A HISTORY ABOUT BESHT AND HOLY-PERISHED
BECAUSE OF THE SLANDER

241

Katya Petrovskaya

DON AMINADO, A TRAGIC BUFFOON
219

Don Aminado

POEMS
264

Evgenia Deich

BORIS ZAITSEV ABOUT SEMEN JUSHKEVICH
280

Boris Zaitsev

S.S.JUSHKEVICH (1869-1227)
282

EPISTOLARY

Lev Kvitko
 LETTERS TO M. KHASHCHEVATY AND A. GURSHTAIN
 285

MEMOIRS

Natalia Belinkova-Jablokova
 THE TEACHERS AND THE STUDENT
 300

Stanislav Tsalik, Philip Seligey
 JEWISH WRITERS IN "ROLIT"
 328

HOW I SURVIVED
 A STORY OF MARIA NAUMOVNA VINNIK
 342

"OUR ARIE"
 INTERVIEW WITH EUGEN SVERSTIUK
 352

ARTS

Olga Zhbankova
 MAGICIAN AND WIZARD OF COLORS
 361

Mykhaylo Kalnytsky
 ABRAM MANEVICH AT KIEV ART SCHOOL
 368

Oleg Sidor-Gibelinda
 GEOMETRY OF THE PASSION
 370

Geliy Aronov, Elena Shkolarenko
 MONOLOGUE FOR TWO VOICES
 ABOUT THE ARTIST MIKHAIL TUROVSKY
 374

DE MORTUIS

IN MEMORY OF OLGA SHANINA-MUDRAGEL
 377

Інститут юдаїки

спеціалізується на організації досліджень та координації зусиль вчених у галузі вивчення єврейської історії та культури в Україні

Основні форми роботи Інституту:

- ✧ виконання дослідницьких проектів;
- ✧ організація та проведення конференцій, семінарів, лекторіїв;
- ✧ збирання архівів;
- ✧ видавнича діяльність;
- ✧ організація мистецьких виставок;
- ✧ бібліографічні розвідки

Дослідницькі проекти

Історико-архівні програми

- ✧ опис єврейських фондів та документів в архівах України;
- ✧ вивчення історії репресій проти євреїв та єврейської культури за матеріалами архівів ДПУ, НКВС, КДБ;
- ✧ формування фотоархіву «Єврейський світ» (фотографії кінця XIX — початку XX ст.);
- ✧ відродження організованого єврейського життя в Україні: 1987-2001 рр. ;
- ✧ вивчення історії КАТАСТРОФИ;
- ✧ формування кіноархіву: єврейська тема у кінематографі України XX ст.;
- ✧ створення енциклопедії «Українське єврейство».

Соціологічні, демографічні та політологічні програми

- ✧ проект «Долі євреїв України у XX столітті» — запис усних історій людей старшого віку;
- ✧ моніторинг проблем міжнаціональних відношень;
- ✧ моніторинг ксенофобських, антисемітських акцій, публікацій, виступів. Розробка програм сприяння толерантності та багатокультурності в українському суспільстві;
- ✧ демографічний прогноз чисельності єврейства України;

Мистецькі програми

- ✧ організація виставок: єврейська тема у живопису, графіці, скульптурі художників України;
- ✧ дослідження історії арт-юдаїки в Україні.

Конференції, семінари, лекторії

Починаючи з 1993 року, *Інститут* щорічно організує та проводить міжнародну наукову конференцію «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи».

Видавнича діяльність

Інститут видав:

- ✍ Художньо-публіцистичний альманах «Єгупець» (№1-8, 1995-2001 рр.). Ред. Г.Аронов;
- ✍ Матеріали міжнародних наукових конференцій «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи» (1994-2001 рр.). Ред. Г.Аронов;
- ✍ Матеріали Єрусалимської конференції 1993 р. «Україно-єврейські взаємини» («Філософська і соціологічна думка», №№ 1-2, 5-6, 1994 р.). Ред. Л.Фінберг;
- ✍ «Jews and Slavs» v.5, Jerusalem, 1996. Ред. В. Москович, Л.Фінберг та ін.;
- ✍ С.Рос. Легальные средства борьбы против антисемитизма. Ред. В.Миндлин. 1996;
- ✍ «Поле відчаю й надії». Ред. та упорядник Р.Корогодський. 1994;
- ✍ Шимон Маркиш. Бабель и другие. Ред. Л.Финберг. 1996;
- ✍ Новые реалии Украины: украинско-еврейский диалог. Ред. Л.Финберг. 1997;
- ✍ М.Кальницький. Синагога Киевской иудейской общины. 5656-5756. Исторический очерк. 1997;
- ✍ Підготовчі матеріали для популярної енциклопедії «Українське єврейство». Вип. 3 - 1998, вип. 4 - 1999 (препринти статей до тому «Україно Judaika. Українсько-єврейські взаємини»). Ред. М.Феллер;
- ✍ Карта-схема «Єврейські адреси Києва». Упорядники О.Школярєнко, М.Кальницький, З.Чечик. 1998. Вид. друге, доповнене. 1999; Вид. третє, 2001.
- ✍ Ж.Ковба. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки «остаточного розв'язання єврейського питання». 1998; Вид. друге, доповнене. 2000;
- ✍ М.Мицель. Общини иудейского вероисповедания в Украине (Киев, Львов: 1945-1981 гг.). 1998;
- ✍ Труды еврейской историко-археографической комиссии 20-30-х годов. Сост. В.Хитерер. 1999.
- ✍ Живими остались только мы. Свидетельства и документы. Ред. та упорядник Б.Забарко. 1999;
- ✍ Гелий Аронов. Как я был... 2000;
- ✍ Перец Маркіш. Наречений завірюхи. Вірші і поеми. Переклад з ідиш Богуславської. 2000;
- ✍ И.Зисельс. Если я только для себя... 2000. Ред. М.Петровский;
- ✍ В.Скуратовский. Проблема авторства «Протоколов сионских мудрецов». Ред. М.Петровский. 2000;
- ✍ «Jews and Slavs», v.7, ред. В. Москович, Л.Фінберг, М.Феллер. 2000;
- ✍ В.Хитерер. Документы по еврейской истории в киевских архивах (XVI-XXвв.). 2001;
- ✍ М.Береговський. Пуримшпили. Еврейские народные музыкально-театральные представления. 2001;
- ✍ Р.Метельницький. Деякі сторінки єврейської забудови Луцька. Ред. М.Петровский. 2001;
- ✍ Родной голос. Страницы русско-еврейской литературы конца 19-начала 20 вв. Составитель Шимон Маркиш, 2001.
- ✍ Поза межами розуміння. Богослови та філософи про Голокост. Ред. Л.Фінберг 2001.

Образотворчі видання:

- ✍ Ілюстрований єврейський календар на 5757-5758 (1998-1999 рр.). /Єврейське ритуальне срібло/. 1997;
- ✍ Єврейський календар на 1999-2000. /Єврейська книжкова графіка/. 1999;
- ✍ Еврейский календарь-справочник на 5760 (1999-2000). 1999;
- ✍ Єврейські поздоровчі листівки (Песах, Пурим, Рош-а-шана, Симхат Тора, Ханука). 1999;
- ✍ Єврейський календар на 2000-2001. /Сучасна арт-юдаїка України/. 2000;
- ✍ Еврейский календарь-справочник на 5761 (2000-2001). 2000;
- ✍ Еврейский календарь на 2000-2001. /Еврейские сказки/. 2000;
- ✍ Єврейський календар на 2001-2002. /Єврейська тема в творах українських майстрів XIX-XX ст./. 2001;
- ✍ Б.Лекарь. /Альбом репродукцій/. Предисл. М.Петровский, Г.Островский. 2001.

Інститут готує до видання:

- ✍ Художньо-публіцистичний альманах «Єгупець» № 10;
- ✍ Електронний варіант Енциклопедії «Українське єврейство». Редактор М. Феллер;
- ✍ Путівник «Єврейська історія та культура України». Ред. М.Кальницький;
- ✍ Олександр Круглов. Документи по истории Холокоста. Ред. Р.Ленчовский

Адреса Інституту:

Україна, 03049, Київ, вул. Курська, 6
тел./факс. 38 (044) 248-89-17
E-mail: judaica@svitonline.com;
Internet: <http://www.judaica.kiev.ua>

Institute of Jewish Studies

***Specializes on organization of research and coordination of efforts of scientists
in the field of Jewish history and culture in Ukraine***

Institute's Main Activities:

- ✧ research projects;
- ✧ organization of conferences, seminars, lectures;
- ✧ collection of archives;
- ✧ publications;
- ✧ organization of artistic exhibitions;
- ✧ bibliographic explorations

Research Projects

Historical-Archival Programs

- ✧ Description of Jewish funds and documents in the archives of Ukraine;
- ✧ Study of the history of repression against Jews and Jewish culture according to the archives of DPU, NKVD, KGB;
- ✧ Formation of the «Jewish World» photo-archive (photographs dated the end of the 19th – beginning of the 20th centuries);
- ✧ Revival of the well-organized Jewish life in Ukraine. 1987-1998;
- ✧ Study of the history of the HOLOCAUST;
- ✧ Formation of a film archive: Jewish theme in Ukraine's cinematography of the 20th century;
- ✧ Creation of the «Ukrainian Jewry» Encyclopedia.

Programs in Sociology, Demography and Political Science

- ✧ Project «Fates of Jews of Ukraine in the 20th century» – recording of oral stories of older people;
- ✧ Monitoring of problems in ethnic relations;
- ✧ Monitoring of xenophobic, anti-Semitic actions, publications, and statements. Development of programs for promotion of tolerance and multiculturalism in the Ukrainian society;
- ✧ Demographic forecast of the number of Jews in Ukraine;

Arts Programs

- ✧ Organization of exhibitions: Jewish theme in pictorial, graphic and plastic arts of Ukrainian artists;
- ✧ Studies in Ukrainian art-Judaic.

Conferences, Seminars, Lectures

Since the year of 1993, the *Institute* organizes and annually holds International Scientific Conferences on the subject «Jewish History and Culture in Central and Eastern Europe».

Publishing Activities

The Institute has published:

- ✂ The literary-sociopolitical almanac «Yehupets» (#1-8, 1995-2001). Editor G. Aronov.
- ✂ Materials of the International Scientific Conference «Jewish History and Culture in Central and Eastern Europe» (1994-2000). Editor G. Aronov;
- ✂ Materials of the Jerusalem conference in 1993 on the subject «Ukrainian-Jewish Relations» («Philosophical and Sociological Thought», #1-2, 5-6 1994. Editor L. Finberg);
- ✂ «Jews and Slavs» v/5, Jerusalem, 1996/ Editors V. Moskovich, L. Finberg, etc.;
- ✂ S. Ros. Legal Means of Fight Against Anti-Semitism. Editor V. Mindlin, 1996;
- ✂ «The Field of Despair and Hope», editor and compiler R. Korogodsky, 1994.
- ✂ Shimon Markish Babel and Others. Editor L. Finberg, 1996.
- ✂ «New Realities of Ukraine: Ukrainian-Jewish Dialogue», editor L. Finberg, 1997.
- ✂ M. Kalnytsky, Synagogue of the Kiev Jewish Community. 5656-5756. Historical Review, 1997.
- ✂ Preparatory materials for the popular Encyclopedia «Ukrainian Jewry», third issue (preprints of the articles for the volume on «Ukrainian-Jewish Studies. Ukrainian-Jewish Relations»). Editor Martin Feller, 1997, 1998.
- ✂ A tour map «Jewish Addresses of Kyiv» compiled by O. Shkoliarenko, M. Kalnytsky, Z. Chechyk, 1998, 1999.
- ✂ Zh. Kovba. Humanity in the Precipice of Hell. Conduct of the Local Population in Western Galitsia during the Years of the Ultimate Solution of the Jewish Problem, 1998; Second edition – 2000.
- ✂ M. Mitsel. Jewish Religious Communities in Ukraine (Kiev, Lvov, 1945-1981), 1998.
- ✂ «Works of the Jewish Historical-Archeographic Commission of the 1920-30-ies», compiled by V. Khiterer. 1999.
- ✂ «Only We Survived. Testimonies and Documents», editor and compiler B. Zabarko, 1999.
- ✂ Gelii Aronov. How I Was..., 2000.
- ✂ Peretz Markish. Narecheny Zaviriukhy, Poems. Translation from Yiddish by Bohuslavsk, Editor M. Petrovsky. 2000.
- ✂ Joseph Zisels. If Only for Myself... Editor M. Petrovsky. 2000.
- ✂ V. Skuratovsky. Problem of Authorship of «The Protocols of the Elders of Zion», Editor M. Petrovsky. 2000.
- ✂ «Jews and Slavs» v.7, editors V. Moskovich, L. Finberg, M. Feller, 2000.
- ✂ V. Khiterer. Documents on the Jewish History in Archives of Kiev (the 16th-20th centuries). 2001.
- ✂ M. Beregovsky. Purimshpils. Jewish folk musical-theatre performance. 2001.
- ✂ R. Meterlnytsky. Some Aspects of Jewish Construction in Lutsk. Editor M. Petrovsky. 2001.
- ✂ Native Voice. Pages of the Russian-Jewish Literature of the end of the 19th – beginning of the 20th centuries. Compiler Shimon Markish. 2001.
- ✂ Beyond the frontiers of understanding. Editor L. Finberg. 2001.

Arts Publications:

- ✎ The Illustrated Jewish Calendar for 5757-5758 – 1998-1999. /Jewish Ritual Silver/. 1997.
- ✎ Jewish Calendar for 1999-2000. /Jewish Book Graphics/. 1999.
- ✎ Jewish Reference Calendar for 5760 (1999-2000), 1999.
- ✎ Jewish Holiday Leaflets (Passover, Purim, Rosh Hashanah, Simhat-Torah, Hanukah), 1999.
- ✎ Jewish Calendar for 2000-2001. /Modern art-Judaic of Ukraine/. 2000.
- ✎ Jewish Reference Calendar for 5761 (2000-2001). 2000.
- ✎ Jewish Calendar for 2000-2001. /Jewish Fairytales/. 2000.
- ✎ Jewish Calendar for 2001-2002. /The jewish theme in picture of Ukranian artists XIX-XX cen./. 2001.
- ✎ Boris Lekar. /An Album of Reproductions/. 2001.

The Institute Is Preparing for Publication:

- ✎ The artistic-publicist almanac «Yehupets» #10.
- ✎ Encyclopedia «Ukrainian Jewry», editor M. Feller.
- ✎ Guide «Jewish History and Culture of Ukraine», editor M. Kalnytsky.
- ✎ Olexander Kruglov. Documents on the History of the Holocaust, editor R. Lenchovsky.

Address of the Institute:

6, Kurska Street, Kiev 03049 Ukraine
Tel./ Fax. 38 (044) 248-89-17
E-mail: judaica@svitonline.com;
Internet: <http://www.judaica.kiev.ua>

НАШІ ПАРТНЕРИ:

Видавництво «Дух і Літера»
Пропонує книги з юдаїки

Емануель Левінас

Між нами: Дослідження. Думки-про-іншого. /Пер. з фр./— 1999;

В.Скуратовский

Проблема авторства «Протоколов сионских мудрецов», ред. М.Петровский, 2001;

Родной голос. Страницы русско-еврейской литературы конца 19 – начала 20 в.,
составитель Шимон Маркиш, 2001;

Ростислав Метельницький

Деякі сторінки єврейської забудови Луцька, ред. М.Петровський, 2001;

Поза межами розуміння (філософія та богослов'я про Голокост), ред. Л.Фінберг /Пер. з англ./,
2001.

04070, м.Київ, вул. Волоська, 8/5

Національний Університет

«Києво-Могилянська Академія» 4 корпус к. 210

Видавництво «Дух і Літера»

Тел.: (044) 416-60-20

Факс: (044) 213-91-49

e-mail: franc@roller.ukma.kiev.ua

http://www.duh-i-litera.8m.com

Їжа для зголоднілих інтелектуалів

Незалежний культурологічний часопис «І»

вул. Грушевського, 8/3а,

м. Львів, 79005

Тел. (0322) 745890

Факс (0322) 966382

e-mail: ji@litech.lviv.ua, ji@js.lviv.ua

<http://www.ji-magazine.lviv.ua>

KINO-KOLO

Щоквартальний часопис екранних мистецтв
Спільний проект Товариства «Кіно-Коло» і
Телеканалу «1+1»
2001 літо (10)

Передплатний індекс видання – 22944.

Передплатити журнал можна в будь-якому пошто-
вому відділці зв'язку, а також за каталогом фірми
«Самміт», тел.: (044) 254 5050.

Журнал можна придбати в київських книгарнях, на
київських книжкових ринках «Петрівка» та «Книжковий
квадрат» (пл. Слави), в кінотеатрі «Кінопаłac», а також
безпосередньо в редакції.

Тел./факс: (044) 490 0101, додатковий – 3003.

e-mail: kinokolo@1plus1.net

листування: KINO-KOLO, а/с 40, Київ-21, 01021



КРИТИКА

Український часопис

інтелектуальної есеїстики, публіцистики та рецензій

Одиннадцяте (листопадове) число *Критики* відкривається есеєм знаного історика культури, семіотика та письменника, професора Болонського університету Умберто Еко *Священні війни, емоції та здоровий глузд*, у якому автор проблематизує головну тему останніх місяців - парадоксальність відносин «Заходу» та «Сходу», взагалі мотиви такого розрізнення в сучасному світі. Спекуляції Семюела Гантінгтона щодо «зіткнення цивілізацій» піддає гострій критиці американський політолог і публіцист Едвард Саїд у статті *Зіткнення невігластв*. Польський соціолог Йоанна Конечна в огляді *Країна, в якій побував папа* та київський дослідник Олександр Різник у статті *Папа, який побував в Україні* аналізують відгуки відповідно польської та української преси різного спрямування на візит папи римського в Україну. Розвідку російського соціоантрополога Віктора Шнірельмана *Підгрудтя крові: новоязичники в поході* присвячено розвитку новітнього неоязичницького руху в Росії та його антисемітським, євразійським і імперсько-шовіністичним ідеологічним засадам. Київський політолог Павло Кутуєв в огляді *Глухі кути лєнінізму* розглядає інтерпретації феномену лєнінізму в західній науці, зокрема в дослідженні американського науковця Стівена Гансона «Час і революція» та в німецькому збірнику «Комунізм, терор, людина: дискусійні статті на тему «Чорної книги комунізму»». Культуролог Олександр Гриценко в рецензії *Морока з мультикультуралізмом* розглядає книжку російського автора Владіміра Малахова «Чарівлива привабливість расизму» та давніше дослідження Роджерса Брубейкера «Національна державність і національне питання в Радянському Союзі та пострадянській Євразії», беручи їх у контексті громадських і наукових дебатів про долю ідеології та практики мультикультуралізму на межі століть; окрім цього автор подає власну концепцію розбудови багатокультурної моделі освіти в Україні. Віра Агеєва у дописі *На сторожі старожитностей* гостро полемізує з авторами статей «гендерного блоку», опублікованих у вересневому числі *Критики*. Наприкінці числа вміщено добірку листів до редакції, а також блискучий текст Юрія Андруховича *Мальборк і хрестоносці*, який, либонь, знаменує новий поворот в есеїстиці письменника

Художньо-публіцистичний альманах

ЄГУПЕЦЬ 9

Рукописи не рецензуються та не повертаються

Віддруковано в ОП "Житомирська облдрукарня"
м. Житомир, вул. М. Бердичівська, 17,
з готових діапозитивів замовника. Зам. 13.



Абрам Маневич. Моя батьківщина Мстиславль.
1906–1909

Абрам Маневич увійшов до історії українського мистецтва разом з Олександром Мурашком, Федором Кричевським, Олександром Богомазовим, Олександром Екстер, Анатолем Петрицьким — майстрами, котрі зачинили новітнє малярство ХХ століття. В творчості Маневича повною мірою відзеркалилась загальна лінія розвитку як європейського, так і національного живопису.